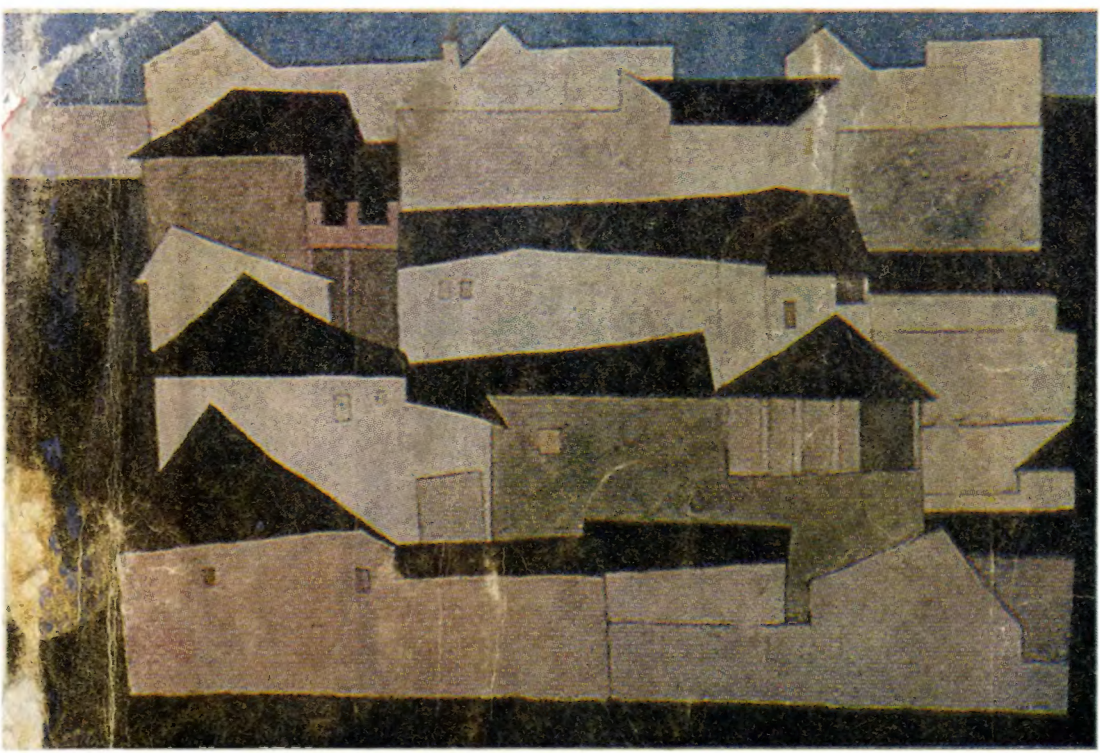
ISSN 0130–6545

6. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

июнь

6

1983

Содержание

ИВАН ДАВИДКОВ — Рифы далеких звезд *(Роман. Перевод с болгарского М. Михелевич. Предисловие Льва Озерова)* 3

АРМАН ЛАНУ — Стихи разных лет *(Перевод с французского и вступление М. Кудинова)* 89

ИРВИН ШОУ — Нищий, вор *(Роман. Перевод с английского Н. Емельянниковой и И. Якушкиной. Продолжение)* 97

Из норвежской поэзии

УЛАВ Х. ХАУГЕ, ХАНС БЁРЛИ, ХАЛВОР Й. САНДСДАЛЕН *(Вступление Л. Горлиной. Перевод с норвежского Ю. Вронского, И. Бочкаревой, Н. Киямовой)* 166

Критика

И. ЗОРИНА — Общий язык и язык общения *(Советско-американский писательский диалог в Киеве и психология времени)* 175

М. ВОЛЬПЕ — Весной расцветает мэскэль... *(Заметки о некоторых тенденциях современной литературы Эфиопии)* 184

Литературные портреты

СЕРГЕЙ БЕЛОВ — Ирвин Шоу: профессия — беллетрист 188

Культура и современность

Нгуен Ван Бонг — Сражающиеся перья вьетнамских писателей ◆ Т. Голенпольский — Кино, искусство делать деньги, политика ◆ Т. Доброницкая — Роман о войне без победителей 195

Публицистика

В. МАЛЫШЕВ — Когда с цепи спускают чудовищ... 204

Дневники, воспоминания

ФАХРИ ЭРДИНЧ — Назым в моей жизни *(Главы из книги. Вступление и перевод с турецкого И. Стеблевой)* 223

Антирубрика

АЛАН МАРШАЛЛ — Рассказы *(Перевод с английского Лии Завьяловой)* 231

Среди книг

Издано в СССР

Д. Урнов — Литературная карта США ◆ Григорий Левин — Поэзия всенародного братства 238

Издано за рубежом

И. Левидова — Кто же такой А. Н. Уилсон? ◆ Н. Литвинец — Новая встреча со Стефаном Цвейгом 243

Из месяца в месяц

248

Авторы этого номера

255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы художника ОСВАЛЬДО ГУАЯСАМИНА (Эквадор) «Серый Кито» и «Раковины». Из серии «Ретроспектива», 1977.

© «Иностранная литература», 1983.

ИВАН ДАВИДКОВ

Рифы далеких звезд

РОМАН

Перевод с болгарского М. МИХЕЛЕВИЧ

Первый аккорд романа Ивана Давидкова «Рифы далеких звезд» звучит настораживающе: «Рубили придорожные осины...» Этот звук не оставляет нас на протяжении всего романа, он следует за нами. Он вовлекает нас в повествование, вовлекает в долгий и напряженный разговор о насущнейшем, о том, что касается каждого в отдельности и всех вместе.

Три слова. Три удара. «Рубили придорожные осины...» — дается тон всему повествованию. Дается тон! Автор владеет искусством голосоведения, искусством полифонии. Эпизоды — малые и большие — продвигаются толчками, от одного к другому. И мы не можем уже оторваться от их стремительного движения. Времена меняются: от настоящего к прошлому, от прошлого к будущему, от будущего к настоящему. «Было»— «есть» — «будет» выступают в живом единстве. Они завязаны в крепкий узел. Этот способ письма органически присущ Ивану Давидкову. Хотя в романе действуют живые персонажи, хотя в нем происходят события, но в какой-то момент ловишь себя на мысли, что перед тобой монолог, вовлекший в себя чужие жизни и чужие страсти, монолог, который автор насытил событиями и героями.

Читателю сразу становится известным, что место, где провел жизнь старый учитель, где он обучал добру сотни учеников, уйдет под воду. Не уходит ли под воду и вся его жизнь? Нет нужды пересказывать увлекательный сюжет романа. Он и не поддается пересказу. Читатель сейчас узнает все и обо всем, не будем мешать ему.

Хлевы, где ласточки под стрехой выводили птенцов, крытые соломой курятники, маленькие городки пчел — все уйдет под воду. Это неотвратимо. Но это неотвратимое не может не вызвать в душе учителя и его сына все нарастающую тревогу. Разум понимает: это необходимо. Сердце твердит свое: жаль! Человек свой сад выращивает медленно, а топор рушит его мгновенно.

Тоска по прошлому? Да, конечно. Но не только тоска. Уйдут под воду благоухание трав и облюбованные взглядом и сердцем камни родного очага. Память не хочет отказаться от запахов отчего дома. Одно дело — окна, сквозь которые человек видел деревья и небо. Другое дело — вынутые оконницы. Их-то первым делом выставляли, чтобы не повредить стекла. В повествователе проступает тонкий лирик: «Ослепшее село уже не могло поднять глаза к звездам...»

Возврат к прошлому? Нет, боль памятливой души, пронзительная человечность, горечь кормильца-крестьянина. Чувство привязанности к этому (своему!) месту, но и чувство привязанности ко всей земле, чувство, возникшее не где-нибудь, а именно здесь. С этого не такого уж малого чувства и начинается большое, всеобъемлющее чувство всего отечества. Память, то есть лично пережитая история, наиболее родственный, близкий ее кусок, отрезок,— без этого нет человека своего народа, своей страны.

«Роман» — обозначает автор жанр своего произведения. Мы бы назвали его романом лирико-философским. Это определяет не только манеру, в которой он написан, но и смысл сочинения. Цепь отрывков от двух-трех строк до нескольких страниц сплочена единой страстной мыслью автора. Я не обмолвился: у Ивана Давидкова мысль выражена страстно, а его раздумья всегда погружены в его сердце. Начинаясь с малой орбиты повседневности, роман волей-неволей выходит на философическую орбиту. Песчинка на берегу Огосты перемигивается с планетой Марс. Костерок лесника заставляет думать о больших заревах, вспыхивающих то тут, то там на нашей планете.

Тонко и точно изображенный в повести быт не остается только описанием повседневности. Быт перерастает в Бытие, эпизод — в притчу. Образ норовит прибиться к мифологическому берегу. От романа веет легендой. Случайно ли, что в одном из эпизодов действует двенадцать учеников, что один из них — Фома, а главных героев зовут Христофор и Маккавей? Эти имена и образы не случайны. Писатель пишет о

© Иван Давидков, 1981
c/o Jusautor, Sofia.

воде, которая затопит деревню, а заставляет нас думать о Потопе. «Приближался час большой воды...» — это из романа. Звучит тревожно. Жизненосная, утоляющая жажду вода может обернуться бедствием. Душа художника не молчит, не может молчать.

Автор, однако, не напуган видением Потопа. Он не пугает Потопом и нас. Вовсе нет. Он предупреждает: мир надо сохранить. Эти три слова никогда не станут общим местом, никогда не будут звучать банально. Иван Давидков хочет быть на высоте исполняемого долга: он предупреждает.

Можно ли примириться со злом? Для героев романа и для самого писателя это далеко не риторический вопрос. Примириться со злом — значит стать его союзником.

Где грань между легкоранимым человеком и человеком душевнобольным? Писатель не занят этой проблемой. Но он проникает в природу явлений, приносящих человеку боль. Душу Маккавея автор сравнивает с лесом, взбудораженным ветром. Для нечуткого, лишенного слуха человека это ровный шум. Для Маккавея — оркестр, тона и полутона, живые голоса стволов, ветвей, листьев, трав, кустов, птиц, зверей.

В повести Маккавей — это романтическая мечта, кровно связывающая прошлое с будущим, разрушенный дом с парусной лодкой, этим символом стремления к новым берегам. Есть возле дома конструируемая им лодка — значит, есть и дом, и жилец в этом доме. Чувствующий острей и катастрофичней других, Маккавей олицетворяет тоску человека и человечества по цельности, гармонии, красоте, которые не должны быть утрачены.

Показывая больного человека, писатель тем самым дает почувствовать болевые точки в жизни человечества.

Можно подумать поначалу, что Иван Давидков во власти элегической интонации. Но это не так. В действительности это проникновенный взгляд на человека, на явления жизни, на историю. Он ее не хочет остановить, но он просит: не выплескивайте вместе с водой и ребенка, дайте высшим ценностям человечества право остаться с нами и с теми, кто придет после нас.

Иван Давидков показывает. Показывая, предупреждает. Предупреждая, бьет тревогу. Человечеству так необходимо дорожить своей земной колыбелью. А для Христофора и Маккавея их земная колыбель — это их деревня на берегу Огосты. Писатель раздвигает рамки повествования. И мы начинаем чувствовать себя и в этой болгарской деревне, и в огромной земной колыбели.

Иван Давидков не дает читателю отдохновения. Топор стучит. Гибнут деревья. Они обречены. Если не рубить их, они все равно будут затоплены водой, будут гнить на дне водохранилища. Учитель Христофор это понимает. Но ему тяжело, тяжело от мысли, что находятся люди, которые безжалостно «уничтожают то, что приносит плоды и радует душу». Ему тяжело, что кое-кто и из учеников, которых он учил добру, попадая в определенные условия жизни, творит зло. Они равнодушно равняют с землей то, что они же с такой любовью, как казалось учителю, выращивали на земле.

«Всю свою жизнь он старался не причинять никому неудобств, и это создавало неудобства для него самого»,— так характеризует автор своего героя. И сочувствует ему. Иван Давидков не может иначе: свое перо он неизменно обмакивает в доброту. Так было и с предыдущими его повестями: «Далекие броды», «Ломоть хлеба для путника», «Вечерний разговор с дождем», «Белый конь у окна», «Прощай, Акрополь!». Это проза поэта. О поэзии его не скажешь: стихи прозаика. Он начинал как поэт, и от первой книги стихов Ивана Давидкова (1949) до первой повести прошло 18 лет. Книги стихов продолжают выходить наряду с книгами прозы. Стихи и проза проступают в своем единстве. Книги эти порой иллюстрируются самим автором. Так знакомимся мы с художником в прямом смысле слова.

Опечаленный Иван Давидков не хочет печалить своего героя и своего читателя. Он, по слову Михаила Светлова, сам лучше бросится под паровоз, чем кинет на рельсы своего героя. В стихотворении «Жил-был художник» Иван Давидков пишет:

Зимой у него мутнело окно.
И когда на дворе бесновались вьюги,
он солнцем расцвечивал полотно,
чтоб деревья согреть,
а не замерзшие руки.

(Перевод Д. Самойлова)

Этот художник (говорю об Иване Давидкове) обладает душевной зоркостью. Он чувствует, как устала пчела от долгого перелета, и он осуждает мальчика, который вслед за своим отцом считает, что бабочек надо истреблять потому, что из их яичек выводятся гусеницы, и он не понимает местных журналистов, которые умолчали о случившейся беде, об утонувших в воде людях. Локаторы души Ивана Давидкова повернуты в сторону так называемого маленького человека, творящего великие ценности мира.

Писатель встает не только над идилличностью. Он встает над своей печалью и раздумчивостью. Время сильнее нас, оно торопит нас. Не удержать уходящее. Но что в наших силах? «Спасти от забвения человеческие достоинства, к которым время всего беспощаднее...» Вот нерв романа: спасти достоинства и передать их будущему. В этом писатель решителен. В этом он не дает послабления, не делает поблажки ни себе, ни другим.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

Маме

Если бы я возопил, кто вопль мой услышит
в ангельских хорах? Какой херувим милосердный
к сердцу меня привлечет? Я и сам бы не вынес
света его. Ибо сама красота —
только вестница страха, уже нестерпимого сердцу.
Ею любуемся мы, ибо надменная нас
пощадила...

(Райнер Мария Рильке. Элегия первая[1]*)*

В путь! Разгрызай сомнения и крик души сам
унимай!
Ведь рано или поздно ты должен парус свой
меж рифов звезд далеких провести!..

(Из «Судового дневника»)

РУБИЛИ ПРИДОРОЖНЫЕ ОСИНЫ... Эхо той рубки точно в огромном, пустом и гулком доме билось в голове старого учителя; Христофор Михалушев шел, оступаясь, по разрытой шоссейной щебенке и все раздумывал: давно ль это было — десять лет или век назад? Пни могучих деревьев, почернелые от дождей, иструхлявели, осели, и трава уже почти скрыла их. Казалось, чья-то невидимая рука тащит корни к себе, в самую глубь размытой земли, а молодая поросль тянется к гулу ранних пчел в надежде удержаться за него и устоять перед этой жестокой силой, но старания ее напрасны...

Тень путника на траве подрагивала — узкая, маленькая, как и он сам, тщедушный, усохший с годами,— и, глядя на нее, он понимал, что приустали ноги, упрямо и безотказно носившие его по дорогам. Ветерок пузырил холщовые брюки, совсем побелевшие на коленях, щекотал заросшую, тонкую, жилистую шею, забирался под рубашку с потертым воротничком, и старик чуть поеживался от приятной щекотки. Он не брился несколько дней — густая седая щетина, точно застывший клей, обтянула худое лицо с острыми скулами, и ему ли не знать, что, когда он возьмется за бритву, на него из зеркальной глуби глянет некто с таким же лицом и уставится испытующе, словно хочет задать нелегкий вопрос; карие глаза в сетке морщин смешливо прищурены, на губах ироническая улыбка, отчего складки в углах рта становятся крупнее и резче, надо лбом, словно голыш на речной отмели, поблескивает пролысина, а ведь когда-то, бывало, береговой ветер ерошил его густые пепельно-русые волосы... Опаловая мягкость миндалевидных глаз пытается заглушить этот предательский отблеск старости. Они смотрят неожиданно молодо на лице, где прожитые годы оставили свой отпечаток, подобный следу подошвы на засохшей глине. Зрачки золотисто светятся, как спелый плод, и видится в них глубина и спокойствие тихой осенней заводи. И если правда, что глаза — зеркало души, то путник, проходивший мимо осиновых пней, сумел сохранить душевную молодость. Только вот трудно решить, что это: дар судьбы или же наказание для таких людей, как учитель Христофор Михалушев?

Молодые побеги вместе с осиновыми пнями все глубже уходили в мокрую землю. Старый учитель смотрел на них, и ему вспоминалось купание с мальчишками в омутах в детские годы.

Обычно, пока он на берегу раздевался, клал камень на свернутую одежду, чтобы ее не унесло ветром, другие ребята уже лезли в воду, осторожно нащупывая дно; сначала вода была им по грудь, потом по шейку, по маковку, и ребячьи выгоревшие вихры уходили под воду, как вот эта поросль на пнях. Останки огромных деревьев тонули в невидимом омуте забвения, им уже не выплыть больше.

[1] Райнер Мария Рильке. Новые стихи. М., «Наука», 1977. Перевод Г. Ратгауза. *(Прим. ред.)*

А мальчишки живо выныривали с веселым плеском, подзадоренные шуршаньем придонных камушков... Глядя на зеленеющие хохолки побегов, учитель подумал, что, если он доживет до новой весны и опять побывает здесь, к тому времени и канавы обок заброшенной дороги, и сама она прорастут травой, и лягушки будут выскакивать из-под ног, как мокрые серые камешки в хлынувший ливень...

С того места, где учитель остановился, все их село когда-то было видно как на ладони. Река здесь делала поворот, и, чтобы она не размыла прибрежную дорогу, по откосу посадили ивы. Возвращаясь под вечер со станции, учитель любил наблюдать смену закатных красок сквозь кроны ив, прореженные корзинщиками-цыганами. Сперва постепенно темнели кровли домов, точно их краснина со всеми своими оттенками, от бледно-розового до пурпурно-лилового, стекала на отмели Огосты; на какой-то миг побеждала необычайная белизна, и невозможно было понять, откуда она — то ли ее излучают беленые стены домов, то ли пышно расцветшие сливы и алыча за изгородью. Потом все начинало тускнеть, отдаляться к темно-лиловой гряде холмов, утрачивать формы и очертания, а на смену вступали голоса и запахи — кукарекали петухи, пахло очагом, хлебом, сладковато-горьким, липким дыханьем незнакомых цветов...

То было прежде. Теперь сквозь ветви искалеченных ив виднелось непривычно пустынное, голое поречье, где провел свою жизнь старый учитель. Не на чем взор остановить: ни одного окна, ни единой трубы, где бы вился белесый дымок, а бывало, вглядишься и видишь, что это не дым, это аист прилетел в родное гнездо. Поречье лежало теперь перед ним безлюдное и голое, ни голосов, ни эха, как будто нахлынула вдруг река и унесла к притаившейся за холмом плотине все: дома, крытые соломой курятники, хлевы, где ласточки под стрехой выводили птенцов, вечернее блеянье ягнят, пальбу охотничьих ружей со стороны виноградников, жужжание пчел — все то, что следует за человеком сквозь годы или отзывается эхом в его душе...

«Медленно вырастает селение, а вот исчезнуть может в мгновенье ока,— размышлял старый учитель.— Нужны не десятилетия, а века, пока время успеет слепить его образ. Обходит оно вокруг, ощупывает, как это делает скульптор, берет размякшую под ногами глину и, черту за чертой, ваяет образ селения — быть может, не всегда привлекательный, но зато наделенный чем-то своим, неповторимым, веселым или грустным, хмурым — чем-то таким, чего ты нигде не встречал. Скажем, какая-нибудь колокольня с позеленевшим куполом — в дождь он звенит так, словно множество барабанщиков стучат по кровельному железу; или каменный желтоватый мост, над его сводами искусный мастер выдолбил головы драконов, и в летний зной в их разинутой пасти лениво шевелятся ящерицы; или иные приметы: это может быть икона в древней, вросшей в землю церквушке, изъеденная жучком-древоточцем, икона темная, вся в восковых натеках, точно в коросте, и с нее испуганно смотрят беззащитные глаза богородицы; а то и просто дыхание хвойного леса — едва уловимый ветерок по-над крышами, затемненными елями, соснами, ветви их тонко-тонко посвистывают, и прохожему чудится, что ступает он по душистому свистящему лапнику...»

В том селе, которое учитель любил оглядывать с речной излучины, откуда река бежала на восток, к железнодорожному мосту, не было ни елей, ни сосен, и аромат смолы, в котором житель гор, вероятно, ощущает дуновение туч и далеких снегов, был неведом ему. Иные благоухания заполняли котловину, окруженную цепью округлых лесистых холмов; на юге холмы сливались с голубоватыми складками Балканских гор, обрывистых, точно обтесанных огромным топором, белесых на крутизне над Врачанскими виноградниками, а на севере опоясывали плешивые, заглушенные сорняком и ежевич-

ником лозы, где круглый год синели бочонки с бордоской жидкостью. В разные времена года и запахи были разными: то пересиливал аромат клейких верб и цветущей акации — в них пчелы гудели так, как гудят, пенясь, водовороты Огосты; то побеждал дух нагретой земли и всходов пшеницы, который струился с излучин, где перекликались перепела; то земля напитывалась шорохом осеннего дождика, и тогда ноздри щекотал запах грибов, опавших листьев и горящей сухой лозы; то из-под снежного покрова пахнет вдруг прелью, и в этом дыхании влажной земли почуются таящиеся над сугробами ароматы весны, лета и осени, неожиданно запоет кроха синичка, и человек усмехнется про себя... По этим ароматам учитель мог безошибочно распознать любой уголок родного края; он верил — проведи его с завязанными глазами по всей котловине, он угадает: «Сейчас мы идем мимо мельницы, а тут виноградники, здесь теплый источник — женщины вышли мочить коноплю...» И ни разу не ошибется, потому что все эти запахи впитались в его душу.

Такого благоухания земли, какое с особой силой волновало его теперь, когда село уже снесли, прежде словно бы и не было. Он не помнил, чтобы так трепетно вдыхал запах алычи и груш или так остро ощущал дуновение ветерка, который в октябре наполняет опустевшую котловину, напоминая о вымытых бочках, греющихся на солнце в ожидании сбора винограда... Иные мысли волновали его тогда, к иному была обращена душа. Свернув с дороги к родному дому, он в дождливую ночь на ощупь находил замочную скважину в двери, слышал знакомое щелканье язычка, и за порогом из темного коридора до него доносилось ровное дыхание спящих, запах дрожжей или мокрых детских сандалий. Теперь же если он и пройдет через двор, то, протянув руки в темноту, где некогда стоял его дом, тут же безмолвно уронит их; лишь на миг задержатся они в пустоте и упадут, смоченные дождем, который льет не переставая вот уже столько лет... Прежде он ВИДЕЛ свой родной дом, село, улицы, обсаженные деревьями, знал, как они растут, как поблескивают окна, когда хозяйки по утрам распахивали их, чтобы проветрить комнаты. Сейчас остались одни только заросшие травой фундаменты...

Раньше Христофор Михалушев думал, что снесенное село будет день ото дня исчезать из его памяти, как исчезали дома сначала под ударами кирки, а уж потом и под шелест травы. но, к своему удивлению, убедился, что село продолжает жить, и не столько в его зрительной памяти — силуэтами домов, хлевов и деревьев,— сколько запахами, присущими каждому сельскому двору. Он ОЩУЩАЛ исчезнувшее село в ином его измерении: оно уже стало частью воздуха, солнечного света, шума реки. Оно продолжало жить в благоухании трав и деревьев, в дорожных запахах: они как бы заново воздвигали его — бесплотное, но осязаемое,— и воспоминания учителя неспешно скользили вдоль этих необычных стен и кровель, сотворенных дыханием крапивы и левкоя... Чувства Христофора Михалушева, утратившего родное гнездо, теперь как-то вдруг обострились, и он не знал, то ли радоваться такому возврату мира минувшего, то ли опасаться, потому что в этих его соприкосновениях с окрестным миром было что-то болезненное, неестественное. Учитель походил на астматика, который, пока был здоров, никогда не задумывался над тем, что вокруг него воздух, и вдруг каждой клеточкой тела стал ощущать его присутствие всюду — даже в говоре прохожих и в окликах чабанов,— свистящее горло открыло ему непознанную другими вселенную, добавляющую свой штрих к едва уловимому облику бытия...

ХРИСТОФОР МИХАЛУШЕВ особенно любил родное село за его окошки, все до единого обращенные к югу, на горы. Из них открывался такой вид, что всякий раз захватывало дух.

Дома смотрели в ту сторону, откуда весной прилетали птицы, и окна еле вмещали величественный силуэт горы. Ее остроконечные вершины чередовались с пологими седловинами и холмами, те шли от другого берега реки и, приближаясь к Балканскому хребту, все повышались, точно ступени, устланные зеленым бархатом,— казалось, что это по ним всходят к снегам Кома [1] то день, то ночь, и по ним же снова спускаются в котловину. Отнять у этих окон гору значило отнять у них все, потому что гора была не просто громадой синеватых скал и отвесных обрывов, а чем-то таинственным, сказочным, манящим, особенно для детей. В туманные дни они не могли добраться взглядом до самой высокой вершины и уж тем более заглянуть за нее, зато ночью, во сне, им это удавалось: они находили брод через Огосту и, миновав холмы и ложбины, карабкались по крутизне до самого перевала, а оттуда зачарованно смотрели на огромный мир, который до этого мгновения был для них тайной...

Христофор Михалушев помнил, что покойный отец всегда подрезал кроны тех деревьев перед домом, которые закрывали вид на гору. Он любил под вечер посидеть, покурить у окна и задумчиво следил сквозь тоненький дым сигареты за тем, как меняется в сумерках окраска горных вершин, как от реки по дороге возвращаются односельчане и мотыги у них сверкают в последних лучах заката. Односельчане идут мимо, замечают отца за оконным стеклом, говорят ему: «Добрый вечер!» — и слова эти, точно эхо, все повторяются, пока совсем не стемнеет; люди до самой тьмы тянутся с поля, и посеребренный дымком сигареты старик, улыбаясь, кивает им.

В окна отчего дома Христофор Михалушев впервые увидел, как прилетели с юга ласточки и со щебетом искали свои прошлогодние гнезда. Сквозь узкие эти окна он смотрел на широкие броды Огосты, куда под вечер приходили на водопой соседские лошади и становились огненно-красными, словно шкура у них была прозрачной и сквозь нее просвечивал выпитый ими закат,— даже можно было заметить тонкие облачка, которые плыли по закатному небу.

Старому учителю случалось думать о смерти, он мысленно видел, как село проводит его в последний путь... Это будет к исходу дня, весной (ему хотелось, чтобы час этот пробил тогда, когда у окна родного дома расцветет черешня), по склонам будут звенеть колокольцы, а в протоках Огосты протяжно квакать лягушки. Его понесут прежние ученики, теперь уже седовласые, и он будет прощаться с землей и небом. Облака, приплывшие от Кома, будут отбрасывать на дорогу бегущую тень, и по ней пройдут те, кто понесет учителя, более четырех десятков лет встречавшего на пороге школы их самих, их детей и внуков... Плывут облака, солнце освещает побеленные стены домов, и если бы глаза не закрылись навек, учитель увидел бы, что каждый дом прощается с ним на свой лад.

Стихает ветер, смолкает жужжание пчел в цветущих садах, и тогда становится слышен шум речных бродов. Это музыка, исполненная простой дудочкой из бузины,— спокойная, приглушенная, но если вслушаться, обнаружишь, что в ней сплелись множество трелей и коротких, как вздох, пауз и голос перепела, вторгающийся в эту мелодию, похож на глухие всхлипывания...

Процессия медленно движется мимо домов, выходит за село, и тогда вдруг раздается школьный звонок. Все останавливаются, поворачивают головы, потому что звонок напоминает каждому о годах детства. Кто так протяжно звонит в запыленный старый колокольчик из позеленевшей латуни? Кто додумался так проститься с учителем?.. Процессия вновь трогается в путь. Опускаются сумерки — еле заметные, потому что цветущие деревья делают их светлее, легче и бес-

[1] Ком — одна из вершин Балканского хребта. *(Здесь и далее прим. перев.)*

плотнее. Зажигается первая звездочка, кое-где уже засветились окошки, а колокольчик в школе все звенит и звенит, чтоб не слышно было, как стучат комья земли над головой.

Вот так рисовал себе Христофор Михалушев свое прощание с селом, а получилось иначе: довелось дожить до смертного часа родного села.

Первым признаком близкой гибели были вынутые оконницы. Прежде чем снять черепицу и раскатать стропила, люди выставляли оконные рамы, чтобы не повредить стекла. На всех улицах зияли незрячие проемы, по вечерам они таинственно темнели, и лишь изредка мерцал там фонарь или свеча. Ослепшее село уже не могло поднять глаза к звездам, оглянуться, посмотреть, кто идет по ступеням: свой или чужой? Летучие мыши неспешными кругами облетали опустелые комнаты, а неведомо откуда взявшаяся сова принималась кричать с дымовой трубы, и все дома вторили ее крикам.

Однажды, когда стояла поздняя осень, было пасмурно и моросил дождь, Христофор Михалушев заметил, что по улицам села все бродит какой-то сухонький человечек с кинокамерой на плече. Длинный шнур спускался с висевшего под мышкой футляра, путаясь у незнакомца в ногах. Они разговорились — незнакомец сказал, что он кинооператор, приехал из столицы снимать картину о водохранилище. Начнет с исчезающего села, а потом перейдет уже к самой плотине.

— Не повезло вам,— сказал учитель.— Погода скверная. В таком тумане село выйдет каким-то призрачным...

Призрачным? Именно это и нравилось оператору, судя по тому, как беспокойно бегали его глаза, прятавшиеся под рыжеватыми бровями, из которых торчало несколько длинных волосков. Он шагал, энергично выдирая из липкой грязи ноги. Сухонький человечек, чьи сусличьи глазки ощупывали все вокруг, приседал перед голыми ивами возле мельничного ручья. Камера жужжала — казалось, это жужжат в дуплах старых деревьев разбуженные незнакомцем осы, а на кинопленке отпечатывалась свинцово-серая, будто выхваченная из чьих-то кошмаров, картина гибнущего села с резко очерченными пустыми проемами окон.

«Кинематографисты — люди привычные,— размышлял Христофор Михалушев, наблюдая за человеком с камерой, заляпанным по уши грязью.— Смонтируют отснятую пленку, озвучат ее, и сидящие в кинозале услышат: «Наша камера движется по дну будущего водохранилища. Поздняя осень. Туман. Но мрачность этого пейзажа лишь кажущаяся: если заглянуть в глаза строителей, то даже в пасмурный этот день будет видно, как сверкает заря будущего...» Такой или похожий текст — вроде тех, что я сто раз читал в репортажах местной газеты,— прозвучит и с киноленты. И лишь немногие, своими глазами видевшие гибель родного села, смогут мысленно дорисовать картину и увидеть комнаты, забитые снегом, по которому ступали одни синицы...»

Кинооператор отправился монтировать фильм и мучиться над текстом к нему. Его силуэт еще не исчез за тополями на околице, как в сером хмуром небе промчался резкий ветер. Запахло снегом. Зима приближалась, чтобы заполнить тьму в комнатах легким порханьем снежинок.

А весной обветшалые от безлюдья дома стали один за другим исчезать под ударами кирок и ломов.

Окутанное пылью село съеживалось. Обвисали ветки покореженных плодовых деревьев, мычали коровы. Всюду стучали кирки. Рушились кирпичные стены, и в небе долго носилась пыль, от которой щипало ноздри. Прыгали по камням и разлетались осколками оброненные черепичины. Красный цвет крыш гаснул, стены становились ниже, будто медленно и неотвратимо уходили в землю.

Село шумело — растерянное, торопливое, словно близился час Апокалипсиса. Начиналось переселение — даже тот, кто до поры не думал о нем, внезапно осознавал, как тяжко рушить родной дом (разве не рушил он вместе с ним и собственную душу?), а затем начинал строиться на новом месте — на чужой земле, под чужими тополями, сквозь ветки которых видно кладбище, где покоятся неведомые, чужие его сердцу люди... Вереницами тянулись машины, груженные балками, кирпичом и досками. Скрипели расшатанными колесами телеги, набитые всякой рухлядью. Беспокойно блеяли овцы, будто их гнали на бойню... И среди этого шума и грохота в короткие мгновенья тишины слышался отрывистый щебет ласточек... Как много, оказывается, ласточек жило в селе! Вспугнутые ударами ломов, они вылетали из-под каждой стрехи, и долго несся им вслед писк неоперившихся птенцов с желтыми клювиками, сидевших в гнездышках, тесно прижавшись друг к другу.

Иные хозяева не обращали на гнезда внимания — срывали их со стен, и глиняные скорлупки раскалывались пополам, а птенцы еще час-другой барахтались возле этих обломков, пока не наползали муравьи...

А некоторые шадили ласточкины гнезда. Заслышав писк птенцов, переходили на другую сторону крыши и принимались ломать дом оттуда. Стена с ласточкиными гнездами оставалась одна торчать над развалинами. Валили ее лишь тогда, когда подросшие птенцы вылетали из гнезда.

Увидев свои разоренные гнезда, ласточки недолго кружили в тревоге над домами. Их ощущение смерти длилось лишь миг, выражало себя пронзительным писком, заглушавшимся треском падающих стен, и вновь сменялось дробным щебетаньем и веселыми виражами в воздухе. Ласточки, в отличие от человека, не обладают памятью, которая сохраняет судорогу перенесенной боли, возвращает к ней мысли, заставляет долго и мучительно ощущать страдание. Природа избавила их от тяжкой кары — хранить воспоминания.

Цветы в сельских дворах тоже не ощущали боли. По утрам радостно раскрывались влажные от росы чашечки, и хотя к росе примешивалась пыль, а листики гиацинтов, тюльпанов, пионов и ландышей были растоптаны людьми и скотиной, каждый цветок весело сиял, повернувшись головкой навстречу утру. Над ними вились жужжащие пчелы, ощупывали каждую тычинку, ныряли в чашечку цветка и с трудом выползали оттуда, облепленные перламутровой пыльцой... Никто не помнил, чтобы в селе когда-либо водилось такое множество пчел. Вероятно, сюда прилетели рои и с другого берега Огосты, опытное ухо могло отличить их от здешних пчел по жужжанию — оно было глуше, с короткими перерывами, в нем чувствовалась усталость от долгого перелета. За медом прилетели они или хотелось в последний раз взглянуть на обреченное село? Никто не задумывался над этим, вряд ли в такое напряженное время кто-то отвлекся бы от дела, чтобы раздумывать о каких-то там пчелах. Пчела так мала, так легко ускользает от глаз человека...

БЛИЗИЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — день Кирилла и Мефодия. По южному склону Веренишского холма уже расцвели пионы, казавшиеся туманной розовой дымкой на оголенном склоне, и однажды утром Христофор Михалушев повел своих учеников туда.

В другие годы он отправлял их одних, а сам из окна учительской смотрел, как они бегают по холму, швыряют камни (должно быть, нашли суслика), а потом прячутся в зарослях черемухи, но сегодня он пошел вместе с ними, хотелось своими руками нарвать цветов, повесить над входом в школу, надо всем тем, с чем он прощался теперь навсегда. Учеников осталось только двенадцать. Совсем еще дети. Все прочие, так недавно наполнявшие классы смехом и озорством, учились сейчас в соседних селах или же в городе, куда успели перебраться их родители.

Учитель медленно, задыхаясь, поднимался по склону, ученики чинно следовали за ним. Минут десять шли они так, но когда впереди мелькнули бабочки, то ринулись ловить их по усеянным тысячелистником полянам, позабыв об учителе, который то и дело останавливался, вытирал вспотевший лоб и опять брел вслед мальчишеским возгласам... Учитель не сердился за то, что они оставляли его. Детей манил простор, пьянили птичьи голоса, в них бурлила кровь неведомых предчувствий, которые у него, старика, были уже давно позади... Ученики бросали его — их было двенадцать, ровно столько, сколько учеников у Спасителя,— и глядя, как цветущая скумпия окружает розовым ореолом стриженые мальчишечьи головы, он молча улыбался мелькнувшему в голове сравнению. Среди них были Петр и Павел, Марк и Матвей. Иуды не было. Но, может, он прячется под другим именем?.. Глядя на учеников, уже подымавшихся на холм за крупными, с детский кулак, пионами, слушая их возбужденные голоса и облетавшее полянки эхо, учитель пытался открыть меж ними того, кто в тяжкий час приблизится к нему с предательским поцелуем... Странно, отчего подобные мысли волновали его именно сейчас, в майское утро, когда колосья пшеницы отряхивают росу и все небо, от края до края, кажется прозрачным синим покрывалом; когда он идет с двенадцатью учениками не в Гефсиманский сад, а к полянам, поросшим пионами, которыми украсится старое здание школы в день последнего для нее праздника... Все те годы, что он провел в классах сельской школы — целых сорок лет его жизни прошло там,— он старался изваять из мягкой глины еще не сформировавшегося детского сознания добрые свойства, которые возвысили бы их души и провели незамутненными через водовороты жизни. Его пальцы мяли эту податливую глину, но в ней прощупывались твердые грани камешков, ломкие гнилые щепки и колючки, и он пытался извлечь их, не подозревая того, что они по-прежнему остаются в самой сердцевине глины и через какое-то время там появятся трещины, а в трещины заберется либо змея, либо червь... К старости он понял, что рука его была неопытна и легковерна, что недостало ему силы одолеть зло — и в тех, кого он учил, и в себе самом...

Мальчишки нарвали огромные охапки цветов. Учитель взял один букет, прижал к груди так, как прижимал своего больного сына в тот далекий день, когда нес его в город к врачу (шесть километров пешком по занесенной снегом равнине), вдохнул горьковатый запах пионов, к которому примешивалось благоухание скумпии, и пошел впереди детей; оборачиваясь, он видел только их бегущие ноги, по колено мокрые от росы, все остальное вокруг было алым сиянием, которое покачивалось — облачко возле облачка — и неотступно плыло за ним вниз... по склону...

Он отутюжил свой серый костюм, который надевал только по праздникам, повязал синий галстук, купленный еще в тот год, когда окончил педагогическое училище в Шумене, и, ощутив морщинистой

кожей жесткий воротничок новой, впервые надетой рубашки, направился на школьный двор. Дети уже давно сплели из пионов гирлянду и повесили над главным входом. В классах пока никого не было. Слышалось только жужжание пчел, ползающих по раскрывшимся чашечкам цветов. Классы пахли натертыми полами и сохнущими листьями. Этот запах возвращал мысли учителя к минувшим годам, когда в этот торжественный день его встречало здесь то же благоухание майского утра и праздника, но к этому благоуханию присоединялся тогда и веселый ребячий гомон, щелканье аистов и голоса пастухов, гнавших стада на пастбища. Сейчас классы были безлюдны, и за распахнутыми дверями гулко и одиноко отдавались шаги учителя. Пыль разрушенных домов, устилавшая пол, отпечатывала остроносые подошвы его башмаков, кружилась в снопе света, проникавшем в окно, серым покрывалом лежала на черепе и ребрах скелета в учительской (когда-то озорники мальчишки всовывали в его щербатые челюсти — вместо сигареты — кусок мела), облепила карту обоих полушарий, которая уже не один десяток лет висит на одном и том же месте, и сквозь ребра скелета проглядывают безбрежные просторы Атлантического океана...

Учитель приложил скрипку к лацкану пиджака, ощутил холодок подбородника, провел смычком по струнам. Струны ослабли, в их звуках старый учитель ощутил тот же запах пыльных стен и прогнивших балок, какой уже несколько месяцев заполнял гибнущее село...

На школьном дворе ни души. Солнце давно уже встало, летают ласточки, по дороге едут машины, груженные досками, их свисающие концы скребут дорогу, а учеников Христофора Михалушева все нет. Неужто так и не придут? Неужто в последний школьный праздник учитель будет один стоять на каменных ступенях крыльца, один среди гула гибнущего села, смешной в своем поношенном сером костюме, и молча попрощается с уходящим праздником своей жизни, со старой школой, повернет к своему пока еще уцелевшему дому, запрется на ключ и зарыдает, как ребенок?

Нет! Последний школьный праздник не пройдет так глухо и серо, как представилось мне...

Ученики — числом двенадцать — показались на дороге. На них старые рубашки и короткие штаны, выпачканные кирпичной пылью и сажей поваленных дымовых труб. Учитель поднимает скрипку, кладет сложенный носовой платок на подбородник и начинает водить смычком. Под действием музыки дети подбочениваются и вяло танцуют — сходятся, приседают, кружатся, неуклюже повторяя годами заученные движения. Двор пуст. Никто не пришел взглянуть на них. Переселенцы заняты погрузкой машин и подвод, и никому нет дела до школьного праздника. Двенадцать учеников ждут не дождутся, когда умолкнут нудные звуки скрипки и можно будет побежать домой, а учитель покачивается в такт музыке и плачет. Слезы обжигают его щеки, но он не вытирает их... Дети подпрыгивают, точно марионетки, которых дергают за невидимые нити, кланяются, приседают, и под ногами у них шевелятся кости на заброшенном деревенском погосте, на месте которого стоит школьное здание...

ЗМЕЯ ПОЯВИЛАСЬ ОДНАЖДЫ, когда персиковые деревья уже отцвели, устелив землю тонким слоем оброненных лепестков. Никто не видел, откуда она выползла — из груды камней, остатков снесенных оград или из-под стропил разрушенной мельницы. Никто и ничто не тревожило ее, и змея спокойно проползла под гиацинтами, которые как ни в чем не бывало цвели в покинутых дворах и теперь не-

жилась на цементных ступенях домов или же пробиралась сквозь груды разбитого стекла, в которых отражалось каждое ее движение — как отражаются всплески молний. Ничто не смущало покоя змеи, не побуждало ее искать спасения в корнях деревьев или среди замшелых балок. Кое-какие звуки и шум заставляли ее иногда вздрагивать, но она уже с ними свыклась: это было жужжание пчел, становившееся громче, когда змея раскачивала какой-нибудь стебелек, крик перепела или приглушенное квакань̆е лягушки, пытающейся разорвать зеленую корочку ряски. Змея ползла меж этих звуков, ощущая их своим телом так же, как она ощущала прикосновение трав или вздувшихся под землей корней. Они вселяли в нее спокойствие, и, застывая где-нибудь на камне, она долго и блаженно наслаждалась лаской утреннего солнца, пока ее не вспугивал крик дрозда или сойки, и тогда, приподняв свою сплюснутую головку, она лениво сползала на траву.

Учитель заметил змею на каменных ступенях школы. Был полдень. Земля дышала зноем — он ощущал ее жар сквозь сандалии, можно было себе представить, как жгли каменные ступени, на которых улеглась змея.

Всего два шага отделяло учителя от змеи. Он отпрянул, испуганный неожиданной встречей. Нагнулся, чтобы подобрать камень или прут, но ничего не подвернулось под руку. Змея спала мертвым сном, растянувшись во всю длину ступени. Слегка успокоенный, он принялся рассматривать ее. У нее была золотистая спина с коричневыми изгибающимися полосами по бокам и оранжевыми проблесками, напоминавшими драгоценные камни. Сплюснутая голова была покрыта золотисто-янтарными чешуйками, среди которых, будто припаянные золотом, сверкали два изумрудно-зеленых глаза. Их цвет разливался по брюху спящей змеи до самого хвоста, учитель видел его отблеск даже на ступенях — зеленое сияние, излучаемое изумрудами.

Всю свою жизнь учитель провел здесь, в этом поречье, и уж каких только не знал тварей земных, но подобной змеи не встречал еще ни разу. Его детство было заполнено историями про ужей. Старики, много повидавшие на своем веку, рассказывали на полднищах об ужах-хлестунах, которые гонялись за ними в горах и, точно кнуты, хлестали по спинам; об ужах-межевиках, сторживших виноградники; о козах, у которых кровоточило вымя — молоко высосали ужи; об оставленных в поле младенцах, на груди у которых матери находили свернувшихся клубком ужей, привлеченных молочным запахом детских губок... Каких только историй не рассказывали старые пастухи! Может, выдумывали или же прибавляли к виденному и слышанному то, что было рождено воображением и страхом. Эти рассказы придавали таинственность лесным вырубкам, перелогам и проселкам, и хотя обычные ужи, не подозревая о приписываемых им геройских подвигах, предпочитали спасаться бегством, дети верили, что чудеса существуют и не сегодня так завтра они своими глазами увидят пастуха, удирающего от ужа-хлестуна, или встретят козу с оттянутым до земли выменем, к которому присосался толстый, как канат, уж, опутавший ноги лесной кочевницы.

Змея устроилась на ступеньке школьного крыльца, не зная, что всего в двух шагах от нее стоит человек. Возлежала в царственном спокойствии. «Если змеи видят сны,— размышлял учитель,— то сейчас ей, должно быть, снится самое прекрасное из ее сновидений...» Он чувствовал, что им овладевает желание взять палку или камень и убить пресмыкающееся, но он воспротивился инстинкту, заложен-

ному в его душу с первым глотком материнского молока. Он вспомнил, как когда-то насадил на булавку первую пойманную им бабочку,— ему тогда было три годика,— чтобы получше разглядеть этот яркий цветок, наделенный способностью летать. Пальцы мальчика ощупывали ее крылышки, сняли с них золотую пыльцу, они сразу стали похожи на проеденные гусеницами листья с рыхлыми прожилками — и он отшвырнул ее прочь. Он вспомнил, как летом ловил зеленоголовых оводов, присосавшихся к коровьим бокам, насаживал на стебельки травы и с сатанинской радостью смотрел, как оводы летят над лугом — с подрагивающей позади кисточкой травы,— летят до тех пор, пока не упадут мертвыми наземь.

Это желание убить неосознанно живет в ребенке с первых его шагов по земле, размышлял Христофор Михалушев. Вероятно, в ранние годы жизни оно вызывается стремлением к самозащите, но прежде всего — любопытством, жаждой познать окружающий мир. Едва научившись ходить, малыш наступает на пчелу (не ведая, что она может ужалить) и, наступив, берет ее в руки, чтобы прикоснуться к тайне прозрачных крылышек, которые звенят над ним и исчезают в небе. Уже подросши и поумнев, ребенок убивает залетевшую в комнату, жужжащую на окне пчелу — убивает, чтобы защитить себя от пчелиного жала. А в более поздние годы, когда человеческая душа походит на затвердевшую гипсовую отливку, которая едва ли может, не разбившись, принять иную форму, человек убивает пчелу, чтобы отомстить и доказать, что он сильнее ее и хитрей. Намазывая ножом мед на ломтик хлеба, человек в то же время разжигает костер перед ульем лесника на опушке акациевой рощицы и смотрит, как пчелы взлетают над огнем и мертвыми падают к его ногам. У него нет намерения уничтожить улей (лесник давал и будет давать ему мед), он просто-напросто хочет покарать пчел за то, что одна из них ужалила его сынишку. При виде сгоревших пчел гнев человека стихает. Он выплескивает в костер ведро воды, дым истончается, и над акациями вновь раздается жужжание. Человек удовлетворенно возвращается домой, шагает по комнате из угла в угол, и еще долго не угасает в его глазах мстительный огонек.

Всю свою жизнь Христофор Михалушев боролся с этим инстинктом. Пытался изгнать его из душ других людей и из своей собственной, но инстинкт, точно хищный зверек, пятился под его возмущенным взглядом и, словно загнанная в угол кошка, шипел. Учитель думал, что изгнал зверька из своей души, и, как ни вглядывался, не обнаруживал его следов даже в самых потайных ее уголках. Но когда он, спокойной рукой поставив будильник, ложился в постель, то чувствовал, как на подушке кто-то шевелится — легонько перемещает брюшко и коготями, точно простыню сбивает, комкает его сон. Учитель, затаив дыхание, вслушивался. Зверек понимал, что человек не спит, и на время затаивался...

А следующей ночью все повторялось сначала.

ОТЧЕГО БРОДИЛ ОН среди развалин села? Что приводило его сюда — воспоминания о прожитых годах или что-то иное побуждало его раскачивать шагами траву в покинутых усадьбах? Искал ли он что-то, упавшее между камней в тот час, когда он шел за нагруженной машиной, глядя, как потряхивает в кузове выцветшую мебель из его снесенного дома, или же просто приходил сюда любоваться цветами, которые пробились сквозь груды раскиданных кирпичей и цвели так весело и пышно, будто ровно ничего не стряслось?

Старого учителя и вправду влекли сюда воспоминания и цветы, но и еще кое-что удерживало его в родных местах: болезнь сына.

Когда односельчане принялись строить новые дома на окраине города, возле которого возводилась плотина будущего водохранилища, Христофор Михалушев тоже решил нанять мастеров. Он уже приобрел обширный участок возле главной улицы нового квартала — каменщики поставят в восточном углу одноэтажный домик в несколько комнат, а остальную площадь учитель и его сын Маккавей (других родных уже не осталось на свете) засадят виноградной лозой и цветами. Однако потом взяло его сомнение: слишком он стар, чтобы заниматься таким хлопотным делом, как строительство. Придется бегать, добывать цемент, кирпич, столярку, объясняться с мастерами, чей недельный заработок намного превышал его месячную пенсию. Будь Маккавей здоров, тот взял бы все хлопоты на себя, но Маккавей был болен, и хотя ему шел уже тридцать третий год, мальчик, как называл его отец, не имел ни сил, ни сноровки для такого трудного, надсадного дела. Сын учителя — давно уже взрослый мужчина — в душе оставался ребенком, со всей присущей детям наивностью и доверчивостью, с неожиданными, не подвластными рассудку порывами и поступками.

Двое братьев, переселенцев из дальнего горного села, подыскивали себе в городе участок, но найти подходящий непросто, да если и найдется, то стоит дорого, и, прослышав, что старик пока не решил, затевать ли ему строительство, они явились к нему. На участке не было ничего, кроме травы, да еще в одном углу цвел высокий куст бузины. Братья метр за метром все осмотрели, тяжело переступая большими ногами, обутыми в резиновые сандалии, потом обернулись на юг, и перед ними в низине поплыли красные городские крыши, выросла труба старой маслобойни, мелькнули рельсы железной дороги, а вдали выступили контуры горной гряды.

— Мы из Чупренова, слыхал когда про такое село? — обратился к учителю один из братьев, одетый в синюю рубаху с якорем на кармашке.

— Слыхал,— отвечал учитель.— Я в войну ездил в Митровцы дубить собачьи шкуры для обуви. Побывал тогда и в вашем селе.

— Братья мы, близнецы,— он кивком показал на брата, тоже в синей рубахе, от которого пахло сорванным цветком бузины.— Меня зовут Марин, его — Мирон. Раньше мы до того были схожи, что даже родная мать с трудом различала. Потом попривыкла: Мирон в детстве часто делал в штаны, они у него всегда были в желтых подтеках, а я вечно ходил с ободранными коленками. Только по этому нас и узнавала,— улыбнулся он.

Христофор Михалушев внимательно оглядел его, задержал взгляд и на брате, который ходил по двору, вертя перед носом осыпающийся зонтичек — цветок бузины. Сходство и впрямь поражало.

— Но ближе к делу,— продолжал Марин.— Мы пришли потолковать насчет участка. Если уступишь его нам, мы построим дом в три этажа: верхние для нас с братом, нижний — тебе...

Христофору Михалушеву это было выгодно (многие его односельчане тоже вот так договорились с переселенцами из горных селений и уже въехали в предоставленные им квартиры), но зная свою непрактичность в житейских делах, он решил прежде, чем дать ответ, подумать и посоветоваться с более сведущими людьми.

Несколькими днями позже близнецы уже тянули рулетку поверх травы, вбивали колышки, размечали киркой место для будущего фундамента и так радостно и возбужденно топтались на квадратном зеленом пространстве между колышками, будто уже подымались по лестнице построенного дома, чтобы взглянуть на приближающийся поезд или полюбоваться на гору, где на самой высокой вершине лежал глубокий, сверкавший на солнце снег...

Именно этим пейзажем любовался следующей весной Христофор Михалушев, стоя у окна на первом этаже нового дома, еще пахнув-

шего известью и масляной краской. Вокруг валялись доски, кучи глины, ржавые бочонки. Весь двор был перекопан, но трава опять пробивалась повсюду, затягивала раны земли, зелеными огненными язычками охватывала сваленные у ограды доски. Весенний ветер раздувал это изумрудное пламя, и учителю казалось, что к следующему утру от этих досок останется лишь горстка золы.

Жизнь начиналась заново — на чужом месте, среди чужих людей. Сверху отчетливо доносились их шаги, и учителя, привыкшего жить в одноэтажном домике и слышать над головой только потрескивание балок на чердаке да шуршание мышей в рассыпанных прошлогодних орехах, не оставляло ощущение (особенно по ночам), что на небе собираются тучи и вдалеке грохочут раскаты грома.

Он перевез из села свои пожитки, заполнил ими обе комнаты, прихожую и просторную кухню (вещи показались ему здесь еще более обветшалыми), повесил над умывальником новое зеркало — старое разбилось дорогой — и, оглядев свое новое жилище, понял, что всем завладела старая рухлядь. На фоне гладкой, сверкающей белизной стены еще темнее и старше выглядел орехового дерева шкаф, много лет украшавший прежний его дом; половики, которыми он застелил пол, показались ему выцветшими, будто они долго пролежали на солнце. Набитые книгами этажерки заняли пустое пространство у стен. Они тоже не внесли более свежих красок в приглушенную тональность старых вещей, но если что-то здесь радовало учителя, так это томики в облезлых переплетах, собранные им на протяжении всей жизни. С юных лет он никогда не расставался с ними.

Он обводил взглядом старые стулья, столы, буфет с потрескавшейся белой краской, где за стеклом виднелись пыльные рюмки, к которым уже бог весть сколько лет никто не притрагивался, и думал о том, что самым разумным было бы расстаться со всем этим старьем. Мебель отслужила свое, ее источил древоточец, она обветшала, как ветшает одежда. Попробуй надень теперь короткий, неприталенный пиджак с узкими лацканами! Будь он даже из самой лучшей материи, ты вызовешь лишь сострадательные улыбки... Точно так же и с мебелью. Продать бы ее по дешевке или просто подарить кому-нибудь, лишь бы убрать эту рухлядь с глаз долой. Подыскать что-нибудь поновее, не хватит денег — взять в долг. Одно дело, когда в доме пахнет свежей политурой и ты, точно в зеркало, смотришься в отполированную поверхность, скажем, шкафа, только-только доставленного из магазина, и совсем другое — видеть, как от твоих шагов шатается и трещит древняя громадина из орехового дерева и в ее щелях серебрится паутина...

Так рассуждал учитель и был прав — ведь новая вещь пробуждает в человеке более бодрые мысли, а бодрые мысли означают надежду, и душа, отдав себя им во власть, старится не так быстро.

Несмотря на это, Христофор Михалушев любил глядеть на свой старый шкаф, к которому привык как к человеку, любил открывать его створки, слушать их скрип, вот уже много лет одинаковый, и разглядывать пустые плечики, на которых в былые годы висели платья жены — вот тут розовое, тут бежевое в коричневый цветочек, а тут матросский костюмчик Маккавея, в котором мальчик в первый раз пошел в школу. А сверху, на пропыленные теперь доски шкафа, под пасху ставили куличи. Не было для Христофора Михалушева ничего сладостнее запаха ванилина, лимонных долек и зернышек миндаля, который разносился тогда по всему дому и на всю жизнь остался для него ощущением праздника, ликования, церковных колоколов и цветущих деревьев.

Привычный запах былых праздников уже повыветрился из ореховых досок, но учитель знал, что он не исчезнет вовсе: если дерево

и не сумело сохранить его, то нечто другое пронесет его сквозь годы — память человеческая.

«Надо будет заглянуть в мебельный магазин. Наша рухлядь нагоняет тоску...» — подумал он и тут же почувствовал, как душа противится такой мысли.

Поэтому, верно, всегда и находился повод повременить с покупкой.

Однако эту проблему решить было не так уж сложно. Возникли другие трудности, которых он никак не предвидел. Он с самого начала условился с братьями, что они займут половину участка, а вторую оставят ему, там он посадит вьющийся виноград и цветы, но в один прекрасный день «англосаксы», как он в шутку их называл, принялись перекапывать весь двор. Они срезали траву лопатами, вгрызавшимися глубоко в землю под напором их тяжелых ступней, переворачивали комья и, поплевав на ладони, подступили уже к ограде. Учителю осталось только крохотное, в несколько шагов, пространство у самой лестницы.

— Что вы делаете? — обратился к близнецам Христофор Михалушев, выйдя на крыльцо.— Мы ведь по-другому договаривались!

— Договаривались по-другому, но так будет лучше,— ответил один из братьев, то ли Марин, то ли Мирон.— К чему оставлять полдвора под травой, когда можно весь его засадить стручковым перцем и помидорами? Хочешь — тоже пользуйся, никто тебе слова не скажет.

— Но ведь мы в городе. Для городского двора больше подходят цветы и виноград,— попытался возразить учитель.

— Пускай в городе, но мы-то все равно крестьяне, охота была выстаивать в очереди за овощами, когда и сами можем вырастить свежую зелень — без минеральных удобрений, без всяких там гербицидов, так, что ль, они называются?

— Тогда уж заводите и курятник!

— А что, и заведем! В два счета поставим вон в том углу сараюшку... Вчера жена пошла в лавку, глядит — на прилавке одни только шеи цыплячьи. Продавец говорит: «Замечательный из них суп получается». «Сам жри этот суп! — огрызнулась моя.— Мне подавай ножки!» «Я бы и сам от них не отказался,— отвечает,— да их лиса унесла...» Хитер, черт! Но больше я в магазины ни ногой... Разведем, стало быть, петухов, да таких голосистых, что во всем городе будет слыхать...

Христофор Михалушев понял, что ему с этими людьми не совладать. Он смирился (братья уступили ему еще клочок земли), посадил цветы, а один приятель из Горно Церовене — Йордан Стефанов, знаменитый на все поречье виноградарь,— привез ему саженцы гамбургского муската и шаслы, которые учитель посадил у крыльца. И когда проклюнулись зеленые листочки, ощутил такую радость, какой давно уже не испытывал.

Стручковый перец тоже зеленел длинными рядами, помидоры покачивали на грядках своими зазубренными листиками, а братья таскали доски в северный угол двора, пилили, размечали место под будущий курятник.

Выходит, бывшие жители села Чупренова слов на ветер не бросали. Вскоре Христофор Михалушев и его сын станут просыпаться от горластого петушиного пения...

Приходилось привыкать к повадкам посторонних людей, которые чувствовали себя в доме уже полновластными хозяевами. Желая со-

хранить мир, Христофор Михалушев терпеливо сносил все: привычку выбивать половики над самым его окном поутру, когда он еще лежал в постели и вся пыль летела к нему в комнату; звонки детских велосипедов как раз после обеда, когда он ложился отдохнуть; визг пилы под вечер, когда он садился за газеты или раскрывал книгу. Лето только-только началось, а братья готовились к зиме, кололи дрова и мыли под краном во дворе стеклянные банки, звякая металлическими крышками для консервирования.

Он уже научился различать близнецов. Хотя они были на одно лицо, наблюдательный глаз учителя подмечал особенности походки, жестов. Марин был помягче, сговорчивей брата. А вот с Мироном — у кого была стесана верхушка правого уха — трудно было найти общий язык. Говорили, что он в армии служил в одной роте с турками из Делиормана. По примеру деревенских гуляний и празднеств турки и в казарме свободное время отдавали состязаниям в силе. В схватке с самым умелым из делиорманских борцов Мирон и пострадал — положенный на обе лопатки делиорманец откусил у него кончик уха. Так никогда прежде не знавший поражений силач пытался отомстить за свой первый в жизни позор.

Приколотив к курятнику последнюю доску и водворив туда цыплят, которые пищали целыми днями и все норовили улизнуть через какую-нибудь щелку, близнец с укороченным ухом взялся за Маккавея. Он смотрел, как тот рассеянно бродит по улице, как садится на детский велосипед его шестилетнего сынишки — колени торчат высоко над рулем, как ловит на поляне бабочек и, если случится поймать, долго рассматривает ее узорчатые крылышки. Победитель делиорманского силача слыхал от соседей, что малый, как называли все Маккавея, болен, но чем болен — он не расспрашивал, и без того ясно, что у учительского сына «не все дома» (как выражался Мирон, когда в семье заходил разговор об обитателях первого этажа).

Пока стояли в цвету деревья, да и позже, когда уже созрели первые черешни и выцвели на июньском солнце колосья ячменя, Маккавея почти не было видно на их просторном дворе. Если он когда и выходил перекопать цветочные клумбы или полить их, то делал это бесшумно, боясь потревожить соседок, которые резали на кухонных балконах лук или вышивали наволочки, предназначенные для супружеских спален. Вернувшись к себе, он брал с этажерок отца какую-нибудь книгу. Предпочитал он те, где описывались путешествия, и любил читать их неторопливо, вдумчиво, чтобы живо представить себе созданные автором картины, понаблюдать за парусами, если речь шла о корабле, вслушаться в каждое слово, надеясь словно воочию увидеть, как всплывает из пучины огромная серая спина кита, а над ним взлетает фонтан океанской воды... Но вдруг на самом интересном месте Маккавей откладывал книгу и, сунув ноги в сандалии, бежал к холму, где были заброшенные виноградники и над оставшимися кое-где лозами высились уже начинавшие редеть черешни. Он влезал на дерево и, крепко упершись ногами в ветки, набирал в соломенную шляпу самых спелых ягод, которые он срывал попарно, чтобы можно было нацепить на уши, как сережки. Вернувшись в город, он угощал черешнями всех встречных ребятишек. Некоторые хватали ягоды целыми пригоршнями и с жадностью проглатывали вместе с косточками, другие, выбрав несколько парных ягодок, тоже нацепляли их на уши, как этот странный дядя, и весело бежали за ним. В закатанных до колен штанах, с приплюснутой от шляпы рыжей шевелюрой и мелкими точечками веснушек на щеках, которые поблескивали на солнце, как слюдяные чешуйки, Маккавей шагал мимо новостроек окраины и позволял ребятне не только щекотать его под мышками и забавляться тем, как он смешно подпры-

гивает, но и садиться на него верхом да еще подгонять, шлепая его по бокам пятками... Ребятишки сменялись — один соскочит, другой заберется ему на спину, а рыжий конь ступал медленно и осторожно, чтобы непоседливые всадники не хлопнулись наземь. Матери в окно или с крыльца провожали глазами веселую ватагу. Одни улыбались этому карнавальному шествию, другие кричали детям, чтобы немедленно шли домой, и строго выговаривали им за неразумие — можно ли водить дружбу с этим ненормальным? Особенно невоздержанно бранилась жена близнеца, одержавшего победу над силачом-турком. Она выбегала на улицу — крупная, с железными бигудями в волосах, с дряблым телом, еле вмещавшимся в желтый цветастый халат, и, ухватив сына за воротник, принималась колотить по чем попало. Черешневые сережки падали на землю, она наступала на них, и ее визгливый голос дробил слова на части, как будто ее трясла лихорадка.

— Сколько раз тебе говорено, чтоб дома сидел, а? Кто тебе разрешил забираться на спину этому полоумному? А если он взбесится да побежит к ямам, где известь гасят — мало ли их тут,— да и скинет тебя туда? Мне потом всю жизнь так и глядеть на твою сожженную рожу, а?

Мальчик с посиневшими от трепки ушами молчал, хотя ему очень хотелось сказать: «Что кому плохого сделал этот Маккавей? Он раздал нам все свои черешни и позволяет ездить на нем верхом, потому что ему хорошо с нами, он нас любит...»

— А ты знаешь, что безумие — хворь прилипчивая? — продолжала вопить мать.— Вдруг и ты завтра начнешь вот так же слоняться по улицам, вдруг тоже умом тронешься, возьмешь да еще дом подожжешь. Что мы с отцом твоим делать будем, бездомные?.. Из сил выбивались, куска недоедали, только бы крышу над головой заиметь, а ты вон что!

Мальчику не верилось, что он тронется умом, но в эту минуту, когда щеки горели от материнских оплеух, ему хотелось, чтобы это непременно случилось, и как можно скорее, чтобы хорошенько отомстить матери. «Вот возьму и вправду подпалю дом, тогда будет знать...»

Освободясь от безжалостной материнской руки, мальчик поправлял помочи штанишек и молча брел домой, затаив в сердце невысказанную угрозу.

Маккавей уходил тоже, держа в руках соломенную шляпу, похожую на опустевшее гнездо. Уходил в одиночестве, покинутый остальной ребятней — они слышали слова разъяренной соседки и теперь опасливо разбегались по домам. Маккавей садился на порог, слезы подступали к глазам, но гудок дневного поезда отвлекал его, и он смотрел сквозь ветви деревьев, как мелькают вагоны с опущенными окнами, видел руки людей, облокотившихся о них, развевающиеся занавески, и их веянье, легким ветерком долетавшее от железной дороги, высушивало его слезы...

Когда наступало лето и в созревшей пшенице за рекой пение перепелов звучало глуше, словно с трудом пробиваясь сквозь густые стебли, Маккавей не мог усидеть дома. Непонятное беспокойство охватывало его, сердце сжималось словно в предчувствии беды, глаза мутнели. Он в кровь разбивал ноги на каменистых окраинах города, где целыми днями бродил в одиночестве, потому что мальчишки теперь убегали от него, а взрослые проходили мимо с насмешкой или жалостью во взгляде. Раскаленная земля обжигала босые ступни, летний зной плотными жаркими волнами разливался по всему телу. Его

уже не манило порханье бабочек, которых становилось теперь все меньше. Нечто иное, редко замечаемое взрослыми, приковывало его внимание: телеграфные столбы. Выстроившись бесконечной шеренгой, будто шагающие к горизонту люди, телеграфные столбы привлекали его не только своим пылким устремлением навстречу огромному, неведомому миру, но и звоном проводов, казавшимся ему музыкой большого, спрятанного где-то за холмами оркестра. Прильнув ухом к почернелому столбу, обжигавшему щеку разогретой солнцем древесиной, Маккавей слушал музыку неведомых просторов, которая исходила из самой сердцевины дерева. То были голоса вокзалов, где негромко, с большими промежутками, бил колокол; то был шум пенистых волн, которые разбивались о скалистый берег, или же шаги невидимых людей, как бы испепеленных летним солнцем, так что только эхо носилось в воздухе... Наслушавшись голосов одного столба, Маккавей переходил к следующему. Прижавшись к нему ухом, он чувствовал, что прикасается к совершенно иному миру. В этом столбе все звуки были нежнее и тоньше и тише — словно где-то вдали звучала скрипка прекрасного музыканта, но смычок еле касался струн, и мелодия долетала до Маккавея как бы порывами — одни музыкальные фразы были звучны и отчетливы, другие еле слышны, будто ветер разрывал паутинку мелодии и уносил ее поблескивающие нити в бесконечность...

Так переходил он от столба к столбу, пока солнце садилось за гору, и никогда не достигал горизонта — тот, пятясь, отступал все дальше и дальше.

Маккавей брел домой — исцарапанный колючками и камнями, со сжавшимся от дурного предчувствия сердцем, но в ушах продолжала звучать мелодия телеграфных столбов. Закатное солнце удлиняло его тень, и она шла за ним следом как единственный друг — то торопливая, когда он ускорял шаг, то медленная и задумчивая, словно ей тоже хотелось вспомнить пережитое на том холме, где в пламени заката телеграфные столбы казались совсем крохотными и черными.

Завидев Рыжеволосого, ребятишки новоиспеченных горожан высовывали из-за оград выгоревшие на солнце головенки и с насмешкой смотрели на него, а те, что посмелее, выбегали из ворот и, оставив одну створку открытой — для отступления, если придется удирать,— орали:

— Гляди, гляди, полоумный идет! Полоумный!..

— Полоумный! Полоумный! — доносилось то из-за одной, то из-за другой ограды. Выгоревшие детские хохолки с наглой издевкой торчали над оградами и мгновенно прятались, едва их касался помутневший от июльского зноя взгляд Маккавея.

Рыжеволосый босой человек молча шел по улице, будто не слыша слов, которые точно камни били его по спине. Он проходил мимо — не столько уязвленный, сколько опечаленный: всего лишь месяц назад те же самые дети дружески подбегали к нему, садились верхом, и он, как послушный конь, чувствовал на своих боках их острые пятки. Что же произошло, отчего они с такой враждебностью преследуют его?

И снова слышал вопли их матерей:

— Да вы что же, опять с полоумным связались? Не видите, солнцем его напекло, сейчас у него на губах пена выступит!

Некоторые ребятишки возвращались в дом, но другие, кто посильней да поуверенней, выбегали на улицу и подкрадывались к Маккавею, словно готовясь, как рысь, прыгнуть на него и вонзить ему ногти в шею.

Он терпеливо сносил и это, однако наступало мгновенье, когда глаза застилал мрак. Он слышал, как с резким звоном рвутся провода на телеграфных столбах. Провода нависали над ним, сплетались в тесную петлю и сдавливали горло. Он задыхался, из груди выры-

вался вопль, он изо всех сил пытался ослабить стальной аркан, но безуспешно, петля только слегка сдвигалась, чтобы пропустить его стон.

И тогда женщины шумно захлопывали двери и окна. Дети удирали по тротуару, мертвенно-бледные от страха. Клочок мальчишеской рубашонки, до которой дотянулась рука Маккавея, оставался в его трясущихся пальцах, а детский велосипед, на котором сынишка Мирона пытался сбить Рыжеволосого с ног, с треском ударился о стену дома напротив, и колеса с расплющенными крыльями разлетелись в разные стороны...

Однажды вечером к Христофору Михалушеву пожаловали гости. Они постучались, а когда учитель открыл дверь, накинув поверх пижамы первое, что попалось под руку,— он уже собирался лечь,— то увидел перед собой четырех своих односельчан, теперь тоже перебравшихся в город, их дома стояли у подножья холма. Гости разулись в передней, попросили прощения, что беспокоят в такой поздний час, и подсели к столу. Было ясно, что пришли они не проведать учителя, а по делу, но из разговора, какой они повели, было трудно заключить, в чем оно состоит. Сначала потолковали о погоде: такая засуха, все небось сгорит, а в районе Златии выпал град и от кукурузы и подсолнуха одни стебли остались. Потом зашла речь о воде — по слухам, введут лимит, колонки будут давать воду только ночью, часа два-три; затем перешли к солнцу — говорят, были большие вспышки, а это действует на нервную систему и на сердце, на днях один человек только сошел с поезда и р-раз — упал прямо на перроне и кончился, инфаркт... Учитель слушал, уже догадываясь о цели позднего визита. Едва гости завели речь о вспышках на солнце и больных нервах, он понял, к чему они клонят.

— Ты уж прости, Христофор,— проговорил самый старший из них, приземистый человек с испитым лицом и темными ладонями, будто обожженными солнечными вспышками, о которых только что толковали.— Мы с тобой одногодки, а вот их,— он показал на сидевших рядом мужиков, державших на коленях свои кепки,— ты учил читать и писать. И моих сыновей тоже ты учил. И внуков. Ты знаешь, что все мы тебя уважаем, потому что ничего, кроме хорошего, от тебя не видели. Знаешь, что мы любим Маккавея, ты на него надеешься, как на опору в старости, раз уж других родных не имеешь, но все мы обманываемся насчет своих детей...

«О Маккавее заговорил. Должно быть, весь город уже прослышал о его нервных припадках...» — подумал учитель.

— Мы знаем Маккавея еще вот этаким, рос вместе с нашими детьми,— продолжал старик,— вместе в школу пошли, вместе в гимназии обучались. Нету среди наших односельчан человека, который не любил бы его как родного сына. Вот и беспокоит нас то, что говорят про него...

— Болезнь его обострилась,— сказал учитель и, посмотрев старику в глаза, прочитал в них сочувствие.— Я думал, он выздоровел, но как настала жара, он начал буйствовать. Дети дразнят его, называют полоумным. Он терпит, а переполнится чаша терпения — срывается...

— Мы это понимаем и помалкиваем, из наших никто словечка против него не скажет, но другие пойдут жаловаться. Бабы — небось знаешь их — подливают масла в огонь: «Он нам детишек поубивает!» Сводил бы ты его в больницу. Авось и помогут...

— Были мы с ним в больнице. Там осмотрели его и сказали: «Мы дадим ему лекарство, он успокоится, но если не убрать раздражители, все начнется сначала. Надо сменить обстановку: другая при-

рода, другие люди, а лучше бы и вообще без людей, чтобы никто не раздражал его. Пусть займется каким-нибудь делом, которое будет ему по душе, увлечет его, пусть побольше гуляет и ничто не травмирует его...» Все это прекрасно, думаю, но где найти такое местечко при моей учительской пенсии? Куда мне его повезти?

— Слушай, я вот подумал про тот домишко на берегу Огосты, где когда-то жил сторож при огородах. Не знаю, правда, достаточно ли он крепок, не сгнила ли от дождей крыша? — старик повернул к нему освещенное лампой лицо, сверкнул тонкий, обтянутый кожей хрящеватый нос.

— Дом крепкий! — подал голос один из гостей.— Я вчера ходил нарубить ивовых веток и заглянул туда. Только побелить стены да вставить стекла...

На берегу Огосты и впрямь стоял такой домик — учитель совсем забыл о нем. Он ожил в его сознании, только когда гости, пришедшие поделиться с ним своим беспокойством, уже шагали по улице и уличные фонари то удлиняли их тени, то укладывали под ноги, и они ступали по ним, как по горсткам золы. Учитель мысленно увидел окруженный ветвями ив домик, разъеденную дождями дымовую трубу, берег Огосты, местами заросший вьюнком и крапивой, местами подрытый водой; увидел речные омуты, подернутые прозрачной рябью, где он мальчишкой удил рыбу и, засыпая, слышал, как вода тихонько журчит в протоках, отдаваясь эхом в подводных ямах, над которыми свисали красные корни ивы...

В КОНЦЕ ИЮЛЯ, КОГДА ЖАТВА уже подходила к концу и на пустом жнивье все еще разносился стрекот кузнечиков, сухой и резкий, как треск стерни под ногами, Христофор Михалушев и его сын переселились в пустующий дом на берегу Огосты.

Дом состоял из двух небольших комнатушек, к нему примыкал открытый сарай, где под навесом чернели раскиданные ящики и жерди, в углу валялась изгрызенная мышами резиновая тапка. Штукатурка на стенах вся потрескалась от дождей, окна стали серыми от пыли, разбитые стекла затянуло паутиной. Кроты рыли вокруг дома землю, и при виде того, как шевелятся насыпанные кротами горки, одна возле другой — рыхлые, маслянисто-черные,— учителю казалось, что дом стоит на осыпи и будет медленно, день за днем, погружаться в нее, пока кровля не сровняется с землей и в щели между черепичинами не пробьется трава. Но когда поляна перед домом огласилась стуком топора, которым учитель обтесывал сук, чтобы починить стреху, когда сухой пырей зашуршал под ногами сына, собиравшего щепки на растопку, кротовьи норы застыли недвижно, и острые их макушки побелели, затерялись в выцветшей от зноя траве, став одинакового с ней цвета. А спустя несколько дней кроты, спугнутые человеческими голосами, и вовсе исчезли, земля затвердела, и ноги, прикасаясь к ней, вновь ощущали надежность, которую не могли нарушить ни скрип порога, ни потрескивание черепицы, когда учитель ходил по крыше. Ребра стропил слегка прогибались под ним.

Побелили комнаты, вставили стекла, запахло известью — тонко и свежо, будто дом переоделся в чистую рубаху. Затопили печь. Запахло сгоревшей травой (ею был разожжен огонь), послышалось попискиванье полена, в котором стонал древоточец, затрещали кирпичи в разогретом дымоходе, дом словно задышал — медленно, щурясь на солнце, вдыхая аромат медовки, доносившийся с затененной стороны холма, и сладковатый запах рыбы и ряски, шедший от разогретых протоков Огосты.

Христофор Михалушев заметил вдалеке человека. Он шел не по дороге, а через поле. Раскаленный воздух дрожал над жнивьем и над порыжевшими от зноя нескошенными лугами. Стрекотали кузнечики — мерно, гулко, с неумолимым упорством,— и старому учителю казалось, что над поречьем мерцает не марево, что это стружки от металлической песни кузнечиков — тонкие, острые стружки, взметенные в небо внезапно налетевшим вихрем, которые теперь медленно оседают, кружа, и щекочут горло.

Человек, который шел через поле, уже приближался к излучине. Он смешно подпрыгивал, ускоряя шаг, в особенности между протоками, где сверкали, как жидкое стекло, песчаные наносы. Учитель вгляделся, пытаясь охватить взглядом расплывающийся в знойном мареве силуэт, и различил человека среднего роста, без шапки, с потемневшим от жары лицом, на которое свисают ржавые, свалявшиеся волосы, в рубахе нараспашку и закатанных до колен холщовых штанах, с черными, тонкими и жилистыми, как у лошади, ногами. Он понял, что это его сын. Тот пересек раскаленные песчаные наносы и долго умывался у переката, но это, видимо, не остудило жара, и он, как был, в одежде прыгнул в воду. Рубаха вздулась, потом прилипла к лопаткам, под намокшими штанинами обрисовались бедра. Он выпрямился. Стройное тело, двигавшееся теперь успокоенной от прохлады походкой, минуту спустя задымилось на солнцепеке, как от огня. Сверкнула рыжая шевелюра, обрисовалась мокрая борода, облепившая загорелые щеки. В первое мгновенье учитель обрадовался, но затем сердце тревожно екнуло, Отчего сын возвращается в полдень, в самое пекло? Отчего так спешит?

Рыжая шевелюра Маккавея дымилась, будто охваченная пламенем, и погасла лишь тогда, когда его укрыла тень от стрехи. Опустившись на один из ящиков, он ощутил спиной прохладную шероховатость стены, а в ушах шум реки вытеснил невыносимое скрежетанье кузнечиков и проложил дорогу еле ощутимому ветерку, принесшему с собой запах сохнущего льна и ивовых листьев.

— Я ведь купил тебе соломенную шляпу, почему не носишь? Солнце печет немилосердно...— Отец взглянул на него и увидел, что ступни Маккавея разодраны в кровь стерней, по которой он прошел.— И сандалии у тебя есть... Посмотри, что у тебя с ногами...

Маккавей не ответил. На белках глаз проступили красные прожилки, взгляд помутнел, и старик понял, что сыну плохо, болезнь опять берет свое.

— У самой плотины стоит на якоре корабль,— сказал Маккавей, когда почувствовал, что рубаха, высохнув, отлипает от плеч и ветерок слегка раздувает ее.— Матросы затягивают на палубе болты и опробывают мотор.

— Корабль? — взглянув на него, отец увидел в глазах Рыжеволосого нависшее над всем поречьем марево — плотное, как клочья сажи, летящие над спаленной стерней.— Придет время, будут здесь и корабли, но пока что как они могут плыть по каменистой стремнине?.. Может, это землеройная машина какая-нибудь?.. Я слышал, что воду хотят отвести до самой Златии... Вероятно, и привезли сюда такую машину...

— Это корабль! — настойчиво повторил Маккавей, прислушиваясь к долетавшему издалека тарахтенью, которое подскакивало в воздухе, с металлическим звоном падало на камни речных отмелей и вновь взмывало над пепельно-серыми купами прибрежных ив.— Я видел винт. Он взрезает воду и выбрасывает песок. Только мачта еще не поднята. Высотой она будет, наверно, с тополь, что возле заводи...

— А может, и еще выше! — сказал учитель.— Я видел трехмачтовые океанские суда — мачты гладкие, как полированная слоновая

кость. Сидишь и слушаешь, как играет в них ветер. А в пене за винтом резвятся дельфины...

Отец придумывал эти корабли, потому что не хотел перечить сыну, ему казалось, что рассказ про океанские суда развлечет Маккавея. В действительности же не довелось ему особенно пострансствовать, если не считать годы военной службы, но эти годы прошли на железнодорожных станциях и в пропахших конской упряжью армейских конюшнях. Море очень ненадолго предстало его глазам, когда однажды летом в каникулы (дело было еще до войны) он повез на экскурсию в Варну учеников последнего класса начальной школы... Он увидел море сквозь пыльное окно вагона — серое и неприветливое, так как день выдался пасмурный,— увидел его сквозь трубы закопченных зданий, и таким оно сохранилось в памяти на всю жизнь, потому что в те три дня, что он провел с учениками в Варне, он так и не успел полюбоваться морем — из-за случившейся беды. Один из мальчиков исчез — утром, когда собрались идти в приморский парк. Как сквозь землю провалился... Дети разглядывали в аквариуме рыб, толпились возле морских черепах, но этот впервые увиденный ими мир не радовал их, потому что мысли были заняты потерявшимся соучеником. Уж не убежал ли он в порт, не упал ли с волнолома? Долго ли неопытному мальчишке — помашет руками и ногами, побарахтается, наглотается воды и уйдет на дно...

— По вечерам на океанских кораблях играет оркестр. Знаешь, какая это красота, когда на мачтах загораются разноцветные лампочки,— продолжал фантазировать отец, никогда в жизни не видевший таких кораблей.— Одни пассажиры танцуют на палубе, другие прогуливаются и смотрят, как светятся на горизонте огоньки, третьи плавают в бассейне. На таких кораблях есть бассейны, мой мальчик. Поплаваешь, сядешь выпить кружечку пива и слышишь, как в пене за бортом плещутся дельфины.

Он рассказывал о кораблях, а сам вспоминал потерявшегося в Варне мальчишку.

Ночевали дети в классе, откуда парты вынесли в коридор,— они спали глубоким, спокойным сном, как спят только дети, а к нему сон не шел. Ненадолго забывшись, он видел мальчика лежащим на песке, у него голубоватое и прозрачное, как у медузы, тело, лицо облеплено водорослями... Учитель вставал, велел ученикам никуда без него не отлучаться и шел на поиски — небритый, измученный бессонной ночью, дома́ перед глазами раскачивались и, казалось, готовы были обрушиться и похоронить его под собой.

На третьи сутки, вечером, когда он в отчаянии возвращался из милиции, где ему сказали, что пропавшего мальчика все еще не нашли, он увидел, что тот сидит на лестнице у входа в школу. Сидит (вероятно, не решается войти внутрь), разрезает кусок арбуза и сосредоточенно жует. Учитель так обрадовался, что у него подкосились ноги, но одновременно душу захлестнул гнев на негодника, испортившего всем эту долгожданную экскурсию. Он тихо подошел (мальчик даже не услышал) и замахнулся, чтобы влепить затрещину. Впервые в жизни ощутил он потребность кого-то ударить, накричать, ему казалось, что это подействует на него очищающе, как внезапно хлынувший ливень, смоет мутный осадок этих трех кошмарных дней и ночей. Замахнулся — и в тот же миг со стороны порта донеслась пальба. В небо взвились разноцветные ракеты, они взрывались, раскрывая чаши своих фантастических цветов. Освещенная этими огнями, его рука безвольно опустилась. Заиграл оркестр, и среди множества инструментов отчетливее всех слышались призывные звуки труб.

Начиналась «венецианская ночь».

— «Венецианские ночи»... я никогда не видел ничего прекраснее,— продолжал свой рассказ отец.— Вообрази себе наше поречье, все освещенное ракетами, в августе, когда начинается звездопад. Падают ракеты, падают звезды, переплетаются между собой, все это отражается в воде, и среди этих огней плывут корабли...

Рыжеволосый слушал, уставясь перед собой неподвижным взглядом, и видел белые, украшенные цветными флажками корабли. Они сверкали, осыпанные небесными искрами, а когда ракеты гасли, исчезали из виду, и тогда в воздушном просторе плыла только музыка, которая в отличие от корабельного винта не оставляет за собой следа, а растворяется, уходит в воду...

— Когда сюда приплывут корабли, здесь тоже устроят такую вот «венецианскую ночь». Мы поднимемся с тобой на палубу (ты наденешь белый костюм), займем самые лучшие места, возле оркестра, корабельный винт завертится, в воздух взлетят ракеты, и когда мы уйдем далеко в глубь водохранилища, ты скажешь мне: «Папа, сейчас мы проплываем над школьным двором. Слышишь звонок?» — «Слышу!» — отвечу я в шутку, но, прислушавшись, и впрямь услышу его трели — тихонькие, словно это зажужжала пчела, и ее голосок пробивается сквозь толщу воды. Потом я скажу тебе: «А сейчас мы плывем над нашим домом. Видишь шелковицу у сеновала и яблоню, на которую ты так любил забираться?» — «Вижу! — ответишь ты.— Яблоня зацвела, а у нее в дупле высиживает птенцов синица...»

— Но ведь кошка сожрала синицу, папа?

— Да, мой мальчик, но когда ты вспоминаешь о ней, разве не видишь, как она по-прежнему порхает над дуплом?

— Вижу. У нее в клюве гусеница...

Блуждающий взгляд Рыжеволосого отыскивал синицу, но птица пряталась среди его воспоминаний, как в доме, где все в беспорядке раскидано. Синица пыталась упорхнуть в окно, но стекло преграждало ей дорогу, и она, трепеща, падала на ладонь Маккавею. А старик отец не замечал синицы, его мысли были заняты иным. Он слышал, как поскрипывает под ним полка вагона, который везет детей после той злополучной экскурсии. Негодник, пропадавший трое суток, сказал, что случайно встретил на улице родного дядю и поехал с ним в Балчик — думал побыть только до вечера, но двоюродные братья уговорили остаться переночевать, дядя попросил одного знакомого предупредить учителя, да тот вроде бы никого в школе не застал... Учитель слушал его ровный голос, прерываемый стуком колес на стыках рельсов, понимал, что мальчишка лжет, но уже не испытывал гнева. Все окончилось благополучно, тревога в душе затихла, и он смотрел в окно вагона на высокие крыши, над которыми продолжали через долгие промежутки рассыпаться искры фейерверка. Крыши на миг вспыхивали, приходили в движение, тени дымовых труб догоняли друг дружку, из их черноты стремительно, точно выпущенные из невидимого дула, взлетали в небо ослепительно белые чайки и секундой спустя таяли в ночи...

Морской праздник, на котором учитель так и не побывал, продолжался, но огни его становились все реже, он отступал все дальше и дальше, пока не исчез совсем — в беспредельности, в царстве непроглядной тьмы...

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА с сыном Христофор Михалушев поднялся на холм, откуда было видно плотину водохранилища. Возле еще не завершенной серой громады, перегородившей

реку, среди окутанных клубами пыли самосвалов, от которых по всей долине шел гул и грохот, он увидел высокую, с трехэтажный дом, машину, действительно похожую на корабль. Она была стального цвета и сверкала на солнце. Поскольку она находилась далеко и широкой своей частью была повернута к плотине, он мог рассмотреть только один ее борт. Там были узкие, в три ряда оконца, над ними широкая палуба, по которой двигались люди в матросских тельняшках, что-то тянули — вероятно, закрепляли канатами мачту своего сухопутного корабля, как мысленно назвал учитель эту машину.

Корабль стоял на якоре в маленьком озерке, которое без труда переплывет даже самый неумелый пловец из здешней детворы, и, казалось, был захвачен в плен песками. Впрочем, это только казалось: внимательно приглядевшись, Христофор Михалушев заметил, что серый корпус машины подрагивает от гула моторов и медленно продвигается вперед, к холму, отдаленному от нее по меньшей мере на километр, что корабль шаг за шагом преодолевает это пространство, долбя речное русло и выбрасывая перед собой плотную струю воды вперемешку с песком и камнями.

Необычным был этот корабль для поречья, где берега наполнялись глубокой, не проходимой вброд водой лишь во время больших весенних паводков, а в остальное время года, особенно летом, река мелела и можно было, даже не разуваясь, перейти по камням с одного берега на другой.

Железная махина с искрящейся на солнце мачтой, с широкой палубой, по которой по-прежнему двигались люди в тельняшках, с гудящими моторами говорила учителю о том, что близится конец пасторальному покою, все еще разлитому по котловине, несмотря на грохот самосвалов и громкие возгласы строителей. Близится конец и виноградникам на том берегу, где по весне сновали с опрыскивателями крестьяне и за каждым из них следовало по пятам синеватое облачко; близится конец железнодорожной насыпи, с которой уже сняли рельсы, но линия еще проглядывалась, сохранив светло-серый цвет щебенки там, где прежде лежали шпалы — эти полосы исчезнувшей железной дороги чем-то напоминали полоски на тельняшках, которые мелькали сейчас на палубе.

Приближался час большой воды, нового пейзажа, к которому предстояло теперь привыкать: отраженная в водохранилище гора, зеркальное небо с короткими восходами и долгими летними закатами, безмятежно отсвечивающие в воде звезды, которые лежат под веслами лодочника, и он, если вздумается, может проложить между ними свой извилистый путь. Предстояло привыкнуть к волнам, которые в ветреную погоду будут вздыматься — плотные, темные, с пенистыми краями — и с грохотом разбиваться о скаты берегов; придется привыкнуть к крикам чаек, неведомыми путями проведавших про новый водоем и прилетевших сюда от самого моря — глаз будет любоваться их полетом, особенно в ненастье, когда чайки на темном фоне неба кажутся ослепительно белыми; привыкнуть к тому, что в тихую погоду, когда вода прозрачна и там, где помельче, проглядывает дно с еще сохранившимися проселками и еще угадываются колеи от телег, водную гладь будут бороздить лодки...

Пейзаж менялся — медленней на глазах, быстрее в воображении,— и огромная машина среди песков, со своими мачтами и глухим рокотом, пенившим позади нее воду, со снующими по палубе людьми говорила учителю, что час большой воды медленно, но неуклонно приближается.

Вернувшись домой, он сказал Маккавею:

— Я видел машину, о которой ты говорил. Это не корабль, а драга — ее, наверно, доставили сюда, чтобы углубить дно водохрани-

лища, где будет выситься башня. У нее нет заостренного носа, как у теплоходов, и корма у нее другая, но, глядя, как держится на воде ее огромный корпус, как она метр за метром подступает к холму, я подумал о том, что скоро наступит время, когда и мы с тобой наденем тельняшки, как те люди, что сейчас расхаживают по ее палубе. Ты молодой, можешь выучиться на капитана или будешь плавать по озеру на лодке, а меня, как знать, может, возьмут сторожем на один из причалов, где курортники летом будут оставлять свои лодки... Представь себе: сижу я на берегу, покуриваю, а на другом краю водохранилища, где когда-то проходил поезд, мчатся наперегонки яхты... В ту злосчастную мою поездку в Варну с учениками я видел состязание парусных лодок в заливе возле порта. Ветер так надувал паруса, что лодки кренились, и я думал: еще мгновение — и они перевернутся. Но думал я так потому, что понятия не имел, как управляют яхтой. А сидевшие под парусами были опытными моряками, и ветер покорялся их рукам. Яхты описывали широкие дуги и долго-долго летели, накренившись, потом выпрямлялись и прыгали на волнах, как девочки,— ты, наверно, видел, как они прыгают через веревочку...

Все, что рассказывал отец, было интересно, но Маккавею не хотелось расставаться с мыслью, что возле плотины стоит настоящий корабль, а не драга, как сказал отец.

Еще в полдень, в самый солнцепек, он направился по раскаленному добела песку, слепившему глаза слюдяным блеском, так что приходилось зажмуриваться, чтобы уберечься от режущего света. Сквозь узенькие щелочки век дрожавший над поречьем воздух казался дымящейся магмой: холмы растаяли и медленно стекали, затопляя поречье еще прежде, чем пришла большая вода. Песок немилосердно обжигал ноги, и Маккавей свернул с самого короткого пути через отмели, который быстрей привел бы его к возвышавшейся возле плотины громадине, и пошел вдоль берега, то и дело ступая в воду, чтобы остудиться. Вода тоже была горячая, но после невыносимого жара камней и песка казалась безмерно ласковой и прохладной.

В конце концов он добрался до стальной махины, которая отражалась в воде образовавшегося вокруг нее озерка. Очертания ее окон размывались легкой дрожью волн, корпус, повторяясь в воде, покачивался и прогибался словно вырезанный из станиоля. Машина сейчас не работала. Маккавей не увидал ни единого человека ни на палубе, ни на железном мостике, который упирался в песок и вел внутрь драги. Матросы полдничали в тенечке, под ивой, у южного края плотины, где начинались виноградники. Они заметили рыжеволосого человека, обходившего их машину кругом, и кто-то из них окликнул его, пригласил подойти. Маккавей подумал, что его схватят: дескать, кто такой, чего надо, разве не знаешь, что посторонним тут вход воспрещен? — и первой его мыслью было обратиться в бегство. Пока те подымутся, обуются — не побегут же они босиком по раскаленным камням? — он уже будет далеко. Однако услышав повторное приглашение и не уловив в голосе угрозы, он спокойно направился к распластавшейся по зеленой траве тени от дерева, совсем черной там, где сидели полдничавшие люди. Их было трое за скромной трапезой — на разостланной газете лежал нарезанный большими ломтями хлеб, помидоры, с которых стекали капельки воды, брынза — по ее порам сновали муравьи, а рядом, на траве, валялся нож с роговым черенком и прилипшей к острию алой помидорной кожурой.

Двое сидели к нему спиной — широкоплечие, с такими загорелыми шеями, что пятнышки нетронутой солнцем кожи за ушами ка-

зались особенно белыми. Сидевший напротив них тоже сильно загорел. Так как Маккавей шел прямо на него, то успел рассмотреть его лицо раньше, чем поздоровался и ощутил прохладу тенистой ивы. У моряка были крупные, будто вытесанные из темного, коричневого камня, черты лица, брови почти сливались цветом с кожей, и если бы не зеленоватые глаза и шотландская с проседью борода, тянувшаяся от ушей и повторявшая очертания массивной нижней челюсти, лицо казалось бы очень строгим, суровым. Озорные искорки в глазах выдавали склонность к шутке, и разморенный жарой моряк выглядел вполне добродушно.

— Ты что, уж не вздумал ли у нас хлеб отбивать? — спросил он, оглядев Рыжеволосого с головы до пят.— Вчера тебя тут видели, сегодня опять заявился...

— Мне хотелось рассмотреть вашу машину вблизи,— сказал Маккавей.— Я думал, это корабль, но отец говорит — драга. Она, мол, долбит дно водохранилища...

— Хорошо бы, кабы корабль,— сказал человек с шотландской бородкой, который был, должно быть, капитаном этого сухопутного корабля.— Не жариться бы нам тогда, как ящерицам, среди этих песков.— Он усмехнулся, и Маккавей заметил, что зубы у него крепкие, ровные, блестящие, и, значит, он гораздо моложе, чем кажется, если судить по проседи в бороде.— Пока перепашем все поречье да перекидаем весь этот песок да камни, у меня борода и вовсе белая станет... Твой отец верно говорит: это драга, но мы не долбим дно, мы золото ищем... Ты здешний? Чем занимаешься?

— Здешний,— ответил Маккавей.— Живем с отцом в домике возле реки. Чуть ближе снесенного села. Доктор велел нам пожить тут, чтобы я поскорее выздоровел...

— А что с тобой? С легкими не в порядке? — Моряк остановил взгляд на его лице и заметил, что, несмотря на загар, лицо у незнакомца испитое и болезненное. Те двое, что сидели к Маккавею спиной, теперь обернулись, и он заметил, что их глаза — у одного карие, у другого желтые, как раскаленный песок,— с любопытством осмотрели его.

— Я мальчишкой чуть не утонул в реке, и с тех пор мне бывает нехорошо, в особенности летом. Кричу во сне, мерещится, будто земля уходит из-под ног и я куда-то проваливаюсь. Доктор говорит, это нервное...

Моряки продолжали изучающе смотреть на него, но потом снова отвернулись и принялись нарезать помидоры острым как бритва ножом, из-под которого выкатывались прозрачные оранжевые кружочки, а человек с бородой шотландца протянул «да-а-а» и, взяв с газеты ломоть хлеба и кусок брынзы, подал гостю:

— Закуси с нами за компанию,— сказал он, подвигаясь, чтобы дать ему место в тени.— А потом пойдешь осмотришь нашу машину, если тебе так интересно...

Он ушел от них только вечером и, дойдя до излучины, обернулся, чтобы еще раз увидеть драгу, пока холм не скрыл ее из виду. Ее силуэт растаял в сумерках, и три ряда окошек, светившихся вдалеке, казалось, висели в небе. Моторы продолжали стучать, сита подбрасывали песок и речную гальку, отделяя крупинки золота, огромные, нанизанные длинной цепью ковши продолжали, поскрипывая, выгребать то, что река копила тут тысячелетиями, вгрызались в земную твердь, словно желая добраться до самой сердцевины, до самых сокровенных ее тайн...

Маккавей успел за день тщательно рассмотреть огромную машину, которую он сначала принял за корабль,— он поднимался по всем трапам, постоял на палубе, послушал, как свистят в ситах водяные струи, заглянул к капитану, видел, как тот одним движением

рукояти наматывал на огромный барабан закрепленный на берегу трос, и драга послушно передвигала свое стальное туловище туда, куда хотел капитан. Все видел Маккавей и уже не испытывал разочарования, что среди песков стоит не корабль, а обыкновенная землечерпалка.

Для него эта окруженная песками величественная машина, которая медленно и мучительно, шаг за шагом продвигалась через заносы и корневища давным-давно поваленных деревьев, через могилы погребенных в песке безымянных людей, через кремни, посверкивающие под ковшами, будто поджигая их, двигалась навстречу бескрайним далям, туда, где расстилается морская ширь... Другим кораблям просто — якорь поднят, попутный ветер треплет на мачте флажки, пенится вода за бортом, на палубе гремит оркестр и гуляют нарядно одетые женщины. А к этому их собрату, затерянному в песках Огосты, судьба не так благосклонна и щедра. Она отрядила ему пройти тяжелейшие испытания прежде, чем он достигнет тихой гавани, откуда начинают свой путь другие корабли. Эта гавань находится по другую сторону гор, что высятся на западе, там, где истоки Огосты. Вот туда должен, шаг за шагом, добраться сухопутный корабль, прорыть гору, пробить другие хребты, если они преградят ему путь,— в точности как узники, о которых Маккавей упоенно читал в книгах, рыли туннели под стенами своих темниц с помощью ложек и кружек, окровавленными ногтями, чтобы однажды ночью выбраться ползком за пределы каменных стен и обессиленно рухнуть на траву, любуясь на необычно яркие звезды,— ведь под мрачными тюремными сводами люди забывают о том, как сияют звезды...

Драга рыла песок в поисках золота, и этому золоту будут радоваться те, для кого оно важнее всего на свете, а для Маккавея за усердной работой машины таилось нечто куда более важное, судьбоносное — мечта освободиться из плена песков и достичь той гавани, там, за горами, где начинается необъятное, вожделенное море. И еще думал он: не прорвет ли драга самые основы холма, не коснется ли хрупких известняков, под которыми находится царство подземных пещер? Уже давно поговаривают люди о том, что холм, в который врыт край плотины, стоит на карстовых породах. Долго ли стальным челюстям драги разгрызть мягкий, хрупкий известняк?.. Рабочие, заливавшие бетон, чтобы укрепить холм, снисходительно усмехались в ответ на эти наивные слова: да будь у воды хоть стальные зубы, нипочем не перегрызть ей эту преграду. Но, как всегда, пересиливал тот слух, в котором отражалось предчувствие беды. Капитан с бородой шотландца, стоя на своем мостике, где со скрежетом наматывался металлический трос, вероятно, слышал, как гудит земля под челюстями драги, слышал, но не допускал, что это дают о себе знать пещеры карстового холма, он думал, что это стон утомившегося металла...

Маккавей двинулся дальше по излучине. Тропка терялась в ивняке, а оставшийся за спиной холм заслонил огни драги. Остался лишь глухой шум моторов, провожавший его до самого дома, и Маккавею казалось, что он различает в их еле уловимом ритме шаги капитана на палубе: вот он нагибается, чтобы раскурить трубку, огонек спички освещает сначала бороду, потом нахмуренные брови, а мгновением позже все поглощает тьма...

В ДЕТСТВЕ МАККАВЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ любил пасхальные праздники, наполненные колокольным звоном, от которого воздух словно становится светлее и все вокруг кажется мягким и невесомым.

Пасха начиналась для мальчика задолго до той минуты, когда принимались звонить воскресные колокола и все домашние, надев

свои лучшие наряды, шли завтракать к разукрашенному цветами столу, и он первый тянулся за пасхальным яичком.

Праздник начинался еще в четверг утром, когда мама бралась за уборку: подметала комнаты, вытряхивала одеяла, мыла окна. Потом расставляла по местам стулья, застилала стол крахмальной скатертью, вытирала стекло, за которым висел в раме коврик с вышитым павлином, и присаживалась отдохнуть. Отдых длился всего минутку. Встав со стула, она первые несколько шагов плотно стискивала зубы, пересиливая боль в ступнях. Мальчику было видно в зеркале ее лицо — гладкое, без единой морщинки, с длинными, как ласточкины крылья, бровями вразлет, под которыми синели глаза,— смотрел на матовую шею, на которую падала тень густых черных волос, мягкими волнами лежавших на плечах, и как бы видел отраженную в зеркале душу родного дома...

Мальчик знал, что мама поставит на печку большую кастрюлю с подпрыгивающими в кипящей воде яйцами, как делала каждый год, улыбнется сыну и скажет:

— А теперь твой черед! Бери миски, разводи краски и приступай...

Она давала мальчику воск, чтобы нарисовать на обжигающих ладони яйцах цветы и птиц, давала листья пеларгонии, которые Маккавей прикладывал к гладкой скорлупе, и те, не тронутые краской, отпечатывали свои тонкие кружевные узоры. Постояв немного возле сынишки, поглядев, как он сияет, радуясь порученному делу, мать шла к соседям, где во дворе ожидали ее другие хозяйки, чтобы уговориться насчет теста для куличей.

Ритуал замешивания, повторявшийся ежегодно и неизменно вызывавший во всем селе тревогу и ожидание, начинался в субботу. Так как у них в доме имелась самая просторная комната и самые удобные квашни, пять-шесть соседок приходили сюда и вместе с хозяйкой принимались за дело. Первым долгом растапливали печь, набивали ее дровами, и через час в комнате становилось невыносимо жарко. Затем сдобили тесто молоком и взбитыми яйцами, добавляли растертые лимонные корочки. Лица у всех пылали от жара. Женщины скидывали с себя лишнее, закатывали рукава, стягивали в пучок мокрые от пота волосы и, захватив горстью большие, липкие комки теста, принимались что было силы шлепать их о стенки квашней. От этих ударов пол ходил ходуном, а груди у женщин раскачивались так, что на кофтах отлетали пуговицы.

Для Маккавея это были самые веселые часы в предпраздничной суматохе. Он наблюдал за хозяйками, которые, сменяя друг дружку, разминали тесто, а потом, ослабев, присаживались на кровать; если же он собирался выйти во двор, мать останавливала его: «Не открывай, тесто остудишь, не подойдет!..» Когда мальчику, наконец, удавалось выскользнуть за дверь, он слышал, что по всему селу гудят квашни, над которыми священнодействуют усталые хозяйки, а стенки квашней трещат под шлепками. Мальчик возвращался, заглядывал в комнату («А-а, чтоб тебя, закрывай скорей!») и видел, что тесто золотится, слегка вспученное, как живот лежащего на спине человека. Соседки укутывали тесто так, как родители зимой укутывали Маккавея, когда он простуживался и его била лихорадка; сначала квашню накрывали салфеткой, поверх салфетки одеялом, потом отцовским кожухом, а под конец еще и старой, траченной молью буркой. Все на цыпочках, словно тесто уснуло, потные, раздетые выходили во двор, под резкий ветер, и принимались растапливать печь в общей пекарне.

В ночь под пасху мама заболела. Ее трясло, поднялся жар, она начала бредить. Когда в полночь торжественно забили колокола и на улице раздались оживленные голоса односельчан, а по окнам за-

бегали отражения горящих свечей, Маккавей проснулся и увидел, что отец укрывает больную еще одним одеялом, а поверх еще и своим полушубком. И все равно зубы у нее стучали в ознобе, она со стоном твердила: «Холодно, холодно...» — и отец, вынув из сундука пуховое одеяло, плотно укутал ее.

Стоявшие на шкафу куличи благоухали, и дымка их ароматов проникала в неспокойные сны мальчика. Он долго не засыпал — не потому, что боялся пропустить полночные колокола, иное не давало покоя: когда куличи принесли из пекарни, Маккавей исподтишка отломил один краешек; он думал, что никто не заметил, но тут с балкона долетел бабушкин голос:

— Как ты насмелился? — говорила она.— Это большой грех, у тебя за это вырастут ночью рога, так и знай...

В проеме двери обрисовывалось ее костлявое тело в темном платье, порыжевшем на плечах от солнца, на шее — толстые жилы, между которыми двигался кадык. Она мерно качала головой в такт словам — наверно, бормотала проклятья или молилась, выпрашивая для внука прощенье. Голова у нее была не человечья, а черепашья — маленькая, пепельно-серая, морщинистая, с точечками глубоко запавших глаз, а губы прямые, без изгибов, только узкая щель между ними, будто трещина на пересохшей земле...

— Кукушка куковала? — спросила бабушка.

— Нет,— ответил Маккавей, думавший не столько о кукушке, сколько о том, что должно с ним этой ночью произойти.

— Твоя мама причесала меня, дала денежку и сказала: «Как услышишь кукушку, разбуди меня».

— Не куковала она, бабушка...

Он лег и задремал, не снимая рук с темени. Осторожно ощупывал свою остриженную голову с острой макушкой, чувствуя все неровности черепа, которые набухали под его обмякшими от сна пальцами — набухали и высовывали кончики рогов. А под потолком кружила кукушка, и черепашья бабушкина голова с редкими ржавыми волосами, сквозь которые просвечивал будто вылепленный из воска череп, поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Близорукие старческие глаза пытались разглядеть кукушку и не могли...

Утром отец Маккавея пошел в город за лекарствами. Он был уверен, что аптека по случаю праздника закрыта, но знал адрес аптекаря и решил отправиться прямо к нему домой, в выкрашенное желтой краской здание возле почты, где ему случалось бывать и раньше. Позвонит, попросит прощения, что беспокоит его и домашних в такой день, и попросит дойти до аптеки. «Болезнь не считается — праздник или не праздник. Она может оторвать человека и от стола, и от самого сладкого сна»,— рассуждал учитель и помахивал соломенной шляпой, которую он захватил, чтобы на обратном пути не напекло солнцем голову.

Маккавей смотрел в окно на отцовскую спину. Узкий, старомодный, вытянутый на лопатках пиджак ерзал от взмахов рук... Мальчик с самого раннего детства помнил отца сутуловатым, задумчивым, взгляд всегда устремлен в землю, но в этот день отец среди высоких зазеленевших деревьев выглядел еще более сутулым и худым. Вероятно, угнетала мысль о заболевшей жене. А может быть, глаза обманывали Маккавея, потому что ярко сияло солнце, во всех дворах стояли в цвету деревья, сверкали стены свежепобеленных домов, и от этой белизны, делавшей все просторней и выше, черная фигурка вдали выглядела придавленной, неуклюжей и чуждой весенней природе.

Отец исчез за тополями у родника, мелькнул еще раз на берегу Огосты, ненадолго задержался на макушке невысокого холма (быть может, закуривал сигарету), потом стал медленно спускаться по другому склону, и Маккавей провожал его глазами до тех пор, пока можно было различить только овальную лысину на затылке...

— Я видела крысу: из перьев и тряпья она устроила себе гнездо на куличе,— сказала бабушка и стала накрывать на стол.— Все перепачкала. Я видела мокрый след от ее хвоста на куличах, которые твоя мама украсила ядрышками миндаля. Кричу ей: «Пошла прочь, негодяйка!» — замахнулась кочергой, а она только шевелит усами да смотрит на меня...

Бабушка влезла на стул, сняла со шкафа один из куличей и стала срезать его янтарную, потрескавшуюся корочку. Она орудовала ножом так уверенно, как будто точно знала, докуда проник мерзкий крысиный запах. Кусочки кулича падали на пол, она наступала на них, словно не замечая. Потом разложила на клеенке то, что осталось от кулича.

Если бы мама не расхворалась, она застелила бы стол самой красивой скатертью и возле каждого крашеного яичка и каждого ломтика кулича положила бы стебелек дикой герани. У них в доме соблюдали обычай: прежде чем сесть за праздничный стол, разжевать листок дикой герани, причаститься глотком вина и, чокнувшись красными пасхальными яйцами (для Маккавея раскрашивали специально большое, утиное, которое раскалывало все остальные и дома, и на улице), приступить, наконец, к куличу. Он таял во рту и как-то по-особенному пах — не столько ванилином и лимонной кожурой, сколько яблоневым цветом и гиацинтами.

Иными были сейчас куски кулича, которые бабушка отламывала своими трясущимися пальцами (кожа у нее на руках была вся в складках, будто большие, не по размеру, перчатки из грязной замши). Расковыренный ножом кулич казался непропеченным и какого-то неприятного цвета, похож на тухлое яйцо, а всего ужаснее, что когда мальчик поднес ко рту горбушку, о которой так мечтал накануне, то и впрямь ощутил отвратительный запах крысиного хвоста. Он нагнулся, под столом выплюнул откушенное в ладонь и мигом выбежал за дверь, чувствуя, что его сейчас вырвет.

Потом они чокнулись с бабушкой. Утиное яйцо разбило скорлупу ее красного пасхального яичка, и осколки рассыпались по столу, но это не развеселило мальчика. Впервые на пасху в доме было тихо и скучно. Не было за столом отца — тщательно выбритого, в белой крахмальной рубашке, пахнущего одеколоном; обычно он отпускал какую-нибудь шутку, потом лез в жилетный карман, растерянно шевелил пальцами (якобы ничего не нащупал) и, достав небольшую купюру, клал сыну на ладошку — чтобы купил себе в бакалейной лавке какое-нибудь лакомство на память о празднике. Не было за столом и мамы — в этот день она всегда надевала свое выходное сиреневое платье с такими широкими рукавами, что казалось, будто их раздувает весенним ветерком, на правой руке — золотой браслет (какая тонкая, совсем девичья у нее рука!) и колечко с камешком, над которым взлетает лиловая искорка, когда мама протягивает руку, поправляя сдвинутые мальчиком приборы на столе. Мама больна. Она лежит в соседней комнате с мокрым полотенцем на лбу, бледная, как корочка злосчастных куличей, из-за которых все и произошло. Лежит и бредит...

— Разрезала я утром один кулич,— говорит бабушка, очищая расколотое яичко, и приставшая к ее пальцам красная краска оставляет след на белке.— Смотрю: он полый внутри, только корочкой и держится. Я подумала, что его так в печке раздуло, ан нет, червь выгрыз. Я эту мерзость углядела в дырочку: лежит в куличе, длиной с ящерку будет. Я его щипцами как подхвачу и — на горящие угли...

Мальчик слушал ее и дивился: какие угли, если сегодня печку вовсе и не топили? Неужели же еще не остыли угли в пекарне, где вчера пекли куличи?

Он проглотил кусочек сваренного вкрутую яйца, которое ему протянула бабушка. Морщинистое ее лицо качалось на шее, как у игрушечных деревянных клоунов, у которых головы прикреплены к туловищу пружинками. Маккавей долго пил воду из кувшина, потому что желток приклеился к нёбу и никак не проглатывался. Потом он пошел погулять на улицу к мальчишкам, которые хвастались своими крашеными яичками и подаренными к празднику красными шапками, заигрался с ними и только к вечеру спохватился, что пора домой.

Отец принес из города лекарства. Весь дом пропах камфорой. Из комнаты, где лежала больная, вышла с засученными рукавами соседка, вымыла над тазом руки (отец поливал ей) и, заметив его тревогу, сказала:

— Стоило так простужаться из-за этого теста, будь оно неладно... Я ее растерла хорошенько, сейчас она успокоится и заснет. А потом растворите в горячей воде морской соли, пусть ноги попарит...

Она ушла, Христофор Михалушев посмотрел на стол.

— Мама, дай-ка чего поужинать,— сказал он и ослабил галстук.— Принеси сколько там осталось яиц, налей стаканчик вина, кулича нарежь... Весь день маковой росинки во рту не было...

Бабушка положила яйца прямо на клеенку, и учитель поморщился — он не привык, чтобы в такой праздник в доме было неприбрано и неуютно. Вино запенилось на донышке стакана, и рубиновый его цвет, преломив свет лампы, образовал на клеенке маленький розовый островок. Больше мать ничего на стол не поставила.

— А кулич? — удивленно спросил усталый Христофор. Ботинки у него от долгой дороги были белыми от пыли.

— Я их все отдала цыганам,— спокойно ответила мать, и Христофор, растерянно повернувшись к ней, увидел на фоне стены тень ее головы с редкими волосами, заметил лихорадочный блеск в запавших глазах и понял, что на нее снова «нашло».— Я увидала на куличах крысу. Устроила себе гнездо из перьев и тряпья,— продолжала старуха спокойно и неторопливо, словно читала по бумажке все то, что утром рассказала Маккавею.— Все замарала. Я ее гоню: «Пошла прочь, негодяйка», а она глядит и вот-вот кинется на меня...

«Ненормальная»,— мысленно произнес сын, хотя никогда прежде не позволял себе так думать, а не то что говорить, но сейчас от усталости и бессонницы не сдержался:

— Так, значит, отдала цыганам?.. А им ты о крысе не сказала?

— Нет. И о червяке тоже...

Она продолжала рассказывать. В ее больном рассудке одно видение рождало другое. Крыса шевелила шершавым и словно посыпанным перхотью хвостом, гнездо шевелилось, словно сейчас оттуда высунутся омерзительные мордочки крысят.

Учитель не слушал мать. Он распахнул дверь и окна (может быть, надеялся, что сквозняк развеет весь этот бред), чиркнул спичкой, затопил печь и пошел за котелком, чтобы нагреть для больной воды.

Маккавей лег у бабушки в комнате. Спать было рано, но что еще делать, если в доме все пошло кувырком. Отец поставил греть воду, и дно медного котелка шипело на печке; за стеной только что поскрипывала мамина кровать, сейчас затихла — наверно, мама уснула; бабушка сидела у двери, смотрела на темную улицу и что-то бормотала под нос — может быть, сердилась на кукушку за то, что не прилетает, или же осыпала проклятьями крысу, чей хвост снова примерещился ей в уголке шкафа...

Жесткий краешек одеяла касался щеки, голова тонула в шуршащей куриными перьями подушке, и мальчик ощущал в этом шуршании запах сарая, где спали куры и все было белым от птичьего помета. Он поворачивался на спину, чтобы не чувствовать неприятного запаха подушки, но теперь куриным духом тянуло из-под сбитого ногами одеяла... Странно: ему казалось, что, если вслушаешься — различишь под кроватью писк цыплят, а если нагнешься — увидишь приютившуюся у ножки кровати наседку, она опустила крылья и время от времени издает тихий, предостерегающий звук, а цыплята, высунув головки из-под ее крыльев, настораживаются.

Сон сморил его, и вместо наседки с цыплятами он увидел маму. Как она вошла? Ведь двери нет. И стены, у которой стоял шкаф, тоже не видно. Крыша дома висит в воздухе, а окна будто нарисованы на небе — ничто не соединяет их с домом, хотя они находятся там, где всегда... В этой огромной, без стен, комнате стоит один-единственный стул, и мама опустилась на него. Выздоровела и какая стала красивая... Мама отдыхает, уронив на колени руки. Шелковое платье с узором из разных-разных цветочков — больше всего там оранжевых — чуть шевелится от дуновения ветерка. Но что у мамы в руках? Что-то округлое, похожее на те куличи, которые вчера стояли на шкафу. Может, мама спрятала их прежде, чем они достались цыганам? Она сидит и улыбается. Ее лицо — под глазами и на лбу — усеяно серыми пятнышками. В точности такие же были у нее перед тем, как у Маккавея родился младший братик. И сама она располнела, как тогда. В ее молчании, в ее позе угадывалась робкая ласка.

«Прячет кулич от бабушки и не знает, что в нем червяк...» — подумалось Маккавею. Его мысли блуждали по пустому дому и разбудили паука, закачавшегося на длинной, от неба до земли, паутине. Потом раздался скрип — словно кто-то царапал ногтем по стеклу. Мальчик оглянулся, но ничего вокруг не заметил. Тогда он снова повернулся к маме. Складки платья на ее коленях шевелились. Шелк сморщился, как будто его прожигали горячим угольком, и в черную дырочку просунулась голова червяка с белесыми подслеповатыми глазками. Это был, наверно, тот же самый червяк, что выгрыз куличи на шкафу. Глазки его зыркнули туда-сюда, обвели взглядом странный дом с подвешенной к небу крышей, и когда Маккавей шевельнул губами, чтобы окликнуть маму, которая спокойно сидела, ни о чем не подозревая, он заметил, что белесые глазки стали вдруг золотистыми и обрисовалась детская головка с локонами вдоль ушей. Он ожидал, что мама возьмет на руки диковинного ребеночка, но тут сверху послышался шум, и он увидел кукушку. Она стремительно кинулась к окну, пролетела сквозь стекло, не разбив его, как будто это было не стекло, а тонкая лента тумана, описала круг и устремилась к маме. «Сейчас вонзится коготками и унесет...» — испугался мальчик, но произошло другое. Кукушка, просвистав крыльями, пролетела низко над мамиными коленями и спустя мгновение унесла в клюве существо с белесыми глазками.

Маккавей открыл глаза, испуганный, с колотящимся сердцем. Вокруг царила непроглядная тьма. Лишь несколько звездочек мерцали на мокрых стеклах окна. От страха хотелось закричать, но от

удержался, боясь разбудить в соседней комнате больную маму. Услышал, как на стоящей рядом кровати мерно, с присвистом, дышит бабушка. Он подошел на цыпочках и шепнул ей на ухо: «Бабушка, ты ведь спрашивала меня о кукушке. Она летает по нашему дому, я видел, как она впорхнула в окно...»

Бабушка крепко спала, голос мальчика не в силах был вырвать ее из омутов сна. Уже привыкшим к темноте глазам Маккавея ее сухонькое, изборожденное морщинами лицо казалось твердым комом земли, потрескавшимся от немилосердных лучей летнего солнца...

ВЕСНА УШЛА. БУРНЫЕ ЛИВНИ оборвали цветы плодовых деревьев, а потом засияло солнышко, стало припекать по-летнему, и над всем поречьем поплыла серебристая дымка, которую в этих краях редко увидишь, разве что поздней осенью, когда с утра выпадает обильная роса и дымится до полудня под лучами солнца. Мама выздоровела, но после этой болезни возненавидела запах ванилина и поджаренного миндаля и в оставшиеся ей немногие годы жизни (кто мог предполагать, что все произойдет так внезапно: приступ аппендицита — и конец?) она ни разу не замесила теста для куличей. Только слушала, как громыхают перед пасхой квашни за запотевшими от несусветной жары окнами соседских домов, как дымят во дворах печи, и с усмешкой думала о человеческой ненасытности: этими сплющенными, пригоревшими в духовке куличами можно было накормить целую армию... Она готовила для праздничного стола другие лакомства, и если кто из соседок приносил кусок своего кулича, мама не подавала его на стол, а после обеда выкидывала кошкам.

Мальчик тоже выздоравливал. Кошмары, навещавшие его каждую ночь, пока хворала мама, да и позже, стали рассеиваться. В снах проступало что-то радостное, светлое. Маккавей либо купался в реке, где в прозрачных заводях было видно, как шевелятся тени ивы, либо гулял по омытой росою траве, и в каждой росинке отражались его рыжие волосы — куда бы он ни взглянул, перед ним вспыхивали робкие огоньки. С назойливым постоянством посещала его сны кукушка. Неожиданно откуда-то вылетала, раздавалось пронзительное «ку-ку», эхом прокатывалось по котловине и долго не могло стихнуть. Маккавей забыл о крысе, не думал больше и о червяке, который выгрыз в куличе середину. И вздрагивал лишь при воспоминании о том мгновении, когда кукушка промчалась над маминими коленями, оставив там в складках платья черный, точно прожженный сигаретой след. Кукушка нагоняла на него смутное предчувствие беды, которое закрадывалось в сердце, едва сон касался его век. Образ этой беспокойной, преследовавшей его птицы, чьи крики заполняли небо, связывался у Маккавея с мыслью о бабушке: стоило ему заслышать над головой шорох кукушкиных крыльев, как перед ним возникали устремленные вдаль глаза старушки, полные надежд и проклятий...

Уже давно выветрились из памяти бурные ливни, из-за которых прибывшая вода подмывала берега Огосты. Погода установилась. В кронах ранних черешен уже появились первые розовые сережки, и мальчишки, обдирая колени, карабкались на гладкие стволы, и губы у них пахли горьковатым дыханием лета и черешневой смолы. Песни лягушек, ночи напролет оглашавшие озерки за рекой, поредели и оборвались. Подступало лето — с иными запахами и звуками, более плотными и прочными, с иными птичьими голосами, но хозяином заколосившихся нив и высокого неба оставалась песнь жаворонков. За-

води запахли рыбой. По вечерам, когда закатное небо смотрелось в реку и тишина ощущалась не только в неподвижности водной глади, но и в пурпуре отражавшегося в воде неба, начинала резвиться плотва. Это значило, что лето уже близко.

У сельских ребят были любимые заводи, где они обычно купались. Одна из них находилась на западном краю села. Здесь было неглубоко, дно устлано мелкой галькой, а там, где вода подходила к карстовым склонам холма, она всегда была холоднее — там бил ключ. В этой заводи купались ребятишки поменьше. Вода была им по грудь, и неумелые пловцы могли без всякой опаски не только окунаться с головой и елозить по дну с открытыми глазами, наблюдая, как проносятся мимо золотистые рыбки, но и прыгать со скалы туда, где поглубже, зачастую обдирая о песчаное дно носы и лбы.

Другая заводь находилась у железнодорожного моста. Вклинившись в глинистый берег, она переходила потом в большую подводную пещеру. Высокая осина, которая еще удерживалась на берегу, хотя река долгие годы подмывала ее корни, затеняла заводь — и то ли из-за глубины, то ли из-за зеленоватых сумерек, сеявшихся сквозь ветки старого дерева, заводь всегда казалась темной.

Каждый год в половодье глубина заводей менялась. В тех, где прежде было мелко, вдруг обнаруживались ямы, возникали водовороты. А там, где год назад темные волны отпугивали детвору, дно заволакивало тиной, и нанесенные вешними потоками камни забивали подводные пещеры. На некогда грозных глубинах теперь лениво шевелились пескари, было так мелко, что с берега были видны даже самые крохотные пузырьки у них над жабрами.

Своими повадками заводи напоминали людей. Они могли подружиться с человеком, быть тихими и внимательными или же приманивать улыбкой, пряча в ней подлость и коварство. Взрослые знали переменчивый нрав реки и доверялись ей с оглядкой. Дети же поступали иначе: чувство у них побеждало рассудок. Они были порывисты в своих желаниях и поступках, и жизнь подносила им горькие уроки, открывала глаза, учила видеть обманчивость улыбки, обещания, душевного слова. Наступал час, когда они переставали доверяться, в их сердцах поселялось сомнение — признак того, что детство уже позади.

Заводь у железнодорожного моста всегда манила к себе Маккавея. Он с самых ранних лет купался в ней — там, где помельче, и любил смотреть, как старшие мальчики ныряют в подводные пещеры, а потом, сопя и отфыркиваясь, выбрасывают на песок усача или кленя. В этой заводи цыгане купали лошадей, и мальчик догадывался, какая там глубина, по тому, что лошадь, вступив в воду, сразу исчезала с головой, и только кончики ушей шевелились на поверхности. Голые тощие цыгане, чьи темные тела, казалось, прокоптились у таборных костров, верхом въезжали в заводь и сползали со скользких лошадиных спин в воду, уворачиваясь от сопящих морд с грозно сверкающими плоскими зубами.

По слухам, на этот раз после весеннего паводка заводь совсем обмелела. Кое-кто, успев там искупаться, рассказывал, что вода едва доходит до подмышек. «Даже противно барахтаться в такой луже!» — с презрением говорили дети постарше.

Однажды в начале июля, когда солнце нещадно пекло и в воздухе стоял запах разогретой воды, ряски и рыбы (для жителей поречья

этот запах всегда связывался с ребячьим гомоном на реке, с вздувающимися на ветру, разбросанными по песку детскими рубашонками), Маккавей направился к заводи у железнодорожного моста. Там река делала поворот. Вода пенилась вокруг камней пологого брода и билась о глиняный берег, даже сейчас, в летний зной, не отказавшись от намерения подмыть корни старой осины. Вода словно долбила их серебряным долотом, из-под которого вылетали искры.

Когда Рыжеволосый подошел к заводи, там никого не было. Должно быть, мальчишки побежали туда, где поглубже. Возле нижнего брода он заметил двух рыболовов. Закрепив удочки на берегу, они ходили по воде, ощупывая камни, и время от времени у них в руках мелькала рыбешка. «Попались бы они сейчас на глаза леснику, сразу бы кинулись наутек»,— подумалось Маккавею, и рыбаки, наверное, думали о том же, потому что украдкой поглядывали в сторону ивняка. Однако строгий блюститель закона не появлялся. Заводь сверкала отражавшимся в ее глубине солнцем — сверкала так, что сама, как в зеркале, отражалась в листьях на нижних ветках осины, и Маккавей, зачарованно слушая плеск воды, стал раздеваться. Придавив камнем снятую одежду, чтобы не унесло ветром, он вошел в воду и уже через несколько шагов ощутил границу между освещенной частью заводи и той, куда падала тень осины. Темная гладь воды обдала его холодом — он нырнул, чтобы поскорее привыкнуть к этому ощущению, которое через миг превратится в ласковое прикосновение волн к щекам и в слепящих глаза солнечных зайчиков.

Он продвигался в воде спокойно, уверенный в том, что заводь после паводка обмелела. Под ногами шевелился, затягивая, песок. Зубы стучали от холода, прозрачная вода со всех сторон обнимала мальчика своими струями, похожими на стайки мелких, скользких рыбешек.

Рыболовы заметили мальчика — его волосы алели над гладью воды,— но продолжали шарить под камнями. И, наверно, еще долго выискивали бы шевелящихся усачей, если бы не услышали испуганный вопль и не увидели, как две руки тщетно пытаются ухватиться за свисающие корни осины — водоворот затягивает их в темную пасть омута...

Рыболовы торопливо скинули с себя одежду и бросились в воду. Их мигом подхватило водоворотом и потащило под корни — туда, где исчез мальчик...

Уже смеркалось, когда спасенный Маккавей побрел к дому. Ноги подкашивались, он впервые почувствовал, как неустойчива под ним земля: она качалась, прогибалась и уходила из-под ног, как песок на дне заводи, и казалось, вот-вот разверзнется и он бесследно исчезнет в ее пасти...

Озаренные закатом деревья отбрасывали тени — более темные на дороге и высветленные на зреющих хлебах у подножья холма. Маккавей слушал вскрики сов, провожал глазами низкий полет ласточек над рекой и пытался не думать о происшедшем, но оно упорно оттесняло в мозгу все остальное. Мальчик и сейчас ощущал струю воды, ножом воткнувшуюся в его горло, и шевеление песка, неожиданно выскользнувшего из-под ног, чтобы швырнуть его в мрак подводной ямы.

Маккавею случалось пугаться змеи или собаки, он знал, что такое страх, и умел преодолевать его — хитростью или бегством, но сейчас страх был совсем другой: он уставился на него немигающими зеленоватыми глазами (быть может, это были глаза какой-то огромной рыбины?); смотрел, как он беспомощно барахтается, подхваченный водоворотом, как его опутывают корни, и этот холодный взгляд

леденил кровь... Маккавею было тогда десять лет, он еще не испытал страдания, если не считать простуженного горла или кашля, из-за которых в зимние морозы его неделю-другую не выпускали из дому. Теперь же он впервые узнал, что бывают страшные мгновения, когда жизнь висит на волоске, и слово с м е р т ь впервые вселило в него ужас...

Смерть навалилась на мальчика режущей болью от хлынувшей в горло воды, ощущением бездны под ногами, оглушительным свистом в ушах; красные корни осины, точно щупальца осьминога, закачались перед его остановившимся взглядом... Миг — и все эти ощущения исчезли, осталось лишь зрение, но теперь оно искажало и корни, и шныряющих вокруг рыб, и блики солнца в толще воды. Истинные их очертания надламывались, напоминая разноцветные стекла в окне церкви; и острые их края кололи его.

И такой же острой болью пронзило его прикосновение рук, вытаскивавших его на берег...

Он не помнил, как долго пролежал на песке. Очнувшись, увидел склонившихся над ним рыбаков и замер от страха. У обоих лица были белее мела, руки тряслись. И это больше чем пережитое под водой (все произошло так мгновенно) подсказало ему, что с ним случилось и чем бы все могло окончиться, не окажись поблизости этих людей.

Он побрел домой. Темное пятно на берегу, где он только что лежал, еще долго не исчезало, несмотря на жаркое солнце,— так глубоко вода пропитала песок. Маккавей шел медленно, то прикрываемый тенью деревьев, то ослепленный пробившимся между стволами закатным светом. Он чувствовал какую-то странную пустоту внутри: как будто водоворот, швырнувший его о глинистый берег, что-то сдвинул у него в душе, смыл слой почвы и оттуда, точно пористая известковая скала, выступил страх.

Прошло время. Маккавей думал, что этот случай померкнет в его сознании, исчезнет в груде других впечатлений, как в засушливый год почти вовсе исчезают выпитые сухими песками воды Огосты. Он ошибся. При виде ребячьей одежонки на берегу какой-нибудь заводи и голых мальчишек, при всплесках подернутой ряской воды под животами ныряющих с берега детей Маккавея бросало в дрожь. И словно уже не стоял он в этот жаркий полдень на берегу, глядя, как прыгает и плещется в воде намучившаяся в школьных классах детвора, а снова раздевался, оставлял на песке одежду и шел к реке. Но заводь, которой касались его ноги, была иной: вода темнела, затянутая тенью старой осины, подводная яма глухо и грозно гудела, и кожа покрывалась мурашками от набегавших волн...

Мальчики, гомоня и вскидывая руки, исчезали в воде (наверно, ложились на спину, чтобы обмануть других — дескать, тут глубоко), а он слышал не их гомон, а свой испуганный вопль. Вода набивалась в горло, продвигалась дальше, вспарывая его, как нож.

Пережитый ужас возвращался, в памяти сами собой воскресали увиденные тогда картины, тут же заслоненные страхом, который сделал воду черной, как деготь, и пытался этой вязкой чернотой залепить ему глаза. Теперь Маккавей явственно видел корни осины — красноватые, густо переплетающиеся, чуть побелевшие на концах, чувствовал, как убегает из-под ног песок, как зияет бездна, в которую он погружается. Горло горит от проглоченной воды, а на самом толстом корне осины шевелится та самая крыса, которая много лет назад лежала на пасхальных куличах. Маккавей видит ее посеребренное речной пеной брюхо и острый кончик хвоста, слегка подра-

гивающего от речного течения. Крыса тоже смотрит на него и не собирается ни нападать, ни спасаться бегством. Молча следит за схваткой между мальчиком и смертью, и только сверкание глаз выдает ту сатанинскую радость, какую испытывает эта вцепившаяся в корень, ненавистная Маккавею тварь...

Шли годы, а рана в душе Рыжеволосого так и не затягивалась. Возможно, требовался лишь один нечаянный толчок, чтобы корочка на ней затвердела и отпала, но такой не подворачивался. А им мог бы стать шум прибывающей реки, от которого дребезжат окна, пробуждая в сознании Маккавея музыку мельничного желоба. Или моросящий дождь, который еле слышно стучит по крыше, и черепичины отзываются, каждая по-своему, потому что одни поновее, их обожженная до сиреневого цвета глина позванивает, а другие лежат с незапамятных времен, поросли мхом, и поэтому стук дождевых капель звучит мягче и неразличимее...

Еле различимый стук и сейчас разносился в ночном небе. Маккавей лежал с открытыми глазами. В комнате было так темно, что потолок, в иные ночи казавшийся ему опаловым, как Млечный Путь в августе, теперь был соткан из непроглядной тьмы, тугой и мохнатой, как тюк козьей шерсти. Устремив глаза в темноту, Маккавей подумал сперва, что слышит стук дождевых капель, но потом понял, что это шуршит под чьими-то ногами песок. Защекотало ступни — песчинки выскальзывали, шевелились, как живые, и ему стало ясно, что не кто-то, а он сам приближается к той заводи. Земля качается, словно под ней трясина, песок бессчетными изгибающимися змейками разбегается по ее поверхности, твердый слой почвы становится все тоньше, разрывается, и мальчик падает в разверзающуюся бездну...

Где-то прокуковала кукушка — та самая, которая влетела к ним в дом, когда бабушка спала так крепко, что и не заметила ее. Он пошарил в кармане, проверяя, есть ли там монетка — есть! — и стал считать глухое и гулкое «ку-ку, ку-ку!». Сколько же лет он проживет на свете? Ответить он не успел, потому что глаза засыпало песком. Хотел закричать, позвать на помощь, но стон комом засел в горле, и он проснулся.

Выглянул в окно. Пелена, затянувшая небо, прорвалась, и в тонкую трещину Маккавей увидел мокрую, вздрагивающую от холода звездочку...

ИТАЛЬЯНЦЫ ПРИКАТИЛИ ОДНАЖДЫ УТРОМ в начале ноября. Погода стояла солнечная, мягкая, в небе плыла паутина и дул легкий ветерок. Со стороны насыпи, где раньше была железная дорога, показались две легковые машины и двинулись дальше вдоль реки. Они ехали медленно, еле слышно урча, и — белые, с вытянутыми капотами и горбатыми кузовами — напоминали охотничьих собак, нюхающих дорогу и поворачивающих морды то к зеленым грушевым деревьям на обочине, то к пожелтелому кустарнику на берегу.

Машины затормозили у водоразборной колонки. Оттуда вышли двое — нагнулись, стали пить прямо из крана. Оба были невысокие, в зеленых куртках, перепоясанных патронташами. Пока они пили и над струей воды покачивались широкие поля их мягких светлых шляп, к колонке подошла еще одна машина — серая с красно-коричневой заплатой грунтовки на переднем крыле. Машина ткнулась своей ржавой мордой в сверкающие бока незнакомок, из нее вышел рослый широкоплечий человек в коричневом свитере и бумажных штанах, заправленных в резиновые сапоги.

Маккавей, стоявший перед домом, издалека разглядывая машины, узнал его — это был охотник из города, он и в прошлом году приезжал охотиться на фазанов на этой же самой, видавшей виды машине.

Пока он застегивал патронташ и натягивал на лысину кепку с провисшим козырьком, плотно, как купальная шапочка, облепившую ему голову, итальянцы вернулись к своим автомобилям и стали что-то искать на задних сиденьях.

Маккавей заколебался — подойти или не подойти к колонке, однако любопытство взяло верх. Очень уж хотелось посмотреть на итальянские машины вблизи. Человек в коричневом свитере кивком подозвал его, и Маккавей зашуршал сандалиями по щебенке.

— Здоро́во! — сказал охотник из города и снизу доверху послюнявил цигарку, прежде чем зажать ее своими мясистыми, темно-лиловыми губами.— Спичек не найдется? Зажигалку забыл...

— Нет у меня,— сказал Рыжеволосый.

— Чего ты тут околачиваешься? Сторожишь что или пришел порыбачить?

— Мы с отцом живем тут...

Цигарка дрогнула во рту охотника, сверкнули капсулы на патронташе.

— А кто вы будете? Уж не цыгане ли? — продолжал он расспрашивать.— Все давно уже убрались отсюда, одна ваша труба еще дымит...

— Мы не цыгане. Я нездоров. Доктор сказал моему отцу, что, если мы тут поживем, я поправлюсь.

— А что с тобой такое?

— В детстве чуть не утонул и испугался...

— Где тонул-то? В Огосте? В этих пересохших бочажках?

— Огоста тогда была глубокая. Меня подхватило водоворотом, я наглотался воды. Хотел достать дно ногами, но течением затянуло в яму...

Он, наверно, рассказал бы и про то, как боролся со смертью, и про ужас, помрачивший его рассудок, но один из итальянцев погудел, сказал: «Пронто!» — и включил зажигание. Второй последовал его примеру и вывел вихляющую машину на дорогу. Охотник произнес: «Аванти!» — показал на холм, за которым лежали остатки села, и, вдавшись своим массивным телом в сиденье, двинул свой драндулет следом за итальянцами.

Ослепительно белые машины отдалялись. На стеклах поблескивали отражения желтеющих груш и лип.

Вскоре раздались тонкие, гулкие выстрелы — итальянцы начали охоту на фазанов во дворах разрушенного села.

Фазаны появились здесь несколько лет тому назад. Их развел односельчанин Михалушевых, человек по прозвищу Лесной Царь. В одно весеннее утро он привез из города сотню еле оперившихся птенцов. Те разбрелись по траве, запищали, завертели головками. Хотя вылупились они в инкубаторе, но в них проснулась исконная тяга к матери, и они искали в траве ее разноцветное оперенье и тонкие, будто отлитые из серебра лапки. Они разыскивали мать, а видели лишь камни, оставшиеся от снесенных домов, и над камнями — высокую траву да деревья.

Лесной Царь повернул назад, в город, время от времени оборачиваясь, чтобы взглянуть на птенцов, которых он оставлял на произвол судьбы. Он опасался, что в развалинах прячется чья-нибудь одичавшая кошка, и тогда от фазанчиков останутся одни перья. Однако опасался он зря. Брошенные хозяевами кошки разбрелись по селам на другом берегу Огосты, полеживали теперь на ступеньках чужих

домов, где они нашли приют, и даже в сновиденьях не возвращались в родные края.

Птенцы фазанов спокойно зажили, подросли. К ним прилетели и те фазаны, которые вылупились на вырубках у Калиманишских пастбищ. Проходя по улицам разрушенного села, можно было услышать то тут, то там короткие, громкие возгласы, похожие на кукареканье молодых петушков. Это фазаны о чем-то сообщали друг другу либо резкими трелями, будто сыгранными неумелым флейтистом, выражали свое восхищение погожим летним деньком.

Благодаря фазанам брошенное село ожило. Птицы сновали по дворам в поисках зерен, червяков и гусениц или низко пролетали над заросшей чертополохом запрудой, где прежде была мельница, и в прозрачной воде отражалось огненное сверканье их крыльев. Полет их был то плавным, словно фазаны скользили по невидимому воздушному катку, то порывистым, с резкими вспышками, разливавшими по небу пурпурное сияние. Случайный прохожий, увидев его под вечер, подумал бы, что за кустом разложен огромный костер и чья-то невидимая рука подбрасывает в небо горящие головешки. Повеселело село, наполнилось звуками и красками. Дворы воскресли, заблистав крыльями этих царственных птиц, задвигались, взглянули в небо — пусть не глазами человека, а искрящимися осколками разбитых окон. Но и этого было довольно, чтобы радоваться солнцу и далеким легким облачкам.

Особенно красив полет фазанов был под вечер.

За горой угасал закат, небо бледнело перед тем, как налиться чернильной синевой ночи, и тогда из всех дворов начинали вылетать фазаны. Они кружили низко над землей, точно золотой дым из навсегда исчезнувших дымоходов, а затем исчезали в кустах.

В один из таких вечеров Маккавей прошелся с отцом по улицам родного села. Они ходили днем в Бистрицу, задержались там и повернули назад уже в сумерки. Перешли вброд Огосту, и, когда вступили в обезлюдевшее село, прямо перед ними начали взлетать фазаны. Птицы без страха поднимались вверх и, на миг сверкнув, пропадали в ночи. Каждый двор, к которому приближались отец с сыном, приветствовал их взметнувшимся в небо огоньком.

Глядя на это фантастическое зрелище, Маккавей думал, что ему все это снится. Быть может, это и не птицы вовсе, а души человеческие, разбуженные его шагами, души, которые коротким своим сверканием подают прохожему знак, что время не уничтожило их, и вновь исчезают в беспредельной тьме...

Услышав выстрелы, Маккавей бегом помчался в село. Пересек высохший мельничный ручей, пробрался между вербами и, когда вбежал на пригорок, где находилось кладбище, увидел у школьной ограды лимузин итальянцев и драндулет того, кто их сопровождал. Охотников видно не было; они перекликались, заслоненные пышными корнями деревьев, и только белые облачка выстрелов выдавали их.

Эхо билось о карстовые скалы за Огостой, отскакивало от них в сторону Веренишской вершины и падало на кусты скумпии в окрестных долинах. Каждый выстрел взметывал в небо стаю фазанов. Со свистом проносились крылья, хвосты описывали короткую дугу, и долго, пока не затихало эхо, кружили над дворами разметанные дробью перья.

Маккавей впервые видел, как умирают фазаны. До сих пор он только любовался их полетом, когда весной поутру шел собирать ща-

вель на прибрежных лугах. Его шаги вспугивали какого-нибудь фазана, свернувшегося у себя в гнезде. Раздавалось фырканье, будто где-то рядом паслась лошадь (это был звук крыльев), и Маккавей видел перед собой птицу — легкую, в оранжевом сиянии, которое через секунду гасло в росе ближнего овсяного поля. В полете птицы он ощущал тишину зеленеющих, колышемых легким ветром нив, угадывал сладостный трепет земли, ожидающей прихода лета. Маккавей находил сплетенное из соломы и веточек гнездо, наклонялся к фазаньим яйцам, остроконечным и зеленоватым, как крупные капли росы, но не дотрагивался до них, зная, что тогда по ним начнут ползать муравьи и птица уже никогда на них не сядет. Молча отходил и, спрятавшись за кустом, смотрел, как фазан возвращается, легко помахивая крыльями, как ветер, словно играя с ним, подбрасывает его, а затем подкладывает ему под крылья мягкий бархат овсов...

Сейчас полет фазанов был совсем другим. Птицы испуганно взмывали вверх, но у них не хватало сил прорвать дым выстрелов, опутывавших их своей смертоносной паутиной. Тщетно пытаясь последним взмахом крыльев достичь воздушных просторов, суливших им свободу, они — тяжелые и безмолвные — падали, оставляя за собой длинные полосы света, какие в августе оставляют падающие звезды.

Итальянцы шли прямиком через дворы, сняв свои бежевые шляпы, расстегнув рубахи, веселые, разгоряченные удачной охотой. В пружинистости их походки угадывался тот злой азарт, какой разыгрывается у охотничьих собак. Один из итальянцев с бледным дряблым лицом и водянистыми глазами (Маккавей разглядел его, когда тот нагнулся за подбитым фазаном) подбирал окровавленных птиц и складывал кучками у дороги. У второго было смуглое лицо мулата, будто вырезанное из черного дерева, на котором долото не сумело сгладить жесткость линий. Его тоже пьянила охота. Это проглядывало в решительности жестов, в металлическом блеске глаз (зрачки при выстрелах светлели), в возгласах, звеневших как дробь по листу железа.

Маккавей неожиданно вынырнул из-за кустов — в десяти шагах от смуглого итальянца, который мастерски стрелял, вертясь во все стороны (чтобы не упустить и тех птиц, которые пролетали у него за спиной), и расстегнутая куртка развевалась от вращения упругого, пружинистого тела. Поскольку охотничий азарт застилал итальянцу глаза, а разметанные по небу перья густым маревом трепетали над его головой, он не замечал рыжеволосого человека за кустами. Да если бы и заметил рыжую шевелюру, то, наверно, принял бы ее за оперенье фазана и прицелился. Но Маккавей крикнул раньше, чем палец лег на спуск, и рука охотника упала, как отрубленная. Мадонна, что могло произойти! А ведь сказали, что село безлюдно. Откуда же взялся этот человек?.. Рыжеволосый смотрел на него — бледный, с испитым лицом и лихорадочным блеском в глазах — и что-то кричал, но итальянец понять его не мог. Однако он уловил в свистящих словах незнакомца угрозу и обернулся, чтобы позвать на помощь своих спутников, которые отошли к реке. Услыхав крики и, должно быть, решив, что убит человек, те в панике кинулись к месту происшествия. Еще не добежав до итальянца, который стоял, опустив ружье дулом к земле, они услышали громкие звуки — словно кто-то барабанил по железу.

Сопровождавший итальянцев охотник, топавший в тяжелых резиновых сапогах, издали увидел рыжую голову удиравшего через дворы Маккавея, улетавших за реку фазанов, и в мозгу радостной искоркой сверкнуло: слава богу, ничего страшного не произошло... Однако через секунду искорка погасла, а губы злобно скривились... Громыха-

ние железа, сопровождаемое короткими выкриками, доносилось от мельничного ручья, и охотник ринулся туда...

Итальянцы присели на траву выкурить по сигаретке. И сквозь тонкий дымок, обвевавший их своим ароматом, смотрели, как тяжело, неуклюже бежит их чичероне. В том, как он взмахивал руками, ощущалась злость и угроза.

Задыхаясь, охотник настиг Рыжеволосого, хотел схватить, но тот увернулся. Маккавей был проворнее, страх удваивал длину его прыжков, и все же преследователь не дал ему уйти — подставил ножку, и фазаний избавитель ткнулся головой в куст...

Итальянцы смотрели, как приехавший с ними охотник дубасит человека, крепко держа его за воротник. Рубаха у Маккавея выбилась из-под пояса и при каждом ударе развевалась, а рыжая голова едва удерживалась на худой шее.

— Недоносок чертов, шутки со мной будешь шутить, а? — охотник кипел от ярости.— Итальянцы завтра напишут жалобу, а мне из-за тебя отвечать? Люди доллары выкладывают — известно тебе, сколько они за каждого фазана платят? А ты будешь тут железом громыхать!..

Обладатели долларов догадались, что их сопровождающий связался с душевнобольным, и, докурив сигареты, пошли подбирать убитых птиц, лежавших кучками у дороги, словно груды сухой листвы в осенних парках их родной Венеции.

Их чичероне все еще не выпускал Рыжеволосого, тряс его за воротник и орал:

— Были б у тебя в башке мозги, ты бы знал, что мы за фазанов станки за границей купим! Люди нам валюту дают, а ты что?

Наконец пальцы разжались и выпустили воротник. Рыжеволосый вытер ладонью лицо, размазав по щекам кровь. И, пошатываясь, медленно побрел к реке, долго умывался, потом пересек песчаную отмель и скрылся из глаз охотников, все еще сновавших по опустелому селу.

Прогремело еще несколько выстрелов — с большими промежутками,— и на заходе солнца Маккавей опять увидел возвращавшиеся в город «фиаты» итальянцев.

Машины вынырнули из тени, отбрасываемой холмом, сверкая не столько стеклами, в которых отражался закат, сколько притороченными к алюминиевым багажникам птицами. Мертвые фазаны свисали со всех сторон автомобилей и на дорожных ухабах шевелили крыльями.

В тот миг, когда итальянцы промчались мимо заслоненного ивняком домика, Маккавей увидел, как, словно ожив от бешеной скорости, птицы расправили крылья. Они пытались порвать стягивающие шею петли, раскачивали автомобили своими отчаянными попытками взлететь, и Маккавею мучительно хотелось, чтобы они подняли в воздух эти урчащие железные коробки и швырнули о скат холма.

Однако итальянцы не расшиблись на повороте (у мертвых птиц не было сил для мести), а спокойно помчались дальше, в город, сопровождаемые верным чичероне на дребезжащей ржавой развалюхе.

УЖЕ ВЕЧЕРЕЛО, когда приехал на своей трехколесной коляске Муни. Он затормозил у мельничного ручья, вытащил костыли и, опираясь на их вогнутые дуги, ступил на траву. Потом, энергично выбрасывая ноги, двинулся к дому, на стене которого фары коляски очерчивали его тень — непомерно длинные руки, короткое плотное туловище и искривленные детским параличом ступни.

Маккавей догадался, кто к ним приехал, и вышел навстречу гостю. Взял с сиденья хлеб и простоквашу, выключил фары и направился к дому.

Эммануил Рангелов, или для краткости Муни, был однокашником и другом Маккавея. Все классы начальной школы просидели они за одной партой. Маккавей привязался к нему не только потому, что Муни всегда был честным, справедливым и самозабвенным в дружбе,— больше всего привлекла его наблюдательность мальчика, которому суждено было до конца жизни не расставаться с костылями, отполированными его ладонями. Возможно, из-за того, что недуг преградил Муни многие дороги и заточил средь этих холмов, плотно замыкавших горизонт, куда ястреб долетал, всего лишь сделав несколько взмахов крыльями, мальчик стал собирать книги о путешественниках и летчиках и читал их взахлеб. Перед его взглядом, точно под крылом самолета, проносились здания незнакомых городов — белые, с четкими гранями, похожие на те облепленные мухами кусочки сахара, которые были выставлены в сельской лавке...

Муни купил где-то книжку, в которой рассказывалось, как смастерить детекторный приемник. Целый месяц разыскивал он конденсатор и катушку, спаял их, потом позвал Маккавея и других ребят, попросил натянуть над крышей антенну. И в один прекрасный день, прикоснувшись тонкой, как пчелиное жало, проволочкой к граням отливающего свинцом кристалла, услышал в наушнике человеческий голос. Подумал было, что это с улицы долетел чей-то говор, но секундой позже в ушах зазвучала музыка. Играл военный оркестр — бравурно, гремя медью,— глаза у Муни засияли, щеки вспыхнули, и, казалось, перед одноклассниками сидел сейчас не всем им давно знакомый паренек, а мореплаватель, который увидел наконец обетованную землю...

...Огонь под навесом разгорался (учитель разложил костер, потому что по вечерам уже холодало), хворост трещал, летели во все стороны угольки, и Муни отодвинул свой стул.

— Мне встретились итальянцы,— сказал он.— Приезжали бить фазанов.

— Весь день палили. Должно быть, ни одного не осталось,— проговорил учитель, глядя на реку, откуда веяло прохладой осеннего вечера.

— Итальянцам не жалко. Заплатили деньги и давай бить.

— Человек, который привез их, говорит, что на эти доллары мы купим станки,— вставил Маккавей.

— Один уже купили. Два года валяется на станции возле склада Никому и дела нет. Доски, которыми он обшит, уже прогнили от сырости.

— Наверное, отжил свой век,— сказал учитель.— Станки стареют гораздо быстрей человека. Появился новый, более усовершенствованный, более экономичный, а прежний — сразу на свалку...

— Да, конечно,— согласился Муни.— Купят новый, более экономичный. На итальянские денежки. Знаешь, сколько они тут валюты оставили?... В позапрошлом году две недели подряд били фазанов в излучинах возле Ботуни. Осенью опять прикатили, но уже в окрестности Златии... За каждого фазана — золотом!.. Слыхали, сколько за одного фазана дают? — обернулся он к учителю. Тот водил ладонями над горящими углями, и пальцы у него розовели от отсветов огня.

— Нет, не слыхал,— отозвался старик.

Муни знал обо всем. Лет десять уже разъезжал он по окрестным селам — от Ботуни до Врышского утеса. Свозил к себе в мастерскую

неисправные телевизоры и приемники и, нагрев паяльник, возвращал им то, чего они, казалось, лишились: речь, смех, песню. Он паял проволочки и катушки, менял лампы, ставил сопротивления, напоминавшие своими длинными ножками комаров, и после нескольких бессонных ночей к аппарату возвращалась речь. Муни втаскивал на заднее сиденье своей коляски обшарпанный ящик, которому он вернул чудо — жизнь, вез хозяину, и всюду встречали его с радостью и благодарностью.

В его глазах, как в калейдоскопе, кружились времена года с разноцветьем холмов и пеленами тумана над прибрежными топями, сменяли друг друга дни и ночи, благоухали весной цветущие кусты боярышника, голые и зябнущие поздней осенью, а зимой кутавшиеся в длинные снежные бурки. У него перед глазами проходили толпы свадебных гостей с красными петухами в руках — скачут вокруг невесты, опутанной с ног до головы гирляндами бумажных денег; цвели персиковые деревья, и глубоко в хлебах перекликались перепела; одна за другой проходили и похоронные процессии: два вола тянут подводу, за ней бредут вразброд человек десять, с трудом выдирая ноги из липкой грязи, или же впереди мужчин, одетых в черное, и женщин с траурными вуалями мягко покачивается на рессорах катафалк, а у лошадей развеваются на лбу черные ленточки...

Маккавей смотрел в глаза друга, где покоилось, точно палая листва на дне родника, все явное и тайное родного края; смотрел, как отсветы костра перемещаются по его волосам и длинному, с припухшим кончиком носу, тень которого подрагивала, закрывая тонкий, точно ножом прорезанный рот; смотрел на вытянутый мясистый подбородок, будто вылепленный из теста, где остались вмятины от пальцев, и думал о том, сколько стойкости и силы в чертах этого лица.

Ребятишки в начальной школе ненавидели тщедушного мальчика, который, взмахивая костылями, рывком переносил тело со ступеньки на ступеньку, а в классе первый поднимал руку, чтобы ответить урок. На переменках они колотили его — без всякой причины, просто он раздражал их, как раздражали воробушки, которым они выдирали хвосты, или ящерицы, которым они запихивали в рот подобранные на улице окурки. Они дергали Муни за полы, выбрасывали его шапку в окно, выкручивали ему уши... С трудом удерживаясь на костылях, он тщетно пытался разорвать кольцо обозленных мальчишек и робко улыбался, словно вымаливая улыбкой пощаду, но дети не прекращали издевательств, уверенные, что не получат сдачи.

Маккавей пробовал иногда защитить друга, но локти соучеников не подпускали его близко. И тогда происходило нечто неожиданное: белый как мел Муни повисал всем телом на одном костыле, а вторым, стремительно взмахивая жилистой, длинной, чуть не до щиколотки, рукой начинал дубасить своих мучителей. Из старенькой одежонки подымалась пыль, у кого-то отрывался рукав...

Драка прекращалась, когда звонил звонок, и ученики, потирая ушибленные спины, мирно и тихо возвращались в класс.

Эти побоища происходили обычно в начале учебного года. Одноклассники враждебно встречали маленького калеку. Учитель страдал из-за их жестокости, уговаривал быть добрыми и прилежными, убеждал, что Эммануил мальчик умный, любознательный и надо помогать ему. Дети слушали, листая свои тетрадки или очинивая карандаши, соглашались для вида, но стоило прозвенеть звонку, как коридор наполнялся топотом бегущих во двор учеников, и история повторялась. Дети не хотели смириться с тем, что именно у них в

классе учится калека, который, когда маршируют, ковыляет на своих костылях позади всех, а когда гоняют в футбол, неловко мечется по двору, стараясь ударить по мячу костылем.

Но приходила весна. Дети отправлялись за сорочьими и вороньими гнездами в леса на другом берегу Огосты. Шел с ними и Муни. Иногда гнездо находилось на невысокой груше-дичке или на сучковатом дубе, и те, кто половчей, легко взбирались и доставали их. Но случалось, что пернатые обитатели чащи свивали себе гнезда на высоченной липе с гладким и скользким, как стекло, стволом. Тогда наступал черед Эммануила. Он оставлял костыли, обхватывал ствол своими непомерно длинными руками, похожими на те железные кошки, с помощью которых рабочие взбираются на телеграфные столбы, и, помогая себе коленками, мгновенно исчезал в густой кроне дерева. Потом спускался, держа кепку в зубах, в которой было с десяток голубовато-зеленых, в коричневую крапинку яиц. Муни все до последнего раздавал их одноклассникам и радовался тому, что они счастливы.

Мало-помалу щедрость сблизила его с ними. Нашлись общие игры, причем больше всего веселило ребят, как Муни, повиснув на своих крепких и ловких руках, передвигался с ветки на ветку: он перелетал с дерева на дерево, наподобие того артиста в кинокартине, которую им год назад показывали в школе...

Сейчас эти руки, по-прежнему крепкие, но уже огрубевшие, с черными от паяльника и припоя пальцами, шевелились над костром, и огонь гладил их легкой дымкой своих фиолетовых язычков...

— ИДУ ВДОЛЬ РЕКИ И ВИЖУ посредь заводи что-то рыжеватое, — сказал Лесной Царь. Он поднял к небу очки, убедился, что стекла мутные, и стал тщательно протирать их платком.— У меня ведь худо со зрением, не разобрал толком, что там такое, решил, прошлогодняя листва плывет по воде. Но вгляделся получше, вижу — лисья морда. Туловище в воде, а морду поверху держит... «Купается,— думаю.— Пускай наведет красоту, а уж тогда влеплю ей в зад пулю!»

Он нацепил очки на нос, толстые стекла размыли очертания глаз, веки расплылись, словно нарисованные акварелью на мокрой бумаге, и за стеклами разлилась желтоватая, как водоросли в бочаге, хмарь зрачков. Лесник поправил на облысевшей голове фуражку с козырьком, смазанным касторкой так, что сверкал на солнце, точно зеркало, подтянул к себе старый бельгийский карабин, словно собираясь пальнуть в лисицу, и продолжал:

— Вроде купается, а сама замерла, не шелохнется. Оголодала небось и теперь чего-то высматривает, думаю я и затаиваюсь, чтобы она меня не учуяла. Лиса, значит, киснет в заводи, только морда чуть шевелится, и — гляжу — в пасти у нее палка. Это ж надо! Тридцать восемь лет, почитай, в лесниках хожу, всю округу ногами вымерил, а сроду такого не видывал... Может, говорю я себе, задрала у кого кур, а хозяин поймал ее в курятнике и, вместо того чтобы прикончить на месте, запихал ей поперек пасти палку, прикрутил проволокой да и выпустил — пускай, мол, побегает по земле живая-здоровая, покуда не сдохнет с голоду...

Учитель слушал его, сидя у порога. Смотрел, как гость шевелит пальцами своих великаньих ступней, коричневых от присохшей глины (она облепила и ремешки стоявших рядом сандалий), смотрел на обтянувшую живот майку, которая казалась еще более серой и ветхой рядом с фуражкой зеленого сукна, сверкавшей на плешивой его голове, как корона, и думал: «Видит, что я человек терпеливый, и бог

весть сколько еще нагородит... Охотники — мастера на выдумки... А такие, как Лесной Царь, которые следят, чтобы не браконьерствовали, врут еще отчаянней...»

Если бы гость повернулся к учителю, то заметил бы снисходительную улыбку в уголках его рта, и сказал бы: «Э, ладно, это все детские сказочки, чего тебе голову зря морочить», но очки его поблескивали, повернутые к заводям Огосты. Учитель взглядывал на эти слоистые, как куриный белок, стекла, и ему чудилось, что он видит в них отражение выдуманной лесником лисицы с рыжим хвостом.

— Гляжу я, значит,— продолжал человек, увенчанный фуражкой с зеркально начищенным козырьком,— а лиса трясется как в лихорадке, морда в воде, только пасть на поверхности, да палка торчит по-прежнему. «Твою мать! — кричу я и вскидываю карабин.— Долго ты измываться надо мной будешь?» Пальнул — да мимо. Лиса палку выпустила, выбралась на берег и — была такова. Спустился я к ивам поглядеть, что за палка такая окаянная. Нагнулся, подтянул за конец и что же вижу? Вся она в коричневых чешуйках, точно отрубями обсыпанная. Выудил я ее — а отруби эти как запрыгают, как по мне заскачут! Представляешь, это блохи были!.. Неделю целую обирался, все с себя прокипятил, одну фуражку не тронул, но и по сей день от них еще не избавился. Видал, все время чешусь...

— Блохи, наверно, за кокардой прячутся, на фуражке,— пошутил учитель.— Вот оно, значит, как с лисицей, а?

— Хитра, мать ее за ногу! Мокнет, значит, в воде, а блохи по волоскам, по волоскам, да и на палку. Потом она эту палку отпускает, чтоб подплыла к кому-нибудь вроде меня, и пусть он потом кипятит все, что на нем есть, раз такой любопытный! А сама улепетывает подобру-поздорову...

— Еще древние философы говорили, что познание оплачивается страданием,— с улыбкой произнес учитель, встал и пошел в дом якобы растопить печь, а на самом-то деле чтобы избавиться от опасения, что блохи с фуражки Лесного Царя могут перепрыгнуть и на него.

Вправду ли он видел лисицу или выдумал эту историю? Искал ли он этого хитрого зверя, скитаясь что ни день по поречью, или же лиса служила поводом обходить вырубки и заводи, выслеживая правонарушителей, которые ловят рыбу без путевок или рубят лес возле снесенного села?

Лесной Царь постарел — ноги носили его уже не так весело и ходко, как в былые времена, под лопаткой кололо, в сырую погоду ломило поясницу, иногда казалось, что в паху вбиты острые гвозди, зубы поредели — те крупные, с фасолину, желтые от табака зубы, которые когда-то перегрызали стальную проволоку; ослабело зрение, вот уже десяток лет дужки очков натирают ему уши, заостренные, как у собаки... Время все разъедало в нем, как Огоста — свои берега, и он знал, что когда-нибудь подмытая почва обрушится и утянет его за собой. Все разъедало беспощадное время, лишь одно оставалось в Лесном Царе неизменным: слух. Чем больше старился строгий блюститель закона, тем слух у него становился острее. Лесной Царь по плеску воды распознавал, забросил ли браконьер невод или это журчат взбаламученные сачками подводные ямы; он мог различить самые тихие удары топора в лесу и точно сказать, где орудует порубщик. Он даже мог определить по стуку топора, какое дерево валят — обыкновенный дуб или чернильно-орешковый, и редко ошибался, в особенности осенью, когда воздух тих и прозрачен и в пылающем от листопада лесу эхо так богато оттенками...

— Если появится лиса, фазанам каюк,— сказал Лесной Царь.— Ни одного перышка не останется...

— Да и сейчас уже вряд ли осталось.— Учитель, обернувшись, увидел, что глаза лесника шарят вокруг дома: оглядывают поленницу

дров, ощупывают прислоненные к стрехе жерди.— Всех итальянцы перебили.

— Может, и так, да ведь они платят. Долларами. Это ведь дерево срубишь, и оно уже больше не вырастет. А фазаны — дело другое. Одних истребим — новых разведем, в инкубаторе. Главное — платят. Нарушение закона налицо имеется?.. Не имеется! Что же тогда? Подойти к ним и сказать: «Отправляйтесь, господа хорошие, бить фазанов в свою Италию, а этих оставьте нам, чтоб любовались мы на их красоту, больно они на лету красивые...» В жизни этого не скажу, не такой я дурак, как думаешь... Пущай стреляют, пущай набивают брюхо, рано ли, поздно ли подавятся они фазаньей костью, и тогда мы им скажем: «Ну что, господа? Пожили в свое удовольствие, платили нам денежками, расплачивайтесь теперь по-другому!»

Учитель смотрел на старый бельгийский карабин, лежавший у ног лесника, и думал о том, сколько страха и покорности вселяло в людские души это ветхое оружие, которое почти четыре десятка лет покачивается за спиной Лесного Царя — никудышное оружие с вытертым ремнем и вмятинами, точно оспины испещрившими ржавеющий ствол... Учитель вспомнил, что Лесной Царь выстрелил из этого карабина в одного паренька из Малокутлова, который вздумал ловить рыбу под мостом, неподалеку от железнодорожной станции. Врачи ампутировали пареньку раненую ногу, и бедняга всю жизнь расплачивался за три пойманные возле быков моста рыбки, плоские, как карманный нож, которым Лесной Царь сейчас подрезал себе ногти на ногах. Дуло старого карабина, словно змеиная голова, высовывалось из листвы низкорослого кустарника, и какая-нибудь крестьянка, забравшаяся на тутовое дерево нарубить веток для шелковичных червей, испуганно соскакивала на землю, а потом, от страха, что ее отведут в сельскую управу всем на посмешище, отдавалась в руки Лесного Царя, которые стискивали ее точно стальные обручи. Он валил ее на ветки шелковицы, его пальцы сновали по ее бедрам, и хотя она противилась, опытный в таких делах лесник по ее движениям понимал, что это только для виду. Опрокинутая на спину женщина сначала ощущала тяжесть его крупного тела, потом прерывистое дыхание опаляло ей лицо, и сквозь прикрытые от возбуждения веки она видела обросший щетиной подбородок, желтые плоские зубы и хрящеватые, прозрачные от утреннего света уши, качавшиеся в одном ритме с алчным телом... Женщина вставала, озиралась исподтишка и поправляла юбки. Ветки, еще недавно примятые объятиями случайно встретившихся в лесу людей, расправляли свои листья, а Лесной Царь, вновь с карабином на плече, исчезал среди ясеней, прислушиваясь к далекому гулу топора.

— Гляжу я, учитель, припас ты дровишек-то,— сказал гость, продолжая оглядывать все вокруг.— Тоже небось думаешь: все тут приходит в запустенье, все равно затопит водой — бери топор и руби! Дело твое, но предупреждаю: попадешь мне на мушку — пощады не жди! Ты, было время, сына моего учил и внука, и я тебе благодарен, но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Верно, нет?

— Я эти деревья подобрал на берегу,— тихо, словно оправдываясь, сказал учитель.— Их вырвало с корнем во время половодья. Не видишь, они все в тине?

— Вижу. И ветки вижу, которые ты нарубил день-два назад, у них еще листья не засохли... Ладно, знай мою доброту, но ежели поймаю в лесу, разговор пойдет другой, имей в виду...

Мстительный человек был Лесной Царь, учитель прекрасно знал: попадешь к нему на мушку — пощады не жди. В глазах лесника

всегда плясали хитрые огоньки, словно не человек на тебя смотрел, а та лисица, которая столь хитроумно отделалась от блох. Поэтому он очень удивился (было это лет десять назад), когда однажды увидел Лесного Царя плачущим.

Положив карабин на траву, тот всхлипывал, не разжимая рта, и слезы стекали по худым, выдубленным солнцем и дождями щекам.— Что случилось? — спросил он. Лесник не ответил. Смотрел сквозь узкие щелочки склеенных слезами век поверх берез, будто что-то искал в небе и не находил, кусал губы поредевшими зубами, а тело сотрясалось от глухих, сдавленных рыданий.

На другой день учитель узнал о том, что погиб знакомый ему летчик, уроженец видневшегося за отмелями села, где дважды в день, в полдень и перед заходом солнца, повисал над крышами дым поезда — днем серый и зыбкий, вечером позолоченный закатными лучами. Узнав эту весть и вспомнив давно минувшие годы, он понял, отчего плакал Лесной Царь. Человек, вряд ли когда проронивший слезу в минуту чужого горя — ведь душа у него черствая, жесткая, как засохшая глина между пальцами ног,— оплакивал знакомого летчика, который в молодости, когда размеряли леса за Огостой, тянул рулетку через терновник и заросли ежевики и, подчиняясь окрикам лесника, вбивал колышки, обозначая границу общинных земель и лесных угодий... Должно быть, в глубине души Лесной Царь любил этого простодушного и скромного юношу, но прятал свое чувство от посторонних глаз, так же как прятались в жнивье суслики, едва завидев тень его карабина. Он всегда поступал так — считая душевную размягченность непростительной слабостью, руководствуясь во всех делах грубостью и жестокостью. Вероятно, юноша, который впоследствии стал бороздить небесные дороги, возвращал Лесного Царя к ушедшей поре его собственной жизни, когда он легко и весело ступал по земле, а душа по утрам, прежде чем проснуться, сияла от сновидений, как засаженное подсолнухом поле...

Должно быть, каждый из нас хранит в душе такие незримые подсолнухи, которые днем поворачивают свои золотистые головки вслед солнцу, а ночью вспоминают о нем и тоже сияют: ведь у подсолнухов и воспоминания залиты светом. Лучше всего это сияние видно в детских глазах и улыбках, разглядишь его и в раздуваемых ветром, шевелящихся рубашонках. Тебе покажется, что ребятишки прячут за пазухой пушистого желтого птенчика, прожигающего ситец своими золотыми перышками. Но нет там никакого птенчика: это подсолнухи, которые ребенок носит в душе. И так как на его душе еще нет никаких пятен и ничто не застилает ее, как пыль застилает окно или полог осеннего дождя — долину, то все в ней зримо, сверху донизу.

Если спросить себя, удается ли человеку на протяжении жизни сохранить душу такой, какой она была при его появлении на свет, то, к сожалению, придется ответить, что это случается крайне редко. Душа много прожившего и много испытавшего человека подобна отцветшему саду, над которым что только не бушевало: и градом било его, и молнией раскалывало самые высокие деревья, и скотина ломала, вытаптывала стебли подсолнуха... Блажен тот, кому довелось, когда беда была уже позади, оглянуться и увидеть, что не все уничтожено стихией, что хоть одно сбитое градом зернышко пустило корень, и цветок зовет первую вечернюю звезду, чтобы, как пчелку, покачать ее на своих лепестках...

Вот такое мгновение, вероятно, вспомнилось Лесному Царю, и он не останавливал слез, которые сбегали по шершавой коже щек, как

внезапно заморосивший над ивняком дождик, и капали на приклад старого карабина...

ЗАРЯДИЛИ ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ. Небо плотно сомкнулось, и две недели ни одному солнечному лучу не удавалось пробиться сквозь тучи. Вода плотными косыми струями обрушивалась с хмурой глухой выси. Даже ветер оказался не в силах разорвать эти водяные завесы, он лишь раскачивал их над поречьем, а они с глухим звоном ударялись друг о дружку. Раскисшая земля пахла гнилью. Хлеба полегли и почернели. По ночам река грозно гудела, разрывала запруды, подмывала прибрежные ивы, и покалеченные ветви глухо трещали, когда река затягивала их в подводные омуты.

Дни и ночи словно бы слились воедино... Их различали только звуки: днем даже самый сильный шум звучал глуше — быть может, его впитывала в себя серая сырость холмов; зато ночью все громыхало в полную мощь — непереносимо гудела река, подмытые деревья ломались и так трещали, будто началась орудийная пальба, уханье сов в мокром небе казалось голосами утопленников... Таинственность ночей еще больше усиливала эти ощущения — из-за снов, из-за чувства своей беспомощности перед мрачной, разъярившейся вселенной, из-за поступи дождя за стеной, похожей на крадущиеся шаги бесприютной души человеческой...

Стали поговаривать о всяческих бедах и напастях: о смытых полях и огородах, снесенных мостах, затонувших стадах.

В домик, где поселился Христофор Михалушев и его больной сын, заглядывали иногда по дороге в город жители горных селений. Заглядывали, чтобы проведать учителя, которого знало все поречье, да и погреться у огня (промокшая одежда через минуту начинала дымиться и пахнуть паленым), рассказывали о том, что видели и слышали в дни и ночи потопа.

Их рассказы, в которых была и немалая доля вымысла, потому что каждый добавлял к увиденному и услышанному по щепотке соли, не особенно удивляли учителя, много видевшего на своем веку, но приковывали к себе внимание его сына; и, съежившись у костра, отблески которого плясали на загрубелых ладонях заглянувших ненадолго путников (большинство из них работало на чипровских рудниках), он, затаив дыхание, слушал их рассказы, пробуждавшие странные видения в его мозгу. Одни рассказывали, что вода снесла недостроенную насыпь возле плотины — там, где эта насыпь примыкает к холму,— и город якобы затопило до самого вокзала. Другие говорили, что прорвало запруду во Врачанских горах. Там находились рудники, и свинцовые отстои, которые эта запруда удерживала (по слухам — тысячи тонн загрязненной воды), хлынули в ущелье и помчались к поречью Ботуни, сметая все на своем пути. Дело случилось в праздник, в самый полдень. Ненадолго выглянуло солнце. Повсюду в селах заиграли на улицах музыканты. Народ вышел прогуляться — отцы, матери, ребятишки. Никто не подозревал, что не пройдет и десяти минут, как свинцовые волны хлынут по улицам, и подхватят все — медные трубы, которые еще долго будут, хрипя, метаться в серой лаве, перевернутые детские коляски...

Все рассказы о снесенных мостах и вырванных с корнем деревьях бледнели перед тем, что Михалушевы услыхали сейчас.

Один из гостей вертел ручку своего транзистора, и сидевшие у костра старались сквозь потрескивание бакелитового ящичка расслышать голос, который расскажет им о том, что произошло. Они

ожидали также, что прозвучит траурная музыка («Двести человек погибло!» — говорил тот, в чьих руках чернел транзистор), но радиостанции, видимо, не подозревали о том, что волнует этих людей: один бодрый голос сменял другой, а о беде, случившейся всего в полусотне километров отсюда, никто ни словом не обмолвился..

Несколько дней светило солнце, и вновь запахло летом. Опять запели жаворонки, высохли лужи, река вернулась в свои берега — тихая и посветлевшая, прозрачней, чем раньше. Только торчавшие еще на отмелях облепленные тиной корни да пригнувшиеся к земле хлеба напоминали о промчавшемся бедствии.

Христофор Михалушев поднялся на крышу — сменить сломанные черепицы — и сверху увидал Лесного Царя. Лесник шел в их сторону по тропке вдоль реки, временами останавливался, разглядывая обрушившиеся от наводнения берега, и, придерживая локтем карабин — дуло цеплялось за ветки и тянуло назад,— неторопливо приближался к дому учителя. У дома он приложил ладонь козырьком ко лбу, защищаясь от света, и поднял лицо к своему давнему знакомцу — поздороваться. Сквозь толстые стекла очков тот показался ему вдруг необычайно высоким на черепице крыши.

— Я уж думал, тебя рекой унесло,— усмехнулся Лесной Царь, и кокарда на его фуражке сверкнула в лучах утреннего солнца.— А ты, точно аист, расхаживаешь по крыше...

— Да, но если бы ливни не прекратились и Огоста продолжала подмывать берега, ты бы нашел мои штаны и рубаху где-нибудь на кусте или в какой-нибудь вымоине,— ответил учитель, спускаясь по стремянке к гостю.

Они курили, глядя на излучину за бродом. Река весело поблескивала сквозь тонкий дымок сигарет, и от нее веяло тем покоем, какой может навевать лишь земля после миновавшей беды.

— Мы тут с Маккавеем живем как выкорчеванные ивы на отмелях. Река огибает нас и бежит дальше. Хорошо, что ты навещаешь, да иной раз заглянут по пути жители верхних сел, хоть словечком с кем перебросишься,— сказал учитель и поднес к сигарете уголек: отсыревший табак гаснул.— Говорят, во Врачанских горах прорвало запруду и погибло много людей. Ничего такого не слышал?

— Да, говорят, было такое...— произнес Лесной Царь так невозмутимо, словно речь шла не о человеческих жертвах, а о вырванном наводнением дереве.— Слухи самые разные ходят. Один мой дружок, лесником он в поречье Ботуни, говорит, будто сам видел, как вылавливали утопленников из-под мостов. Совершенно голых. Свинцовая вода, мол, одежду разъела. А где-то в трясине выудили, говорят, инструменты утопшего деревенского оркестра: басы, трубы — все грязью забито. Я его спрашиваю: «Газеты читаешь?» — «Читаю», — говорит. «Там что написано?» — «Ливневые дожди прорвали в горах небольшую плотину. Наш корреспондент, побывав на месте происшествия, сообщает, что человеческих жертв не имеется. Жители продолжают уборку ячменя и редиса...» — «Написано так или не написано?» — «Может, и написано,— упирается он,— а я своими глазами видел, как вытаскивали из грязи утопших людей...» — «Ну и чего же ты хочешь? — спрашиваю я у него.— Чтоб местная газета целую страницу отвела этому делу, да еще, может, чтоб фото напечатала, да? Корреспондент ихний, который на месте побывал, он, брат, поумней нас с тобой. Для чего сеять панику? Кому это на пользу?»

— Сказать правду и сеять панику — вещи разные,— перебил Христофор Михалушев, понимая, что его слова прозвучат для ушей

Лесного Царя так же неубедительно, как и возражения лесника из Ботуни.— Слухи-то ходят.

— Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай... Лесник этот, ботуньский, говорит мне: «Чего ты мне газету в нос тычешь, когда я своими глазами все видел!» — «Ну допустим, видел, но одно дело видеть, а другое — осознать, что у тебя перед глазами было. Скажем, побывал там человек — может, и видел что, а может, ему только помстилось... Газета не для тех пишет, кто видел, газета — она для всех. Что ж, по-твоему, нагонять страх на людей, которые спокойно занимаются своим делом?.. Лично я никаким слухам не верю. Для меня только то верно, что написано черным по белому. Те, кто пишет, получше нас с тобой разбираются...»

— И по радио ничего не сообщили,— снова перебил учитель.— К нам заходил на днях один горец, транзистор у него, но мы так ничего и не услыхали про то, что стряслось...

— А что ты хотел услыхать? Траурные марши? Трехдневный траур в самую страду? Никто в поле не выходит, техника простаивает, а мы сидим, молчим и думу думаем — так, что ли?.. Ничего нет хуже похоронной музыки: она придавливает человека. Будь самый что ни на есть боевитый народ, а поиграй ему несколько недель кряду похоронную музыку, и он раскиснет, а тогда можешь преспокойно одной-двумя дивизиями захватить его территорию... Помню, служил я в Ломском кавалерийском полку, ох, как нас военная музыка распаляла... Только, значит, заведет оркестр походный марш, кони сразу уши торчком, мы трогаем рысью, а рука уж сама тянется к сабле рубить направо и налево...

— В кавалерии дело другое,— учитель улыбнулся, увидев, как воинственно взмахивает рука лесника, словно сейчас выхватит саблю из ножен.

— Почему другое? А ты представь, что оркестр заиграет траурный марш. У коней ноги заплетаются, тащатся еле-еле, точно клячи дохлые. А вражеская кавалерия — вон она, скачет, к примеру, ну от сторожки обходчика. Пока мы цепью рассыплемся, пока очухаемся, всех нас порубят... Потому я говорю моему дружку из Ботуни: «Правильно в газете написано. Раскисшему человеку грош цена. А вместо прорванной запруды мы другую поставим. Еще лучше прежней!..»

Лесной Царь пошарил в карманах вязаной фуфайки, торжественно выдернул из пачки сигарету (это означало, что разговор окончен), нагнулся к огню прикурить и зашагал вдоль реки дальше, а учитель опять поднялся по шаткой стремянке на крышу — продолжить свою работу.

Под вечер появилась лиса. Христофор Михалушев заметил ее на тропинке возле водоразборной колонки. Она была тощая, с худыми, втянутыми боками и принюхивающейся узкой мордой. Рыжий хвост волочился по земле.

Люди в районе снесенного села теперь бывали редко (лишь Лесной Царь время от времени проходил тут со своим карабином), и лиса привыкла к шелесту деревьев и травы, к голосам перепелов и филинов, не боялась их, а преспокойно разгуливала по усадьбам, полям и речным бродам, где иногда задерживалась, подстерегая рыбу или пробегавшего по песку суслика. Не спугнул ее своими запахами и дым того домика, где жили теперь Михалушевы. Она спокойно направилась туда, будто зная о том, что у обитателей этого дома нет оружия и они ничего ей не сделают, разве что подымут крик или швырнут вслед камнем.

Стоя у окна, Христофор Михалушев и Маккавей смотрели, как лисица обходит вокруг дома, заглядывает под навес, тычется мордой в ящики, где хранятся сухие связки репчатого лука, потом, подняв глаза к слуховому окну, долго принюхивается: почуяла, верно, что на чердаке лежит пропахшая рыбой сеть, еще не обнаруженная всевидящим оком Лесного Царя... Лиса двигалась крадучись и в спустившихся сумерках напоминала вытянутую тень человека, который бродит рядом, но тело его прозрачно, и сквозь него видны прибрежные ивы, лиловые от сумерек пески и округлые, еле различимые очертания холмов. Таинственный человек бродил поблизости, а Христофор Михалушев не видел его — он видел лишь его тень (она продолжала кружить возле дома), и глаза этого человека пронзали его лисьими глазами: хитрые, ощупывающие лицо и душу глаза...

Сначала, когда он впервые заметил лису (ему было интересно наблюдать за ней, и он долго смеялся, вспомнив рассказ Лесного Царя о блохах), Христофор решил, что ее приманили в эти края фазаны. Итальянцы перебили их сколько смогли, но все же осталось кое-что и на ее долю, нет-нет да и мелькнет за кустом царственное багряное крыло, перья которого могли бы захрустеть на зубах длиннохвостой скиталицы.

Он думал, что лису привлекают фазаны, но он ошибся.

Однажды, проходя по снесенному селу, учитель заметил лисицу в одном из дворов. Там не было ничего для нее соблазнительного. Торчали из травы камни фундамента да желтело несколько тюльпанов. Лиса стояла посреди двора и принюхивалась к воздуху, задрав морду вверх — туда, где прежде были окна дома. Что вспомнилось ей — жившие тут люди или песни петухов на крыше? Следя за ее взглядом, подмечая в нем лукавые искорки, учитель думал о том, что замершая посреди двора лисица вспоминает сейчас, о чем говорили между собой эти люди, о чем размышляли, какие секреты поверяли друг другу...

Однажды он заметил, что лисица снует по кладбищу. Трава скрывала ее — выглядывал лишь огненный кончик хвоста. Лиса обнюхивала кусты, замшелые надгробные плиты, глиняные плошки, в которые уже бог весть сколько лет никто не клал уголька. Не задумала ли она мышковать в этом уголке запустения? Наблюдая за тем, как сосредоточенно вглядывается она в траву, учитель не мог отделаться от неотвязной мысли, что лиса ищет здесь, под чертополохом, под корнями деревьев, невысказанные тайны давно ушедших из жизни людей, чтобы потом нашептать их тому, кому все полагается знать.

Эта мысль засела в мозгу Христофора Михалушева.

Редко видясь с людьми и научившись разгадывать язык деревьев и птиц, он еще недавно чувствовал себя совершенно свободным в заброшенном домике у реки, но теперь понял, что ошибался. Конечно, равнина дарила ему свое приволье, солнце и облака тоже благоволили к нему, но он потерял ощущение свободы, потому что в его душе оставался высокий порог, через который он пока не сумел перешагнуть. Он мог отыскать в своем детстве дни и часы полной свободы, но тогда он не сумел осознать их и оценить, и они навсегда исчезли. Все остальные годы жизни были полны ответственности перед кем-то или чем-то. Совесть не позволила ему до последнего дня покинуть мать, чья больная душа бродила среди кошмаров, как деревенская скотина бродит в кустах ежевики на перелогах; он не мог стереть в памяти образы детей, которых учил на протяжении четырех десятков лет, не мог не принимать близко к сердцу заботы и боль этих теперь уже немолодых людей, которые давно распрости-

лись с ним и, может быть, забыли о его существовании; у него не хватало сил хоть на время расстаться с сыном, отправить его туда, куда помещают душевнобольных, а самому собрать свои пожитки и поселиться в доме для престарелых... Не хватало сил...

В минуты подведения итогов учитель мог бы разворошить в своей душе все, о чем мы упомянули сейчас, и воскликнуть: «Сгиньте! Я хочу быть свободным!» Но тогда это был бы не он, а другой человек, от которого он сам бы отвернулся с презрением. И, отворачиваясь, увидал бы лисицу...

Да, лиса еще не ушла, она все еще кружила возле дома: обнюхивала стены и прислушивалась, словно хотела различить голоса тех, кто некогда жил тут.

«Раздобуду ружье и в один прекрасный день пальну в этого мерзкого зверя...» — подумал учитель и кашлянул, чтобы отогнать лису. Но она не удрала, а подошла к окну, встала на задние лапы и заглянула в комнату.

Их взгляды встретились — и на Христофора Михалушева дохнуло холодом лисьих глаз...

ОДНАЖДЫ ДНЕМ ПРИЕХАЛ на своей коляске Муни. Привез сосновые доски, и они вместе перетаскали их под навес. Назавтра Муни приехал опять, уже со связкой планок и досками в человеческий рост высотой. Сияющий Маккавей выбежал ему навстречу, что-то шепнул на ухо, чтобы не расслышал отец, и сложил все привезенное другом под навес.

Как-то под вечер трехколесная коляска прикатила снова. Гость побыл недолго: оставил на траве ящичек, в котором было два рубанка, тесло, шурупы и гвозди, потом заглянул под навес, где на грубо сколоченных козлах лежали привезенные им доски. Учитель как бы между прочим спросил, что это они с Маккавеем задумали, но Муни только улыбнулся в ответ, заговорщически сверкнул глазами, дружески похлопал учителя по плечу: дескать, потерпи — узнаешь, посвистывая, устроился поудобнее на протертом сиденье своей коляски и укатил.

Было ясно: у Маккавея что-то на уме, и он хочет сохранить это в секрете от отца. Он весело расхаживал по двору, рыжая шевелюра сияла, будто освещенная огнем затаенных мыслей, разглядывал доски и что-то чертил на листке из школьной тетради.

Христофор заметил, как переменилась у сына и походка, и речь. Теперь он ступал уверенно, спокойно. В словах ощущались легкость и прозрачность — словно Рыжеволосый смыл с души долгие годы копившуюся пыль. Стал спокойнее спать, хотя, преследуемый сновидениями, он по-прежнему вскрикивал ночью и бредил, но в невнятном бормотании был уже не страх, а угроза всему, чему он столько времени покорялся, перед чем недвижно, стиснув зубы, застывал — так же, как в детстве, мальчишкой, недвижно стоял перед кидавшимися на него собаками, а те, разглядев в его глазах не страх, а твердость, молча пятились и брели прочь.

Маккавей не смог долго хранить свою тайну. Однажды вечером, когда его вилка весело звякала о тарелку, он признался отцу, что собрался строить лодку.

— Мы проплывем на ней по всему поречью,— Маккавей смотрел на отца, в глазах мерцал огонек лампы, как еле различимый далекий

парус, возникший в подтверждение его слов.— Я повезу тебя к церовским мельницам, мы проплывем над руслом Уручского ручья, куда ты много лет назад водил меня ловить раков,— помнишь, как ущипнул меня за палец, но я не заплакал, уже был большой.

— Помню,— сказал отец.— По вечерам раки выползают, пасутся возле подводных пещер. Я, бывало, набирал их целыми мешками. Уручский ручей — это их вотчина.

— В ветреный день поставим паруса...— продолжал Маккавей.— Как это, наверно, прекрасно — держать в руках канаты и ощущать, что лодка под тобой подпрыгивает, будто хочет оторваться от воды...

— Никогда еще не садился в лодку,— сказал отец,— но я прочел множество книг о путешествиях и по их описаниям знаю, какое волнение при этом испытываешь. Парус, точно птичье крыло, тянет вдаль и лодку, и твои мысли...

— К той поре, когда все поречье затопят и волны примутся за карстовый холм (будет, наверно, слышно, как гудят подземные пещеры), я уже стану опытным моряком,— улыбаясь, проговорил Маккавей.— Научусь управлять и веслами и парусом. Вдруг ночью услышим, как трещит холм под напором воды (то-то будет гула и треска!), увидим, как бешено мчится вода к промоинам, как она их долбит, я крикну тебе: «Отец, бери все что можешь и скорей в лодку, приближается потоп...»

— Что можно взять в такую минуту? Только бы душу спасти... Когда начался всемирный потоп, библейский Ной собрал в свой ковчег всякой твари по паре, но у нас с тобой не будет на это времени, да и лодка будет недостаточно велика,— улыбнулся учитель, и уголки его рта дрогнули от тревоги: он понял, что ошибался, думая, будто мысль о лодке вселила покой в душу сына. Глаза Маккавея, вглядываясь в склоны холма, наверно, обнаруживали под гладкими плешинами ту пока невидимую трещину, в которую вода вонзится, как гигантская кирка; видели все ее зигзаги так же явственно и безошибочно, как нейрохирург — швы черепа даже под самой пышной шевелюрой.

— Первым делом заберу тебя, потом поплыву в город, пока его не снесло водой,— говорил Маккавей, уставившись пристальным взглядом на горизонт. Учитель понимал, что контуры облаков и летящих птиц начертали там апокалипсические картины, меж которых и блуждает сейчас мысль сына.— Я крикну Муни: «Бросай свою коляску, скорей сюда!» Он не поймет, зачем я зову его, скажет: «Привяжи лодку, пойдем смотреть телевизор».— «Какой еще телевизор? — раздраженно крикну я.— Вода прибывает!» Он оглянется и не поверит своим глазам: холм расколот, в пролом хлещет вода и так дымится, будто это не вода, а раскаленная лава. «Кидай костыли в лодку!» — крикну я и втащу его через борт. Вода будет пытаться догнать нас, но парус надует ветром, и мы умчимся далеко-далеко, а позади нас волны будут биться о стены домов, зазвенит стекло: это вода разбивает окна и проникает в комнаты...

Отец слушал рассказ Маккавея и, видя, как сосредоточен его взгляд, как наползает на зрачки тень, отчего глаза становятся тихими и блуждающими, как у слепца, понимал, что сын смотрит сейчас глазами своей души.

Старик пытался представить себе то, что отражалось в душе сына, и оно казалось ему увеличенным и искаженным, как отражения в кривых зеркалах на ярмарках... Должно быть, Маккавею виделось, как первыми пытаются выплыть из окон кровати. Ненадолго задерживаются на волнах — точно плоты,— но тюфяки быстро набухают и тонут в водоворотах. На поверхности остаются только подушки, легкие благодаря пуху и людским сновидениям, и на этих

подушках, как на спасительном островке, оробело стоят куры... Прибывающая вода сметает дощатые заборы, ставит их торчком, как столбы, устремленные к небу, но никто по ним не карабкается, потому что они ведут в пустоту низко нависших туч. Вода сметает также автомобили, под которыми обычно подолгу лежали, подкручивая болты, их владельцы; разбивает витрины ювелирного магазина, и волны выносят оттуда золотые ожерелья, какими, учитель видел, украшают себя городские богачки. Волны мчатся к вокзалу, куда только что прибыл поезд, проникают в вагоны и выносят оттуда чемоданы, узлы, зонтики — те, раскрывшись, повисают над волнами, а паровоз шипит, как исполинская головешка, а потом гаснет и навсегда исчезает под разбушевавшейся водой.

И над охваченным паникой городом, над воплями людей, устремившихся в поисках спасения к соседнему холму, держа на руках перепуганных, мертвенно-бледных детей, над тополями, которые гнутся вдали под напором взбесившейся стихии, надо всем, что может быть выкорчевано, разрушено и унесено, плывет фуражка Лесного Царя. Она не переворачивается, хотя волны швыряют ее и колотят, а мчится, мерно подскакивая над гребешками пены. Вымытая брызгами кокарда светится, начищенный касторовым маслом козырек тоже сверкает, а туго натянутое зеленое сукно околыша напоминает переправляющийся на другой берег паром...

Христофор Михалушев, воссоздавая в своем мозгу эти видения сына, ничуть не удивился бы, увидев, что на козырьке фуражки сидит сам Лесной Царь, спустив ноги в воду, и шевелит пальцами, чтобы отмыть засохшую глину, а на коленях у него карабин — ведь на другом берегу тоже есть нарушители закона и он обязан туда заглянуть...

Христофор Михалушев рисовал себе все это бледней или ярче — насколько позволяло воображение, разбуженное блуждающим взглядом Маккавея, но он был убежден, что мальчик, как он любил называть сына, видит все в мельчайших подробностях. Даже то, что ему, Христофору, представляется лишь черно-белым, в глазах сына переливается всеми цветами радуги, и над всей этой пестротой спокойных и драматических красок господствуют два цвета: мутно-синий — цвет разбушевавшейся воды и золотисто-белый — раздуваемых ветром парусов, которые мчат лодку под грохот рушащихся домов к противоположному берегу.

Старый учитель пытался объяснить себе, откуда доносится то эхо, которое с мучительной силой мечется в душе Маккавея, как метался, он помнил, в детстве его собственный голос в отверстии пещеры возле Искыра, облепленной сонными летучими мышами... Причиной всему, конечно, было болезненное воображение Маккавея, ведь мальчик никогда не видел, как прорывает плотину, даже страшного разлива Огосты в 1942 году он тоже не видел, ему тогда и годика не было. В какую ночь наблюдений и переживаний пустили корни эти увиденные наяву сны, подобно упругому, крепкому дереву, ветви которого с трудом умещаются в мозгу Маккавея, а листва сплющивается, теснимая мыслями?

Учителю трудно было ответить на эти вопросы.

В отличие от других людей, которые опрыскивали виноградники, окучивали картофель, а по вечерам медленно потягивали пахнущую старым бочонком ракию, Маккавей не умел очищать душу от скопившихся впечатлений и чувств. Он мог подолгу страдать от жалости к убитой птице, со страхом и восторгом наблюдать за вспышками молний в ночном небе, с мальчишеской мечтательностью смотреть,

как рассеивается белый след умчавшихся самолетов, вскакивать во сне и кричать, увлекаемый водоворотом на дно заводи у железнодорожного моста,— его чувства были болезненно обострены. Но как бы ни были иногда драматичны все эти переживания, вряд ли они могли объяснить мрачные видения Маккавея — холм, пробитый натиском воды, бушующие водовороты в его пещерах и город, гибнущий в гуле и грохоте волн. Возможно, в душе сына наслоились те тревоги человечества, которые вот уже столько лет витают в воздухе: тени людей, погибших при атомном взрыве над Хиросимой и Нагасаки, стронциевая пыль, осевшая на все низины и возвышенности на земле, и взвихренная автомобилями пыль, что оседает на листву и плоды фруктовых деревьев в исчезнувшем селе... Он помнил, как потрясенно сын рассматривал снимок, где была запечатлена Хиросима: на стене тень сгоревшего человека — плотная, будто нарисованная углем, а от самого человека не осталось и горстки пепла...

Этот серый пласт тревог и страха, успев затвердеть, лежит в душе человека, но мысли без устали, как кроты, подтачивают его, ищут семя гибели, чтобы перегрызть его ростки. Под их напором затвердевшая корка трескается. Пласт, казалось бы, тонок, но под ним зияют пропасти, чернеют отверстия пещер... Остается лишь хлынуть воде — и вот она уже здесь: это тот самый водоворот, что унес песок из-под ног тонущего мальчика. Жалкий, небольшой омут, но глаза страха делают его огромным. Вода в подводной яме гудит (это гул в пещерах рассеченного холма), и до последних городских зданий, которые будут снесены ее напором (так рабочие сносили его родной дом), осталось всего несколько шагов...

Должно быть у больной души не пять органов чувств, а шесть, думал Христофор Михалушев. Она обладает даром предчувствовать, принимать те сигналы, к которым мы остаемся глухи. И нужно лечить ее, чтобы избавить от трагедий и сделать нормальной, то есть практичной, рассудительной и нередко бесчувственной...

Так старый учитель пытался объяснить себе некоторые странности сына; он сознавал, что лишь прикасается к истине, ибо проникнуть в душу человеческую — дело сложное, оно требует не только житейского опыта, но и умения выбраться из сложных ее лабиринтов. И хотя он сорок лет учил детей, а значит, имел дело с человеческой душой, он не считал, что обладает умением опытного психолога — ведь у детей все проще, яснее, их легче разгадать и объяснить...

А Маккавей, не замечая озабоченности отца, сновал под навесом, негромко что-то насвистывая,— положит доску на самодельный верстак и примется строгать... Стружки сыпались к его ногам, ветерок играл ими, сплетая вместе их спирали и колечки. Звуки рубанка напоминали свистенье кос на ближних склонах в июне, и Маккавей, слушая их, мысленно видел длинные, шевелящиеся валки скошенной травы, из которых зелеными облачками вылетают кузнечики.

Оструганную доску он прислонял к стене, и вот уже вторая сыпала стружки ему под ноги. Весь дом наполнялся запахом сырой древесины. Учитель улыбался, потому что сосновый дух напоминал ему о том, как в двадцать шестом году (эта дата была выложена мастерами на дымовой трубе) он строил свой дом. Точно так же пахли стропила на крыше, такой же свежий запах древесины заполнял комнаты, еще без окон и дверей,— этот запах был первым обитателем нового дома.

В запахе дерева, белеющего под острием топора, звенящего под ударами тесла или оструганного, словно выутюженного до блеска, рубанком, Христофор Михалушев ощущал дыхание самой жизни, полной надежд и ожиданий, и когда он вдыхал свежее дуновение лесов, доставленное поездами и машинами в жилье человека, к нему всегда возвращалось доброе настроение.

В ТОТ ДЕНЬ МУНИ ПРИЕХАЛ РАНЬШЕ обычного. Привез хлеба и халвы, простокваши для старика, несколько баночек рыбных консервов (ничего другого не нашлось) и книгу, которую он протянул Маккавею.

Муни, для которого в технике не существовало секретов, взял эту книгу у кого-то из приятелей — в ней были чертежи всевозможных лодок и инструкции, как их построить; он привез ее Маккавею, чтобы вместе просмотреть и приняться за дело.

— Это киль,— показывал Муни на узкий брус, изображенный на дне лодки.— К нему крепятся шпангоуты. По бокам их обвязывают стрингерами. Сверху прикрепим бимсы. Это конструкция остова. А потом останется только пригнать вплотную обшивку, просмолить — и лодка готова...

Шпангоуты, стрингеры, бимсы... Маккавей слушал эти непонятные слова, так торжественно и уверенно произносимые его другом, как будто Муни прожил жизнь не среди прибрежных холмов в долине Огосты, а долго бороздил моря и океаны и теперь завернул к Маккавею, чтобы бросить снисходительный взгляд на затею бывшего одноклассника и снова уплыть в неведомые дали... Нет, Муни оставался все той же ящерицей с оторванным хвостом, сухопутным обитателем этих жарких припеков, ездившим из села в село, чтобы преодолеть чувство собственной неполноценности, порожденное недугом, в поисках смысла своего существования. Он выучил по книжке эти морские термины, которые только для непосвященных звучат таинственно и романтично, а вообще-то обозначают предметы вполне прозаические: дугообразные деревянные ребра, на которые крепится обшивка; планки, которые опоясывают лодку от носа до кормы и поддерживают шпангоуты; поперечины, которые стягивают верхние концы ребер...

— У меня есть один приятель — столяр, он страшно обрадовался, когда узнал, что ты собираешься строить лодку,— продолжал Муни.— Изготовил уже кое-какие детали, я их привез. И еще он прислал тебе инструмент. «Всю жизнь,— говорит,— мастерил только двери да окна, бочки да кухонные шкафы. Охота взяться за что-то такое, за что сроду не брался, проверить, вправду ли я мастер или так, обыкновенный кустаришка... Просто руки чешутся взяться за такое дело». Мы прикрепим к килю ребра, прибьем поперечины, а он приедет и сделает все остальное. Доски надо изогнуть, как клепки у бочки. Он их нагревает и придает нужную форму. И до того здорово получается, все — одна к одной!

— А меня примете в свою компанию? — Христофор Михалушев, слышавший их разговор, подошел ближе.— Я могу вложить капитал: скромная учительская пенсия к вашим услугам. Могу и собственным трудом заработать право сесть с вами в лодку, когда Маккавей наденет капитанскую фуражку и пойдет в первый свой рейс.

— Конечно, отец! — Глаза у сына блеснули так, будто в них засветилось то призрачное озеро, на котором уже покачивалась готовая лодка.— Ты сядешь рядом со мной, только уже не будешь вмешиваться и говорить мне, как всегда: «Почему туда? Налево! Осторожно, перевернешься!» Ты будешь только любоваться видом:

горы, облака, птицы — все отражается в воде, и мы проплывем надо всем этим.

— Почему только любоваться? — перебил Муни.— Учитель может делать и более полезное дело. Я дам ему транзистор, он повесит на шею, поймает какую-нибудь модную эстрадную музыку и крикнет на берег, где, естественно, будет набережная: «Уважаемые граждане, приглашаю вас на приятную прогулку по озеру. Всего за один лев вы испытаете удовольствие, которое вам надолго запомнится...» Народу сбежится уйма, но он возьмет на борт только несколько человек, лодка ведь узкая, и когда мы отчалим от берега, примется рассказывать: «Внизу, под нами, товарищи отдыхающие, была мельница. Там я в детстве пас лошадей, и мельники угощали меня ухой и хлебом, выпеченным в очаге на углях...»

— Верно, так оно и было...— растроганно взглянул на него Христофор Михалушев.

Старый учитель и впрямь мог бы многое порассказать незнакомцам в соломенных шляпах и с гитарами, которые приедут отдохнуть и повеселиться у озера, на дне которого покоится его жизнь. Он мог бы долго рассказывать им о том, что видел и пережил и что уже превратилось в тающую на мелях пену, в шевеление рыб и выплывших из водных глубин корней...

Он мог бы, например, рассказать о могиле антифашистов, погибших в восстании двадцать третьего года,— она находилась прежде в песках Огосты, там, где теперь высится плотина водохранилища. Долгие годы кости расстрелянных лежали под разъеденной водою цементной плитой. Сюда, вместе с еще двенадцатью жертвами, пригнали на расстрел одного из соседей Михалушевых. Карательная команда выпустила все обоймы и повернула назад, в город, а расстрелянные остались грудой лежать на песке. Односельчанин Михалушевых, тяжело раненный, выбрался из-под трупов и в поисках спасения дополз до дороги. Показался прохожий — чиркнул спичкой, увидел окровавленное лицо ожившего человека и узнал его: они были соседями. «Передай моему сыну, что я ранен и буду ждать в кукурузе у перехода через железную дорогу, пусть придет за мной...» Запоздалый путник обещал поторопиться, но не пошел в село, а повернул в город и донес о случившемся. Прибыли каратели, карманные фонарики нащупали раненого возле железнодорожной насыпи, и потребовался лишь один выстрел, чтобы все было кончено.

Тот, кто выдал его, не получив в награду и тридцати сребреников, жил долго, но никому, даже самым близким, не доверил своей тайны. Он был хорошим хозяином — пахал и сеял, выращивал подсолнухи, по весне радовался новорожденным ягняткам и ласточкиным птенцам под стрехой, как радуется каждый человек на земле, и только в предсмертный час открыл свою страшную тайну, которая, видимо, всю жизнь так угнетала его, что он не хотел уносить ее с собой в беспредельность небытия...

Эту и много других историй мог бы рассказать учитель, но вряд ли его рассказ привел бы в восторг людей, приехавших сюда лишь затем, чтобы приятно провести свободный денек...

— Я человек невеселого нрава,— сказал он,— и такое занятие не для меня. Поручите его кому-нибудь помоложе, кто умеет раз-

влекать отдыхающих. Люди любят смешное, забавное. Жизнь и без того подносит им много горечи, зачем же слушать еще и мои стариковские воспоминания...

— Я не раз тебя слушал и знаю, что ты и веселые истории чудесно рассказываешь,— возразил Муни и посмотрел на руки учителя, нервно теребившие воротничок рубахи.— Расскажи им, например, как Куздо ездил за океан, или про молотилку «Арканзас», которая что ни лето ломалась и приступала к молотьбе только осенью, когда снопы успевали скукожиться от дождей и приходилось разрубать их топорами.

— Могу, конечно, могу, хотя это не такая уж смешная история... Но мне больше подходит другое: перевозить души, как Харон... Вы катайтесь на лодке с утра до вечера, запускайте вовсю транзистор, чтобы заглушить шум волн, шутите, смейтесь с отдыхающими, это будет замечательно, а мне будете оставлять лодку, когда стемнеет. Я поплыву в темноте, освещенный одними звездами, к другому берегу, которого во тьме не видно, и он выглядит недостижимым, а может быть, и в самом деле недостижим. Вам, оставшимся, будет казаться, что я плыву один, и со мной только мои думы. Вам не придет в голову, что я перевожу на другой берег тени тех, кого я любил и знал... говорю с ними, спрашиваю о том, на что всю жизнь искал и не находил ответа, а они отвечают мне голосом птицы или всплеском рыбы в воде...

Муни и Маккавей, сидя над чертежом лодки, продолжали уверенно рассуждать о том, как они прикрепят ребра к килю, изогнут борта, но Христофор Михалушев знал, что по-настоящему лодка появится на свет, лишь когда приедет столяр, всю жизнь мастеривший двери, окна и бочки, а теперь мечтающий создать что-то иное, чем не только докажет свою искусность, но и подвергнет испытанию собственную душу. Вот тогда лодка, напоминающая своим остовом скелет огромной рыбы, начнет облекаться плотью, повернет к солнцу свои округлые бока, зазвенит под ударами тесла, как будто о ее борта колотятся волны, и пустится в долгое и прекрасное плавание — не только в сердцах двух друзей, что склонились сейчас над чертежом, но и в воображении старого учителя, который тоже увлекся неожиданной затеей сына.

Ведь лучше всего, размышлял он, плывут еще не достроенные лодки, как всегда привлекательней бывают еще не осуществленные замыслы. В час испытания все выглядит немного иначе. Может оказаться, что лодка недостаточно хорошо собрана и в швы проникает вода, медленно и неумолимо заливает дно и тянет лодку в бездну. Может оказаться, что облаченье осуществленной идеи сшито гнилыми нитками и сквозь прорванные швы видна ветхая подкладка... И еще кое-что угрожает и лодкам и мыслям: подводные камни. Тот, кто сидит у руля или под парусами, должен очень хорошо знать коварные мели и умело направлять свое судно в глубокие, безопасные воды...

Ветер катал по земле не подвластные его философии стружки, легкие, как пушинки, пахнувшие смолой и солнцем, и этот запах дерева предвещал что-то хорошее, долгожданное, что непременно случится...

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА Христофор Михалушев с сыном навещали разрушенное село, он любил пройти по соседским усадьбам, постоять у цветов, продолжавших расти среди бурьяна так радостно

и пышно, словно чья-то заботливая рука взрыхлила под ними землю и ежедневно поливает их. Крапива и бархатник пытались задушить эти скромные деревенские цветы, стать здесь полновластными хозяевами, и кое-где, в тенистых местах, это им удавалось. Фиалки и первоцвет едва проглядывали там сквозь их плотные стебли. Гиацинты тоже старались поднять над травой свои благоухающие колокольчики, густо облепившие стебель, но повилика оплетала их и тянула книзу.

Учитель наблюдал за этим поединком цветов с бурьяном, начавшимся в тот день, когда снесли первый дом, и по сю пору не затихающим,— за неравной битвой между тем, что создано радовать глаз и душу человека и защищено лишь своими красками и ароматом, и тем, что идет, наступает ему на пятки...

Поскольку учитель всю свою жизнь боролся против того, что душит в человеке доброе начало,— боролся искренне и, может быть, наивно,— он знал, что осилить зло совсем не просто. Однако жизнь научила его и другому: стоит примириться со злом, как ты невольно становишься его союзником. И он не примирялся. Понимал, как скромны его силы, но утешал себя мыслью, что в душах учеников взойдут те семена, которые он старался посеять, и каждый из них — в меру своего разумения и по зову сердца — будет прокладывать дальше путь человечности и добру.

Вероятно, всякий, кто не знал учителя, удивился бы и снисходительно усмехнулся, увидев, как этот пожилой человек вместе с другим, молодым, выпалывает бурьян в опустелых дворах и разглаживает венчики уцелевших цветов с такой нежностью, с какой отец гладит волосенки сына.

Перезимовав в домике на берегу Огосты, Михалушевы весной выпололи бурьян во многих дворах села, взрыхлили клумбы, и цветы сразу ожили, распустились, стали еще благоуханней.

Прежде каждая хозяйка здесь сажала цветы так, чтобы возле дома с весны до поздней осени что-то цвело.

Так же было и во дворе Михалушевых. Раньше всех пробивались сквозь осевший снег у оград листья подснежника. Первый цветок покачивался под тяжестью сонной пчелы, и Маккавей по этому покачиванию различал его на нерастаявшем снегу. Потом появлялись крокусы, словно раздуваемые ветерком желтые свечечки. Затем начинали сверкать ожерелья колокольчиков. Через неделю-другую надо всем садом поднимали свои алые чашечки тюльпаны и, прикасаясь друг к дружке, звенели так, словно были отлиты из тончайшего цветного стекла.

Если бы понадобилось перечислить все цветы, какие росли во дворе его родного дома, Христофор Михалушев пришел бы в затруднение и многое, наверно, упустил бы, потому что каждый месяц — с марта по ноябрь — был богат столькими цветами и красками, особенно поздней весной, летом и в начале осени, что даже при воспоминании о них перед глазами учителя сверкали во всем своем великолепии всевозможнейшие сочетания и оттенки красного, желтого и голубого — насыщенные или еле угадываемые...

Этому миру цветов, который Христофор Михалушев населил своими видениями и чувствами, тоже предстояло исчезнуть вслед за селом, навсегда зарасти бурьяном. Вот тогда и наступит полное запустение, ведь цветок — это искорка, память о погасшем окне, которое в нашем воображении еще светится, напоминание о человеческих шагах, голосе, о скрипе двери и лошадином ржании... «Как только исчезнет последний цветок,— думал учитель,— навсегда ис-

чезнет и душа нашего села...» Оттого и не мог он равнодушно смотреть на битву цветов с сорняками.

Маккавей полол сорняки и рыхлил клумбы, отец подрезал лозы, выпрямлял прогнившие колышки, которые подпирали их. Дворы оживали, и когда Маккавей оборачивался и взглядывал на то, что оставалось у него за спиной, ему чудилось, что родное село не обречено, оно не исчезнет под водой, оно ждет новых обитателей, которые сначала полюбуются на цветы, а потом примутся искать место для жилья... Так думал он, молодой, а вот его отца, смотревшего на мир иными глазами, волновало другое. Он-то знал, что люди, переселившиеся в города, никогда уже сюда не вернутся, знал, что большая вода хлынет и зальет поречье, а затем побежит по каналам, орошая землю. Знал — и рассудок его не противился этому. Противилось сердце. И вряд ли кто-нибудь стал бы винить его за эту боль. Потому что он родился тут, и вырос, и любил все то, чему суждено оказаться на дне водохранилища, и мог ли какой-либо чужак сильнее, чем он, ощутить эту, такую человеческую, боль и тревогу?

Он так понимал одну из величайших для него истин бытия: старайся прожить красиво и покинуть этот мир достойно... Оттого и хотелось ему, чтобы родное село, перенесшее много бед и напастей, но все долгие годы своего существования искавшее красоту в природе и человеке, ушло под воду не в зарослях бурьяна, а под радостное жужжание пчел в чашах садовых цветов.

Он мысленно рисовал себе, как прибывает вода — неспешно, с узорчатой пеной на гребнях волн, как первыми исчезают цветы (пчелы выпархивают из их чашечек, стряхивают с крылышек капли и долго кружат над водой), затем начинают медленно погружаться виноградные лозы, и волны словно тычутся мордочками в зеленое вымя их гроздей...

Пусть конец наступит так — красиво и достойно...

Эта мысль увлекла учителя. Он решил созвать своих учеников из последнего класса сельской школы — их было двенадцать. Он проведет их по селу и каждому поручит позаботиться о цветах в одном из дворов. Он предчувствовал радость, какую испытают дети. Есть ли что прекраснее, чем заботиться о цветке, любоваться его красками и благоуханием?.. И когда Муни однажды приехал с хлебом и брынзой, он попросил его побывать у переселенцев и передать ребятам, что учитель зовет их прополоть цветочные клумбы в заросших бурьяном дворах.

— Скажи, что я соскучился по ним,— добавил Христофор, когда Муни уже садился за руль.

Прошла неделя — никого... Как-то поутру опять показалась коляска Муни, затормозила у высохшего мельничного ручья и высадила мальчика. Это был ученик Михалушева Фома.

— Ты один? — спросил учитель.— А где же остальные?

— Одни помогают дома консервировать компоты,— ответил тот, кого звали Фомой.— Другие собрались на акробатов, в город цирк приехал. А третьи просто засмеялись, когда Муни сказал, зачем вы зовете...

Учитель присел на порог — он почувствовал, что не держат ноги, и, подперев подбородок ладонью, горько заплакал. Слезы струились по сухой состарившейся коже, задерживались в уголках рта и падали

на листья лопуха у двери. «Притворяется, что ему больно и грустно,— подумал Фома.— Знает, что я расскажу ребятам про его слезы, авось пожалеют...»

Мальчик нагнулся к лопуху, тронул задержавшуюся на шершавом листе слезинку. Она обожгла ему пальцы, как будто была каплей огня. Растерянно, оробело поглядев на учителя, он понял, что слезы настоящие. И, не дожидаясь Муни, у которого никак не заводился мотор, повернулся и пошел напрямик через поле, поднялся на холм, перевалил через вершину и не вернулся.

Остальные так и не пришли...

ЗАПЕСТРЕЛИ ЛЕСА НА СКЛОНАХ холмов.

От первой изморози, ненадолго задержавшейся на траве и на кронах деревьев, воздух сделался резким и гулким, наполнился голосами перелетных птиц. Изморозь пронизала поречье осенней зябкостью, и как бы ни теплело потом, как бы пышно ни цвели георгины и хризантемы, люди уже в шуршании листьев и горьком аромате осенних цветов почуют морозное дыхание первых метелей и потрескивание льда в протоках реки.

Листья вьющегося винограда во дворах тоже запестрели, из-под них выглянули мелкие, выпитые осами ягоды. Пахло прелыми грушами и яблоками, разбившимися при падении о землю.

Надо всеми этими покореженными, покинутыми деревьями и виноградными лозами с проеденной сердцевиной возвышалась старая яблоня с необыкновенно светившейся в осеннем небе кроной. Половина ее веток была густо, как пеной, покрыта цветами, над которыми жужжали пчелы, а другая половина желтела, и из-за листьев выглядывали крупные продолговатые яблоки.

Христофору Михалушеву и раньше случалось видеть осенью цветущие яблони, но всегда попозже, когда листва уже опадала, и в этом цветении ощущалось что-то болезненное — вся крона чернела, лишь несколько веток роняли наземь розовые лепестки. В недолгом празднестве яблонь было не ликование, с которым для учителя ассоциировалось цветение, а предчувствие долгой, холодной зимы.

Та яблоня, что привлекла его взгляд, в былые годы ничем не выделялась среди других. Увидев ее сейчас наполовину в цвету, наполовину увешанную зрелыми плодами, Христофор Михалушев подумал, что ее ожидает какая-то беда: наверно, почуяв приближение своего последнего часа, дерево — прежде чем засохнут корни и ветви — собрало все свои жизненные соки, в последний раз зацвело хотя бы одной своей половиной и призвало к себе пчел, подобно тому как старик, почувствовав, что сердце бьется все глуше и тише, сзывает своих детей для последнего прощанья.

Было что-то торжественное, библейски возвышенное в позднем цветении старого дерева.

Окутанный тишиной опустевших усадеб, Христофор Михалушев подошел к яблоне послушать жужжание пчел. Сквозь цветущие ветки сеялся солнечный свет, и серебряные венчики были похожи на разноцветные витражи, где преобладают розовые, царственно-синие и опаловые тона.

Он подошел к дереву, не сводя с его кроны глаз. И, вероятно, постоял бы рядом и двинулся дальше, если бы не услыхал в траве шорох и не увидел, что ствол яблони обвит змеей. У змеи было плотное, гладкое туловище с золотистой спиной, брюхо излучало зеленоватое сияние, озарявшее потрескавшуюся кору яблони. Змея была

необычайной длины — ее кольца охватывали старое дерево от корней до веток. Она впилась в учителя своими изумрудно-зелеными глазками (в точности такими же, какие он видел на ступенях школы), а в пасти держала яблоко.

Учитель не испугался — змея не собиралась на него нападать. Она покачивала головой, и яблоко поблескивало от солнечного луча, пробившегося сквозь ветки.

— Стар я уже для роли Адама,— с улыбкой сказал учитель, но змея ничем не дала понять, что услышала: по-прежнему не сводила с него глаз, держа в зубах яблоко.— Та, что долгие годы шла со мной рядом и могла соблазниться яблоком, теперь покоится на сельском кладбище... А я давно уже изгнан из рая, и если спрошу себя, за какой именно грех, то вряд ли смогу ответить...

Еще в детстве вкусил Христофор от плода познания, не ведая библейской притчи, ни от кого не слыша о том, что так называются терпкие зеленые яблоки, которые он тайком от родителей срывал, притаившись в ветвях дерева с проеденной гусеницами листвой. Он не знал, что змей должен искусить его, что надо отведать яблока, и тогда глазам откроются тайны мироздания — добро и зло, радость и боль... Он ел яблоки, морщась от терпкости незрелых плодов, смотрел на открывающийся вокруг озаренный солнцем, зеленый и радостный мир, и ему казалось, что он возвышается над ним как властелин, а ветви яблони — его трон.

Это чувство, которое, думал он, будет вечным, дрогнуло в тот миг, когда твердая кожура сорванного яблока выломала у мальчика зуб. Почерневший, трухлявый, он застрял в терпком яблоке, и мальчик нащупал языком щербинку, в которую свободно влезла бы целая фасолина. Через два дня зашатался еще один зуб. Мама привязала к нему нитку, резко дернула, и окровавленный кусочек кости с легким хрустом отделился от челюсти и повис на нитке. Мама зашвырнула его на крышу и проговорила вслед: «Держи, ворона, зуб костяной, дай мне железный!» — но ни одна ворона не прилетела. Зуб с привязанной ниткой так и белел на крыше, а когда мальчик вбирал в себя воздух, нёбо холодило и широкая щель в уцелевших зубах издавала свист. К середине сентября (Христофору предстояло в тот год пойти в школу) выпали все передние зубы. Кожа на носу облупилась от летнего солнца, и, смазывая перед зеркалом вазелином нос, Христофор старался не улыбаться, зная, что из глубины зеркала на него взглянет беззубый старичок, в точности как его дедушка,— глаза веселые, вихрастый чуб, на щеках и на лбу ни единой морщинки, но десны голые и в уголках рта горестные тени.

Вот тогда-то маленький Христофор и ощутил впервые, что в мире существует старость и что он сам, еще не переступив порога школы, тоже шагает навстречу ей. Он понял, что высокая яблоня во дворе — лишь выдуманный трон, на который его только на миг возвело мальчишеское воображение.

Эти необычные для его возраста мысли владели им вплоть до того дня, когда у него стали прорезываться новые зубы. Улыбка вновь засверкала как раньше, вернулась былая уверенность в себе, хотя в памяти по-прежнему маячил беззубый старичок, глядевший на него из потускневшего зеркала, и Христофор избегал в это зеркало смотреться: было неприятно вспоминать черную щель во рту и слышать противный присвист при каждом выдохе и вдохе....

Вправду ли именно тогда открыл для себя мальчик тайну познания? Старик, стоявший теперь перед змеей, вряд ли мог ответить на этот вопрос утвердительно. Кислые яблоки во дворе отчего дома

тогда лишь ненадолго приоткрыли завесу тайны, и мальчик успел увидеть в щелочку только крохотный кусочек бытия, который из-за перенесенной боли показался ему целой вселенной.

Терпкий вкус яблок своего детства Христофор Михалушев вновь ощутил однажды в начале лета, когда ему пошел девятнадцатый год. В его сердце поселился тогда образ той женщины, которая спустя какой-то срок разделит с ним радости и тревоги жизни и станет матерью его детей. То были хмельные дни и ночи, и в старости он мысленно возвращался к ним — не ради счастья повторно ими насладиться, а в поисках ответа на многие вопросы, которые по-прежнему донимали его и в суть которых он так и не сумел проникнуть... Возможно, если бы случай свел его с другой женщиной и он так же горячо полюбил ее, жизнь Михалушева отличалась бы от той, что протекла среди холмов и отмелей затерянного у подножья гор поречья. Возможно, не ушел бы так рано, не прожив и года, его младший сынишка, а старший родился бы не таким, как Рыжеволосый, чья душа болела и страдала из-за тех, кого хитрость и смекалка научили высвобождать ноги из капканов, расставляемых жизнью...

Все могло сложиться совсем иначе, да, видно, судьба предугадала позднейшие размышления Христофора и, когда безусому юноше шел только девятнадцатый год, сделала все от себя зависящее, чтобы сбылось именно то, что было ему написано на роду... Глаза юноши были словно околдованы. Среди всех людей, каких он встречал, мимо кого проходил, он искал только ЕЕ. И если не видел ее, дни тянулись бессмысленные и пустые.

Теперь, в завершающую пору жизни, он мог трезвым взглядом оглянуться на ту хмельную пору и увидеть, что из дали былого к нему приближается ничем не примечательная девушка, невысокого роста, с затянутыми в пучок каштановыми волосами, прикрывающими мочки маленьких розовых ушей, с узким лицом и высоко поднятыми бровями, что придает ее взгляду выражение удивления и ожидания; широкие бедра, легонько покачивающиеся на ходу, собирают платье складками вокруг ног...

Тогда, почти полвека назад, все выглядело иным. Еще не вмешался рассудок, который мог судить строго и беспристрастно, принимать или отвергать. То была пора всевластного чувства, над которым человек впоследствии посмеивается, но не может отрицать, что это было взлетом души, утерянным затем на житейских дорогах.

Созревали хлеба. В жаркие июньские ночи, когда все засыпало и в мире оставался лишь шум реки да неяркое свечение звезд, Христофор Михалушев шел мимо зреющих нив вместе с женщиной, которую полюбил. Для него больше не существовали дома, где уже погасли окна и только кое-где цедился сквозь деревья огонек, не существовал лай собак и кукареканье петухов — реальностью были только яблоневый сад на берегу Огосты, и два запоздалых путника под его ветвями, да песня ночных кузнечиков, которую оба воспринимали не слухом, а ступнями, потому что она тонким сиянием стелилась по траве.

Они любили друг друга, упав на это сияние, которое сбивалось и комкалось от порыва их тел. Сквозь ветки проглядывали яблоки, такие же гладкие и округлые, как грудь лежавшей рядом женщины, и губы Христофора, прикасаясь к ее губам, вдыхали аромат зреющих плодов.

Женщина — ее звали Ириной, но он называл ее Евой, потому что она предавалась любви в райском саду,— протянула руку, и он увидел на ее ладони яблоко. Змеи, которая дала ей это яблоко, он не заметил. Стволы деревьев таяли во мгле, да и глаза заволокло пережитым, и он не мог разглядеть ее. Только услышал хруст надкушенного яблока. Ева наклонилась к нему и подала темный плод, светлевший только там, где прикоснулись ее зубы. Он откусил — и ощутил терпкий вкус запретного плода. И еще кое-что ощутил он: легкая хмельная дымка, туманившая его взгляд, вдруг отодвинулась— так же как утром отодвинулась легкая пелена над рекой,— и он увидел, что вокруг совсем обычная, примятая их телами трава, а по ней раскидана их одежда. И вместо голоса ТОГО, кто был хозяином САДА, услышал лай собак — совсем близкий, остервенелый лай — и устыдился своей наготы и наготы женщины рядом с собой.

Они торопливо оделись, и по тому, как заколыхались колосья, он понял, что собаки окружают их. Кольцо лая все суживалось, и пришлось швырять камни, чтобы разорвать его.

Одно за другим засветились окна домов.

Послышались голоса разбуженных людей.

Христофор и женщина, которую он в минуту нежности назвал Евой, под тенью деревьев, крадучись, пробрались домой.

Голоса разбуженных людей по пятам следовали за ними, но были не в силах догнать, и у них обоих, хотя над головами по-прежнему сверкало небо, оставалась горечь проглоченного кусочка от плода познания...

Жизнь начала раскрывать перед ними свои тайны. Семь лет спустя родился Маккавей, потом — тот мальчик, что прожил всего год. Его образ уже стирался в памяти окружающих, а жить остался Рыжеволосый, чью душу постигла кара — долго и мучительно болеть, с теми просветлениями, какие даруются самым возвышенным сердцам, и с мрачными безднами, откуда может вырваться только вопль...

— Стар я уже, меня не искусишь яблоком,— сказал Христофор Михалушев змее, которая все так же неподвижно лежала, опоясав старое дерево,— золотистая спина, изумрудные глазки, будто только что сотворенная кистью иконописца.— Я давно испробовал твоего плода и полной мерой изведал все, что может вынести душа человеческая. Только яда твоего еще не испил, но, бог даст, минует меня чаша сия...

Он пошел дальше. Наступил на опавшую яблоневую листву, под ногами нежно охнули лепестки, оброненные ветками, которые пышно и печально цвели под осенним солнцем.

Змея проводила его взглядом, но не сползла на землю. По-прежнему обвивала старую яблоню, держа в зубах плод, к которому не потянулась рука учителя. Вероятно, змея поджидала тут другого человека — юного, еще не познавшего мнимых радостей жизни или же еще не родившегося на свет, который будет зачат здесь, среди охваченных запустением деревьев.

Ведь змея была мудрой и знала, что ничто на свете не вечно и затопленное водой когда-нибудь вновь воскреснет.

А воскресшее долговечнее и мудрее, потому что вышло оно из лона смерти...

РАНО УТРОМ НА ДОРОГЕ показался Лесной Царь. Дуло карабина, покачиваясь, блестело под лучами встающего солнца. Впереди него шагали четверо лесорубов с топорами. Стальные лезвия тоже

блестели на солнце и, несмотря на возраст этих людей — его выдавала седина,— в их поступи отражалась бодрость и свежесть апрельского утра. В первую минуту он решил, что лесник с утра пораньше поймал на вырубке браконьеров и гонит их в город, чтобы передать в руки властей — не зря же он шагает у них за спиной, как конвоир за арестантами. Но потом, прислушавшись к их голосам (они о чем-то друг другу рассказывали и смеялись), увидев, куда они направляются (компания повернула вдоль реки в сторону села), учитель понял, что дело совсем в другом...

Невообразимо светлыми и свежими были апрельские утра в поречье Огосты. В солнечном свете, который человек ощущал не только телом, но и мыслями, был какой-то особый холодок, какой бывает в этих краях только весной: то была прохлада еще не прогревшихся заводей, терпкий запах древесной мезги, заслезившейся по вьющимся лозам, влажное благоухание расцветающих деревьев. Все сливалось в единое ощущение молодости, вечности, и хотя ощущение это было обманчивым и быстротечным, как сама жизнь, душа воспаряла над своими заботами — даже та душа, которой судьба уже преподала горькие уроки,— она очищалась от будничного и тленного, и пчелы жужжали в ней, как в серебристых ветвях яблони...

Яркостью зелени и белизной цветущих деревьев весна затянула все раны снесенного села: скрыла из виду фундаменты былых строений, раскиданные обручи от старых бочек, разбитые глиняные горшки, еще пахнувшие кислым запахом солений...

Все было в цвету — даже крохотный куст терновника, даже сохнущее дерево, где уцелела одна-единственная веточка... Туда-то и шли те четверо лесорубов в сопровождении Лесного Царя, и при первом же ударе топора старый учитель понял, зачем они шли.

Для разрушенного села пробил последний час.

В сознании многих его жителей, переселившихся теперь кто куда, этот уголок земли давно уже был мертв. У них не находилось времени наведаться туда, где они родились и выросли, где покоятся в могилах их близкие. Даже если и приезжали когда, то ненадолго: снимут урожай слив или грецких орехов (если никто не успел опередить) или выкопают в родном дворе луковицы гиацинтов и тюльпанов для балконов своего нового жилья. Христофор Михалушев всегда дивился тому, как быстро эти люди пустили корни в другом месте, как легко, не переболев, прижились на чужой земле....

Он был другим человеком — образованнее их, побывавшим в других краях,— и казалось бы, ему-то легче всех распрощаться с этим затерянным среди холмов селением. В конце концов что он терял? Он дослужился до пенсии. Получил немалую сумму за снесенный дом, купил участок в городе, близнецы из Чупренова отдали ему один этаж, он вырастил саженцы, посадил цветы... Город — это совсем другое: улицы залиты асфальтом, магазины, автобусы. Хочешь — иди в театр, хочешь — сиди в кафе. Даже специальное кафе есть для пенсионеров: хоть с утра до вечера играй в карты да кофеек попивай...

Стук топоров прервал его раздумья. Эхо взлетало одно за другим и падало наземь, а рядом падали цветущие плодовые деревья. Лесорубы перекликались между собой, оттаскивали их на улицу и сваливали там в кучу. Работа спорилась и веселила их (наверно, слегка выпили перед тем, как к ней приступить), и учитель видел, как обнажается под их топорами бывшее село, становится просторнее, бесцветней и словно бы чужим; у него было чувство, что он

впервые видит побелевшие склоны холмов, чуть закругленных, с какими-то метинами, которых он прежде не замечал, похожие на голову насильно остриженного мальчика, чьи роскошные кудри упали к ногам...

Вечером лесорубы долго мылись у колонки по ту сторону мельничного ручья, напились воды, а потом зашагали к излучине реки, где виднелся железнодорожный мост. Лесной Царь не пошел с ними. Он заметил, что учитель колет дрова, почуял запах только что растопленной печки и, ощупывая карманы — нет ли там сигаретки,— направился к домику. Поздоровался, вытер запылившийся козырек фуражки и водворил фуражку на место, удостоверившись, что кокарда — точно на середине лба, где, как он любил говорить, проходит воображаемая линия носа. Потом вынул из печки головешку, зажмурился — дым щипал глаза — и, посвистывая ноздрями, блаженно вдохнул ароматный табачный дымок.

— Умаялись! — сказал он и, подтащив табуретку, откинулся к стене.— Гляди, на что руки стали похожи... Ничего не поделаешь — пришлось подсобить. Такие заросли! Все цветет, переплелось, лоза обвила стволы, ежевика разрослась... А требуется все истребить и расчистить, пока не прибыли тракторы.

— Какие тракторы? — взглянул на него учитель.— Что им тут делать?

— Пахать будут... Чтобы, когда вода придет, на дне ничего не было.

— А когда придет вода?

— Когда-нибудь да придет... Плотину-то строят вон, засыпают... В городе разговор идет, в здешнем холме карстовые пещеры обнаружили. Ну, приостановили работы, исследуют... Вот будет номер, если вода поднапрет да и прорвет холм....

— А ты поспешил привести лесорубов?

— Я же не по своей воле. Выполняю приказ.

— Как раз тогда, когда деревья в цвету? Неужели у тебя не щемит сердце, когда валятся старые яблони и черешни, на которые ты забирался в детстве?

— Раз велено рубить, какая разница, когда за топор браться? — Догоревшая сигарета обожгла губы, и Лесной Царь сплюнул.— Ты же служил в солдатах и знаешь: приказы не обсуждаются, а выполняются.

— Служил я давно, но и тогда и позже старался обойти это унизительное правило. Ты знаешь, я человек мягкий, но никто не заставил бы меня поднять руку на цветущее дерево... Я всю жизнь учил детей и когда вижу в апреле деревце в белом цвету и возле него ребятишек, то думаю: «Господи, несмотря ни на что жить все-таки стоит...» Для меня цветущее дерево — это дитя, можешь посмеяться над моими словами, но так я думаю. Даже самое древнее, выдолбленное дятлами дерево — тоже дитя, ведь и оно юным сердцем радуется солнышку и насквозь пронизано светом... Земля, наверно, состарилась бы очень быстро,— продолжал учитель,— если бы не цвели деревья, не возвращали ее раз в году к истокам всего сущего, к молодости... И ты, способный выстрелить в человека, если заслышишь в лесу его топор, взялся уничтожать цветущие деревья?

— Я человек темный, учитель, не умею говорить мудрено, как ты, но одно скажу тебе: не все ли равно, когда ты срубишь дерево, если на то есть приказ? Весной ли, осенью — а лежать ему у тебя под ногами...

— И все-таки осенью — иначе... Облетевшее дерево как состарившийся человек: можно его пожалеть, а можно, если сердце у тебя злое, сказать ему: «Прощай, ты уже отжил свое, пора...» Но луч-

ше всего, чтобы рухнуло оно не от топора, а от грозы или молнии. Так судила природа, и в этом самая большая мудрость.

— Человек и то не может оценить доброту своего ближнего, так неужто дерево поймет ее? — Лесной Царь с насмешкой взглянул на Михалушева.— Кабы дерево много понимало, оно не стояло бы безропотно, когда с него срывают плоды или подступают с топором... Да чего нам философию разводить? — Он встал, поправил очки на носу.— Я считаю так: каждый должен заниматься своим делом и решать по своему разумению, сколько хватит ума. Нынче мне платят за рубку деревьев — я буду рубить. Завтра мне скажут: «Сажай на то самое место саженцы!» — и я буду сажать. Вот как я это дело понимаю. А ты сиди себе и рассуждай на здоровье. Вам, старикам учителям, пенсионерам, чего еще и делать, кроме как умничать? Больше ничего, почитай, и не остается...

Он затянул ремешки своих резиновых сандалий, вскинул карабин на плечо и, не прощаясь,— он не любил, когда его поучали,— свернул на дорожку вдоль реки.

Христофор Михалушев не вышел проводить его.

Рубка длилась еще два дня, оголили весь нижний край села в низине возле Огосты и остановились только у самого шоссе. Вероятно, кто-то из начальников Лесного Царя распорядился начать посадки молодых деревьев вдоль шоссе на Петрохан (был призыв — озеленять дороги), и лесник повел свою дружину туда.

Прикатил грузовик забирать срубленные деревья. Сваленные одно на другое, они напоминали огромные снежные сугробы, быстро оседавшие под апрельским солнцем.

Рабочие побросали в кузов стволы, жмурясь на облака высохших цветов, которые били их по лицу, водитель увозил один сугроб и возвращался за следующим, и позади его тарахтевшей машины оставалась голая земля, только кое-где еще цвели пощаженные колесами тюльпаны, ландыши, гиацинты и нарциссы.

Христофор Михалушев смотрел, как село оголяется и немеет, лишившись шелеста листвы и птичьих песен, и ему казалось, что перед ним лежит как на ладони не этот знакомый до боли уголок, а собственная его душа, по которой прошлись люди с топорами и засыпали ее щепками срубленных деревьев — тонкими, как бритва, щепками, прикосновение которых рождало острую боль...

Один приятель как-то сказал ему: «С такой чувствительной душой, как у тебя, вряд ли можно дожить до седых волос...» Сказал уверенно, а на поверку оказался плохим пророком. Михалушев уже приближался к семидесяти и вопреки всему, что выпало ему на долю, вопреки горечи и бедам, сумел сохранить душу, открытую доброте и надежде. И когда он спрашивал себя, что давало ему силы жить, то отвечал так: «Я никогда не был равнодушным». Чужие тревоги и заботы становились его собственными, причиняли ему боль, и вместе с тем чужая судьба была как горячая головешка; она прикасалась к углям его душевного огня и, даже если они догорали, не давала им угаснуть под золой... Больше всего в жизни боялся он равнодушия. Ему казалось, что, доживи он до этого, его душа уподобится тем озеркам за рекой, где крестьянки летом вымачивают коноплю: тихая, стоялая вода, подернутая жирной ряской, где лопаются зловонные пузырьки....

Он думал сейчас о срубленных плодовых деревьях. Отчего это так мучило его? Ведь он понимал: приближалась вода, не сегодня, так года через два-три она затопит все поречье. Какая, в сущности,

разница — срублены деревья или останутся гнить на дне водохранилища? Никакой, он прекрасно сознавал это, и все же не мог примириться со стремлением людей уничтожать то, что приносит плоды и радует душу.

Что-либо полюбив, учитель привязывался к этому навсегда. Это мог быть человек, виноградная лоза, синица, высиживающая птенцов в дупле старой груши... Он радовался, когда видел их, думал о них, тревожился. Сорок лет учил он деревенских ребят и переживал детство каждого ученика — с его радостями и шалостями, болезнями и обидами. Почти ни от кого не видел он добра — дети вырастали и, поглощенные своими заботами, забывали об учителе, иные даже посмеивались над ним, считали скупцом и нелюдимом. И над больным его сыном тоже порой издевались — особенно в летние месяцы, когда разум у Маккавея мутился. В такие минуты учитель вспоминал старую притчу о человеке, который упал в волчью яму и три дня тщетно звал на помощь: «Прохожий, протяни мне руку, всю жизнь благословлять тебя буду, рабом твоим стану...» Проходил мимо человек, услыхал, опустил в яму веревку и вытащил его. Тот вылез, перевел дух и ушел как ни в чем не бывало, даже «спасибо» не сказал. Его спаситель тоже пошел своей дорогой дальше, подумав про себя: «Надо уносить ноги, не то догонит и в благодарность, того и гляди, веревку отнимет».

Учитель вспоминал эту притчу, чтобы слегка подбодрить себя, и, хотя не считал себя ничьим спасителем, радовался тому, что многим, насколько хватало сил, протягивал руку и выводил на дорогу...

Всю жизнь Христофор Михалушев чувствовал себя ответственным за своих учеников. Когда кто-нибудь из них, став взрослым, совершал добрые поступки, он молча гордился им, уверенный, что чем-то, пусть самым малым, помог духовному очищению этого человека. И наоборот: если пороки завладевали душой, которую учитель в свое время пытался вылепить из податливой, казалось бы, глины, он бессонными ночами думал об этом человеке и страдал за него, хотя тот при встрече с бывшим своим учителем, быть может, даже и не поздоровается. До самой старости не мог он стряхнуть с себя эти тревоги. Для него эти уже седеющие люди, преуспевшие или не преуспевшие в жизни, оставались членами одной большой семьи, и школа была родным ее домом; оставались все теми же малыми детьми, которые бежали в класс с потрепанными учебниками и тетрадками под мышкой, а на пороге, под переливы звонка, их встречал он сам — молодой, веселый, радуясь их гомону...

Христофор Михалушев мог воскресить их всех в своей памяти такими, какими они были в детстве, увидеть их обросшие шеи или наголо остриженные затылки, где синеют пятнышки от крошек химического карандаша, которыми мальчики осыпают друг друга, вспомнить случаи, которые радовали его или же глубоко огорчали... Мысли об этих людях, что проходили чередой через его сердце, а потом удалялись — одни с невысказанными словами благодарности, другие равнодушно или со вздохом облегчения,— не давали ему покоя, порой вызывали обиду, и тогда он говорил себе, что было бы разумнее по примеру многих сосредоточиться на собственной жизни. Мало ли забот и тревог выпадает на долю каждого, к чему взваливать на плечи еще и чужую ношу? Он пробовал поступать как все, но понимал, что не способен на это. В такие минуты душа его пустела, как покинутый дом: в одном углу валяются старые башмаки, на вешалке повисла выгоревшая рубаха, школьный звонок звучит глухо, как из-под земли, а тех, кого Христофор Михалушев когда-то любил, за кого тревожился, страдал,— их больше нет... Уловив звук подпрыгивающего, сорвавшегося сверху камешка, он вслушивался в

надежде, что кто-то идет к нему, но тут же сознавал, что это в собственной его душе упал сухой ком земли, стронутый с места пробежавшим сусликом; голая, как сожженная летним зноем равнина, душа молчала, и пустынное это безмолвие пугало его. Тогда он открывал запруду и слушал, как мчится поток воспоминаний, вспенивая гребешки волн, унося с собой щепки и оброненные лепестки черешни; слушал веселое журчанье воды в промоинах — и улыбался, ощутив под ногами омоложенную землю, вернувшись как блудный сын к родному очагу, к ветерку, ласково щекочущему ноздри, к боли в груди, слева, где находится то, что беззащитней всего на свете,— сердце человеческое...

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ СКАЗАЛ, что прибудут тракторы, и они не заставили себя ждать.

Сидя возле дома и перебирая рис, чтобы сварить на обед суп, Христофор Михалушев услыхал со стороны железнодорожного моста тарахтенье моторов. Сперва он подумал, что это драга — быть может, она уже приблизилась к железнодорожной насыпи, и ветер доносит сюда все ее звуки, слышно даже, как скрипят сита. Но когда он увидел клубы пыли над грунтовой дорогой за рекой и шум усилился — отрывистый, резкий, с металлическим лязганьем,— то понял, что к селу подступают тракторы. Маккавей, шлифовавший осколком стекла доску для будущей лодки, тоже поднял голову и поискал глазами щель между ивами, откуда долетал шум. Он увидел, что реку переползают вброд три трактора. Оранжевые машины разбрасывали гусеницами воду, а задранные кверху плуги подрагивали над камнями и светились от водяных струй.

Трактористы задержались на берегу, чтобы умыться, и среди вошедших в воду людей Маккавей заметил Лесного Царя. Он ополаскивал лицо, оставив карабин на округлых прибрежных камнях. Потом тракторы опять затарахтели, взбираясь выше, на шоссе, чтобы ринуться затем на поросшие травой усадьбы, а лесник прошел напрямик через отмели и дожидался их на краю села. Там уже прошлись топоры и остался один лишь бурьян, а сквозь него проглядывали крохотными островками цветочные клумбы, за которыми ухаживали Маккавей и отец.

— Началось,— проговорил Христофор Михалушев. Руки у него слегка тряслись, и зернышки риса падали на колени.— Я думаю, они займутся сперва южным краем села, где раньше были огороды,— пространство немалое, надеюсь, они им удовольствуются. Вода придет через несколько лет, и тогда они успеют перепахать и усадьбы. Много ли нужно для такого села? Меньше чем за неделю пройдутся плугами, и следа не останется, что здесь когда-то жили люди...

Он думал, что они начнут со стороны реки, но тракторы не дошли до Огосты, а свернули в первую же улицу, где мельничный ручей вливался в реку, и подошли к крайнему двору. Он был виден как на ладони — ведь лесорубы не оставили ни одного дерева. Трактористы опустили плуги, те коснулись земли — это угадывалось по учащенному стуку моторов: он уже не был плотным и ровным, как раньше. Моторы выли и сотрясались, потому что плуги впивались в толщу корней или же тщетно пытались развороти спрятавшиеся в траве фундаменты снесенных домов. А высвободившись из когтей камня и мертвого дерева, подпрыгивали так, что трактористы, наверно, стукались головой о потолок кабины. Потом тарахтенье моторов становилось спокойней, веселей, энергичней — это значило, что тракторы перепахивают землю уже обработанную, податливую...

Маккавей продолжал бы трудиться над лодкой, и стружки все так же вылетали бы из-под его пальцев, если бы не раздражающий шум тракторов. Они вспахивали не бывшие огороды на берегу Огосты, как предполагал отец, а сельские дворы, один за другим (по громкому скрежету Маккавей безошибочно определял, когда они проходили там, где прежде были ограды,— плуги застревали в камнях, и машины буксовали). Он видел, как они разворачиваются, и рядом с первой бороздой начинает чернеть вторая, третья...

Христофор Михалушев не сразу заметил, что Маккавей направился в село. Догадайся он вовремя о намерении сына, то остановил бы его или пошел с ним вместе, опасаясь встречи Маккавея с теми, кто явился перепахивать село. Но теперь поздно: Маккавей не услышит, он уже шагает по узкой песчаной полосе, примыкающей к крайним усадьбам; а если пойдешь — догонишь только тогда, когда трактористы уже, наверно, перепашут учительский двор. И все же старик вынул из печки кастрюлю с супом, а то убежит, застегнул сандалии и двинулся по затененной вербами стороне дороги, где и в жаркий день веяло прохладой.

Тракторы продолжали пахать. На поворотах стук моторов становился более резким — трактористы выжимали газ,— а затем опять переходил в мерный гул. Учитель отчетливо видел борозды, тянувшиеся вслед за плугами, увидел он и Маккавея: тот шагал по этим бороздам, то и дело нагибаясь, словно обронил что-то и ищет.

Тракторы въезжали во двор Михалушевых.

Подпорки вьющегося винограда затрещали и рухнули. Ствол лозы запутался в плугах, как бы пытаясь остановить их, но те перегрызли его, точно старую, вытертую веревку. Срезанная лоза взметнулась из-под зубьев, размахивая ростками, но полет ее был недолгим — при следующем заходе плуги засыпали ее землей.

И тогда Маккавей бросился наперерез той машине, которая первой въехала на усадьбу Михалушевых. Бросился неожиданно — как тогда, когда итальянцы истребляли фазанов,— и тракторист, нагнувшийся, чтобы раскурить сигарету, еле успел затормозить. Он увидел в двух шагах от себя огненно-рыжие волосы, бледное лицо, лихорадочно горящие глаза, увидел вскинутые к небу кулаки, сжатые так крепко, что пальцы казались восковыми.

— Ты что? — Тракторист высунул голову из кабины, и на его круглом румяном лице, отполированном утренним бритьем, было написано не столько удивление, сколько страх перед тем, что могло произойти.— Под гусеницы захотел? Да не подыми я случайно голову, от тебя бы уже мокрое место осталось. Понимаешь ты или нет?

Маккавей не ответил ему. По-прежнему мертвенно-бледный, он стоял перед трактором, под жарким дыханием мотора, стискивал кулаки перед пыльными фарами машины.

В этих восковых пальцах, в плотно сжатом рте и неподвижных глазах, горевших лихорадочным огнем, были непримиримость и угроза. Маккавей стоял среди цветов, которые он так любил — омытых утренней росой, ничего не подозревающих,— посреди сада, где прошло его детство, такой маленький перед огнедышащей машиной, но тракторист понимал, что этот человек не сдвинется с места даже ценою жизни.

— Ты полоумный, что ль? — Тракторист открыл дверь кабины, собираясь спрыгнуть на землю.— Мне дело делать или со всякими психами цацкаться?

Он шагнул к Маккавею — приземистый, крепкий, словно отлитый из чугуна — и ткнул его кулаком в плечо. Рука была сильная, Маккавей пошатнулся от удара, но устоял на ногах. Только рубаху выдернуло из штанов, и она парусом вздулась на спине. Тракторист решил, что этот неведомо откуда взявшийся парень испугается и убежит, но тот отпрянул на шаг, нагнулся, и в воздухе просвистел камень. Просвистел, но, не попав в цель, ударился о кабину трактора и отскочил в сторону.

Услыхав шум, остальные трактористы тоже, выключив моторы, спрыгнули наземь — узнать, что случилось. Камни полетели и в них. Они укрылись за гусеницами, присев на корточки, как в детстве во время кратких ребячьих сражений. Происшествие даже немного позабавило их, они никак не ожидали такого в этом обезлюдевшем селе, но когда камни посыпались градом и одно из плексигласовых окошек раскололось от удара, они стали короткими перебежками окружать противника, чье лицо приобрело такой же огненно-красный цвет, что и шевелюра. Будь здесь Лесной Царь, он с помощью карабина в одну минуту навел бы порядок, но его фуражка мелькала далеко по дороге — вероятно, шел в город по неотложному и очень важному делу, если даже не откликнулся на их зов.

Когда Христофор Михалушев, задыхаясь от жары и быстрой ходьбы, вошел в свой родной двор, наполовину развороченный и вытоптанный тракторами, Маккавея уже там не было. Его рубаха развевалась за Огостой, а преследователи, не догнав беглеца и не сумев воздать ему по заслугам, брели по песчаной полосе назад.

Учитель увидел старую лозу — ее смятые листья выглядывали из-под комьев земли, увидел выдернутые луковицы перерезанных плугами цветов и прошел мимо тракторов с примиренностью много испытавшего человека, который давно предчувствовал эту минуту и внутренне согласился с ее неизбежностью, но не ожидал, что она наступит так скоро.

Маккавей вернулся домой раньше отца. Он сновал по двору и не произнес ни слова, увидав, что отец возвращается со стороны села. По-прежнему лихорадочно блестели глаза, движения были нервные, выбившаяся из штанов рубаха висела мешком на худом теле.

Сели обедать. Маккавей поднес ложку ко рту, с трудом проглотил несколько зерен недоваренного риса и встал из-за стола.

Тракторы продолжали перепахивать крестьянские усадьбы, и стекла в доме негромко позванивали от их тарахтенья.

Маккавей вышел во двор, но пробыл там недолго, потому что стук моторов невыносимо отдавался в ушах. Он пошел к себе, плотно закрыл окно, заткнул бумагой замочную скважину, но тарахтенье машин все равно проникало сюда — глухо, как далекие подземные толчки, отдававшиеся и в стеклах окон, и в сердце Маккавея.

Учитель решил, что сын успокоился и читает что-то, отвлекающее его от мысли о случившемся, но тот лежал на кровати, глядя неподвижным взглядом в потолок. Лежал обутый, вытянув руки вдоль тела,— на фоне синего одеяла ладони казались странно плоскими и белыми, а грудь порывисто вздымалась, быть может от рыданий.

Он не вошел к сыну, хотя очень хотелось подсесть к нему на кровать и успокоить — словом, взглядом, улыбкой, за которой он постарается спрятать свою тревогу. Оставил его одного — в надежде, что так быстрее уймется, осядет то, что заливало Маккавею душу, как мутные воды Огосты весной заливают поречье.

Осядет на самое дно, и тогда мрак перед глазами рассеется...

Ночью Маккавей долго не засыпал. Метался так, словно его подбрасывало на кровати, кричал сквозь сон, что-то втолковывал кому-

то, но тот, должно быть, не слушал, и Маккавей упорно твердил и твердил одно и то же...

До отца доносилось каждое слово, каждый звук — тонкая стена вибрировала, как мембрана.

Учитель и прежде, в более спокойные ночи, спал мало, ведь сон убегает от стариков, но теперь он понимал, что не сомкнет глаз до самого утра. Перед глазами чередой проходили — то плавно, неторопливо, то нервно, порывисто — картины минувшего дня. Он видел тракторы во дворе родного дома, видел, как охваченный яростью Маккавей швыряет камни в тех, кто распахивал цветочные клумбы, а Лесной Царь шагает в город в приросшей к голове фуражке и с неизменным карабином на плече. Учитель мысленно шел за этим стражем порядка, видел, как развевается от быстрой ходьбы и взмахов рук вязаная фуфайка, и размышлял над тем, почему этот человек, вместо того чтобы сказать трактористам: «Начинайте пахать у реки, оставьте пока эти участки, мальчик нездоров, он ухаживал за этими цветами, ему больно, что вы давите их своими гусеницами...» — или подойти и успокоить Маккавея, поспешил в город доложить начальству о том, что произошло.

Совесть-то его чиста: тракторист ударил Маккавея, сам же Лесной Царь пальцем никого не тронул, слова не сказал. Зачем ему вмешиваться? Его забота — лес да рыба... Но доложить начальству он обязан — не зря у него погоны на зеленом френче, в который он облачается только по большим праздникам, чтобы дольше служил...

Христофор Михалушев был прав, обвиняя Лесного Царя. Будь в сердце этого безжалостного хозяина поречья хоть капля человечности, вчерашнего не произошло бы, и Маккавей спокойно возился бы со своей лодкой и видел во сне ее первое плаванье, а не метался в постели, как раненый.

Но больше всего старый учитель винил себя.

Обдумывая свои шаги и поступки, он понимал, как наивны были его попытки развязать узлы запутанных жизненных проблем. Все годы, что он провел в стенах школы, он учил детей добру и преклонению перед красотой и благородством.

Весной он водил своих учеников на прогулку по берегу Огосты и учил их радоваться бабочкам, любоваться васильками, которые выглядывали из-за пушистых стеблей пшеницы. Дети слушали его и, провожая взглядом порхание бабочек — эту феерию разметавшихся по небу красок,— собирали в подарок родителям букетики васильков. Только один мальчик, самый тупой из его учеников, равнодушно смотрел на все, чем восторгались остальные, и говорил: «Мой папка говорит, бабочек истреблять надо, потому что из их яичек выводятся гусеницы, а от них вред фруктовым деревьям. А васильки надо выпалывать, это сорняк, он душит пшеницу...»

Учитель не любил этого ребенка, так рано ставшего бесчувственным к красоте окружающего мира. В поединке между добром и злом, между ангелом и дьяволом в мальчике победило будничное, темное.

Так думал в те годы Христофор Михалушев и так воспитывал своих учеников.

Но сейчас, мысленно перебирая многие свои дела и поступки, он спрашивал себя: «Не был ли я излишне восторженным, не воспитывал ли добрых и наивных простачков, не умеющих сопротивляться жизни, из-за чего они и становились легкой добычей для ее когтей? Не так ли воспитывал я и собственного сына? У мальчика была открытая душа, и каждое прикосновение к ней рождало боль

или восторг. Я был обязан найти защитные средства для этой души, а где я искал их? В стремлении к прекрасному. Я верил, что красота не только возвышает, но и врачует, и только теперь, уже в преклонном возрасте, понял, что стремление к прекрасному наносит глубокие, с трудом заживающие раны. Я повел по разрушенному селу своего больного сына, теперь уже взрослого мужчину, которого я все еще называю мальчиком, ведь он так и остался наивным ребенком, повел для того, чтобы он полюбил цветы, привязался к ним. Я думал, что любовь просветляет, и не верил, что она может ранить... Жизнь день за днем учит моих учеников трезвой практичности. И если хоть что-то осталось из того, что я старался внушить им, то вряд ли оно больше горчичного зернышка. Один лишь мой сын остается зеркалом моих наивных былых устремлений... Быть может, из-за болезни жизнь не сумела столкнуть его на другую дорогу, сделать более практичным и расчетливым, излечить от простодушной прямоты, за которую не спрячешься, которая делает тебя мишенью на голой равнине, просматриваемой со всех сторон. И если я перед кем виноват, то перед собственным сыном...»

Река шумела, засыпая. Давно миновала полночь. Трава шуршала, как будто по ней кто-то ступал. Может быть, ветер?

Христофор Михалушев чувствовал, что другая мысль пытается высвободить крылья из темных рук, которые держат их. Крылья этой мысли были большими, сотканными из света, и каждое перышко их сверкало в этой бессонной ночи, пока Маккавей за стеной ворочался в постели и матрац под ним глухо и протяжно звенел.

«А может быть, я был прав, пытаясь воспитывать людей мягкосердечных, с глазами, открытыми красоте и добру,— говорил себе Христофор Михалушев, глядя, как рожденные его воображением крылья отбрасывают на стену мягкие отблески.— Мне хочется верить, что по ту сторону реки, и за горой, и за морями были, есть и всегда будут люди, которые лишь на первый взгляд выглядят простаками из-за своей доброты и благородства, ведь они служат не столько сегодняшнему дню, сколько будущему... Я кажусь смешным, наверно, только тем, кто знает одну меру: собственное благополучие. Хочется верить, что найдутся люди, которые скажут обо мне доброе слово,— пусть не сейчас, а когда меня уже не будет на свете...»

Всю свою жизнь он старался не причинять никому неудобств, хотя это и создавало неудобства для него самого. Он замечал мелочи, которые мог бы оставить без внимания, размышлял над ними, воображение увеличивало их, а они камнем наваливались на его душу.

Эта болезненная чувствительность, которая могла бы быть плодотворной для человека, посвятившего себя кисти или перу, для скромного сельского учителя была тяжким бременем, потому что она рождала не творения духа, воплощенные на бумаге или холсте, а лишь мгновения обычной человеческой жизни, которые или не замечались окружающими или же быстро исчезали из памяти. Но учитель нес эту ношу с мучительной радостью матери, несущей на руках свое дитя — из-за неблагосклонности судьбы некрасивое и все же дорогое сердцу...

Эту свою драму Христофор Михалушев передал — вместе со своей кровью — душе сына...

Те, кто мало знал душу Маккавея, относились к нему с опаской. В их глазах душевная болезнь означала буйство, неосознанные поступки, внезапные порывы, тогда как душа Маккавея походила на

лес, взбудораженный ветром. Для уха, не умеющего сосредоточенно слушать, от леса исходил ровный, глухой и пугающий шум. Но тот, кто умел вслушаться в музыку осеннего леса, подобную музыке большого оркестра,— тут и флейты, и фаготы, английские рожки и медь, литавры и барабаны,— тот распознавал голос каждого дерева, а у деревьев не только разные голоса, они придают музыке глубину... Такой человек может уловить даже легкий стук дождя по листьям и шорох возвращающегося в свою нору ежа.

Душа Маккавея была похожа на хмельной от солнца лес, полный необычных звуков, с притаившимися в корнях змеями, лес, доверчивый к птицам и беззащитный перед топором...

Шорох травы усилился. За окном кто-то ходил — вот он обошел вокруг дома, точно оплетая его темной паутиной. Учитель поднялся с кровати и вышел. Никого — только заря раскаленной проволокой протянулась по гребню холма.

В соседней комнате наконец-то воцарилась тишина. Маккавей как рухнул днем на кровать, так и спал — одетый, раскинув по одеялу руки, в пыльных сандалиях, их носки обрисовывались за стеклом окна, светлеющего под утренними лучами.

ТЕ ЛЮДИ, ЧЬИ ШАГИ предугадывал Христофор Михалушев в тусклый час рассвета, появились позже, когда солнце уже перевалило зенит, а из озерков доносилось пропитанное запахом водорослей лягушачье кваканье.

Легковушка подъехала тихо, нырнула в тень древней груши у обочины и остановилась. Из нее вышли двое незнакомцев и направились к дому. Маккавей был под навесом, возле лодки, и не заметил их, но Христофор внимательно разглядывал приближающихся людей. Им было лет под сорок — один высокий, с коротко подстриженными светлыми волосами, в очках с поблескивающей золотой оправой, второй — пониже, коренастый, густой черный вихор падал на лоб, закрывая правую бровь. Оба были в одинаковых серых костюмах. Будь рубахи и галстуки тоже одинакового цвета, учитель сразу бы понял, что незнакомцы одеты в форму и прибыли сюда по служебному делу.

Приезжие постояли возле мельничного ручья, о чем-то поговорили между собой, обернулись к водителю, который высунулся из машины, сделали ему знак, тот утвердительно кивнул в ответ, и, заметив старика учителя, направились к нему.

Они поздоровались, исподтишка окинули взглядом поляну и берег Огосты, посетовали на жару — до лета еще далеко, а печет как в августе! — потом завели разговор о драге, которая скоро прорежет железнодорожную насыпь и перейдет на здешние пески... Маккавей услышал голоса, но не вышел из-под навеса, решив, что это горцы, приятели отца, завернули по дороге проведать его. А учитель, слушая незнакомцев, догадывался, что начали они издалека, а цель у них совсем иная. Об этом свидетельствовали взгляды, которыми они исподтишка ощупывали дом, поляну, тропинку вдоль реки. Тот, что был в очках с золотой оправой, остался возле учителя, продолжая о чем-то ему говорить, и старик молча слушал, покрываясь бледностью, а второй, заметив недостроенную лодку, направился к навесу.

Маккавей взглянул на незнакомого человека со спадающим на лоб вихром, тот приближался к единственному свободному проходу между лодкой и стеной, и первой мыслью Рыжеволосого было, что этот коренастый, крепко сбитый человек хочет преградить ему до-

рогу. Но потом он увидел, как рука незнакомца осторожно потрогала борт лодки, поперечины, прислоненные к стене доски.

— Кто строит лодку? — Он поднял голову, и завешенный чубом глаз сверкнул, как стеклянный.— Рука-то, я смотрю, не очень умелая...

— Строит мастер один из города... Столяр... А я ему помогаю,— ответил Маккавей.

— Сразу видно, что не набил еще руку,— продолжал незнакомец.— Стыки плотные, ребра крепко прикреплены к рулю, но доски обшивки изогнуты неумело и больше подходят для бочарных клепок, чем для лодки... У того, кто берется строить плавучее средство, должна быть рука скульптора или ювелира. Это дело тонкое. Лодка должна, как лебедь, возвышаться над волнами — чтобы любо было и плыть на ней, и с берега глядеть!..

Маккавей промолчал. Для него столяр из города был непревзойденным умельцем, однако похоже, что человек, окидывавший сейчас лодку опытным взглядом, гораздо лучше разбирается в тонкостях этого ремесла.

— Есть у меня друг, известный лодочный мастер,— продолжал незнакомец, вызывавший у Маккавея все большую симпатию.— Всю жизнь проработал в доках. Самые лучшие лодки, которые не плывут, а скользят по волнам, как перо морской чайки, сделаны его руками... Я видел, как он работает — не рубанком водит, а священнодействует! Сделает лодку, постучит по ней, а она поет не хуже скрипки... Я прослышал о том, что вы тут взялись строить лодку, и рассказал этому мастеру, когда недавно гостил у него. Он очень заинтересовался, как у вас идут дела, хотел сам приехать — посмотреть, подсказать, да возраст уже не тот и здоровье. «Привези парня ко мне,— говорит,— хочу познакомиться с ним, ну и потолковать...» Лодочные мастера и скрипичные — схожи, и те и другие доверяют секреты своего ремесла только тем, в ком разглядят талант. Может быть, старый мастер, узнав о твоей недостроенной лодке, решил открыть тебе свои секреты...

Как сладко говорил этот человек! Маккавей слушал, и глаза у него полнились светом.

— Я собираюсь съездить в тот город, где живет этот мастер, погостить у него. Могу, если хочешь, захватить и тебя, посидим у него в мастерской, посмотрим, как он мастерит свои лодки, погуляем по берегу моря. А может быть, поплаваем на самой лучшей лодке старика — благодаря парусам она проносится над волнами, как молния.

«Конечно, хочу!» — порывался крикнуть Маккавей, но сперва решил спросить у отца.

Он обогнул лодку, вышел на поляну и увидел, что отец стоит под стрехой белый как полотно, а высокий человек в очках, поблескивающих на ярком солнце, поддерживает его под руку.

— Тебе плохо? — бросился к нему Маккавей.

— Пустяки. Это от жары. Сейчас пройдет...— шевельнул тот губами и опустился на табуретку у стены.

Маккавей принес ему воды. Старик отпил глоток, смочил лоб. Над ивами с криком взметнулись птицы — что-то вспугнуло их.

— Я видел недостроенную лодку,— сказал человек с черным вихром и расстегнул рубаху; шея у него взмокла от пота и блестела.— Поговорил с вашим сыном, предложил ему поехать с нами к одному знаменитому мастеру. Тот научит его кое-каким тонкостям ремесла. Мало ведь просто сколотить доски. Надо проникнуть в душу дерева...

— Я знаю этого мастера. Попасть к нему легко, труден обратный путь...— глухо произнес учитель, продолжая смотреть в пустое

небо, куда умчались птицы.— Поезжай, мой мальчик. А я буду ждать, когда ты вернешься и обо всем мне расскажешь... Ждать и стеречь твою лодку...

Он увидел, что глаза сына улыбаются — так, как улыбались лишь в самые счастливые минуты.

— Мы на машине,— сказал черноволосый.— Захвати с собой что-нибудь теплое.

— Зачем? В такую жару даже рубаха мешает...

— Там, где живет мастер, может быть холодно...— Отец повернулся к нему. В глазах старика стояла пепельная серость раскаленного неба.

Маккавей поцеловал худую щеку отца и пошел в сандалиях на босу ногу, захватив с собой только свитер. Люди в серых костюмах шли следом за ним, а он готов был от нетерпения пуститься бегом, в голове уже крепко засела мысль о лодочном мастере, который посвятит его в тайны своего ремесла.

Он шел, не догадываясь, куда его повезут, не оборачиваясь, не видя, что отец плачет, прижавшись лицом к стене, и внезапно опустевший дом скрипит от рыданий старика, как будто все балки и стропила охвачены древоточцами.

Лодка незнакомого мастера, узкая и легкая, как перо морской чайки, плыла перед глазами Маккавея, с губ не сходила улыбка, а душа не ощущала ничего, кроме далекого, горьковатого дуновения моря.

Маккавей уехал с незнакомцами. Поредела пыль, поднятая машиной, осела на листьях и траве, потом заморосил дождик и смыл ее, и жизнь опять потекла, будто ничего не случилось. Все так же перекликались над поречьем сойки, глухо пыхтела драга, уже подбиравшаяся к железнодорожной насыпи, тихо журчали высыхающие броды,— между камнями уже почти не осталось воды.

Маккавей уехал, прошли недели, потянулись месяцы, и никто, кроме отца, не заметил, что его больше нет здесь.

Плодовые деревья отцвели. Червь пополз к сердцевине яблока. Потом вымокшая под сентябрьским дождем ворона закачалась на своих чугунных лапах и принялась клевать упавший плод. Взошел безвременник, и над поречьем разнеслось резкое дыхание близкой осени.

Как быстро мчалось время!.. А Маккавея все не было. И никто этого не замечал...

МАЛО-ПОМАЛУ ХРИСТОФОР МИХАЛУШЕВ привык к одиночеству, научился переносить его. В часы, казавшиеся особенно нескончаемыми, он принимался за какие-нибудь дела или же обращался к воспоминаниям, которые давали ему опору и возвращали душевное равновесие.

Он был потрясен тем, что Маккавея поместили в лечебницу, ему ведь казалось, что Маккавей уже выздоравливает. С каким старанием, с каким душевным спокойствием мальчик с самого раннего утра трудился над лодкой, помогал столяру, несколько раз приезжавшему вместе с Муни! Они вместе собрали шпангоуты и киль (учитель тоже помогал при этом), прикрепили поперечины, и силуэт лодки уже начал явственно очерчиваться, похожий на большую, распластанную рыбину.

Если бы не злосчастная стычка с трактористами, если бы Маккавей не бросился спасать от их плугов цветы и виноградные лозы, жизнь текла бы все так же мирно и покойно, и через некоторое время отец и выздоровевший сын вернулись бы в город и зажили как все люди, со своими радостями и заботами. Маккавей занялся бы чем-нибудь (Муни взял бы его себе в помощники), позабыл обо всем пережитом, и домик на берегу Огосты лишь изредка являлся бы ему во сне...

Все могло бы окончиться так, но, увы, надежды не всегда сбываются...

Сын уехал и не давал о себе знать.

Вот уже лето позади, осень и та незаметно подходит к концу, на деревьях не осталось ни листика, а от Маккавея по-прежнему ни единой строчки...

Иногда учитель подумывал, не запереть ли дом, не поехать ли к нему. Не бог весть как далеко это Карлуково, о котором чего только не рассказывают: что окна там зарешеченные, что буйных ремнями прикручивают к койкам, а есть среди больных и такие, что целыми днями стоят, раскинув руки, потому что считают себя распятыми, а снять их с креста некому.

«Маккавей не такой,— думал отец,— он тихий и добрый. Врачи полюбят его, ведь он и сам всем сердцем привязывается к людям, они будут жалеть его и сделают все возможное, чтобы поскорее вылечить...»

Он подумывал о поездке, но все откладывал ее, потому что надеялся получить от сына письмо. Вдруг мальчика повезли еще куда-то? Говорят, такая же лечебница есть и в Ломе. Со дня на день ожидал он, что приедет Муни и привезет письмо. Вновь всходило солнце, но день не приносил никаких вестей. Наступал следующий день — и тоже не приносил ожидаемой весточки...

Учитель осознавал, какие голые, безлюдные пространства времени остались позади, когда оборачивался к первому дню своего ожидания и различал его далеко-далеко на горизонте, похожего на деревце в цвету. А рядом с собой видел лишь голые ветки — яблоки попадали наземь, и пожелтевшие листья прикрыли их... Значит, в ожидании вести от сына он незаметно прошел весь путь плода — казалось бы, только-только раскрылись почки, а вот уже вороний клюв долбит на земле яблоко...

В комнатушке Маккавея валялись на стульях его вещи, но отец не убирал их, потому что эти рубахи и вытянутые на локтях свитеры, все еще сохранявшие форму его тела, не давали померкнуть надежде на скорое возвращение сына. Старый учитель по собственному опыту знал, что одежда, как и люди, умеет ждать и радоваться сверканием пуговиц или веселым потрескиванием швов, когда к ней прикоснется тот, чье тепло она берегла в своих складках.

В первые дни после отъезда сына учитель ощущал такую боль, что ему хотелось выйти в поле и кричать, кричать... Вокруг — ни души, никто бы не услыхал и не стал бы разносить по поречью весть, что учитель не в себе... Только жаворонков напугал бы он своим воплем, да и то ненадолго — они снова взмыли бы в небо, отряхнув

с крыльев пепел его горя... Потом он решил вернуться в город — что ему тут делать одному? И уже взялся собирать свои пожитки, но тут взгляд упал на недостроенную лодку с потемневшими ребрами. Он подошел к ней, и под ногами заговорили стружки, насыпанные рубанком сына.

Лодка стояла перед ним, как живое существо. Она помнила руки Маккавея, ласково и заботливо прикасавшиеся к ней; помнила беседы двух друзей, склонившихся над чертежом, и тонкие, нервные пальцы столяра, который скреплял доски, зажав гвозди в зубах, прятавшихся за негустыми светлыми усами.

Мысли учителя о сыне постепенно соединялись с мыслью о лодке.

Если ночью начинался дождь, он вставал проверить, не заливает ли ее под навесом. Заметив на досках освещенную его фонариком струйку дождя, он чем-нибудь накрывал их... И понял, что если вернется в город, оставив лодку без присмотра — на милость дождей и цыган, которые, конечно, разрубят ее на дрова,— то предаст не только сына, видевшего в этой лодке спасение для своей души, предаст собственную совесть.

И он остался здесь — с сознанием, что совершает нечто важное и достойное...

Через два дня после того, как увезли Маккавея, в окно постучали. Дело было в полдень, но учитель еще не вставал — ему нездоровилось. Приподнявшись, он увидал в углу окна сверкающую кокарду Лесного Царя. Ему стало неприятно, что эта лиса опять притащилась сюда, но он не выдал своей досады. Сунул ноги в сандалии, поздоровался за руку, предложил сесть. Лесной Царь прислонил карабин к двери, взглянул на бледное, небритое и потому еще более старое лицо учителя и сказал:

— Прослышал о том, что стряслось с Маккавеем, и пришел проведать тебя. Как же это, учитель? Кто мог сотворить такую подлость? Тяжко тебе, я смотрю. Еще бы, родная кровь...

Он нагнулся и поцеловал старика в щеку.

Христофор Михалушев не ожидал такого от Лесного Царя и отпрянул только, когда почувствовал на щеке сухое прикосновение его обветренных губ. Ему почудилось, что если он обернется, то увидит темнеющие деревья Гефсиманского сада и услышит шаги стражи по траве. Но он не обернулся, и в его глазах расплылись желтоватые зрачки лесника, над которыми сверкала во всем своем великолепии фуражка зеленого сукна, точно корона, водруженная на крупную мужицкую голову.

— Разве ты ни при чем? — впился в него взглядом учитель.— Ведь ты был там? Ведь это ты привел трактористов и велел им перепахивать все подряд — цветы и виноградные лозы?

— Я не велел, а только выполнял чужой приказ...

— «Выполнял чужой приказ», а сам пошел в город и сказал там, что у Маккавея опять помутился разум и он проламывает трактористам головы... Может, ты еще и добавил, что он бросался на них с ножом?

— Да я ничего не видел! Я был на другом краю села, там тоже будут все рубить и перепахивать.

— Знаешь, отчего Маккавей заплакал и кинулся наперерез тракторам? Вы топтали цветы, которые он любил, за которыми ухаживал... Вы же могли перепахать село позже, когда они отцветут. Тогда ему не было бы так больно. Даже если вам надо что-то посеять, то все равно не раньше осени...

— Я, милый, отвечаю только за лес, охоту и рыбную ловлю. Кто когда что сеет — забота не моя.

— Не нашел ни одного доброго слова, не успокоил мальчика, а сразу помчался в город, чтобы предать его... Скажи ты ему что-нибудь по-человечески, он бы опомнился и повернул домой.

— Сроду я никого не предавал! Я только не даю спуску тем, кто нарушает букву закона! — Лесной Царь сердито посмотрел на него и потянулся за своим карабином — видимо, собрался уходить.— А ежели твой сын запустил в кого камнем, то не моя забота притягивать его к ответу. Найдутся другие...

— Ты предал его! И приходишь, как Иуда, целовать меня, чтобы замести следы...

— Да, может, оно и к лучшему, что кто-то пошел и сказал про него? Подлечат парня — не в тюрьме, небось! — и вернется здоровехонек.

— Вернется. Обязательно вернется... Но только в тебе никогда не будет ничего человеческого... Крепкая же у тебя душа, лесник, если после всего зла, какое ты причинил людям, ты все еще живздоров и совесть не заела тебя, как ржавчина разъела вот эту печку...

Лесной Царь вышел, хлопнув дверью. Приклад карабина стукнулся об нее с такой силой, что чуть не сорвал замок.

И опять потянулись дни.

Жаворонки допели все свои песни, небо вдруг онемело и выцвело от летнего зноя. Появились светлячки. Сначала это были всего два огонечка — прилетели с реки и закружили над домом. Христофор Михалушев решил было, что это искры из дымовой трубы, но потом увидел, что от берега Огосты приближаются все новые светящиеся точечки и кружат в темноте, вычерчивая легкие золотые спирали, будто кто-то разрисовывает ночное небо, а другие вспыхивают и гаснут через равные промежутки, словно кому-то посылают сигналы. Светлячки безмятежно порхали над домом, оплетали золотыми нитями сидевшего на пороге человека, домик, ивы, речные броды, и Христофору Михалушеву было бесконечно приятно прикосновение этих светлых крупинок, которые уже через неделю исчезнут в ивняке и появятся лишь на другое лето — если он доживет, если доведется снова полюбоваться ими...

Однажды вечером в танец светлячков вплелись огоньки фар — приехал Муни, привез долгожданное письмо. Учитель разволновался, дрожащие пальцы долго не могли распечатать конверт. Он надел очки, поставил на подоконник лампу, склонился над листком, и глаза с тревогой заскользили по строчкам.

Маккавей писал, что чувствует себя хорошо. Окно его комнаты выходит на железную дорогу. За нею видна река. Поезда всю ночь гудят и не дают уснуть, но он радуется им, потому что, когда он поправится, они отвезут его домой. Он рассказал врачам о том, что начал строить лодку, и те обещали поскорее вылечить его, а то понайдут цыгане и растащат доски под навесом...

Передав привет Муни и спросив, не приезжал ли столяр закончить обшивку, Маккавей на целой странице расспрашивал про лодку — не мочит ли ее дождем, прибраны ли доски в сухое место, там ли еще рубанки или столяр забрал их...

«Мне однажды приснилось, что ночью, пока ты, отец, спал, кто-то порубил лодку топором и разбросал доски по поляне,— писал под конец Маккавей.— Я, наверно, плакал во сне и кричал, потому что увидал над собой доктора, который спросил, что со мной. Я ответил: мне приснилось, что кто-то разрубил мою лодку.— Никто ее не тронет,— сказал он,— раз там твой отец. Я знаю, как привязаны старики к тому, что им дорого. Успокойся. Лодка будет стоять целехонькая и ждать твоего возвращения. А может, ты и меня захватишь — покатаешь по озеру...

Пиши мне. Ты знаешь, как я люблю длинные письма. С нетерпением жду того часа, когда вернусь домой.

Твой Маккавей».

Учитель сложил мелко исписанные листки и долго сидел молча. Сын почти ничего не рассказывал о себе: какие люди окружают его, вправду ли есть среди них такие, кого пристегивают ремнями к кроватям, как его лечат — уколами, таблетками, выпускают ли на прогулки или держат взаперти?.. Ни слова не написал о том, что тревожило отца, а только расспрашивал о лодке.

Учитель угадывал между строк, да и по рассказу о ночном кошмаре было ясно, что единственной мечтой Маккавея и единственной надеждой на спасение была недостроенная лодка. Получая от отца добрые вести — что столяр по-прежнему приезжает, что Муни купил смолу, которой пропитают весь корпус, Маккавей окрепнет духом и, шаг за шагом, выберется из трясины болезни. А если отец переберется в город, кинув все на произвол судьбы, рухнет надежда в душе Маккавея, как в весеннее половодье обрушивается подмытый берег Огосты. Тогда может случиться непоправимое, ведь отчаявшийся человек способен прийти к самому ужасному решению...

И Христофор Михалушев остался стеречь лодку и ждать возвращения сына.

Дни текли. Суслики уже перетаскали в норы последние колоски, и не видно стало на жнивье этих коричневых зверьков, похожих на колышки, какие вбивают в поле, чтобы привязывать скотину... Жнивье вспахали. Зарядили дожди. Почва сначала набухла, потом пропиталась влагой и засверкала жирными комьями, отполированными лемехом плуга. Смолкло птичье пенье. Случалось, в обнажившихся кустах чирикнет крапивник или синичка, а после битый час не слышно ни звука, разве что ворона всплеснет крылом или плюхнется в воду скатившийся с берега камешек. Поредели и ночные звуки. Даже филины, ухавшие весной и летом чуть не до самой зари, теперь примолкли где-то в чаще леса. Под печкой в комнате Христофора Михалушева поселился сверчок, но он тоже примолк. Перестали возиться под стрехой воробьи. Они шумно и непримиримо дрались, когда выбирали себе подругу и вили гнезда, а теперь упорхнули и больше не возвращались...

Остался — все так же неотделимый от окружающей природы — только шум реки. Он был по-прежнему ровный, как примитивная мелодия, которая сперва раздражает слух, но постепенно ухо привыкает к ней, и она начинает нравиться. Сейчас, в часы поздней осени, эта мелодия звучала особенно мягко и нежно, потому что процеживалась сквозь палую листву, покрывшую заводи и камни на речных бродах.

Осталось также поскрипывание потолочных балок. Прежде учитель почти не замечал его, а если и прислушивался к скрипу дерева, то думал, что это шевелятся черепичины на крыше, по которой гуляет ветер. Теперь, когда сон приходил лишь поздно ночью и учитель мог, не отвлекаясь, вслушиваться и распознавать все звуки, он понял, что в балках орудуют черви-древоточцы. Скрип был негромкий, постоянный, упорный, будто кто-то на чердаке перепиливает решетку, за которую он посажен, пилит безостановочно, а железо сопротивляется его руке. Один там древоточец или скрипят все балки разом?

Ему почудилось, что звук перемещается, что скрип доносится со стороны навеса. Неужели древоточцы принялись и за доски, предназначенные для лодки? Слух не обманул его — скрип и впрямь доносился оттуда.

Он встал, зажег фонарь и вышел. Осенняя ночь обдала его влажным ветерком. Свет фонаря скользнул по траве, и на стене под навесом обрисовался остов лодки. Едва раздались шаги человека, как звук оборвался, и пока учитель стоял возле лодки, ничего слышно не было. Он осмотрел ее всю — ребра, поперечины, киль — и нигде не обнаружил следов древоточца. Вернулся в дом, лег и снова услыхал протяжный звук — оттуда, из-под навеса!..

«Обязательно найду его, налью в дыру керосина и покончу с ним!» — пригрозил сморенный дремотой учитель, задул фонарь и ощутил щекой влажное прикосновение одеяла...

День наступил поздно, как будто добирался на рейсовом автобусе через дождливый перевал и на одном из петроханских виражей меняли лопнувшую покрышку. Было пасмурно, туманно, мелко моросил дождик, ощущавшийся больше обонянием, чем зрением. Учитель при дневном свете не обнаружил древоточца. Он понял, что ночью слух обманул его — скрип доносился с чердака. Покрутился возле лодки (ее не замочило водой), сложил доски вдоль стены, чтобы не погнулись, и сел за письмо Маккавею.

Он расскажет сыну о том, что лодка в полной сохранности и ждет его, что он каждый день заглядывает к ней и, как только погода установится, Муни привезет мастера и работа возобновится. Напишет про разные забавные случаи, например, про лису, которая опять набралась блох от нестиранной рубахи Лесного Царя, валявшейся на берегу, пока тот купался в реке.

Осенняя мгла все больше сгущалась — это значило, что близится вечер. Сильнее застучал дождь по крыше. Подул холодный ветер, дали запахли снегом. Христофор Михалушев посмотрел в окно, и перед глазами закружились снежинки. Они прилетели с реки — откуда в июле прилетали первые светлячки, плясавшие так же грациозно и плавно.

«Неужели так быстро подошла зима?» — подумал учитель и зажег лампу.

И увидал целый рой освещенных огнем снежинок, они внезапно закружились за окном и облепили его мелкими прозрачными капельками...

Вроде бы падал снег, а небо неожиданно прояснилось. С крыши закапало, возле навеса звякнула какая-то железяка: «дзинь, дзинь, дзинь» — как-будто где-то далеко косарь отбивал косу, и Христофор Михалушев проснулся. Посмотрел на окно. Мгла была негустой и влажной. Сквозь пепельно-серую завесу отчетливо проступали очертания холмов, покрытых снегом, наверно, совсем тонким, потому что сквозь него просвечивала вязь обнаженных деревьев. Мгла казалась гуще внизу, над поречьем. Подняв взгляд к небу, учитель увидел, что оно ясное, тихое, как в самые дивные августовские ночи. Глаза искали знакомые с детства созвездия, и он находил по обе стороны Млечного Пути Орион, Большую Медведицу, Волопаса, Большого и Малого Пса... Небо было гладким, примолкшим. «Наверно, такой же будет вода, которая зальет наше поречье...» — подумал учитель, и далекие звезды казались ему рифами, прорвавшими безбрежные пространства воздушного океана...

Глаза старого учителя затуманились — то ли от света звезд, то ли от навалившейся снова дремоты, и сквозь узенькую щелку сомкнутых век он увидел лисицу. Она пересекла двор, подошла, озираясь, к навесу, обнюхала доски, потом повернула к дому, встала на задние лапы и заглянула в окно. Христофор Михалушев смотрел на ее острую морду, вырисовывавшуюся на фоне неба, смотрел в ее глаза,

желтоватые и цепкие, как у Лесного Царя, и покашлял, чтобы прогнать ее, но лиса не тронулась с места.

Звон водосточной трубы усилился, и учитель увидел, что снег начинает оседать, исчезает с веток деревьев, с полянки перед домом, с берега Огосты. Поречье потемнело — брал верх цвет мокрой земли, но небо оставалось таким же глубоким и ясным.

Впервые за всю свою жизнь Христофор Михалушев видел, чтобы снег таял не от солнца, а от света звезд.

Он услыхал шаги, обернулся к навесу и увидел сына. Когда же он вернулся, почему не дал о себе знать?.. Сын был без шапки, в больничном халате, на босых ногах те же сандалии, в каких его увезли в лечебницу. Сбежал оттуда или уже выздоровел и его отпустили? Но почему не предупредил о своем приезде, чтобы отец встретил его на вокзале? Как добирался один, в темноте, по снегу, в сандалиях на босу ногу?..

Маккавей обошел лодку со всех сторон, осмотрел борта, обшитые плотно пригнанными досками, изогнутыми, как раковина огромной мидии, и отец с удивлением обнаружил, что лодка уже достроена. Просмоленные борта сверкают, в уключины вставлены весла, высится укутанная парусом мачта.

Маккавей столкнул лодку во двор. Должно быть, очень окреп в лечебнице, потому что лодка не оказывала никакого сопротивления и скользила так легко, словно под ней шевелилась не трава и размокшая грязь, а тихая, взрезаемая килем вода.

Да, учитель и вправду видит перед собой воду. Когда она успела залить поречье, когда так близко подошла к дому? Он спал и не заметил, что она прибывает,— должно быть, подкрадывалась, как лиса, которая все еще стоит за окном.

Вода подхватывает лодку, тащит ее вглубь, Маккавей, мокрый до пояса, прыгает, переваливается через борт, садится, развязывает парус, натягивает шкоты. Учитель смотрит вслед улыбающемуся сыну, не сказавшему ему ни слова на прощанье, видит потускневшие от седины рыжие волосы, острую, тоже серую, как зола, бороду, и сердце сжимается от боли — ведь сидящему в лодке всего-навсего тридцать третий год. Учителю хочется крикнуть: «Не ставь парус, поднимается ветер, а ты неопытен, попробуй лучше на веслах!» — но сын уже далеко. Даже если и крикнешь — все равно не услышит.

И впрямь подымается ветер. Странный какой-то ветер — проносится только в небесной выси, водная гладь остается нетронутой, и в ней отражаются все созвездия, которые Христофор Михалушев час назад созерцал в окне.

Вода спокойна, а лодка буйствует, мчится, как перегрызший узду необъезженный конь, и беспомощный всадник всеми своими мускулами ощущает, как пульсирует его тело. Лодка кружит, кренится. Маккавей не умеет укрощать парус, но душа его ликует, и к учителю доносится голос сына — восторженный и гулкий, как будто мальчик зовет кого-то с другого берега...

Резко развернувшись, лодка плывет туда. Христофор Михалушев приподнимается на локтях, пробует перекричать ветер: «Плыви ко мне, там рифы, а в двух шагах от них холм! Лодка об него разобьется!..» Кричит, а не видит, что это смотрятся в воду рифы далеких звезд и позолоченный их светом парус неистово пляшет меж ними...

Лодка и вправду летела прямо на холм. Маккавей понимал, что вода мелеет — уже проглядывали на дне дорожки, по которым он

когда-то ходил, и пористые каменные ограды срубленных виноградников. Околдованный волшебством полета, он даже не сделал попытки свернуть в сторону. Увидал, что нос лодки вздернуло надутым парусом, почувствовал, что она пытается взмыть в воздух, вцепился в мачту, чтобы не упасть, но прыжок лодки был недолгим. Вода снова повлекла ее, ударила в борта. Берег ринулся навстречу Маккавею своими облысевшими полянками, плоскими пепельными валунами, на которых летом жарились змеи, и срезанным карстовым склоном, где военнопленные после первой мировой войны прокладывали линию железной дороги. Парус мелькнул на этих проеденных дождями известняках, нос лодки врезался в них, как кирка каменотеса, выискивающая слабое место камня. Раздался глухой треск. Мачта переломилась, парус потащил ее ввысь и вместе с ней растаял в небе.

Упав навзничь на ребра лодки, Маккавей подумал, что борта распадутся и он рухнет в бездну. Но лодка осталась невредима. Иное привело его в содрогание: карстовый холм стал медленно расщепляться. Обе его части раздвинулись, между ними образовался пролом и огромные ниши. Вода хлынула в этот пролом, потащила за собой лодку, но почти сразу пробитые известняки впились в ее борта, и, прежде чем навсегда остаться у них в плену, высоко в небе, лодка накренилась, словно пытаясь вырваться из клещей, и Маккавей, толчком сброшенный на весла, упал. Нет, не упал, а полетел — тело его задержалось в воздухе, как подхваченное ветром перышко, и опустилось далеко от водоворотов, гудевших в темных нишах пролома.

Он опустился на воду там, где она была зеркально-гладкой. Коснулся ее поверхности, и волны окружили его, точно широкие спасательные пояса, но он не сумел на них удержаться, они выскальзывали из рук. Попробовал плыть. Замахал руками, как в детстве, когда купался в заводях Огосты, заколотил по воде ногами, но почти не продвинулся. Мешал намокший больничный халат. Сандалии, в которых он, как блудный сын, возвратился домой, тоже мешали, и при следующем взмахе ног они соскользнули и стали погружаться в воду...

Христофор Михалушев, потрясенный, смотрел, как сын сражается со смертью Он кричал: «Постарайся сбросить халат и плыви сюда! Здесь мельче!» — но, как бывает во сне, его крик комом застрял в горле.

Над головой Маккавея забулькала вода. Рыжая шевелюра потускнела,— казалось, под воду уходили погасшие угли. Он опускался на дно, воздев к небу руки, словно пытаясь удержаться за что-то, остававшееся для отца невидимым. И когда коснулся дна, исчез в липкой грязи, затянувшей все вокруг...

Вода убывала. Пещеры гудели от водоворотов. Вскоре холм поглотит все, что сможет. Наступит очередь горбда...

Христофор Михалушев поплыл туда, где исчез сын. Удастся ли спасти его? Он ощутил босыми ногами скользкую тину, потом коснулся чего-то твердого — это были сандалии Маккавея!.. Мальчик где-то близко! Добраться бы до него прежде, чем его задушит грязь...

Ремешки сандалий, на которые он наступил, точно железом порезали ему ступни.

Он вздрогнул от боли — и проснулся.

За окном было пасмурное утро. Падал снежок.

Старый учитель увидал за окном трехугольную морду лисицы, а за нею — побелевшие ивы и заснеженные склоны холмов. Лиса смотрела на него немигающими желтоватыми глазками, и, еще не вполне очнувшись от ночных кошмаров, он увидел в этих глазах холодную насмешку.

Замахнулся, ударил кулаком по стеклу. Стекло разлетелось, поранив ему пальцы. Лиса увернулась от осколков, еще раз взглянула на него все тем же холодным взглядом и затрусила к реке, волоча за собой хвост, как делают все лисицы, чтобы замести свой след...

Эпилог

Почти двадцать лет назад, когда на страницах первого своего романа я вернулся к далекому броду детства, окна того дома, где мои глаза впервые увидели небо, светились от утренней и вечерней зари, а трава еще не смела приблизиться к крайним оградам села.

Она залегла, точно армия в зеленых мундирах — безмолвная армия, которая по сигналу атаки по-пластунски ползет на врага, сжав зубы, с продранными о землю локтями, и никто не в силах остановить ее, одна лишь Смерть... Но в ту пору час ее победы еще не пробил. Она расположилась на окрестных холмах, как армия на биваке, сушила на солнце белесые, как застиранные портянки, ромашковые поляны, украшала свои гимнастерки желтыми одуванчиками и ждала сигнала, чтобы двинуться на обреченное село.

Этот сигнал уже раздавался вдали, то был стук топоров, валивших осины,— еле слышный сигнал, похожий на эхо кавалерийского рожка, но трава своим обостренным слухом различила его и пришла в движение по всему фронту.

Я тогда не сумел распознать трагическую беспощадность этих звуков. Меня пленяло сверканье воды, которой предстояло залить наше поречье — воды, где отражаются облака и звезды, как рисовало мое воображение, и в час печали по дну этой прозрачной воды пройдет вслед песне жаворонка моя душа... Наивность, думаю я сейчас. Парящая в облаках мечта, не умеющая трезвым взглядом посмотреть на землю, где дороги в предательских ухабах и острых осколках лживых слов; где разбиты стекла тех окон, сквозь которые, казалось тебе, ты будешь видеть лишь звезды, а видел буйные заросли чертополоха над забытыми могилами...

Мечта опустится на землю позже, запыленная и, может быть, умудренная долгими скитаниями; склонится к израненным своим ногам; омоет их в водах реки, надеясь, что эта вода целебна, но убедится в том, что раны остаются ранами, а под зарубцевавшимся шрамом по-прежнему тлеет уголек боли...

Отчего я столько лет сражался с безмолвием чистых страниц? Отчего так терзалось мое перо? Что пытался я с такой настойчивостью защитить? То, что уходит, уголок земли в предгорье, маленький, как горошина, оброненная птичьим клювом? Хотел ли я вырвать его из-под ног большой воды, приближающейся как забвение, чтобы все у нас отнять?.. Мой голос был слишком слаб, чтобы приказать ей: «Остановись!» Я мог воздвигнуть словами лишь хрупкую песчаную стену, какие строят дети, убежденные, что это высокая гора. Воздвигнуть ценой денно-нощного труда. Но я знал, что вода одной-единственной волной — как великан небрежным взмахом руки — сметет ее...

Время сильнее нас, и неразумен тот, кто вздумает удержать уходящее. Река минувшей жизни выскользнет из его ладони, и он ощу-

тит лишь режущий холод бескрайних пространств. Но зато в нашей власти спасти от забвения человеческие достоинства, к которым время всего беспощаднее, защитить их от коварных поползновений травы. Достоинства человека не должны остаться в пучине большой воды, ведь песчаные наносы навечно похоронят их под собой, и похожая на корабль машина, роющая песок в поисках золота, не отроет их заново, потому что никакое сито, будь оно даже сплетено из тончайшей паутины, не удержит чешуйки похороненных человеческих достоинств.

Именно их и пыталось уберечь мое слово. А так как волны травы были первым сигналом близящегося забвения, я поднялся на войну с травой, покуда хватит сил. Подобно тому бледному рыцарю, что бросился с копьем на ветряные мельницы, я вскинул руку навстречу траве: «Стой!» Случалось, я отступал перед ней — когда ее безжалостные пальцы уже подбирались к моему горлу, но не раз и она с позором убегала прочь — в разодранной рубахе, ноги облеплены вязкой глиной... Убегала, чтобы затем проникнуть в мои сны, где наше единоборство продолжается и сейчас, и утром я вижу у своей кровати пучки увядшей травы, сорванные моей рукой в безмолвных просторах сновидений...

Я зарываюсь ступнями в землю, смотрю на разбойничьи орды бурьяна, которые спокойно отдыхают на холме и покуривают (а может, это летит пух одуванчиков), кашляют, позвякивают стременами и испытующе глядят на меня. Я слежу за каждым их движением и говорю им: «Пока сердце бьется в груди, я не дам растоптать то, что пронес незапятнанным через все дни и ночи моей жизни...»

Орда стоит на холме, переступает с ноги на ногу, позвякивает стременами, с лукавым прищуром смотрит на меня и посмеивается — негромко, как посвистывание ветра.

Я тоже улыбаюсь. Струйка крови сочится по губам от этой улыбки, но душа бодра...

Так размышлял я, шагая по осенней дороге, которая то приближала меня к реке, и тогда за ивняком виднелась похожая на корабль драга, то уводила на влажную зелень заболоченных лужаек, откуда выпархивали сойки, и небо наполнялось их тоненькими голосами,— казалось, что их крылья царапают серый осенний небосвод. Деревья стояли голые, и долина выглядела широкой и пустынной: как будто отсюда вынесли что-то большое, заполнявшее ее прежде, но что именно — я вспомнить не мог.

Природа отдыхала, познав и тихую мелодию цветения, и резкий шорох сухих листьев под ногами осеннего ветра. Было что-то первозданное в этом спокойствии, рожденном задумчивостью холмов и неспешным движением облаков, нераздельной общностью воды и огня, задымившего у железнодорожного моста, камня и птицы, чей голос словно призывает все, что захвачено в плен землей, распрямить плечи и вырваться из плена; нераздельная общность гулких, пронизанных солнцем листопада чувств и мыслей, человека и лошади, идущих рядом, как две тайны, сумевшие найти друг друга среди необозримых пространств...

Я свернул с дороги и направился к домику на берегу Огосты, где, как я знал, жил вместе с сыном мой учитель Христофор Михалушев. Я знал и о том, что Маккавея увезли, и хотелось проведать человека, которого я в детстве любил больше всего на свете, посидеть с ним, хоть чем-то, если смогу, утешить — сочувственным словом, взглядом.

Труба не дымилась, ни звука шагов, ни человеческого голоса слышно не было. Я толкнул дверь — заперта. Заглянул в окна, покрытые бороздами пыли. Увидел две койки, застеленные выцветшими одеялами, подушки, сохранившие углубления там, где к ним прикасалась щека спящего. На столе лежали ложки, белела тарелка с кистью винограда.

Все говорило о том, что человек, к которому я пришел, где-то здесь, поблизости, у реки, за холмом, и лишь серые полосы на окнах — плотный слой пыли, кое-где проеденный осенними дождями,— навевали мысль о том, что за этими мутными стеклами прячется тяжкая драма.

Я спросил проходившего мимо крестьянина — он шагал рядом с лошадью, и животное смотрело на него преданно и благоговейно, как на святого:

— Не знаете случайно что-нибудь о людях, которые тут жили? Старый учитель с сыном...

— Я нездешний,— ответил крестьянин. Он был низкорослый, в штанах из домотканой шерсти, на голове сплюснутая кепка, закрывавшая глаза, так что видны были только татарские скулы да острый, костистый подбородок.— У меня лошадь заплутала, два дня ходил по этой глухомани, покуда нашел. Животное, а радуется, как малое дитя. Увидала меня, заржала, примчалась и вот ни на шаг не отходит...

Человек и лошадь, породненные безмолвием земли и неба, ушли, оставив меня одного.

Вода говорила с огнем, птица с камнем, день с ночью, а я стоял один среди этих тайн бытия.

И тут я обернулся посмотреть, где лодка. Отчего меня так угнетала мысль, что она тоже исчезла и мои шаги глухо прозвучат под опустевшим навесом?

Нет! Лодка была тут, нетронутая, такая, какой оставили ее перед отъездом руки Рыжеволосого.

«Иначе зачем тогда и жить на свете,— подумалось мне,— если нет больше лодки, если она сгниет от дождей или цыгане отдерут от нее доски, чтобы развести костер... Лодки рождаются для того, чтобы плыть к иным берегам — и перенести туда душу человеческую; чтобы проплывать надо всем, что ушло уже или уходит... На земле ведь все тленно и одни только звезды вечны...»

Темнело. Из глубин сумерек донеслось ржание лошади, и его эхо промелькнуло передо мной, точно падающая звезда.

■

АРМАН ЛАНУ

Стихи разных лет

Перевод с французского и вступление М. КУДИНОВА

Имя Армана Лану хорошо известно в нашей стране: его проза издавалась у нас большими тиражами, пользуясь читательским успехом и вниманием критики.

Во Франции его романы не раз удостаивались литературных наград, в том числе и самой высокой из них — Гонкуровской премии, после присуждения которой Лану вскоре и сам становится членом высшего литературного ареопага Франции — Гонкуровской Академии.

Помимо романов он издал несколько книг, посвященных французской истории (главным образом истории Парижской Коммуны) и французской литературе (биографии Золя и Мопассана).

И все же, будучи плодовитым романистом и эссеистом, Арман Лану никогда не изменял поэзии.

В марте 1982 года издательство «Грассэ» выпустило в свет объемистый том стихотворений Лану, которому он дал трудно переводимое на русский язык название «Le Montreur d'Ombres» — дословно «показывающий тени», то есть тот, кто в театре теней показывает публике тени. Условно мы переводим это название как «Повелитель теней». В подзаголовке указано: «Пятьдесят лет в поэзии. 1932—1982». Таким образом, перед нами как бы итоговая книга поэта.

В ее первых двух разделах представлены уже издававшиеся ранее стихотворные сборники Лану: «Грозовой тюльпан» и «Лубочные картинки». Третий раздел, название которого вынесено на обложку книги, объединяет стихи, публикуемые впервые.

В кратком прозаическом вступлении Лану, обращаясь к читателю, говорит, что «наиболее старые из этих стихотворений восходят к 1932 году... Другие написаны совсем недавно. Бóльшая же часть стихотворений неоднократно переделывалась в течение многих лет». Отметив, что такие стихи, подвергавшиеся неоднократно переработке,— прямая противоположность «поэзии спонтанной или связанной с определенными обстоятельствами», Лану тут же оговаривается, что он не верит в поэзию вне определенного времени и места. «Я принимаю,— говорит он,— время-пространство, куда меня бросили, не испросив моего согласия». Своими стихами он и пытается, по его словам, запечатлеть, «поймать в ловушку» это время-пространство.

Многие стихотворения Армана Лану отражают конкретные события его биографии и носят настолько личный характер, что для их понимания иногда требуется специальный комментарий. Под шутливым названием «Ключи без замков» автор и дает его в конце книги. Но есть в ней и такие чисто биографические стихи, которые понятны и без комментария. Например, стихотворение «Зеленый стрелок предсказывает прошлое»: «Вы кончите офицерскую школу. Станете офицером. Будете воевать... Будете военнопленным. Вернувшись, женитесь на девушке с открытым взглядом. Она родит вам двоих детей...» (Это подстрочный перевод начала стихотворения.)

Война оставила глубокий след в сознании Армана Лану. Она, говорится в послесловии, «всюду в этих охватывающих полвека текстах, даже когда спит. Она была для меня лубочной картинкой, прежде чем стать Хатынью, Бабьим Яром, Орадуром, Алжиром».

Как и всякий поэт, Арман Лану прошел через определенную поэтическую школу, испытал определенные литературные влияния. В примечании к своим юношеским стихам, опубликованным в последнем разделе книги, сам он это влияние определяет так: «Моими любимыми поэтами были тогда Аполлинер, Макс Жакоб и Нерваль. Это заметно. Впрочем, таковыми они остаются для меня и теперь, вместе с некоторыми другими».

Очевидно, это была хорошая школа для Лану-поэта. Но интонационно стихи самого Лану весьма далеки от поэзии его кумиров юности. За исключением текстов, положенных потом на музыку и, видимо, для этого и предназначавшихся (они в большинстве своем написаны по правилам классического стихосложения), и в ранних и в самых последних своих стихах Арман Лану остается верен одной излюбленной стихотворной форме, которая, по его словам, представляет собой «трудно определимую форму блюза». По большей части это стихи со свободным ритмом и свободной, но всегда различимой перекличкой рифм.

Поэзия Армана Лану была во Франции замечена сразу же, как только он выступил с первыми поэтическими публикациями. Сборник «Грозовой тюльпан» сложился из ранее опубликованных небольших стихотворных книжек, и самая первая из них — «Разносчик» — была удостоена в 1953 году премии Аполлинера, которая так же почетна для французских поэтов, как Гонкуровская премия для прозаиков.

В публикуемой ниже подборке первое стихотворение («Слепой на мосту Искусств») взято из книги «Грозовой тюльпан», второе («Предатели с лубочных картинок») — из книги «Лубочные картинки», последние три — из новых стихотворений Лану, собранных в разделе «Повелитель теней».

Стихотворение «Где я?», под которым стоят даты 1932—1982 гг., завершает книгу. Этими датами автор, видимо, хотел еще раз напомнить читателю о своей полувековой приверженности к поэзии.

Слепой на мосту Искусств

Луи Арагону

Слепой на мосту Искусств
унылую песню поет без конца,
и отражается солнце, солнце, солнце
в черных очках слепца.

Вот улыбка смутная Сены,
парапеты,
мостки с перилами;
и покуда дождь не пошел,
игра под названьем «гуляй-моя-милая».

Здесь рассвет,
как все знают прекрасно,
ежедневно опять рождается,
и с ним вместе любовь без любви
и надежда без всякой надежды
появляются:
день начинается.

Обгоняя речные суда,
прилетают сюда
иногда
из Руана ветер и белые птицы,
предвещая плохую погоду,
и сырость,
и хмурые лица.

Вот собор, что в Сену глядится.
Но башню украсть с Нотр-Дам,
поверьте, намного труднее,
чем ваше сердце,
мадам.

И есть золотые слова:
моя роза,
жасмин мой,
любовь моя,
мой дорогой,
моя дорогая...
Есть забвенья трава,
но не видит ее детвора,
на газонах Парижа играя.

Стихи печатаются с разрешения издательства «Grasset et Fasquelle».

© Editions Grasset et Fasquelle, 1982.

Слепой на мосту Искусств
унылую песню поет без конца,
и отражается солнце, солнце, солнце
в черных очках слепца.

Есть воскресные дни
и воскресный наряд,
и вдоль берега Сены
то́лпы народа,
что бредут наугад
и как будто хотят
отыскать забытые броды,
чтоб на берег другой
перейти всей толпой
там, где к прошлому
скрытые есть переходы.

Наконец, есть тот,
кто ищет тебя,
тщетно ищет в Париже,
где улиц так много,
тщетно ищет в Париже,
где столько разбитых сердец,
ищет около Сены,
то дальше, то ближе,
он ищет тебя,
ищет словно слепец,
ищет словно ребенок,
что сбился с пути,
как безрукий свою отсеченную руку,
он ищет тебя
и не может найти.

Слепой на мосту Искусств
обращает к солнцу рассвета
свои черные стекла:
глаза за скафандром беды
не страшатся слепящего света,
и они, как любовь без любви,
как надежда без всякой надежды,
на призыв свой
не ждут ответа.

Предатели с лубочных картинок

Лубочные картинки лгут, как Плутарх.

— Анна, сестра моя Анна,
кого ты там видишь, скажи?
— Я вижу братьев моих на конях.
Я вижу любовь твою, что умирает во лжи.
Я вижу женщин и вижу мужчин,
предающих друг друга опять и опять,
потому что они изменили б себе,
вдруг перестав изменять.
Я вижу ложь и обман дорог,
коварство тропинок,
притворство межи...

— Анна, сестра моя Анна,
кто еще лжет, скажи?
— Лгут реки и горы,
лгут облака,
деревья и поле ржи.
Боярышник видишь издалека —
но это крапива...
Все тонет во лжи.

— Анна, сестра моя Анна,
ведь были по крайней мере
и радость и смех...
— Я вижу вокруг
одно притворство,
одно лицемерье.
— Тогда пусть явится мой супруг
и смерть постучит в мои двери.

Спящая красавица
только делала вид,
что в лесу заколдованном спит.
Фея
под нежной улыбкой своей
таила коварство хищных зверей.
Прекрасный Принц
эсэсовцем был,
и под свист и шипение змей,
среди столпотворенья,
безумья
и давки
на Западе
ночь становилась темней и темней,
и агонизировали
насекомые Кафки.
Предательство не различало, кто младший, кто старший:
даже Мальчик-с-Пальчик предателем стал,
потому что братьев своих продавал
торговцам военных маршей.

Лубочные картинки лгут, как Плутарх.

Коровология, или Печальная песня-буфф непризнанного короля

Истоков меня лишили,
из мансард и подвалов изгнали...
Где мои дворцы? Где моя земля?
Я наследник, полный печали
непризнанного короля.
Но лишенный всего, не могу я смириться
Я брыкаюсь.
Мелькают фигуры и лица
заплесневелых судейских, неверных поверенных,
муравьедов чернильных, что лгут преднамеренно
и предают на словах и на деле...

Нет! Не умру я в своей постели.

И все же в ярость всего сильней
меня приводит живущая рядом
корова, распухшая от пивных дрожжей,
корова с тупым остекленевшим взглядом,
корова, которая, жвачку свою жуя
и сопя при этом сердито,
ждет не дождется, когда же я
наконец
откину
копыта.

Она откликается на кличку Ио,
она появляется из тьмы веков,
корова цвета эбена
с челюстью в три сотни зубов,
с глазами светящимися,
с глазами птичьими,
корова, священная по финикийским обычаям,
корова матриархальная,
корова безвременья,
царица кровожадного, плотоядного племени,
корова, которая под душем фыркает,
потому что моется, как это ни странно,
и шерсть оставляет
на гребне моем,
выходя
из моей
ванной.

Корова Ио на кухне хозяйничает,
смотрит телевизор,
блюдет чаепитья обряд...
«Смерть неграм, евреям и североафриканцам!» —
мычит корова на фашистский лад.
Она аплодирует парашютистам,
она восхваляет миссионеров,
она уничтожает все запасы подряд
в моем холодильнике
и хлещет мой виски,
созвав сородичей, по духу ей близких,
и тоскою по Гитлеру
полон их взгляд.

По утрам корова детей моих будит,
пожирает мой хлеб,
о делах моих судит,
превращает в хлев
мой мифологический сад,
испражняясь в нем
и не признавая оград.
На мою мозаику, на мои страницы
ее безобразная тень ложится.

Самка Минотавра, она снова и снова
предо мной возникает, мыча зловеще,
и предметы и вещи
хвостом своим хлещет
черная эта корова.
Она приказывает,
повелевает,

по телефону заказывает
что пожелает,
норовит копытами мой покой растоптать...
А бессмертные боги? На богов ей плевать.
И, пронзая тьму бессмысленным взором,
она бродит сомнамбулой по ночным коридорам.

От топота ее мне не спится, неможется.
А корова двоится, троится, множится,
распространяется, оставаясь на месте,
корова ненависти,
корова мести,
корова, презирающая тех, кто трудом
добывает свой хлеб,
кто своим умом
хочет жить,
хочет мыслить,—
и, над ними фальшиво
идиотским смехом своим смеясь,
черная корова,
корова Ио,
их всех готова
втоптать
в грязь.

Надо быть Юпитером,
чтобы заставить ее замолчать!
Из «Тангейзера» что-то начала напевать,
сигарету с фильтром закурила — и снова
из табачного дыма выплывают рога
этой мифической домашней коровы.
Вот что значит табу нарушать,
увлекаться,
любить,
стихи сочинять
и прогневать богов, что карают сурово,
и тогда из мрака возникает корова,
вылезает из ночи корова пустыни,
корова зависти, безумья, гордыни,
корова предательства,
корова вины,
корова злобы, мести, войны.

Во тьме ее шерсть лоснится и блещет.
Я слышу, как хвост ее яростно хлещет.
О, если б Юпитер милостив был,
тореадором меня б сотворил!

Брачное предложение

Простодушна и полураздета, сказала она:
— Не пойму я никак,
нет, никак не пойму в самом деле,
что плохого сделала я комарам,
чтоб они меня так
ели?
— Что поделаешь! Есть они тоже хотят.
— Но ведь я их не ем!
— Вы едите телят,—
он сказал, и глаза у него заблестели.

— Это верно,— она прошептала.
— А разве они вас едят?
Или разве когда-нибудь ели?

Головою тряхнула, рассыпалась черная грива...

— Вполне справедливо:
Ничего плохого не видела я от телят.
Но выходит, по-вашему, надо мне есть комаров!
— А телятам есть вас: это будет логично.
— О логика! Что же телята едят?
— Как известно, траву.

И тогда, торжествуя, сказала:
— Отлично!
Что трава плохого сделала им или взрослым быкам?
Справедливости нет!
— Это вы говорите кому?
— Говорю это вам.

Помолчали немного.
Рукой он провел по усам.

— А трава что ест?
Разговор в этом духе не мог бы продолжиться далее.
Но она обладала такою изящною талией,
что этрусская амфора с нею могла бы сравниться едва.

Он сказал:
— Ест что может трава,
ест все то, что находит,
ест прах человека порою...

Тут немного всплакнула она.

— А салат вы едите?
— Бывает. Не скрою.
Но меня осенило сейчас:
проще прямо уж съесть человека.
— Я к этому выводу вас
не хотел подвести.
— Догадалась сама.
Я за логику. Вы ее любите?
— Я от нее без ума.
Вот смотрите: у носорогов есть рог,
есть у охотника рог,
значит, охотник не кто-нибудь, а носорог.

Тут, захлопав в ладоши,
случайно убила она комара, и тогда вопреки
всякой логике я ей сказал:

— Мадемуазель, я прошу у вас вашей руки.

Где я?

Где я?
Не здесь.
Подолгу не здесь.
Бывают минуты,
недели,
года,

когда меня нет
ни для кого,
нет для меня самого
иногда.

Где я?
Не знаю.
В лесной тишине?
В сердце друзей?
В сердцевине плода?
В хлебе насущном?
В добром вине?
Только совсем я не здесь,
и тогда
грустно мне,
я себя всюду ищу,
хоть и не знаю,
где обитаю;
нет, я не здесь, где себя забываю,
нет, я не здесь, где живу и грущу,
делая вид, что со мной ничего
не происходит...
И тягостно это —
не находить себя самого.

Знать бы мне, где я,
чтоб в миг любой
я мог повстречаться
с самим собой
неважно где,
неважно когда,
в смехе ребенка,
в пылу труда,
в глуби времен,
в амальгаме зеркал,
в сороковом,
когда бой грохотал,
в днях,
когда еще все впереди,
или прильнув к материнской груди.

Быть может, я там,
когда меня нет
ни для кого. И колокол старый
на колокольне звонит устало
из глубины отшумевших лет.

■

Когда эта статья и переводы уже сдавались в набор, из Парижа было получено известие, что Арман Лану скончался. До своего семидесятилетнего юбилея он так и не дожил, и подборка его стихов, публикуемая в нашем журнале, оказалась приуроченной не к торжественной дате дня рождения, как это было задумано, а к событию, которое всегда поражает своей непоправимостью, всегда кажется преждевременным.

Франция потеряла большого писателя, а мы — доброго друга нашей страны. Все, кто лично знал Армана Лану, никогда не забудут ни его неизменного дружелюбия, ни его жизнерадостности, ни его человечности.

Но после писателя остаются книги, а книгам Лану суждена долгая жизнь.

ИРВИН ШОУ

Нищий, вор

РОМАН

Перевод с английского Н. ЕМЕЛЬЯННИКОВОЙ и И. ЯКУШКИНОЙ

3

Когда в дверь позвонили, Рудольф сидел за пианино и пытался подобрать песенку «В погожий день». Миссис Бэртон уже в пальто и шляпе пошла открывать. Она обычно проводила у них день, а к вечеру отправлялась домой в Гарлем кормить собственную семью. Из кухни доносился смех Инид — она ужинала там с няней. Рудольф никого не ждал, а потому продолжал подбирать мелодию. Хорошо, что в доме есть пианино. Ему пришло в голову купить инструмент, когда он услышал, как новая няня тихо напевает, убаюкивая Инид. Она сказала, что немного играет на фортепьяно, и Рудольф решил, что Инид пойдет только на пользу, если у них в доме зазвучит живая музыка. Может, у девочки есть способности, тогда тем более хорошо, если рядом окажется человек, который умеет играть, а не проигрыватель, делающий Баха и Бетховена обыденными и привычными, как электричество. Но через несколько дней он сам уселся за пианино и принялся подбирать мелодии. Он радовался любой возможности отвлечься и уже почти решил брать уроки музыки.

Он услышал шаги миссис Бэртон.

— Мистер Джордах, пришел молодой человек, который говорит, что он ваш племянник. Впустить его?

С тех пор как Рудольф переехал на новую квартиру, занимавшую два верхних этажа небольшого особняка без швейцара, миссис Бэртон в страхе перед ворами и грабителями постоянно держала дверь на цепочке.

Рудольф встал.

— Пойду взгляну,— сказал он. В письме, пришедшем из Брюсселя неделю назад, Билли ничего не писал о приезде в Америку. Судя по письмам, племянник, по-видимому, стал приятным и неглупым молодым человеком; и в приливе родственных чувств Рудольф послал ему тысячу долларов, которую тот попросил. Может, у Билли случилась какая-нибудь неприятность по службе и он дезертировал? Тогда понятно, зачем ему понадобились деньги. Что же касается Уэсли, то после отъезда из Ниццы — почти девять месяцев назад — он как в воду канул.

Миссис Бэртон вышла вслед за ним в холл. За приоткрытой дверью на тускло освещенной площадке стоял Уэсли.

— Все в порядке, миссис Бэртон,— сказал Рудольф и открыл дверь.— Входи, Уэсли.— Он протянул ему руку, и Уэсли, чуть помедлив, пожал ее.

— Я вам сегодня больше не нужна? — спросила миссис Бэртон.

— Спасибо, нет.

— Тогда я ухожу. Всего хорошего, мистер Джордах.

— Всего хорошего, миссис Бэртон.— Она ушла, и Рудольф закрыл за ней дверь. Уэсли стоял молча — копия своего отца в отрочестве: такое же худое, бледное и безучастное лицо, настороженный и колючий взгляд. Он был в том самом костюме, в котором вышел из Грасской тюрьмы, и костюм этот стал ему сейчас еще теснее, чем тогда. С тех пор Уэсли вроде даже вырос и раздался в плечах. И подстригся, с удовольствием отметил Рудольф.

Продолжение. Начало см. в № 5.

— Рад тебя видеть,— сказал Рудольф, когда они прошли в гостиную.— Выпить хочешь?

— Пива, если можно,— ответил Уэсли.

— Располагайся поудобнее.— Рудольф пошел на кухню, где вместе с няней ужинала Инид. Няня, крупная и полная женщина лет сорока, удивительно мягко управлялась с девочкой.

— Инид, к нам приехал твой кузен Уэсли,— сказал Рудольф, вынимая из холодильника бутылку пива. Он хотел было после ужина позвать девочку в гостиную поздороваться с Уэсли, но потом решил, что не стоит. Неизвестно еще, зачем Уэсли приехал. Может, у него какие-нибудь душевные переживания или разочарования, как бывает в этом возрасте; тогда появление Инид только усложнит обстановку. Он поцеловал девочку в макушку, взял бутылку и стакан и вернулся в гостиную. Уэсли неловко топтался на том же месте, где Рудольф оставил его. Рудольф налил ему пива.

— Спасибо,— поблагодарил Уэсли.— А вы сами ничего не будете пить?

— Я выпью вина за ужином. Да ты садись.

Уэсли подождал, пока сел Рудольф, после этого уселся на стул лицом к нему и стал жадно пить.

— Ну, как поживаешь? — спросил Рудольф.— Каким ветром тебя занесло в Нью-Йорк?

— Я искал вас по старому адресу,— сказал Уэсли, оставив его вопрос без ответа.— Швейцар не хотел говорить мне, куда вы переехали. Не верил, что я ваш племянник. Пришлось показать ему мой библиотечный билет.— У него был обиженный тон, словно Рудольф переехал на четыре квартала к северу специально, чтобы Уэсли не мог его найти.

— Разве ты не получил моего письма? — спросил Рудольф.— Я сообщил тебе новый адрес, как только снял эту квартиру.

— Никаких писем я не получал,— покачал головой Уэсли.— Нет, сэр, ни одного письма.

— В том числе и того, где я писал, что вопрос о наследстве почти улажен и что тебе причитается..

— Ничего не получил.— Уэсли отпил еще пива.

— Что же происходит с твоей почтой? — Рудольф старался говорить спокойно.

— Вероятно мать считает, что мне незачем получать письма. Так я думаю.

— Ты уже поужинал?

— Нет.

— За ужином я расскажу тебе, о чем писал в письме.

— Я не ради разговоров о деньгах добирался на попутках из Индианаполиса в Нью-Йорк, дядя Руди,— тихо сказал Уэсли.— Я приехал... Считайте, что я приехал просто в гости.

— Мать знает, что ты в Нью-Йорке?

Уэсли покачал головой.

— Мы с матерью не часто разговариваем.

— Ты случайно не сбежал из дома?

— Нет. Сейчас пасхальные каникулы. Я оставил записку, что приеду к началу занятий.

— Слава богу,— сухо сказал Рудольф — Ты хорошо учишься?

— Ничего. По французскому лучше всех.— Он усмехнулся.— Уже научил ребят ругаться.

— Это им когда-нибудь пригодится,— улыбнулся Рудольф. И более серьезным тоном спросил: — А почему тебе пришлось добираться на попутных машинах?

— Из-за отсутствия денег.— ответил Уэсли.

— Твоя мать каждый месяц получает на твое содержание довольно приличную сумму — сказал Рудольф.— Во всяком случае на один автобусный билет до Нью-Йорка раз в год этих денег вполне хватит.

— Она мне не дает ни цента,— сказал Уэсли.— Но я не жалуюсь. Я после школы работаю. Мне хватает.

— Да? — усомнился Рудольф.— Это у тебя единственный костюм?

— Костюм? Да. Но у меня есть несколько свитеров и джинсов и еще одежда

для школы и для работы. А зимой мне дают старый плащ сына мистера Крейлера — он солдат и сейчас во Вьетнаме,— так что я не мерзну.

— Придется, пожалуй, написать твоей матери,— заметил Рудольф.— Она не имеет права тратить твои деньги на себя.

— Не стоит поднимать шум, дядя Руди,— отозвался Уэсли и осторожно поставил стакан на пол.— И без того у нас хватает разговоров. Мать говорит, что отдаст мне все до последнего цента, если я буду ходить с ней и мистером Крейлером в церковь, как и подобает истинному христианину.

— Понятно,— заметил Рудольф.— Вот теперь картина начинает проясняться.

— Еще та́ картинка, а? — Уэсли снова усмехнулся.— Настоящая испанская инквизиция в Индианаполисе!

— Я, пожалуй, выпью,— сказал Рудольф. Он встал, подошел к бару, приготовил себе «Мартини».— Еще пива, Уэсли?

— Спасибо.— Уэсли поднял стакан с пола, встал и протянул его Рудольфу.

— Хочешь повидаться с Инид? Она на кухне.— Он заметил замешательство Уэсли.— Ее матери здесь нет. Я ведь писал тебе, что мы развелись.— Он раздраженно тряхнул головой.— Или ты и этого письма не получил?

— Нет.

— Черт побери! Теперь я буду писать тебе до востребования. Неужели тебя не удивляло, что тебе никто не пишет?

— Я как-то не задумывался.

— А ты сам писал Кролику или Кейт?

— Писал раза два,— ответил Уэсли.— Но ответа не получил и бросил писать. Вам что-нибудь про них известно?

— Конечно,— ответил Рудольф. Каждый месяц Дуайер присылал ему отчет по расходам на «Клотильду»; он, разумеется, знал, что ее купил Рудольф. Согласно распоряжению судебных властей, яхта была оценена — стоимость ее определили в сто тысяч долларов. Значит, Дуайер не ошибся. Но ни один покупатель не предложил ничего хотя бы приближавшегося к этой сумме. Дуайер отвел яхту на зиму в Сен-Тропез и поставил у причала.— У них все в порядке. Кейт родила тебе брата. Точнее говоря, единокровного брата.

— Бедный парень! — вздохнул Уэсли, но все же несколько повеселел. Род продолжается, подумал Рудольф.— Будете писать Кейт,— сказал Уэсли,— напишите, что я как-нибудь смотаюсь в Англию и навещу ее. Получается, что только у моего отца из всей нашей семьи больше одного ребенка. А он мне говорил, что хотел бы иметь пятерых. Знаете, он здорово умел управляться с детьми.— Уэсли смущенно повертел в руках стакан.— Не люблю хвастаться, дядя Руди, но вы посмотрите, что отец сделал из меня. Я, конечно, и сейчас ничего собой не представляю, но пока он не вытащил меня из военной школы, я же был полным психом.

— Да, сейчас тебя психом не назовешь.

— Самое главное,— сказал Уэсли,— что я сам себя не чувствую психом. А это уже хорошо.

— Еще бы.

— Раз мы уже заговорили о детях — можно мне взглянуть на Инид?

— Конечно,— обрадовался Рудольф.

— Она по-прежнему много болтает?

— Да,— ответил Рудольф и повел его на кухню.— Даже больше, чем прежде.

Но на этот раз Инид застенчиво молчала, поэтому Уэсли сказал:

— Здравствуй, Инид! Я твой кузен Уэсли. Узнала меня?

Инид равнодушно посмотрела на него и отвернулась.

— Уже поздно,— принялась оправдываться няня.— В это время она начинает капризничать.

— Я как-нибудь зайду к вам утром,— сказал Уэсли. В маленькой кухне его по-взрослому низкий голос звучал громко и резко, и Инид закрыла уши руками.

— Мисс, ведите себя как следует,— сделала ей замечание няня.

— Это я, наверное, слишком громко говорю,— виновато заметил Уэсли, идя вслед за Рудольфом в гостиную.— На судне привыкаешь — приходится перекрикивать и ветер и море.

В гостиной Рудольф налил себе еще «Мартини», выжал в него кусочек лимона и вдруг почувствовал, как он рад, что Уэсли пришел к нему в гости и захотел пови-

даться с Инид. Может быть, когда-нибудь в далеком будущем мы снова станем единой семьей. У меня почти нет личной жизни, с грустью подумал он, и ему стало жаль себя. Надо держаться своей семьи. Он одинок, не связан брачными узами — эпизод с Жанной ушел в прошлое и почти забылся, дочь — под надежным присмотром, к тому же она еще в таком возрасте, что он видит в ней всего лишь прелестную игрушку, так что едва он начнет общаться со своими племянниками, они станут ему нужнее, чем он им. И все-таки пусть это случится поскорее.

— Какая бы причина ни привела тебя в Нью-Йорк,— сказал он взволнованно и приподнял стакан в знак приветствия,— я очень рад тебя видеть.

— Спасибо,— Уэсли, немного смущенный, тоже поднял свой стакан.

— Надеюсь, больше в барах не дерешься,— улыбнулся Рудольф.

— Не беспокойтесь,— сдержанно отозвался Уэсли.— Я с этим покончил. Хотя, бывает, кулаки так и чешутся. В нашей школе много черных, и они часто дерутся с белыми, а белые — с ними. Меня, наверное, считают трусом. Ну и плевать — переживу. Я получил хороший урок. И потом, когда отец забирал меня из военной школы, я дал ему обещание не драться. И нарушил это обещание только раз. Причем при особых обстоятельствах.— Уэсли мрачно смотрел в стакан: сейчас он казался старше своих лет.— Всего раз. Говорят, каждая собака имеет право один раз кого-нибудь укусить. В память об отце я должен держать свое обещание. Это самое малое, что я...— Он замолк, стиснул зубы. Рудольф испугался, что мальчишка вот-вот расплачется.

— Конечно, должен,— поспешно сказал он.— А где ты остановился?

— В общежитии Христианской ассоциации молодых людей. Там совсем неплохо.

— Послушай,— сказал Рудольф,— завтра утром я увожу Инид в Монток к ее матери, а вернусь в воскресенье один. Хочешь прокатиться со мной, подышать морским воздухом?..— Он замолчал, заметив встревоженный взгляд Уэсли.

— Спасибо,— поблагодарил его Уэсли.— С удовольствием, но в другой раз. Мне пора обратно в Индианаполис.

— Тебе не придется голосовать. Я дам тебе денег на самолет.— «Когда только я перестану предлагать людям деньги вместо того, что́ им в действительности нужно?» — с отчаянием подумал он.

— Не стоит,— отказался Уэсли.— По правде говоря, мне даже нравится голосовать. Каких только людей не встретишь!

— Нет так нет,— обиженно сказал Рудольф, но осуждать мальчика за нежелание встретиться с Джин и заново пережить в памяти все события он не мог.— Но если хочешь переночевать,— добавил он,— я могу устроить тебя здесь на диване. Комнаты для гостей у нас нет, но мешать тебе никто не будет.— Гостеприимство породственному, а не доллары.

— Спасибо,— отозвался Уэсли, стараясь не обидеть дядю,— я неплохо устроился в общежитии.

— В следующий раз, когда соберешься в Нью-Йорк, предупреди заранее. Тут рядом есть очень приличные отели, и тебе будет там удобно. Сходим в театр или еще куда-нибудь...— Он не договорил. Чего доброго, парень решит, что он подлизывается...

— Обязательно,— неуверенно согласился Уэсли.— В следующий раз. А в этот раз, дядя Руди, я хочу поговорить с вами об отце.— Он испытующе вгляделся в Рудольфа.— Мне не довелось близко знать отца. Я встретился с ним мальчишкой, может, я и сейчас мальчишка, но мне хочется узнать, что он был за человек... Понимаете, о чем я говорю?

— Пожалуй.

— Я составил список людей, знавших отца в разные периоды его жизни, и вы с тетей Гретхен стоите первыми в этом списке. А как же иначе?

— Да, конечно. Как же иначе,— Рудольф боялся вопросов, которые ему могут быть заданы, боялся ответов, которые вынужден будет дать этому высокому серьезному юноше.

— Когда мы с ним познакомились,— продолжал Уэсли,— я сразу стал смотреть на него как на героя, чуть ли не святого, потому что он так относился ко мне, к Кейт и Дуайеру, и от каждого умел добиться всего, что нужно, ни разу не повысив голоса, и, что бы ни случилось, оставался хозяином положения. Но он ведь не всегда был такой. Я смотрел на него глазами ребенка. Я хочу понять его по-настоя-

щему. Для своего же блага. Это поможет мне понять себя. Каким я хочу стать, что делать в жизни... Извините меня, я совсем запутался...— Он раздраженно передернул широкими плечами.

— Не так уж ты далек от истины,— ласково ответил Рудольф.— Я все тебе расскажу... все, что помню. Но сначала нам следует, по-моему, пойти поужинать.— Первая заповедь цивилизации: прошлое подождет.

— Против хорошего ужина я не возражаю,— поднимаясь, согласился Уэсли.— В пути я ел что попало, а дома меня кормят...— Он скорчил гримасу.— Мать помешана на растительной пище. Но я же не белка. Дядя Руди,— улыбнулся он,— я только и слышу о том, какой вы богатый. Может, вы угостите меня бифштексом?

— На это, пожалуй, моего богатства хватит,— засмеялся Рудольф.— Во всяком случае, несколько раз в году я могу позволить себе такую роскошь. Подожди, я только попрощаюсь с Инид и надену пиджак.

Когда он вытаскивал пиджак из стенного шкафа, раздался телефонный звонок. Он поднял трубку.

— Алло!

— Руди...— услышал он голос Гретхен.— Ты где ужинаешь? — От смущения она всегда становилась довольно резкой и прямолинейной. Они давно не разговаривали, и он меньше всего ожидал ее звонка в пятницу вечером.

— Видишь ли...— Он был в нерешительности.— У меня неожиданный гость, Уэсли. Он приехал из Индианаполиса на попутных машинах. Я веду его ужинать. Пойдешь с нами?

— Ему нужно о чем-то с тобой поговорить? — разочарованно спросила Гретхен.

— Да нет. Во всяком случае, никакого секретного разговора, насколько я знаю, не предвидится.

— Мне не хотелось бы мешать вам...

— Не говори глупостей, Гретхен. Может, тебе самой нужно о чем-то со мной поговорить? — В прошлый раз, когда они вместе ужинали, Гретхен была расстроена и дала ему понять, что это из-за голливудского режиссера, у которого она работает и с которым то сходится, то расходится. Как его зовут? Кинселла. Эванс Кинселла. Надменный голливудский сукин сын. Только один раз Гретхен повезло с мужчиной, и надо же ему было врезаться на машине в дерево. Она, наверное, и звонит-то из-за этого Кинселлы, но если ей уж так приспичило излить душу, то это можно сделать и после того, как они проводят Уэсли до общежития.

— Я позвонила,— сказала Гретхен,— потому что мне сегодня вечером нечего делать. Мой приятель меня обманул. Для разнообразия.— Она невесело рассмеялась.— Вот я и вспомнила, что у меня есть родственники. Хорошо повидаться с родственниками, когда нет других занятий. А как Уэсли?

— Ничего,— ответил Рудольф.— Вырос. И такой же серьезный. Даже еще более серьезный.

— Что-нибудь случилось? — спросила она.

— Не страшнее, чем у нас с тобой,— весело ответил он.

— А как он отнесется к моему появлению?

— Прекрасно. Он сказал, что мы с тобой первые в списке тех, кого он хочет видеть.

— Что это значит? — встревожилась она.

— После ужина я тебе все объясню. Парень просит бифштекса.— Он назвал ей ресторан, положил трубку и, надев пиджак, спустился вниз. Уэсли стоял посреди гостиной и осматривался по сторонам.

— Знаете,— усмехнулся он,— вот таким, по-моему, и должен быть дом истинного христианина.

По дороге к ресторану Рудольф заметил, что Уэсли ходит точь-в-точь как отец: так же горбится, так же угрожающе поводит плечами. В детстве Рудольф думал, что Том нарочно так ходит: пусть все знают, что перед ними вырвавшийся на свободу опасный хищник, и держатся подальше. Повзрослев, Рудольф увидел в этой походке способ самозащиты. Так брат давал понять, чтобы его оставили в покое.

Узнав, что Гретхен тоже придет в ресторан, Уэсли обрадовался:

— Здóрово! Она — блеск, настоящая леди. Не то что эти дамочки, которых мы катали. Деньги у них прямо из ушей сыпались...— Он смешно затряс головой.— Они

день и ночь разгуливали полуголые и на всех... плевать хотели.— После двух стаканов пива у него слегка развязался язык.— Знаете, я иногда не могу понять: вот некоторые женщины за всю свою жизнь пальцем не пошевелили, а держатся так, будто им принадлежит весь мир.

— Они репетируют перед зеркалом,— сказал Рудольф.

— Репетируют перед зеркалом! — расхохотался Уэсли.— Надо запомнить. А тетя Гретхен работает, правда?

— Еще как,— ответил Рудольф.

— В этом, по-моему, все и дело. Кто не работает, тот дерьмо. Извините за выражение,— спохватился он.

— Ничего.

— Отец и покрепче заворачивал,— сказал Уэсли.— Вот некоторые говорят так, будто у них в заднице якорь сидит. Он таких не любил. Он говорил, что крепкие словечки — это одно дело, а похабщина совсем другое.

— Правильно он говорил.— Интересно, подумал Рудольф, который так и не преодолел детской неприязни к ругательствам и всегда тщательно следил за своей речью, а я тоже вхожу в эту категорию людей с якорем в заднице?

— Знаете,— продолжал Уэсли,— Кролик тоже очень высокого мнения о вашей сестре. Он сказал мне, что вам следовало бы жениться на ней.

— Тут возникли бы определенные затруднения,— возразил Рудольф,— поскольку мы брат и сестра, а я не египетский фараон.

— Как это? — не понял Уэсли.

— В Древнем Египте у фараонов было принято жениться на сестрах.

— Понятно,— отозвался Уэсли.— Я, знаете, не очень-то силен в науках.

— Ты еще молодой.

— Ага-а,— протянул Уэсли, задумавшись над своей молодостью.

Нет, в мальчишке определенно есть хорошие задатки, а теперь Крейлеры получили законное право искоренять и губить их. Это же настоящее преступление! Завтра нужно будет еще раз спросить у Джонни Хита — он и его жена едут с ними в Монток,— нет ли какой-нибудь возможности вырвать мальчишку из рук матери.

— Кстати об образовании,— сказал Рудольф,— ты собираешься в колледж?

— Мать говорит, это пустая трата денег,— пожал плечами Уэсли.— Я много читаю, но не то, что велят в школе. Я тут заинтересовался мормонами. Наверное, хотел узнать, почему мать и мистер Крейлер такие — потому, что они мормоны, или сами по себе.— Он усмехнулся.— Я думаю, они мерзкие по природе, а от религии вся дрянь из них так и поперла. Но,— добавил он серьезнее,— религия эта необычная. Мормоны определенно были людьми храбрыми, они пошли наперекор всем Соединенным Штатам, пересекли в своих фургонах половину страны, поселились в пустыне, и пустыня, говорят, зацвела. Но эти их женщины! Смотрю я на свою мать и, клянусь вам, не понимаю, зачем люди женятся! Послушаешь ее десять минут — и всю жизнь просидишь холостяком. И вообще брак...— Он нахмурился.— Наша семья, например. Вы развелись. Тетя Гретхен развелась, мой отец тоже... В чем тут дело, а?

— Не ты первый об этом спрашиваешь,— сказал Рудольф.— Может быть, просто такое сейчас время. Мы меняемся, стараемся приспособиться друг к другу, притереться, и ничего не получается. Наверное, мы к этому не совсем готовы.

— У нас в школе есть одна девчонка,— снова нахмурился Уэсли,— хорошенькая, постарше меня. Мы... Ну, мы с ней дурачились в машине на заднем сиденье и у нее дома, когда родителей не было... Раза два... И она уже начала поговаривать о свадьбе. Вижу, ее на этом прямо заклинило. Ну, тогда я перестал с ней встречаться. А вы женитесь еще раз? — И он подозрительно уставился на Рудольфа, словно ожидая, что вот-вот услышит звон свадебных колоколов.

— Трудно сказать,— ответил Рудольф.— Пока не собираюсь.

— Смешная вещь — религия,— вдруг ни с того ни с сего сказал Уэсли; должно быть, разговор о браке смутил его, и он решил поскорее переменить тему.— Я хочу верить в бога,— серьезно продолжал он.— Кто-то же ведь все это создал, правда? Откуда мы здесь взялись, чем заняты, как все происходит — например, откуда берется воздух, которым мы дышим, вода, которую пьем, пища, которую едим? За последние месяцы я прочитал всю Библию от корки до корки. Ответов там нет — по крайней мере я их не нашел.

Милый мой племянник, хотелось сказать Рудольфу, когда твоему дяде было шестнадцать лет, он тоже читал Библию в поисках ответов. И тоже не нашел их.

— Во что же верить? — спросил Уэсли.— Вот мормоны говорят, будто бы Джозеф Смит нашел эти медные пластинки и никому не показал. Вы верите? Неужели люди способны верить в такую чушь?

— Еще говорят, будто бы Моисей спустился с горы Синай и принес с собой десять заповедей, высеченных богом на камне,— сказал Рудольф, обрадованный тем, что Уэсли не спросил его прямо, верит ли он в бога.— И в течение тысячелетий многие люди верили в эту легенду.

— А вы верите?

— Нет.

— И в школе нас тоже учат таким вещам, от которых просто смех берет. Часами, например, талдычат, что между черными и белыми нет никакой разницы, но стоит только выйти за дверь и пройти один квартал — и оказывается все совсем не так. Во Франции было по-другому. А может, я сам был другим во Франции. Во Франции мне жилось весело, хотя с языком приходилось нелегко, а в Индианаполисе...— Он пожал плечами.— Большинство учителей, на мой взгляд,— полное дерьмо. Ребята на уроках орут, стреляют шариками из жеваной бумаги, бывает, и ножиками пыряются, а учителя только и делают, что их утихомиривают. Если в колледже то же самое, тогда ну его...— Он вопросительно посмотрел на Рудольфа.— А вы что думаете про колледж? Идти мне туда?

— Смотря чем ты хочешь потом заниматься,— осторожно ответил Рудольф, тронутый наивной словоохотливостью Уэсли и верой в то, что дядя не предаст его миру взрослых.

— Откуда я знаю? — сказал Уэсли.— То есть я знаю, чего хочу, но я пока не могу об этом никому рассказать.— Тон его вдруг стал холодным.

— Например,— продолжал Рудольф, не обращая внимания на эту перемену,— ты кое-что знаешь о море. Тебе оно нравится, правда?

— Нравилось,— невесело ответил Уэсли.

— Ты можешь пойти в торговый флот.

— Кролик говорит, собачья жизнь.

— Не обязательно. Неужели работа на «Клотильде» была для Кролика собачьей жизнью?

— Верно.

— И совсем это не собачья жизнь, если служишь офицером на приличном судне, если станешь капитаном...

— Пожалуй.

— Здесь, в Нью-Йорке, есть училище торгового флота. По окончании его сразу получаешь офицерское звание.

— Понятно,— задумчиво отозвался Уэсли.— Может, стоит об этом поразмыслить.

— А я тем временем наведу справки,— сказал Рудольф,— и напишу тебе, о чем узнаю. Только не забудь: теперь я буду писать до востребования.

В ожидании Гретхен Рудольф выпил «Мартини» и решил, что теперь самое время поговорить с Уэсли о наследстве.

— После уплаты всех налогов и гонорара адвокатам,— сказал Рудольф,— должно остаться немногим более ста тысяч долларов, которые подлежат дележу.— Уэсли и Кейт незачем знать, что это те деньги, которые он заплатил за «Клотильду».— Одна треть причитается самой Кейт, вторая треть — ей же как опекунше собственного ребенка...— Он умолчал о том, сколько времени спорили между собой адвокаты, прежде чем удалось достичь компромисса. Крейлеры упорно боролись за то, чтобы Тереза, как мать Уэсли, была назначена администратором наследства. Их притязания имели некоторую юридическую силу, поскольку Кейт — британская подданная, постоянно проживающая в Англии. Пришлось напомнить Терезе, что она дважды была осуждена за проституцию и на этом основании Хит может возбудить против нее дело и не позволит ей — из соображений морали — стать опекуншей Уэсли, пусть даже она его родная мать. Конечно, Рудольф никогда не допустил бы ничего подобного, чтобы не травмировать Уэсли, но все же угроза подействовала. Крейлеры сдались и согласились, чтобы администратором наследства назначили Рудольфа; теперь ему еже-

месячно предстояло отвечать на длинный перечень язвительных вопросов о каждом истраченном центе. Кроме того, Крейлеры то и дело грозили подать на него в суд за неумышленно или умышленно допущенные нарушения закона при защите интересов Уэсли. Какой черт дернул Тома сделать предложение этой бабе?!

— Остается примерно одна треть...— Он умолк.— Уэсли, ты меня слушаешь?

— Конечно,— отозвался Уэсли. Прошел официант с блюдом, на котором еще шипел огромный кусок жареного мяса, и Уэсли проводил его голодным взглядом. Что бы про него ни говорили, подумал Рудольф, избалованным его не назовешь.

— Я сказал,— продолжал Рудольф,— что тебе остается приблизительно тридцать три тысячи долларов, которые следует положить в банк. Проценты с этой суммы составят около тысячи девятисот долларов в год, которые твоя мать должна тратить на твое содержание. Когда тебе исполнится восемнадцать лет, ты вступишь во владение основным капиталом и сможешь им распорядиться по своему усмотрению. Я советую тебе его не трогать. Проценты будут по-прежнему небольшими, но они помогут тебе заплатить за обучение в колледже, если ты захочешь учиться дальше. Это понятно?

Мальчишка опять не слушал его. Он с нескрываемым восхищением смотрел на яркую блондинку в норковом манто, появившуюся в сопровождении двух пузатых седых мужчин во фраках. Рудольф знал, что это любимый ресторан наиболее преуспевающих мафиози, а их спутницы вполне могут составить конкуренцию ресторанной кухне.

— Уэсли,— в отчаянии воскликнул Рудольф,— я веду разговор о деньгах!

— Знаю,— виновато отозвался Уэсли.— Но ведь тут есть на что посмотреть, а?

— Для этого и нужны деньги, Уэсли,— сказал Рудольф. Племянник должен уяснить истинную ценность денег.— Тысяча девятьсот долларов в год для тебя, возможно, не такая уж значительная сумма, но мне в твоем возрасте...— Он понял, что если закончит фразу, то напыщенно-назидательного тона не избежать.— Ладно, черт с ним, я напишу тебе обо всем в письме.

В эту минуту в зал вошла Гретхен. Он помахал ей, и когда она подошла к их столику, оба мужчины встали. Рудольфа она клюнула в щеку, а Уэсли обняла и крепко поцеловала.

— Очень рада тебя видеть,— сказала она, и голос ее, к удивлению Рудольфа, дрогнул. Когда он увидел ее рядом с мальчиком и заметил, как она всматривается в его лицо, борясь с непонятным волнением, ему вдруг стало ее жаль. Наверное, вспоминает собственного сына, потерянного ею, отвергающего ее и под всякими предлогами не позволяющего навестить его в Брюсселе.— Ты чудно выглядишь,— добавила Гретхен, не выпуская мальчика из объятий.— Хотя новый костюмчик тебе не помешал бы.

И оба засмеялись.

— Если ты пробудешь в Нью-Йорке до понедельника,— продолжала Гретхен, разжав наконец объятия и усаживаясь,— мы сходим с тобой в «Сакс», посмотрим, нет ли там чего-нибудь подходящего.

— К сожалению, я завтра уезжаю,— ответил Уэсли.

— Неужели ты приехал всего на один день? — не поверила Гретхен.

— У него дела,— вмешался Рудольф. Ему не хотелось выслушивать гневные тирады Гретхен, которыми она, несомненно разразится, если узнает о том, какое условие выдвинули Крейлеры относительно денег, принадлежащих Уэсли.— Ну, давайте заказывать, я ужасно проголодался.

За едой Уэсли приступил к расспросам об отце.

— Я сказал дяде Руди,— начал он, управившись с огромным куском мяса,— почему я хочу знать... должен знать, каким на самом деле был мой отец. Он сам многое рассказал мне, а Кролик добавил... Но общего представления у меня пока нет. Отец рассказывал, как его боялись и ненавидели, когда он был еще подростком, а потом — постарше, в какие переделки он попадал... Как его ненавидели и как он ненавидел других. И вас с дядей Руди в том числе...— Он угрюмо посмотрел сначала на Гретхен, а потом на Рудольфа.— Но когда вы приехали к нам, у него ненависти уже не было. Он... я должен вам это сказать, он вас любил. Он мне говорил, что почти всю жизнь был несчастлив, а потом — он сам это сказал — он научился за-

бывать врагов... быть счастливым. Вот и я тоже хочу научиться быть счастливым.— Мальчишка плакал, не стыдясь слез, и в то же время поглощал один за другим громадные куски бифштекса с таким зверским аппетитом, будто несколько недель голодал.

— Все дело в Руди,— медленно сказала Гретхен, кладя на стол вилку и нож.— Ты уж извини, если я выскажусь, Руди.

— Пожалуйста. Говори что хочешь. Если я найду, что ты неправа, я тебя поправлю.— Как-нибудь в другой раз он расскажет малъчишке, каким образом и когда его отец научился быть счастливым. Расскажет о том дне, когда Том узнал, что Рудольф втайне от него вложил в дело пять тысяч долларов, которые Том получил, шантажируя адвоката-клептомана в Бостоне. Том вернул «проклятые деньги», которые пришлось заплатить их отцу, чтобы вытащить Тома из тюрьмы, куда его засадили по обвинению в изнасиловании. Он швырнул стодолларовые купюры на кровать в отеле и сказал Рудольфу: «Я хочу расплатиться с нашей дерьмовой семейкой. Спусти их в унитаз. Растрать на дамочек. Отдай на свою любимую благотворительность. Обратно я их не возьму». Эти пять тысяч благодаря умелому обращению превратились в шестьдесят — хотя в те годы Рудольф понятия не имел, где Том, жив он или умер,— и в конце концов помогли Тому купить яхту, которую он назвал «Клотильдой». «Твоего отца,— скажет Рудольф когда-нибудь,— сделали счастливым преступления, случай и деньги, и у него хватило ума всем этим воспользоваться». Конечно, это едва ли поможет Уэсли. К преступлению у парня нет ни малейшей склонности, случай пока обходит его стороной, а к деньгам он равнодушен.

— В нашей семье,— тем временем говорила Гретхен,— любимчиком был Руди. Поэтому вся любовь, на какую были способны наши родители, принадлежала ему. Я не говорю, что он ее не заслуживал: именно он помогал в лавке, он получал самые высокие оценки в школе, он был лучшим в спортивной команде, он должен был пойти в университет, никто в этом не сомневался. Но только он получал подарки, его поздравляли с днем рождения, ему подавали свежевыглаженную рубашку, когда он собирался куда-нибудь пойти, ему купили дорогую трубу, чтобы он играл в оркестре. Он один был надеждой нашей семьи. Что же касается нас с Томом...— Она пожала плечами.— Мы были париями. Мне в университет? Как бы не так! Сразу после школы меня послали работать, и почти все жалованье я должна была отдавать семье. Когда Рудольф отправлялся на свидание, мать давала ему карманные деньги А когда у меня появился мужчина, она назвала меня шлюхой. Ну, а Том... Родители всегда утверждали, что он кончит тюрьмой. Разговаривая с ним — а делали они это как можно реже,— они не говорили, а рычали. Вот он, наверно, и сказал себе: «Раз так, я и буду таким». По правде говоря, я его тоже боялась. Меня пугала его неуравновешенность. Я его избегала. Если я шла по улице с кем-нибудь из приятелей, я делала вид, что не замечаю его. И когда он исчез из города, я обрадовалась. Много лет даже не вспоминала о нем. Теперь-то я понимаю, что была неправа. Мы вдвоем должны были образовать коалицию, выступить единым фронтом против остальных. Но в ту пору я по молодости этого не понимала и боялась, что он потащит меня за собой. Снобизма во мне было хоть отбавляй — правда, меньше, чем в Руди,— и я считала Тома хулиганом и невеждой. Я приехала в Нью-Йорк, некоторое время играла на сцене, потом писала для журналов и вечно тряслась при мысли, что он может разыскать меня и я потеряю всех своих друзей. И когда Руди однажды повел меня на его матч, я пришла в ужас и от него, и от твоей матери. Они казались мне пришельцами из другого мира. Из мира ужасов. Мне было стыдно, что они мои родственники. Может, тебе все это неприятно слышать, Уэсли...

— Да, неприятно,— кивнул Уэсли,— но я сам попросил вас. Мне не нужны сказки...

— Надеюсь, я не слишком обидела тебя, Руди, рассказом о нашем счастливом детстве? — повернулась к нему Гретхен.

— Нет,— ответил Рудольф.— «Правда всегда прекрасна...»— дальше ты сама помнишь. Я был тупым и самодовольным,— продолжал он, растравляя старые раны,— ты, Уэсли, по-моему, об этом уже догадался. Во всяком случае, если ты так считаешь, я на тебя не обижаюсь. Твой отец, конечно, вряд ли сказал бы так. Все, что я делал, заявил бы он, поразмыслив как следует, было сплошное притворство, ибо делал я это не для себя, а чтобы произвести впечатление на других, в основном на людей старших и влиятельных. Сейчас, оглядываясь назад, я называю себя тупым и самодовольным,

но тогда я вел себя подобным образом, чтобы вырваться из того мира, в котором, как в силках, бились наши отец и мать.— Он печально улыбнулся.— И самое смешное, что мне действительно удалось вырваться.

— Вы слишком суровы к себе, дядя Руди,— тихо сказал Уэсли.— Почему бы вам хоть раз в жизни не похвалить себя за что-нибудь? Отец сказал, что вы спасли ему жизнь.

— Серьезно? — удивился Рудольф.— Мне он этого ни разу не говорил.

— Он считал, что людей нельзя хвалить в лицо,— ответил Уэсли.— Меня он тоже, честно говоря, мало хвалил...— Он улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Улыбка совершенно преображала его худое, задумчивое лицо — оно стало ребячливым и открытым Ему полезно улыбаться, подумал Рудольф.— И Кролика, и даже Кейт тоже не очень-то нахваливал... Ну, Кейт, он, конечно, хвалил за стряпню, да и то не столько хвалил, сколько подшучивал, потому что она ведь англичанка. Иногда я замечал, даже в первое время, когда еще только начал его узнавать, как он стоит один и думает, что никто его не видит, и такой грустный, будто у него в жизни было много плохого, о чем он не в силах забыть. Но что вы спасли ему жизнь, он, правда, сказал.

— Я только отдал ему его же собственные деньги,— ответил Рудольф.— Надеюсь, ты понял, что Гретхен пыталась объяснить тебе, как и почему твой отец стал таким, каким был в молодости.. Что таким его сделала семья.

— Понял,— ответил Уэсли.

— Все это верно,— продолжал Рудольф,— и в то же время не совсем. Я хочу сказать несколько слов в свое оправдание. Я не виноват в том, что оказался старшим сыном в семье. что мой отец был невежественным, неуправляемым человеком, да еще со страшным прошлым, в котором он тоже не был виноват. Не моя вина, что наша мать была истеричкой. помешанной на своем благородном происхождении. Не я виноват и в том. что Гретхен оказалась сентиментальной и эгоистичной дурочкой... Прости меня,— обратился он к Гретхен — Все это я говорю не ради нас с тобой, а ради Уэсли.

— Я понимаю,— ответила Гретхен, склонившись над тарелкой так, что лица ее почти не было видно.

— В конце концов,— продолжал Рудольф,— мы все трое унаследовали одинаковые гены и воспитывались одинаково. Только что Гретхен призналась, что боялась твоего отца. А в действительности ее пугал не он, а то, что она видела в нем, ибо то же самое она видела и в себе И старалась от этого уйти. А я видел в нем нашего отца, человека жестокого, прикованного к ненавистному занятию, патологически боявшегося умереть в нищете — настолько, что он предпочел покончить жизнь самоубийством, лишь бы не оказаться лицом к лицу с такой возможностью Я тоже старался уйти. Только навстречу деньгам респектабельности...

Уэсли понимающе кивнул

— Может, и хорошо, что сын Крейлера сейчас во Вьетнаме. Не то нам с ним каждый вечер пришлось бы ужинать вместе и тогда..

— И до твоего отца были младшие сыновья в семьях еще хуже нашей,— продолжал Рудольф.— Однако они не старались погубить все, к чему прикасались. Не хотелось бы говорить этого, Уэсли но до похорон нашей матери я твердо верил, что твой отец по природе своей разрушитель И его главная радость в жизни — уничтожать, разрушать, губить все, в том числе и самого себя.

— В конце концов так оно и вышло,— горько заметил Уэсли.

— Его поступок той ночью в Канне — сказал Рудольф.— достоин восхищения. С его точки зрения. И, честно говоря, с моей тоже Не забывай этого.

— Я постараюсь не забыть,— ответил Уэсли.— Постараюсь. Только, по-моему, все, что он тогда сделал, было зря Никому не нужно.

— Ну, кажется,— вздохнул Рудольф,— мы рассказали тебе все, что могли, и старались не кривить душой. Забавные случаи отложим до другого раза Ты, наверное, устал. Я пришлю тебе список людей, с которыми стоит поговорить, они могут оказать тебе бо́льшую помощь, чем мы. А теперь доедай, и я отвезу тебя в общежитие.

— Не нужно,— довольно резко отказался Уэсли.— Я пройду через парк.

— Теперь вечером в Нью-Йорке никто через парк в одиночку не ходит,— возразила Гретхен.

— А я хожу,— Уэсли холодно посмотрел на нее.

О боже, подумал Рудольф, глядя, как мальчишка управляется с последним кус-

ком бифштекса, до чего же он похож на своего отца! И внешне и говорит так же. Помоги ему, господи!

4

Рудольф, Инид и няня стояли на залитом утренним солнцем тротуаре и ждали Джонни Хита и его жену; Хиты тоже ехали в Монток и должны были захватить Рудольфа и Инид на своем «линкольне-континентале». У ног няни стоял чемодан. Она на целую неделю уезжала к себе в Нью-Джерси. И почему это, от нечего делать подумал Рудольф, ни одна няня не живет в том же штате, где работает?

Накануне вечером, распрощавшись с Уэсли, Рудольф проводил Гретхен до дома. Он предложил ей поехать с ним и с Хитами. Она сделала большие глаза, и он вспомнил, что у нее когда-то был роман с Хитом.

— А без свидетелей ты со своей бывшей женой уже встретиться не можешь? — спросила она.

Он не задумывался над этим прежде, но теперь, после ее слов, понял, что в них есть правда. Джин один раз приезжала к нему в сопровождении дородной массажистки, которую сделала своей компаньонкой еще в Рино. Встреча получилась неудачной, хотя Джин была совершенно трезвой, уравновешенной и тихой, даже когда играла с Инид. Она сказала, что купила себе домик в Монтоке и живет там скромно и незаметно. В Мексике она не задержалась. Климат там благоприятствует пьянству, это не для нее. Она теперь совсем не пьет и даже снова занялась фотографией. Правда, в журналы пока не обращалась. Снимает для себя. И руки у нее больше не дрожат. Если забыть о постоянном присутствии массажистки, Джин снова стала той женщиной, на которой он женился и которую так долго любил,— живой и юной, с блестящими волосами, нежным цветом лица, и Рудольф уже не знал, правильно ли поступил, согласившись на развод. Он жалел Джин, но ему было жаль и себя. Поэтому, когда несколько дней назад она попросила отпустить к ней Инид на неделю, он не стал отказывать.

Он боялся не за Инид, а за себя, боялся остаться наедине с Джин в уютном, по ее словам, домике, наполненном неуютным грохотом океана. Она сказала, что он может занять комнату для гостей, но он заказал себе номер в ближайшем мотеле. А подумав, решил пригласить и Хитов. Он боялся, что вечер, проведенный перед горящим камином в тишине, нарушаемой лишь рокотом волн, вызовет у него желание вернуться к семейному очагу. Нет, прошлое ворошить незачем. Отсюда и появление Хитов. Отсюда и вопрос Гретхен.

— Нет, свидетели мне не нужны,— ответил он.— Нам с Джонни есть о чем поговорить, а идти к нему в контору мне не хочется.

— Понятно,— не очень веря, отозвалась Гретхен и переменила тему разговора.— Как тебе Уэсли?

— Думающий парень,— сказал Рудольф.— Склонен к самоанализу, пожалуй, даже слишком... А что с ним будет дальше, целиком зависит от того, сумеет ли он выдержать мать и ее мужа до своего восемнадцатилетия.

— А ты заметил, какой он красивый? — спросила Гретхен.

— Как-то не обратил внимания.

— Такие лица любят снимать в кино,— заметила Гретхен.— Высокие скулы, приятная улыбка, ласковый взгляд и в то же время впечатление человека большой моральной силы.

— Ты, по-видимому, более наблюдательна, чем я,— только и сказал Рудольф.

— Или более ранима,— улыбнулась она.

— Когда ты позвонила, мне показалось, что ты хочешь со мной о чем-то поговорить,— вспомнил он.— Что-нибудь случилось?

— Не больше, чем всегда.— Она снова улыбнулась.— Поговорим, когда ты вернешься.

Возле дома он поцеловал ее и подождал, пока она не вошла в охраняемый швейцаром ярко освещенный вестибюль — элегантная, эффектная, способная постоять за себя. Но не всегда, подумал он. Не всегда.

Подъехал «линкольн-континентал»; Джонни Хит сидел за рулем, его жена Илейн — рядом. Няня поцеловала Инид на прощанье.

Илейн Хит вышла из машины, помогла усадить Инид на заднее сиденье и сама села рядом. Илейн была высокая, с красиво уложенными волосами, твердым и умным взглядом, как и подобает супруге владельца одной из наиболее преуспевающих контор на Уолл-стрит. Детей у Хитов не было.

Рудольф сел возле Джонни. Инид помахала рукой няне, оставшейся на тротуаре с чемоданом в руках, и они тронулись.

— Ну вперед, к мысу Монток! — воскликнул Джонни.— Будем ловить омаров и устраивать оргии на берегу.

Лицо у него было круглое, с расплывшимися чертами, глаза — обманчиво кроткие, руки, лежавшие на руле,— белые, пухлые, а под спортивным пиджаком в крупную клетку уже намечался животик. Машину он вел умело и энергично. Другие водители вынуждены были уступать ему дорогу, подобно тому, как другие адвокаты пасовали перед его напористостью на заседаниях совета директоров или в зале суда. Рудольф теперь редко виделся с Джонни. После женитьбы Хита они почему-то разошлись, и всякий раз, когда им доводилось встречаться — а между встречами проходило несколько месяцев,— Рудольф без всякого сожаления неизменно констатировал: вот и я выглядел бы, наверное, так же.

Позади радостно щебетала Инид. Илейн что-то прошептала ей на ухо, и Инид засмеялась в ответ. На первый взгляд казалось, что Илейн едва ли решится обнять ребенка, побоится, что девочка помнет или испачкает ее красивый твидовый костюм. Но оглянувшись, Рудольф увидел, что Инид растрепала превосходно уложенные волосы Илейн, а та только радостно улыбается. Внешность обманчива, подумал Рудольф, глядя на дорогу. Они ехали по мосту Трайборо — вдоль реки тянулся в лучах по-весеннему яркого солнца Нью-Йорк: небоскребы, стекло, дымящиеся трубы. В такие вот минуты, видя этот огромный до неправдоподобия город во всем его суровом величии Рудольф снова испытывал былое, как в молодости, волнение, снова с удовлетворением сознавал, что он тоже — житель Нью-Йорка.

Внизу на воде отважно сражалась с течением небольшая яхта. Может, и я, подумал он, этим летом пойду на «Клотильде» к берегам Италии. Хоть польза будет от нее. Они ведь и тогда шли в Портофино, но так до него и не добрались. Не надо вспоминать прошлое. Уговорю Жанну на две недели удрать от мужа и детей, будем плыть со скоростью двенадцать узлов и пить местное вино из запотевшего на солнце графина где-нибудь в кафе на Лигурийском побережье. Нельзя раньше времени превращаться в старика. Fantasia Italiana [1].

— Джонни,— вернулся он в настоящее,— о чем ты хотел со мной поговорить?

— У меня есть один клиент,— сказал Джонни.— Сам он, по правде говоря, умер, но вопрос о его наследстве еще не улажен.— Джонни, мысленно усмехнулся Рудольф, зарабатывает на покойниках гораздо больше, чем все похоронные бюро города вместе взятые. Ох уж эти адвокаты! — Наследники, как водится, перегрызлись,— добавил Джонни,— ну этим-то тебя не удивишь.

— Я уже сделался профессионалом,— отозвался Рудольф.

— Чтобы избежать тяжбы,— продолжал Джонни,— решено продать часть имущества по весьма сходной цене. Огромное ранчо в Неваде. Налог там весьма умеренный, ты и сам знаешь.

— Да, знаю,— сказал Рудольф.

— В Нью-Йорке дел у тебя нет,— продолжал Джонни.— Вид у тебя скверный и отнюдь не счастливый. Не представляю себе, чем ты занят целыми днями, черт побери!

— Играю на пианино,— ответил Рудольф.

— Что-то я не видел твоей фамилии на афишах у Карнеги-холла.

— Еще увидишь,— отозвался Рудольф.

— Ты погибаешь прямо на глазах,— продолжал Джонни.— Никуда не ходишь. Ни на одной вечеринке тебя не увидишь.

— А как в Неваде с вечеринками?

— Там веселятся вовсю, это один из наиболее процветающих штатов,— принялся убеждать его Джонни.— Миллионеры растут как грибы. Чтобы ты поверил, что я не шучу, я готов войти с тобой в долю — устрою закладные, помогу найти людей, которые занялись бы хозяйством. Не думай, старик, мною движет не альтруизм, мне

[1] Итальянская фантазия *(итал.)*.

нужно место, куда я мог бы время от времени прятаться. И с налогами на золотом Западе мне тоже будет легче. Ранчо это я сам не видел, но документы держал в руках. Оно весьма жизнеспособно. А если туда еще кое-что вложить по-умному, то даже более чем жизнеспособно. На нем стоит большой дом — если его немного подремонтировать, будет не дом, а мечта. И для детей лучшего места не найдешь: воздух чистый, про наркотики никто и не слышал, до ближайшего города сто миль. Политикой там занимаются люди надежные, так что все будет шито-крыто, и ты будешь там себя чувствовать как рыба в воде. Про Уитби они ничего не знают. Да и вообще ту историю все давно забыли, несмотря на дурацкую заметку в «Тайме». Через десять лет станешь сенатором. Ты меня слушаешь, Руди?

— Конечно.— На самом деле последние несколько секунд он слушал вполуха. Когда Джонни сказал, что это превосходное место для детей, он заинтересовался. Он обязан заботиться об Инид, но есть еще и Уэсли и Билли. Как-никак кровная родня. О них тоже надо подумать. Билли — парень неприкаянный, еще мальчиком, в школе, был циничным, лишенным честолюбия насмешником и отщепенцем. Уэсли, судя по всему, никакими талантами не блистает, а то образование, которое уготовано ему судьбой, вряд ли увеличит его шансы на почетное место в жизни. На современном же ранчо, где идет вечная борьба с засухой, наводнениями, с истощением почвы, где требуются умение и хватка, чтобы управлять машинами и работниками и иметь рынок сбыта, обоим найдется дело, а если они займутся делом, можно уже за них не беспокоиться. Рано или поздно у них самих появятся семьи. Да и он, между прочим, тоже может еще жениться — почему бы и нет? — и завести детей.— Мечта патриарха,— произнес он вслух.

— Что? — недоуменно спросил Джонни.

— Ничего. Это я сам с собой. Вообразил себя окруженным детьми и внуками.

— Не думай, что ты будешь отрезан от цивилизации,— сказал Джонни, по ошибке приняв тон Рудольфа за иронический.— На ранчо есть взлетно-посадочная полоса. Захочешь, купишь себе самолет.

— Американская мечта,— заметил Рудольф.— Собственная взлетно-посадочная полоса.

— А что тут плохого? — рассердился Джонни.— Что плохого, если человек хочет быть мобильным? Сел в самолет — и через час ты уже в Рино или в Сан-Франциско. Тут масса преимуществ, причем это совсем не уход на покой. Это включение в активную деятельность, только в новую...

— Я подумаю,— ответил Рудольф.

— Знаешь что? Давай-ка мы с тобой слетаем туда на следующей неделе и посмотрим,— предложил Джонни.— Вреда от этого не будет, а у меня, кроме того, появится уважительная причина не показываться в эту проклятую контору. Даже если ранчо никуда не годится, мы по крайней мере проветримся. Можешь захватить с собой пианино.

Очень остроумно, подумал Рудольф. Он знал, что Джонни считает его уход от дел глупым капризом, ранним проявлением старческого маразма. Сам Джонни отправится на покой только ногами вперед. Они вместе выбрались наверх, вместе заработали кучу денег, ни разу не подвели друг друга, с полуслова друг друга понимали, и Рудольф знал, что Джонни считает своей обязанностью расшевелить его.

— Ладно,— согласился Рудольф.— Я всю жизнь мечтал скакать верхом по пустыне.

— Это не пустыня,— огрызнулся Джонни.— Это ранчо. Оно расположено у подножья гор. По его территории бежит ручей, где водится форель.

— Давай съездим на этой неделе,— сказал Рудольф.— Денька на два, пока Инид будет у Джин. Ты сможешь?

— Я беру билеты,— ответил Джонни.

Они ехали мимо нескончаемых кладбищ Лонг-Айленда, куда нью-йоркцы поколение за поколением укладывают на вечный покой своих ближних. Рудольф закрыл глаза и предался мечтам о холмах и горах серебряного штата Невада.

Обычно Гретхен любила работать в монтажной по субботам, когда в безлюдном молчаливом здании они были вдвоем — она и ее помощница Ида Коэн. Но сегодня Ида видела, что Гретхен явно не в своей тарелке. Она без конца прокручивала плен-

ку, резко щелкала ножницами, насвистывая что-то мрачное или горько вздыхая. Ида знала, почему Гретхен с утра в плохом настроении. Эванс Кинселла, их режиссер, снова принялся за старое: снимал как бог на душу положит, часто являлся на площадку с похмелья и позволял актерам валять дурака в надежде, что Гретхен чудом сумеет отыскать рациональное зерно в ворохе пленки, которую он ей швырнул. Да и в пятницу Ида была в монтажной, когда Кинселла позвонил и сказал, что не может пойти с Гретхен в ресторан, как обещал.

Ида, всей душой преданная подруге, презирала Кинселлу с такой страстью, какую у нее вызывало только Движение за освобождение женщин: она добросовестно посещала все собрания и выступала на них с пламенными, хотя и не совсем логичными речами.

Ида, некрасивая сорокапятилетняя женщина, у которой не было ни мужа, ни любовника, способных сделать ее жизнь невыносимой, считала, что красивая и талантливая Гретхен позволяет мужчинам эксплуатировать себя. Ида уговорила Гретхен пойти с нею на два собрания, но Гретхен быстро надоели истерические вопли ораторов и она ушла, сказав: «Когда пойдете на баррикады, можете рассчитывать на меня. Не раньше».

«Но нам нужны такие женщины, как ты»,— вымолвила Ида.

«Может быть,— отозвалась Гретхен.— Зато мне *они* не нужны».

И Ида, потеряв надежду, горестно вздохнула — это непростительное политическое равнодушие, сказала тогда она Гретхен.

Гретхен в то утро беспокоило не только качество фильма, над которым она работала. Несколько дней назад Кинселла подбросил ей очередной сценарий, попросив прочитать и высказать свое мнение. Имя молодого автора ничего не говорило им обоим, но его литературный агент убедил Кинселлу познакомиться с текстом.

Гретхен прочла сценарий и пришла в полный восторг, о чем и сказала Кинселле, когда он позвонил ей в пятницу. «В восторге? — переспросил он.— А по-моему, обычное дерьмо. Отдай его моей секретарше, пусть вернет». И повесил трубку. До двух ночи Гретхен перечитывала сценарий. Он был написан мужчиной, но рассказывалось в нем об энергичной женщине из рабочей среды: она жила в маленьком унылом городишке среди утративших всякую надежду людей, но единственная из всех своих сверстников сумела благодаря уму и смелости выбраться из этого окружения и стать такой, как ей хотелось.

Гретхен верила, что из этого сценария можно сделать фильм, который внесет живую струю в поток появившихся за последнее время фильмов; в противовес голливудским сказкам со счастливым концом, так долго державшимся на экране, это были фильмы о людях, живущих бесцельно и бездумно, иногда восстающих против своей участи, но затем вновь теряющих надежду и погружающихся в апатию,— посмотрев такое, зритель и повеситься может. Если старые голливудские фильмы с их надуманным слащавым оптимизмом были насквозь пропитаны фальшью, размышляла Гретхен, то не менее лживы и сегодняшние равнодушные панихиды. Герои возникают ежедневно Если верно, что они не рождаются вместе со своим классом, то они и не гибнут вместе с ним.

Перечитав сценарий, она убедилась, что первое впечатление не обмануло ее; если Кинселла тряхнет стариной и будет работать как в прежнее время, он сделает превосходный фильм. Она позвонила ему прямо в половине третьего ночи, но никто не ответил. Все это, словно кольцо пленки на монтажном столе, многократно повторяясь, крутилось у нее в голове, пока она корпела над дрянным материалом, отснятым Кинселлой за последнюю неделю.

Внезапно она выключила аппарат.

— Ида, я хочу попросить тебя об одном одолжении.

— Слушаю.— Ида оторвалась от работы.

Сценарий лежал в большой сумке на длинном ремне, с которой Гретхен всегда ходила на студию. Она достала его и протянула Иде.

— Я отправлюсь на часок-другой в музей,— сказала она.— А ты брось всю эту муру и почитай Когда я вернусь мы пойдем с тобой обедать — вдвоем, больше никого,— и ты мне скажешь, как он тебе показался.

Ида нерешительно посмотрела на Гретхен, но сценарий взяла. Гретхен никогда не уходила в середине рабочего дня. Самое больше, что она себе позволяла,— это выпить чашку кофе.

— Ладно,— согласилась Ида и, поправив очки на носу, с такой опаской посмотрела на сценарий, будто он мог взорваться.

Гретхен надела пальто и, спустившись вниз, попала в людской водоворот, который бурлил на Седьмой авеню, где помещалась их студия. Она быстро добралась до центра и вошла в Музей современного искусства с единственным намерением, как она уверяла себя, успокоить нервы созерцанием произведений подлинного искусства. Но вышла из музея такая же взбудораженная. Теперь, после общения с Пикассо, Ренуаром и Генри Муром, она даже думать не могла о том, чтобы вернуться обратно к монтажному столу, а поэтому позвонила на студию и предложила Иде встретиться прямо в ресторане.

— Подкрасься и подтяни чулки,— безжалостно распорядилась она.— Это шикарный ресторан с французской кухней. Угощаю я, потому что у меня неприятности.

В ожидании Иды она выпила виски у стойки бара. Обычно днем она не пила, но в конце концов законом это не запрещено. И кроме того, сегодня суббота.

Увидев Гретхен возле стойки, Ида насторожилась:

— Что ты пьешь?

— Виски.

— Значит, у тебя и вправду неприятности.— Ида считала, что находится на переднем крае современной мысли, но в повседневной жизни она оставалась сухой пуританкой.

— Два виски, пожалуйста,— сказала Гретхен бармену.

— Ты же знаешь, что я, если выпью, работать не могу,— запричитала Ида.

— На сегодня твоя работа кончена,— заявила Гретхен.— И моя тоже. Ты сама, по-моему, кричала, что женщин заставляют трудиться до седьмого пота. Особенно по субботам. Разве не ты утверждала, что в нашей стране необходима двадцатичасовая рабочая неделя?

— Теоретически да,— осторожно призналась Ида, с явным отвращением поглядывая на стакан, который поставил перед ней бармен.— Лично я предпочитаю работать больше.

— Но не сегодня,— твердо сказала Гретхен. Она подозвала метрдотеля.— Столик на двоих, пожалуйста. И пусть туда перенесут наши стаканы.— Величественным жестом она положила на стойку два доллара.

— Зачем ты ему столько дала за три виски? — прошептала Ида, когда они вслед за метрдотелем шли в глубь ресторана.

— Размер чаевых,— ответила Гретхен,— уравнивает нас с мужчинами.

Метрдотель усадил их за столик рядом с кухней.

— Видишь...— Ида обвела зал взглядом.— Ресторан почти пустой, а он сажает нас возле кухни. Только потому, что мы без мужчин.

— Пей лучше виски,— посоветовала Гретхен.— Мы отомстим им на том свете.

Ида сделала глоток и скривилась.

— Раз уж ты заказываешь,— сказала она,— то могла бы выбрать что-нибудь послаще.

— На баррикадах сладкого не подадут,— ответила Гретхен.— А теперь расскажи, как тебе понравился сценарий.

Ида просияла. Она искренне радовалась, увидев удачно снятую сцену в фильме, прочитав пришедшуюся по душе страницу в книге.

— Сценарий чудесный,— сказала она.— Знаешь, какую из него можно сделать картину!

— Беда только в том, что никто вроде не собирается ее снимать,— сказала Гретхен.— По-моему, этот сценарий уже многим показывали, и наш ненаглядный Эванс Кинселла был последней надеждой агента.

— Эванс его уже читал?

— Да,— ответила Гретхен.— И назвал дерьмом. Велел отдать сценарий секретарше, чтобы она его вернула.

— Выскочка! — взорвалась Ида.— А еще считается фигурой! Во сколько обойдется теперешняя картина?

— В три с половиной миллиона.

— Не только в кино, но и вообще в мире что-то неладно,— заметила Ида,— если такому идиоту дают три с половиной миллиона, с которыми он может поступать как ему заблагорассудится.

— За последние три года он сделал две очень нашумевшие картины,— возразила Гретхен.

— Случайность,— отозвалась Ида.— Счастливая случайность.

— Ну, не только,— снова возразила Гретхен.— У него иногда бывают взлеты.

— Но они не стоят трех с половиной миллионов,— не сдавалась Ида.— И чего ты к нему липнешь, не понимаю. Черт знает как он с тобой обращается. И не только на работе.

— Да ладно! — воскликнула Гретхен с притворной беспечностью.— Мазохизм в небольших дозах еще никогда не приносил вреда женщине.

— Иногда с тобой можно спятить, честное слово,— поджала губы Ида.

Возле них появился официант, держа наготове блокнот и карандаш.

— Давай заказывать,— предложила Гретхен. Она пробежала глазами меню.— У них есть жареная утка с маслинами. Порции большие, одной хватит на двоих. Возьмем?

— Возьмем,— согласилась Ида.— Тем более что маслины я не люблю. Можешь их съесть все.

Гретхен заказала утку и бутылку «Пуйи фюме».

— Зачем нам целая бутылка? — запротестовала Ида.— Я больше полбокала не выпью.

— Бутылку,— повторила Гретхен официанту, не обращая внимания на Иду.

— Ты напьешься,— предупредила ее Ида.

— И хорошо,— ответила Гретхен.— Мне надо принять серьезные решения, а на трезвую голову это у меня может и не выйти.

— У тебя сегодня странные глаза,— заметила Ида.

— А ты как думаешь? — Гретхен залпом проглотила вторую порцию виски.

— Что ты затеяла? — встревожилась Ида.— Опомнись. Ты разозлилась, а виски ты уже выпила столько...

— Правильно, разозлилась,— подтвердила Гретхен.— Но виски я выпила чуть-чуть, а вот вина, если ты мне не поможешь, выпью целую бутылку. А потом...— Она умолкла.

— Что потом?

— Что потом, не знаю,— ответила Гретхен и засмеялась. Смех ее звучал так странно, что Ида больше не сомневалась: Гретхен опьянела.— Потом я поговорю с Эвансом Кинселлой. Если разыщу его, в чем не совсем уверена.

— И что ты ему скажешь? — забеспокоилась Ида.

— Для начала несколько слов — невежливых, но зато чистой правды.

— Ты с ума сошла! — воскликнула Ида.— В каких бы отношениях вы ни были, помни: он твой босс.

— Ида, тебе никогда не говорили, что у тебя патологическое уважение к начальству?

— Вовсе не патологическое,— обиделась Ида.

— А какое? Непомерное, подхалимское, восторженное?

— Самое обычное, если тебе уж так хочется знать. И давай забудем на время обо мне. Что ты собираешься ему сказать?

— Что картина, над которой мы работаем, дрянь. Но это будет только увертюра,— ответила Гретхен.

— Прошу тебя, Гретхен...— Ида протянула руки, словно пытаясь удержать ее от ложного шага.

— Пора кому-нибудь купить тебе кольца,— заметила Гретхен.— У тебя красивые руки, и кольца их только бы украсили. Если мы не найдем этого негодяя Кинселлу, тогда, может, потратим остаток дня на поиски колец.

Ида встревоженно огляделась. Ресторан был уже почти полон, и рядом с ними сидели двое мужчин.

— Тебя могут услышать.

— Пусть слушают,— пожала плечами Гретхен.— Умное слово всем на пользу.

У столика вновь появился официант и принялся ловко разделывать утку. Вино было в ведерке со льдом.

— Мне без маслин,— сказала Ида.— Положите их все этой даме.

Гретхен с восхищением смотрела, как умело официант делит утку на порции.

— Держу пари, что вот *он* не пьет во время работы,— заметила она. Все знали, что за Кинселлой водится подобная слабость.

— Тсс,— остановила ее Ида и улыбнулась официанту, словно прося извинения за свою эксцентричную приятельницу.

— Пьете? — спросила Гретхен у официанта.

— Нет, мэм,— ответил официант.— Но не отказался бы, если бы угостили,— усмехнулся он.

— Утром первым делом пошлю вам бутылку,— пообещала Гретхен.

— Гретхен,— сказала Ида,— я тебя никогда такой не видела. Что на тебя нашло?

— Бунт,— ответила Гретхен.— Я взбунтовалась.— Она попробовала утку, с удовольствием причмокнула и отпила большой глоток вина.

— На твоем месте,— заметила Ида, отщипывая маленькие кусочки,— я не стала бы этого делать в субботу или воскресенье.

— Бунт нельзя откладывать. Таков девиз нашей семьи,— сказала Гретхен.— Особенно в выходные дни. В понедельник утром нелегко бунтовать. К этому следует готовиться целую неделю.

— Кинселла никогда не простит тебе,— заметила Ида.

— А после увертюры,— продолжала Гретхен, не обращая внимания на слова Иды,— мы перейдем к самой опере. Я скажу ему, что согласилась работать над этой дрянью, которую он стряпает, только ради того, чтобы спать с ним.

— Гретхен,— с упреком воскликнула Ида,— ты же говорила мне, что любишь его! — Ей, старой деве, любовь представлялась чем-то необыкновенным.

— Когда-то любила,— согласилась Гретхен.

— Он жутко разозлится.

— Это мне и нужно,— сказала Гретхен.— А затем я объясню ему, что прочитала сценарий, который он велел вернуть агенту, и что, по-моему, это оригинальное, умное произведение, чересчур хорошее для таких, как он. Но поскольку он единственный режиссер, с которым я в данный момент нахожусь, можно считать, в сожительстве, и, несомненно, единственный из близко знакомых мне режиссеров, который может под одно свое имя получить деньги на постановку фильма, я скажу ему, что если у него еще сохранился разум, которым природа наградила его от рождения, то он завтра же купит этот сценарий — хотя бы просто потому, что об этом прошу я.

— Ты же знаешь, что он откажет,— сказала Ида.

— Возможно.

— И тогда как ты поступишь? Расплачешься и будешь просить прощения?

Гретхен посмотрела на нее с удивлением. Сарказмом Ида никогда не отличалась. Значит, разговор этот ее по-настоящему взволновал.

— Ида, милая,— ласково сказала Гретхен,— не нужно так нервничать. Ведь это мне, а не тебе придется воевать.

— Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности,— ответила Ида.

— Бывает, что их не избежать. Сейчас как раз такой случай. Ты спросила меня, что я буду делать, если он откажется.

— *Когда он* откажется.

— Я скажу ему, что немедленно ухожу из его группы...

— Но у тебя же контракт! — воскликнула Ида.

— Пусть подает на меня в суд. Может заодно потребовать, чтобы меня заставили вернуться к нему в постель.

— Тебе известно, что, если ты уйдешь, я тоже уйду,— сказала Ида, и голос ее задрожал от сдержанной гордости.

— На войне,— сурово заметила Гретхен,— порой приходится жертвовать солдатами.

— Но это не война,— возразила Ида,— а всего лишь кинофильм, каких тысячи.

— Вот именно,— сказала Гретхен.— Я не хочу всю жизнь работать над фильмами, каких тысячи.— Она увидела, что ласковые темные глаза Иды наполняются слезами и она вот-вот зарыдает.— Ты вовсе не обязана расплачиваться за мои поступки, Ида,— сказала она,— тебе незачем уходить вместе со мной.

— Не будем больше об этом разговаривать,— сказала Ида.

— Ладно,— согласилась Гретхен.— Значит, вопрос закрыт. А теперь займись уткой. Ты ничего не съела. Тебе не нравится?

— Очень... нравится,— всхлипнула Ида.

Некоторое время они ели молча. Гретхен подлила себе вина. По тому, как исказилось пухлое и мягкое, точно у ребенка, лицо Иды, она поняла, что та с трудом сдерживает слезы, и на секунду пожалела, что заставила Иду прочитать сценарий и обременила ее своими проблемами. Но она знала абсолютную честность и взыскательный вкус Иды и должна была услышать от нее подтверждение своей оценки. Без этого Гретхен никогда бы не рискнула выступить против Кинселлы. А Эвансу Кинселле суждено пережить нелегкие минуты, угрюмо размышляла она. Если он, конечно, дома.

Наконец Ида заговорила.

— Я считаю,— сказала она почти робко,— что можно поступить и по-другому. Ты ведь не обязана действовать в открытую, правда?

— Вероятно. Однако действовать скрытно я, к сожалению, не очень умею.

— Да уж,— усмехнулась Ида.— Но, может, на этот раз ты послушаешься меня. Мы обе знаем, что он ни за что не согласится. Особенно если ты начнешь с ним спорить.

— Откуда ты его так хорошо знаешь? — с шутливой подозрительностью спросила Гретхен.— Не завели ли вы роман у меня за спиной?

Ида громко рассмеялась.

— Как можно! — сказала она.— Ведь он другой веры.

Они обе засмеялись. Затем лицо Иды стало серьезным.

— Я предлагаю вот что: закончи монтаж картины.

— О господи!

— Тихо! Сначала послушай. Я ведь *тебя* слушала, правда?

— Еще как,— согласилась Гретхен.

— Не заговаривай с ним о сценарии. Сделай вид, что ты об этом начисто забыла.

— Но я не забыла. Он мне уже снится. Я даже сейчас вижу кадр за кадром...

— Я сказала: «Сделай вид»,— рассердилась Ида.— Найди кого-нибудь, кто согласился бы дать тебе денег, и купи сценарий сама.

— Допустим, я достану деньги,— сказала Гретхен, тотчас вспомнив про бедного Руди.— А что потом?

— А потом,— с торжеством провозгласила Ида,— сама поставь его.

Гретхен откинулась на спинку кресла. От Иды она ждала чего угодно, только не этого.

— Боже мой! — сказала она.— Ну и придумала!

— А почему нет? — с жаром спросила Ида, совсем уже забыв про еду.— В старое время многие режиссеры выходили из монтажной.

— Это было давно,— возразила Гретхен.— И все они были мужчины.

— Ты же знаешь, что я не люблю таких разговоров,— укоризненно заметила Ида.

— Извини. Я забыла. Но просто ради шутки, Ида, назови мне двадцать пять режиссеров-женщин.

— В прежние дни даже в армии не было двадцати пяти женщин.— На собраниях Движения за освобождение женщин Ида научилась спорить аргументированно.— На наши собрания ты не ходишь, брошюры не читаешь, но ты своим фильмом принесла бы нам гораздо большую пользу, чем присутствием на всех собраниях. А если у тебя есть сомнения, то позволь сказать тебе, что ты разбираешься в режиссуре куда лучше, чем Эванс Кинселла когда-либо разбирался или будет разбираться.

— Да, это мысль,— задумчиво согласилась Гретхен,— теперь я уже успокоилась и могу сказать: это — мысль.

— Такая картина обойдется очень дешево,— быстро продолжала Ида.— Небольшой городок — в основном натура и простенький павильон, народу немного, больше молодежь. На такие роли ты не найдешь актеров с именем, даже если у тебя будут деньги. Я тоже знаю людей, которые вкладывают деньги в кино, и могу к ним обратиться. А ты попросишь своего брата...

«Бедный Руди»,— снова подумала Гретхен.

— Во сколько обошлась первая картина Эванса Кинселлы?

— В сто двадцать пять тысяч,— не задумываясь, ответила Гретхен. Кинселла часто хвастался тем, что его первая картина, имевшая огромный коммерческий успех, стоила студии сущие гроши, и никогда не забывал сказать, сколько именно.

— В сто двадцать пять тысяч,— повторила Ида.— А теперь ему дают три с половиной миллиона.

— Кино есть кино,— заметила Гретхен.

— Времена меняются, и за сто двадцать пять тысяч сегодня картину не сделаешь. Но за семьсот пятьдесят, я уверена, можно сделать. Многие актеры согласились бы работать за почасовую оплату, а исполнители главных ролей могли бы вообще согласиться на процент от проката. Тогда почти все деньги пошли бы на съемки, и никуда больше.

— Дорогая Ида,— сказала Гретхен,— ты уже стала рассуждать как киномагнат.

— Только ты должна дать мне одно обещание,— потребовала Ида.

— Какое? — насторожилась Гретхен.

— Что ты не будешь звонить Кинселле ни сегодня, ни завтра. Обдумай все как следует по крайней мере до понедельника.

— Ладно,— помолчав, согласилась Гретхен.— А я уже приготовилась к захватывающему сражению.

— Лучше представь себе, какой будет у Кинселлы вид, когда на экраны выйдет наш фильм. У тебя к тому времени уже пропадет охота сказать ему, какое он ничтожество.

— Ладно, обещаю,— сказала Гретхен.— А теперь давай закажем на десерт что-нибудь сладкое-пресладкое. И весь остаток дня будем предаваться удовольствиям. Ты сколько раз смотрела «Земляничную поляну»? [1]

— Четыре раза.

— И я четыре,— сказала Гретхен.— Давай сегодня прогуляем работу и для ровного счета посмотрим «Поляну» еще раз.

По забитой машинами, как всегда к вечеру в воскресенье, дороге Хиты и Рудольф возвращались домой; Джонни сидел за рулем, Илейн — рядом с мужем, а Рудольф на заднем сиденье размышлял о том, как они провели время в Монтоке. В общем, удачно, решил он. Домик Джин оказался уютным, как она и говорила, с чудесным видом на океан. Массажистка выглядела вполне благопристойно, а к тому же выяснилось, что она превосходно готовит. Голыми по берегу они не скакали, несмотря на предсказания Джонни, но зато все вместе подолгу гуляли вдоль кромки воды по утрамбованному отливом песку, и Инид держала мать за руку. Они обе искренне радовались друг другу, и Рудольф подумал, что, может, Инид лучше жить у матери и ходить в маленькую загородную школу, чем подвергаться опасностям на улицах Нью-Йорка. Он может видеться с ней в выходные дни и в школьные каникулы. Но если отнестись всерьез к дикой невалской затее Джонни, то ездить к ней ему будет трудновато. Правда, будет это не завтра и не на следующей неделе, а может, и не в следующем году.

У Джин был здоровый и бодрый вид. Вместе с массажисткой она каждое утро проделывала уйму всяких гимнастических упражнений, а потом часами бродила по берегу в поисках объектов для фотографирования. Она казалась довольной, чуть сонной, говорила мало и походила на ребенка, который проснулся после приятного сна. Она приветливо встретила Хитов и, судя по всему, была рада провести два дня в их обществе. Ни она, ни массажистка, которую звали Лоррейн, ни разу не пытались поговорить с ним наедине. Если Джин и завела себе друзей по соседству, то никто из них не появился ни в субботу, ни в воскресенье. Когда Рудольф попросил ее показать последние работы, она ответила: «Я еще не готова. Может, через месяц».

Удобно расположившись на заднем сиденье роскошной машины, мчавшейся к городу, он с некоторой грустью констатировал, что в течение этих двух дней Джин выглядела более радостной, чем, пожалуй, за всю их совместную жизнь.

К столу подавали вино, но крепких напитков не было. Джин не тянулась к бутылке, и Рудольф не заметил, чтобы Лоррейн предостерегающе поглядывала на нее.

Она, по-видимому, несколько успокоилась, решил Рудольф. О себе он этого сказать не мог.

Они въезжали в город по тому же мосту; на западе на фоне живописного заката зубчатой стеной вздымались небоскребы. В окнах уже горел свет, и мигающие

[1] Фильм известного шведского режиссера Ингмара Бергмана.

остроконечные огоньки были похожи на свечи в амбразурах цитадели. Он любил такой Нью-Йорк и это время суток — улицы, по которым они ехали, были пустыми, чистыми и приветливыми. Будь всегда воскресенье, никто не стал бы уезжать из Нью-Йорка.

Когда машина остановилась перед его домом, он предложил Хитам подняться к нему, но Джонни сказал, что они и так уже опаздывают в гости. Руди поблагодарил Джонни за поездку и, наклонившись, поцеловал Илейн в щеку. После двух дней, проведенных вместе, он чувствовал к ней гораздо большее расположение, чем прежде.

— Ты весь вечер будешь один? — спросила Илейн.

— Да.

— Тогда садись обратно в машину,— предложила она.— Поедешь с нами на коктейль, а потом поужинаем в «Джино».

Ему хотелось поехать с ними, но предстояло над многим поразмыслить, а для этого лучше побыть одному. Он не мог признаться, что там, в Монтоже, его раздражало то, что вокруг были люди. Это, конечно, скоро пройдет...

— Спасибо,— поблагодарил он,— но мне нужно ответить на кучу писем. Давайте лучше пообедаем вместе как-нибудь на неделе. Мы втроем — и никого больше.

— Я позвоню тебе завтра,— предупредил Джонни,— как только закажу билеты в Неваду.

— Я весь день буду дома,— пообещал Рудольф. Машина тронулась; он смотрел им вслед и ругал себя за эти слова. Теперь, наверное, кто-нибудь из Хитов говорит: «Он будет весь день дома, потому что не знает, чем себя занять».

С чемоданом в руках он поднялся по ступенькам к входной двери. Она опять оказалась незапертой. Из-за нижних соседей. Придется с ними поговорить. Он вошел в полутемный вестибюль и услышал мужской голос:

— Стоять на месте и чтоб ни звука. Ты у меня под прицелом.

Входная дверь захлопнулась у него за спиной.

— В какой квартире ты живешь? — спросил тот же голос.

Он ответил не сразу. Будь Инид дома, он вообще бы не ответил. Слава богу, она у матери, более чем в ста милях отсюда. И няня в Нью-Джерси. Дома никого нет. Его чем-то ткнули под ребро, должно быть, пистолетом.

— Тебе задали вопрос,— сказал тот же голос.

Рудольф почувствовал, что рядом стоит второй человек.

— На третьем этаже,— ответил он.

— Поднимайся! — приказал голос.

Рудольф начал подниматься по лестнице. Света из-под дверей квартиры на втором этаже не было видно. Никого нет дома. «Воскресный вечер»,— подумал он, машинально шагая по ступенькам и слыша сзади тяжелые шаги двух пар ног.

Дрожащими руками он достал ключ и отпер дверь.

— Зажги свет,— приказал тот же голос.

Рудольф не сразу нашел выключатель. Загорелась лампа в передней, и он повернулся — перед ним было двое мужчин, которые подстерегли его в вестибюле. Оба — черные, молодые, один высокий, другой среднего роста, оба хорошо одеты. На их худых, напряженных лицах читалась ненависть. «Наркоманы»,— подумал он. Высокий держал в руках нацеленный на него пистолет, иссиня-черный, тускло мерцавший в свете лампы.

— В гостиную,— приказал высокий.

Они прошли вслед за ним в гостиную, где второй человек включил свет. Загорелись сразу все лампы. В комнате было уютно и чисто, занавеси на окнах задернуты. Няня перед отъездом навела порядок. На камине громко тикали часы. Они показывали половину шестого.

— Давай бумажник,— сказал высокий,— и чтоб без фокусов.

Рудольф вынул из кармана пиджака бумажник. Человек с пистолетом выхватил бумажник у него из руки, кинул его напарнику.

— Посмотри, что там есть,— сказал он.

Второй заглянул в бумажник.

— Тридцать долларов,— ответил он, держа в руке деньги.

Человек с пистолетом выругался.

— А в штанах есть что-нибудь?

Рудольф вынул несколько долларов и две монеты по двадцать пять центов. Теперь второй, протянув руку, выхватил у него деньги.

— И здесь не лучше,— сказал он.— Всего восемь долларов.— Монеты он бросил на пол.

— Какой хитрый, а? Разъезжает в «линкольне», а при себе всего-навсего тридцать восемь долларов! — заметил человек с пистолетом.— Боишься, что тебя ограбят, мистер Рокфеллер?

— Извините,— ответил Рудольф,— но больше у меня ничего нет. Только кредитные карточки.— Кредитные карточки разлетелись по полу

— Наше заведение не принимает кредитных карточек, верно, Элрой? — заметил высокий.

— К сожалению, нет,— ответил Элрой, и оба хрипло расхохотались.

Рудольфу казалось, будто все это происходит не с ним, а с каким-то крошечным, оцепеневшим от страха человечком где-то далеко-далеко.

— Где у тебя деньги? — спросил высокий с пистолетом.— Открывай сейф!

— Я не держу в доме денег,— ответил Рудольф.— И сейфа у меня нет.

— Смотри какой хитрый! — повторил высокий и свободной рукой с силой ударил Рудольфа по глазам. Рудольф, отшатнувшись, мгновенно ослеп от слез.— Это чтобы научить тебя говорить правду, мистер,— добавил он.

— Ищите сами,— упорствовал Рудольф.

— Последний раз говорю тебе — покажи, где деньги,— пригрозил человек.

— Извините, ничем помочь вам не могу.

Человек с пистолетом дышал тяжело и неровно, глаза его метались из стороны в сторону, отражая свет многочисленных ламп.

— Что скажешь, Элрой? — спросил он.

— Дай ему как следует,— ответил Элрой.

Человек с пистолетом, мгновенно переместив оружие на ладонь, ударил Рудольфа в висок. Рудольф рухнул на пол, но ему показалось, что он медленно летит в пространстве. Ковер принял его в свои объятья, как чудесная мягкая постель. Прошло еще несколько секунд, и откуда-то издалека тот же голос произнес:

— Хватит, Элрой! Ты что, хочешь прикончить эту сволочь, что ли?

Ему снился сон. Но даже во сне он понимал, что это ему лишь снится. Он был на берегу и искал Инид. Ревели волны. Почему-то прямо на пляже стояли автобусы, из них вылезали люди, которых он не знал и не узнавал, которые не обращали на него внимания, которые то возникали у него на пути, то куда-то исчезали, пока он проталкивался среди них, взывая: «Инид! Инид!» Он знал, что это сон, но мучился по-настоящему, понимая, что не найдет ее. Чувство утраты было невыносимым.

Потом он очнулся. По-прежнему горели лампы. Яркий свет колол ему глаза. Он лежал на полу, все у него болело, ломило голову, саднило в паху. Он не мог повернуться. Лицо у него было мокрым. Он вытер его рукой и увидел на руке кровь.

В комнате царил полный разгром. Обивка на креслах и диване изрезана в клочья, ковер засыпан снежными хлопьями поролона. Возле камина — разбитые вдребезги часы. Из письменного стола, шкафа и буфета выдернуты все ящики, и их содержимое разбросано по комнате. Вместо зеркала над камином торчат одни зазубренные осколки. Деревянные стулья, кофейный столик и маленькая тумбочка разбиты вдребезги каминной кочергой, а сама кочерга изогнута каким-то фантастическим образом. Бутылки из буфета били об стену, поэтому в комнате стоял запах виски и повсюду валялись осколки. Передняя стенка от пианино лежала возле дивана, а порванные струны торчали и висели над клавиатурой, словно выпущенные кишки. Он попробовал посмотреть на часы, чтобы определить, сколько времени пролежал без сознания, но часы оказались срезанными с его руки — вместо них на кисти был глубокий порез, из которого сочилась кровь.

Он заставил себя подползти к телефону. Поднял трубку с рычага, прислушался. Работает. Слава богу. Он не сразу вспомнил номер Гретхен. С трудом набрал. Раздались длинные гудки. Он лежал на полу, прислонив трубку к щеке. Наконец на другом конце провода сняли трубку, и он услышал голос Гретхен.

— Алло!

— Гретхен,— сказал он.

— Где ты был?— спросила она сердито.— Я звонила тебе в пять. Ты сказал, что вернешься к...

— Гретхен,— хрипло повторил он,— приезжай. Немедленно. Если дверь заперта, вызови полицию взломать дверь. Я...— Он почувствовал, что снова теряет сознание. Он больше не мог говорить. Он лежал на полу и слышал, как Гретхен кричит: «Руди! Руди! Ты меня слышишь, Руди?..» Потом наступила тишина.

Он позволил себе расслабиться и снова потерял сознание.

Он провел в больнице две недели и так и не съездил в Неваду с Джонни Хитом.

Книга третья

1

Он привез миссис Уэрфем заказанные ею в супермаркете продукты на сумму в семнадцать долларов, и она пригласила его выпить чашку кофе. Мистер Уэрфем работал на разливочном заводе, принадлежавшем мистеру Крейлеру, и это обстоятельство, подумал Уэсли, вероятно, уничтожало в ее глазах пропасть, разделявшую зажиточную домохозяйку и шестнадцатилетнего парня, доставляющего продукты на дом. Он охотно согласился — доставка была последней, а в доме у Крейлеров кофе никогда не пили.

После кофе миссис Уэрфем, смущенно хихикая, заметила, что он очень красивый молодой человек, и пригласила его к себе в постель. В доме Крейлеров под запретом был не только кофе, а миссис Уэрфем была роскошно сложенной крашеной блондинкой. И это приглашение он тоже принял.

Кофе был хорошим, но секс еще лучше. Правда, ему пришлось торопиться, так как велосипед с ящиком для продуктов между передними колесами — собственность магазина — остался на улице, где было полно мальчишек, готовых стащить все, что ни подвернется под руку, в том числе и велосипед, на ящике которого огромными буквами значилось название магазина.

Это было ровно месяц назад. С тех пор он отвез миссис Уэрфем уже десять заказов. Доставка продуктов в дом Уэрфемов зависела от приливов и отливов жизненной энергии миссис Уэрфем.

На этот раз, когда он одевался, миссис Уэрфем уже сидела в халатике и улыбалась, словно только что съела огромное пирожное с кремом.

— Да, ты здорово сложен,— сказала она восхищенно.— Мог бы поднять моего мужа одной рукой.

— Благодарю вас, мэм,— ответил Уэсли, натягивая свитер. У него не было никакого желания поднимать одной рукой мистера Уэрфема.

— Я ведь никогда себе ничего такого не позволяю,— продолжала миссис Уэрфем, вероятно забыв, что Уэсли умеет считать,— но...— Она вздохнула.— Это ведь вносит в жизнь какое-то разнообразие, правда?

— Да, мэм.

— В следующий раз повезешь заказ, добавь к нему какой-нибудь небольшой подарочек себе — ветчину или еще что-нибудь. Между тремя и пятью я всегда дома.

— Да, мэм,— неопределенно проговорил Уэсли. Больше миссис Уэрфем его не заполучит.— Мне пора. У меня там на улице велосипед..

— Я знаю. Так не забудешь про ветчину?

— Нет, мэм.

Велосипед был в целости и сохранности. Налегая на педали, он покатил к почте. Он испытывал к себе отвращение. Ветчина. Она считает, что его можно купить за какой-то кусок ветчины. Это было унизительно. Он чувствовал, что наступил решительный момент, когда все должно пойти по-другому. Больше он не польстится на то, что ему предлагают. В Америке полно славных девушек. Хотя бы та приятная и застенчивая девушка из «Тайма», пусть она и не первой молодости. Хватит довольствоваться всякой дрянью. Где-то за пределами Индианаполиса должна же быть девушка, с которой можно поговорить, посмеяться, которой можно восхищаться, рас-

сказать об отце и о себе,— девушка, которую можно любить, которой можно гордиться и которая не заставит его чувствовать себя свиньей, когда он встанет из ее постели. А пока он будет просто ждать.

На почте его ждало два письма: одно — от Кролика, другое — от дяди Рудольфа. Теперь, когда по совету дяди ему писали не домой, а до востребования и он сам стал ходить на почту, он регулярно получал письма от Кролика и Кейт. Их письма делали его жизнь в Индианаполисе почти сносной. Не читая, он запихнул письма в карман, потому что управляющий магазином мистер Сайтрон всегда подозрительно на него поглядывал, стоило ему задержаться хотя бы на пять минут, а миссис Уэрфем и так уже слегка выбила его из графика. У мистера Сайтрона, думал Уэсли, невинно улыбаясь управляющему, наверное, в голове секундомер. «Нет хуже, чем вкалывать на другого»,— говорил ему отец.

В складском помещении за магазином он вынул письма из кармана. Первым он распечатал письмо Кролика. Твердый, четкий почерк создавал впечатление, что писал его человек, весивший не меньше двухсот фунтов.

Дорогой Уэсли!

Хочу сообщить, что «Клотильду» продали за сто десять тысяч долларов. Прибавится деньжат и тебе, и Кейт с малышом. Так что поздравляю. Теперь я наконец могу тебе сказать, что настоящим ее владельцем был не Джонни Хит, как записано в бумагах, а твой дядя Рудольф. Наверное, у него были свои причины это скрывать. А я уже боялся, что мы никогда ее не продадим. Я уговаривал твоего дядю поменять ее название, но он ничего и слышать не хотел. У него всё принципы — может, даже слишком много принципов. Купили ее немцы, очень приятные люди; они знают о том, что произошло, но это их как будто не беспокоит. Наверно, немцы народ не суеверный. Новая хозяйка сказала, что она влюбилась в «Клотильду» с первого взгляда. Они хотели, чтобы я остался на ней капитаном, но я не согласился. На это есть много причин, и мне незачем их тебе перечислять.

В Сен-Тропезе я познакомился с одной американской семьей — муж, жена и двое мальчиков, одиннадцати и девяти лет. У них яхта длиной в 43 фута, и они предложили мне ею заняться. Вся команда — один я, но ребята обещают помогать в уборке, а их мать говорит, что согласна готовить еду. Отец вроде умеет читать карту и может стоять за штурвалом. Посмотрим. Так что я остаюсь на добром старом Средиземном море. Надеюсь, что все будет в порядке. Хорошо, когда на борту двое ребятишек.

Недавно получил весточку от Кейт. Она устроилась барменшей в кабачке недалеко от дома и все свободное время проводит с ребенком. Ты, наверно, знаешь, что она назвала его Томасом. Томас Джордах.

Жаль, что ты попал в такую передрягу в Индианаполисе. Но когда тебе стукнет восемнадцать, ты можешь от них уйти. До восемнадцати ждать осталось не так уж долго, а время бежит быстро, так что потерпи и не выкидывай никаких фокусов.

Мое новое судно называется «Долорес» — в честь хозяйки — и приписано к Сен-Тропезу, поэтому пиши, как и прежде, на имя начальника порта для передачи мне.

Вот какие у меня новости, дружок. Если вдруг окажешься в наших местах, загляни повидать меня.

Кролик.

Уэсли аккуратно сложил письмо и сунул его обратно в конверт. Он уже дважды спрашивал у Кролика, не слышал ли тот чего-нибудь о Дановиче, но Кролик ни разу и словом о нем не обмолвился. Он пишет, что время бежит быстро. Может, на Средиземном море оно и так, но не здесь. В Индианаполисе ему мало что нравилось. Разве что пропитанное запахом свежеиспеченного хлеба большое здание старого рынка с его высокими потолками и прилавками, заваленными фруктами и овощами. Оно напоминало портовый рынок в Антибе, и он ходил туда, как только выдавалась возможность.

Когда он вскрыл письмо от дяди, из конверта выпали две бумажки по двадцать долларов. Он поднял их и положил в карман. Он не просил денег — ни разу,— но был благодарен, когда они приходили. У дяди была привычка в самое неожиданное время оказывать всем помощь. Хорошо, когда можешь это себе позволить. А дядя Рудольф,

видимо, мог. Так что нечего переживать по этому поводу. Он развернул письмо и прочел:

Дорогой Уэсли!

Обрати внимание на адрес в верхней части страницы — я наконец-то расстался с Нью-Йорком. После того как на меня напали, город утратил для меня значительную часть своей привлекательности и я начал беспокоиться — наверное чересчур — по поводу безопасности Инид. Здесь, в Бриджгемптоне, на Лонг-Айленде, я арендовал дом сроком пока на год. Это тихое, очаровательное место, за исключением летних месяцев, когда сюда приезжает множество народу, в основном писатели, художники и артисты. Мой дом недалеко от пляжа и минутах в пятнадцати езды от дома моей бывшей жены. Инид всю неделю живет у нее, а субботу и воскресенье проводит у меня, и при таком распорядке ей больше не нужна няня. Девочке нравится жить за городом, и ради нее стоило сюда переехать.

Я полностью оправился после двух пластических операций и хотя, когда бегаю по пляжу, из-за повреждений в носоглотке хриплю, как старая, заигранная пластинка, в основном чувствую себя прекрасно. Врачи предлагали сделать мне еще одну операцию «для красоты», но я решил, что от добра добра не ищут. Гретхен говорит, что с расплющенным носом я стал больше похож на твоего отца.

Гретхен, кстати, избрала себе новое поле деятельности. На следующей неделе она заканчивает монтаж картины Кинселлы и собирается сама заняться режиссурой: она приобрела один очень понравившийся ей сценарий. Я его прочитал, и мне он тоже понравился. Дело в том, что мне надо куда-то вложить свои деньги, и я решил финансировать картину Гретхен, а теперь деликатно даю ей советы по деловой стороне этого предприятия. Будь осмотрителен, когда в следующий раз ее увидишь. Она считает, что ты мог бы с успехом сыграть одну из главных ролей в ее картине. В нашей семье были люди почти всех профессий за исключением кинозвезд, и я не уверен, что их появление хорошо скажется на репутации Джордахов.

К сожалению, из-за сумятицы, сопутствовавшей нападению на меня, я забыл выполнить свое обещание и послать тебе список людей, которые могут рассказать о твоем отце. Это, во-первых, конечно, Джонни Хит, который вместе с женой плавал на «Клотильде». Я не помню, был ли ты уже в то время на яхте. Потом Гудхарты, которые тоже фрахтовали яхту несколько сезонов подряд. Я прилагаю их адреса на отдельном листке. В те далекие времена, когда твоему отцу было столько лет, сколько тебе сейчас, в Порт-Филипе был юноша — теперь уже, естественно, взрослый человек,— которого звали Клод Тинкер. Он был соучастником некоторых приключений твоего отца. Семья Тинкеров, я слышал, по-прежнему живет в Порт-Филипе. Потом есть еще человек по имени Теодор Бойлан — сейчас, должно быть, уже глубокий старик,— который был тесно связан с нашей семьей.

Как профессионального боксера я видел твоего отца всего один раз — он выступал против цветного парня по имени Вирджил Уолтерс, которому, вероятно, тоже есть о чем вспомнить. У твоего отца был менеджер по фамилии Шульц, и однажды, когда мне понадобилось связаться с твоим отцом, я разыскал этого Шульца через журнал «Ринг».

Если я вспомню еще какие-то фамилии, то сразу же тебе напишу. Очень жаль, что летом ты не смог навестить меня, но я надеюсь, что тебе это еще удастся сделать.

Прилагаю к письму маленький подарок в связи с наступлением нового учебного года. Если вдруг тебе понадобятся деньги, сразу же дай мне знать.

Обнимаю тебя,

Рудольф.

Уэсли сложил письмо и сунул его обратно в конверт, точно так же, как сделал это с письмом Кролика. Пишет, будто у него в заднице якорь, подумал Уэсли. Ведь на самом-то деле он совсем не такой, просто между тем, какой он есть и каким кажется, лежит пропасть. Уэсли хотелось бы, чтобы дядя вызывал у него больше симпатии.

Оба письма Уэсли отдал Джимми, чернокожему пареньку, работавшему вместе с ним на доставке продуктов. У Джимми хранилась фотография его отца в боксерских трусах, которую дала ему та женщина из «Тайма», и все полученные им письма, так как мать, по крайней мере два раза в неделю, перерывала все его вещи в поисках следов греха и всего прочего, что могло ей попасться. Письма от дяди, от Кейт и от Кролика явились бы в этом случае уликами грандиозного заговора с целью отнять у нее привязанность сына, о которой она так любила распространяться. А ему трудно было выносить периодические вспышки ее материнской любви. Она принималась целовать и обнимать его, называла его «малышом», говорила, что если бы он подстригся, то стал бы очень красивым мальчиком, а уж если бы вошел в лоно церкви, то осчастливил бы ее по гроб жизни, и что нет ничего на свете, чего бы они с мистером Крейлером для него тогда бы не сделали. Мать не притворялась — Уэсли знал, что она на самом деле его любит и хочет, чтобы он был счастлив, только счастье они понимали по-разному. Ее бурные проявления любви вызывали у него неловкость и смущение, и он с тоской вспоминал Кейт.

Он никогда не рассказывал Джимми ни о своей матери, ни о мистере Крейлере, хотя Джимми в этом городе был его единственным другом.

Ему не хотелось идти домой обедать — во-первых, потому, что еда, он знал, будет отвратительной, а во-вторых, дом, и так достаточно мрачный, теперь после того, как мистер Крейлер получил извещение, что его сын Макс убит во Вьетнаме, стал вообще похож на могилу. Тело Макса должны были вот-вот привезти, и время, проходившее в ожидании этого момента, напоминало затянувшиеся похороны.

Уэсли пригласил Джимми пообедать вместе.

— Сегодня я могу кутнуть,— сообщил он Джимми.— Мой богатый дядюшка кое-что мне подкинул.

Они поели в маленьком ресторане недалеко от супермаркета, где за полтора доллара давали кусок жареного мяса и не спрашивали свидетельства о рождении, когда заказываешь пиво.

Джимми увлекался рок-музыкой, он иногда приглашал Уэсли в гости и играл для него на кларнете под аккомпанемент пианино, за которым сидела одна из его сестер, в то время как другая угощала их пивом. Тесный дом Джимми, где царила дружеская атмосфера, оживляемая присутствием двух хорошеньких смеющихся девушек, был еще одним местом в Индианаполисе, которое Уэсли любил. В Индианаполисе, с его заводами и толпами рабочих на улицах в утренние и вечерние часы, с его как две капли воды похожими друг на друга рядами одинаковых домов и грязными тротуарами, Антиб вспоминался как райское местечко.

Уэсли не рассказывал матери про Джимми. Она была вежлива с черными, но считала, что они должны соблюдать дистанцию, как она выражалась. Так, по-видимому, полагалось у мормонов.

После ужина Уэсли попросил Джимми с завтрашнего дня доставлять миссис Уэрфем ее покупки, но почему — не объяснил, а Джимми и не стал спрашивать. Еще одна черта, говорившая в пользу Джимми: он не задавал глупых вопросов.

Домой Уэсли шел медленно. В доме царило негласное правило: если он возвращается домой к девяти часам, то никто не устраивает никаких сцен, сопровождаемых истерическими воплями по поводу того, что он шляется по городу и позорит семью, как в свое время его отец. Обстановка в доме и так была гнетущей, а всякие сцены, особенно поздним вечером, настолько его изматывали, что он потом долго не мог заснуть. Он все чаще подумывал о побеге, но ему хотелось дать матери еще один шанс. Должно же в ней хоть что-то быть. Ведь когда-то отец любил ее.

Когда он добрался домой, мистер Крейлер рыдал в гостиной, держа в руках фотографию сына. На фотографии Макс Крейлер был снят в солдатской форме. У него было худое лицо и такие печальные глаза, словно он знал, что его убьют прежде, чем ему исполнится двадцать один год. Мать встретила Уэсли в коридоре. Мистеру Крейлеру сообщили, прошептала она, что тело Макса привезут через два дня, и он всю вторую половину дня был занят приготовлениями к похоронам.

— Не обижай его, пожалуйста,— сказала она.— Он очень любил своего сына.

Он хочет, чтобы ты завтра подстригся и сходил со мной в магазин — надо купить тебе темный костюм на похороны.

— Мои волосы и так в порядке,— возразил Уэсли.— И стричься я не собираюсь.

— В такой час,— шепотом продолжала мать,— ты мог бы проявить уважение хотя бы к мертвецу.

— Я могу проявить уважение к мертвецу и с длинными волосами.

— Неужели тебе трудно сделать такой пустяк, чтобы доставить удовольствие матери? — И она тоже начала плакать.

— Мне мои волосы и так нравятся. И никто, кроме тебя и его,— он сделал жест в направлении гостиной,— никогда ко мне по этому поводу не пристает.

— Ты просто упрямый и жестокий мальчишка,— сказала она, давая волю слезам.— Неужели ты никогда и ни в чем не можешь уступить?

— Могу, когда в этом есть какой-то смысл.

— Если ты не подстрижешься, мистер Крейлер не разрешит мне купить тебе новый костюм.

— Пойду в старом, Максу это безразлично.

— Так не шутят.— Она снова заплакала.

— Я и не думал ни над кем шутить.

— Этот старый костюм и волосы как у дикого индейца — мы же в церкви все сгорим от стыда.

— Пожалуйста, могу не ходить в церковь. И на кладбище не пойду. Я Макса сроду *не видел*. Какой во всем этом смысл?

— Мамочка,— позвал из гостиной мистер Крейлер,— поди сюда на минутку.

— Иду, дорогой,— откликнулась Тереза. Она бросила разгневанный взгляд на Уэсли и, размахнувшись, дала ему пощечину.

Уэсли ничего не сказал, он просто замер на месте. Мать вышла в гостиную, а он медленно поднялся к себе в комнату.

На этом дело и закончилось. Когда Макса Крейлера хоронили, Уэсли развозил по домам заказы.

Капрал Хили, который тоже служил во Вьетнаме, но сына мистера Крейлера не знал, сопровождал тело в Индианаполис. Мистер Крейлер, сам ветеран войны в Корее, предложил капралу как товарищу по оружию остановиться у него, и Уэсли пришлось спать с ним на одной кровати, потому что в комнате для гостей расположилась замужняя дочь мистера Крейлера, Дорис, которая приехала из Чикаго. Дорис, маленькая тихая молодая женщина, по мнению Уэсли, была очень похожа на мистера Крейлера.

Хили был невысокий, довольно приятный на вид парень лет двадцати трех; на рубашке у него висела медаль «Пурпурное сердце» с двумя ленточками, свидетельствовавшими о том, что он был награжден медалью дважды. Мистер Крейлер, который во время корейской войны был всего лишь делопроизводителем квартирмейстерской службы в Токио, целый день рассказывал Хили о том, как он воевал. Хили вежливо слушал, однако дал понять Уэсли, что хотел бы куда-нибудь сбежать. Воспользовавшись одной из пауз мистера Крейлера, Хили сказал, что ему хотелось бы немного пройтись, и спросил, не будут ли они против, если Уэсли пойдет с ним, на тот случай, чтобы ему не заблудиться. Мистер Крейлер тоном бывалого солдата ответил: «Разумеется, нет, капрал»,— и Тереза тоже кивнула. После сцены в коридоре она не сказала Уэсли ни слова, и Уэсли был благодарен Хили за то, что он дал ему возможность уйти из дома.

— Ну и ну! — сказал Хили, когда они шли по улице.— В этом доме служба не из легких. А что из себя представляет эта сестрица, как ее, Дорис?

— Не знаю, — ответил Уэсли.— Я сам только вчера в первый раз ее увидел.

— Она все время мне подмигивает. Как ты думаешь, просто так или со смыслом?

— Откуда мне знать?

— Иногда эти простенькие на вид маленькие куколки, когда доходит до дела, оказываются очень привлекательными. Ты не будешь возражать, если я займусь ею, а?

— А чего мне возражать? Только будь осторожен. Мать охраняет дом, как хорошая сторожевая собака.

— Ладно, посмотрим, как сложится ситуация,— сказал Хили. Он был родом из Виргинии, говорил мягко и нараспев.— А ваш мистер Крейлер — это что-то! Послушать его, так подумаешь, что в Токио каждый день шли рукопашные сражения. А как он развесил уши, когда я рассказывал о том, как меня ранило! Одно во всяком случае я знаю твердо: в члены Американского легиона я вступать не намерен. Я свое отвоевал и не желаю ничего слышать ни об этой, ни о какой другой войне. Где нам с тобой тут можно выпить пивка?

— Тут неподалеку есть одно местечко. Я так и думал, что тебе захочется выпить.

— Когда сопровождаешь тело,— жаловался Хили,— то обычно выставляют угощение, чтобы все хоть немного взбодрились. А тут, прости господи, даже чашки кофе и той не дали.

— Они ведь мормоны.

— Скучная, видать, у них вера,— отозвался Хили.— Я тоже, если могу, каждое воскресенье хожу в церковь, но я ведь не плюю в лицо людям. В конце концов, бог создал виски, пиво, вино. Даже кофе и чай и то он сотворил. Для чего, по-ихнему, все это создано?

— Спроси у мистера Крейлера.

— Да-а,— печально протянул Хили.

Они сидели за столиком в ресторане, где Уэсли обедал с Джимми, и пили пиво. Уэсли объяснил Хили, что это единственное место, где его не спрашивают, исполнилось ли ему восемнадцать лет.

— Рослый ты малый,— заметил Хили.— Приятно, наверное, быть таким рослым — никто к тебе особенно не привяжется. Не то что к человеку моего роста. Нам порядком достается.

— Привязываться можно по-разному,— отозвался Уэсли,— и от роста это не зависит.

— Это верно,— согласился Хили.— Я сразу заметил, что мистер Крейлер и твоя мать не пылают к тебе особой любовью и нежностью.

— А мне-то что? — пожал плечами Уэсли.— Я посмеиваюсь и терплю.

— Между прочим, сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— А по виду все двадцать один.

— Я этим и пользуюсь.

— Что же ты думаешь делать, когда тебе исполнится восемнадцать и тебя призовут?

— Еще не решил.

— Хочешь послушать совет человека, который там побывал и чуть не остался навсегда? — спросил Хили.— Делай что хочешь, но на призывной пункт не ходи. Война — не развлечение, Уэсли.

— А что же тогда делать?

— Все что угодно. Только не дай им забрать тебя в армию. Ты и представить себе не можешь, сколько там потерявших надежду и веру людей. В них стреляют, они подрываются на минах, умирают от всевозможных болезней, заживо гниют в джунглях, и никто из них не знает, зачем он там находится... Хочешь верь, хочешь нет, Уэсли, а я пошел добровольцем. Черт побери, понимаешь — *добровольцем*!

— Отец когда-то говорил мне,— сказал Уэсли,— что ни на какие войны не надо идти добровольцем.

— Твой отец знал, что говорил. Армия умеет выбить из человека патриотизм, и я, парень, тоже его лишился не по милости противника. Последний аккорд во всей этой музыке прозвучал, когда мы с приятелем сошли с самолета в Сан-Франциско, начищенные, в парадной форме, при всех регалиях. Впереди нас шли две хорошенькие девочки, мы ускорили шаг, и, поравнявшись с ними, я спросил: «Девочки, что вы делаете сегодня вечером?» Они остановились и посмотрели на меня так, словно перед ними была змея. Они и слова не проронили, а та, что была поближе, взяла и преспокойно плюнула мне в морду. Ты только представь себе! Плюнула! Затем они повернулись и пошли дальше.— Хили покачал головой.— Всего десять минут назад мы прибыли домой с фронта, у обоих награды за ранение — «Пурпурное сердце», и чем

же нас встретили! Победителям-героям ура! — Он горько усмехнулся.— Ради таких людей, Уэсли, садиться в огонь задницей не стоит. Переезжай с одного места на другое, делай что хочешь, но только чтобы они не смогли тебя заполучить. Ребята говорят, что легче всего затеряться в Европе. Париж — точка номер один. Даже если придется зарегистрироваться в посольстве, то оттуда не станут тебя выкуривать.

«Беседа у походного костра,— подумал Уэсли.— Старые битвы и полные любви воспоминания о доме».

— Я был в Европе,— сказал он.— И довольно хорошо говорю по-французски.

— Я бы на твоем месте слишком долго не медлил, Уэсли. Свой восемнадцатый день рождения, приятель, встречай в веселом Париже,— сказал Хили и заказал еще два пива. Гроб, который он сопровождал в Индианаполис, и в церкви и на кладбище был накрыт национальным флагом. Мистер Крейлер принял этот флаг, а за обедом сказал, что повесит его в комнате Макса, в которой теперь жил Уэсли.

Когда они вернулись, дом был погружен в темноту — и за это спасибо. Если бы мать не легла, то, учуяв исходящий от сына запах пива, опять бы зарыдала и устроила скандал.

Они тихо поднялись наверх и только начали раздеваться, как сначала раздался тихий стук, а потом дверь отворилась и вошла Дорис. Она была босиком и в ночной сорочке, сквозь которую просвечивало тело. Осторожно закрывая за собой дверь, она улыбнулась и приложила палец к губам:

— Я слышала, мальчики, как вы поднялись, и подумала, что хорошо бы немного посидеть вместе, чтобы, так сказать, получше познакомиться,— сказала она.— Ни у кого из вас нет случайно сигаретки? — Говорила она жеманно и вместе с тем застенчиво, словно в школе привыкла сюсюкать и до сих пор не разучилась. Уэсли старался на нее не смотреть, но все же заметил, что у нее отвислые груди и толстый, низко посаженный зад. «Если бы я так выглядел,— подумал он,— я бы в таком одеянии нигде не ходил, разве что в кромешной темноте». Но Хили заулыбался, и в его глазах появился какой-то новый блеск. Он уже снял рубашку и теперь стоял обнаженный до пояса. У него тоже сложение не ахти какое, отметил про себя Уэсли.

— Пожалуйста, моя дорогая,— сказал Хили, изображая виргинского джентльмена.— У меня в кармане целая пачка.— Он прошел через комнату, где на спинке стула висела его рубашка, вынул сигареты и спички, затем начал снимать рубашку со стула.

— Для Дорис вам одеваться не надо,— сказала Дорис. Она передернула худыми плечиками и томно улыбнулась Хили.— Я замужем и знаю, как выглядят мужчины.

Значит, она *об этом* думала, решил Уэсли, когда днем подмигнула Хили.

Хили галантно поднес Дорис спичку. Он предложил закурить и Уэсли. Уэсли сигареты не нравились, но он все же решил закурить — только потому, что находился в доме мистера Крейлера.

— Боже мой,— сказала Дорис, затягиваясь и выпуская дым кольцами.— Я снова в царстве живых. Бедный Макс. Он ничего особого собой не представлял, и чтобы испытать свой единственный миг славы, ему надо было появиться здесь мертвым. Да-а, епископу пришлось потрудиться, чтобы изобразить Макса героем.— Она сочувственно покачала головой, а затем в упор посмотрела на Уэсли.— А ты на самом деле такой плохой, как они о тебе говорят?

— Чистый дьявол,— сказал Уэсли.

— Могу себе представить. С такой внешностью. Говорят, ты гроза замужних женщин.

— Что?

— Просто хочу тебе посоветовать, потому что ты, по-моему, славный парень: скажи-ка некой миссис У., чтобы она сама вынимала по утрам письма из почтового ящика, а не ждала, когда это сделает ее муж.

— О чем это ты? — спросил Уэсли, хотя догадаться было нетрудно. Местные сплетники, должно быть, давно уже заметили велосипед с ящиком для продуктов перед домом миссис Уэрфем и сообщили об этом его матери.

— Пока вы ходили гулять по городу, ты был предметом семейного обсуждения,— сказала Дорис.— Во-первых, говорили о том, насколько ты отличаешься от Макса, причем не в лучшую сторону, могу тебе доложить.

— Еще бы,— отозвался Уэсли.

— Что касается твоего отца, то у твоей матери для него тоже не нашлось добрых слов,— продолжала Дорис.— Он, очевидно, был настоящим чудовищем, если хотя бы половина того, что она говорила, правда. А ты идешь по его стопам, сказала она, и во Франции был даже арестован за то, что по пьяной лавочке чуть не убил человека.

— Ого! — сказал Хили.— Неплохо, приятель.

— Дальше,— продолжала Дорис,— что ты, как и твой папочка, самый настоящий сексуальный маньяк. Взять хотя бы эту отвратительную миссис Уэрфем, которая годится тебе в матери, и один господь бог знает, в скольких домах ты еще бываешь и скольких хозяек обеспечиваешь не только продуктами.— Она захихикала, и ее отвисшие груди запрыгали под прозрачной ночной рубашкой.

— А знаете, меня осенила блестящая мысль,— сказал Уэсли. Он чувствовал, что задыхается в этой комнатенке, полной табачного дыма, в обществе кокетничающей полуголой злобной девки и ухмыляющегося солдата.— Вам двоим, наверно, есть о чем поговорить друг с другом...

— Молодец, Уэсли,— заметил Хили.

— Мне спать не хочется,— сказал Уэсли,— и я с удовольствием подышу воздухом, а что-нибудь через час вернусь.— Он их предупредил. Ему не хотелось застать их в постели, когда он вернется.

— А я выкурю еще одну сигарету,— сказала Дорис.— Мне что-то не хочется спать.

— Как и мне,— отозвался Хили.

Уэсли начал тушить свою сигарету, как вдруг дверь распахнулась. На пороге с каменным выражением лица стояла его мать. В наступившей тишине Тереза посмотрела сначала на него, потом на Хили, затем ее взгляд задержался на Дорис. Дорис хихикнула.

— Уэсли,— сказала мать,— я не отвечаю за поведение мистера Хили или дочери мистера Крейлера — она замужняя женщина. Однако за твое поведение я несу ответственность.— Она говорила свистящим шепотом.— Я не хочу будить мистера Крейлера, так что я очень вас прошу: говорите и ведите себя тихо. А тебя, Уэсли, я попрошу спуститься со мной вниз.

Такой официальный тон был еще хуже, чем истерика. Он пошел за ней по темной лестнице вниз, в гостиную. Флаг, накрывавший утром гроб, лежал на столе.

Она повернулась к нему, лицо ее исказилось.

— Позволь мне кое-что тебе сказать, Уэсли,— проговорила она все тем же свистящим шепотом.— Ничего более мерзкого я не видела за всю свою жизнь. Кто позвал туда эту проститутку — ты? Кто собирался спать с ней первый — ты или этот солдат? — От ярости она забыла все свои благочестивые эвфемизмы.— И это в ту самую ночь, когда сын ее отца и ее брат, отдавший жизнь за родину, только что предан земле.. Расскажи я мистеру Крейлеру, что творится в его доме, он тебя выпорет.

— Я ничего не собираюсь объяснять, мама,— сказал Уэсли.— А мистеру Крейлеру можешь передать, что если он посмеет до меня дотронуться, я его убью.

Она отпрянула, словно он ее ударил.

— Я не ослышалась? Ты сказал «убью», правильно?

— Правильно.

— У тебя всегда была душа убийцы. Мне надо было оставить тебя гнить во французской тюрьме. Там твое настоящее место.

— Не передергивай,— осадил ее Уэсли.— К тому, чтобы вытащить меня из тюрьмы, ты не имела никакого отношения. Это сделал мой дядя.

— Пусть твой дядя и берет на себя ответственность за все последствия.— Она подалась всем телом вперед, лицо ее было искажено.— Я сделала все, что от меня зависело, и потерпела неудачу. С этой секунды чтоб ноги твоей в этом доме не было. Никогда.

— Прекрасно. Как раз вовремя.

— И я предупреждаю тебя, что мой адвокат приложит все силы к тому, чтобы ты не получил ни единого цента из грязных денег твоего отца. При твоем прошлом совсем нетрудно будет убедить судью в том, что нет никакого смысла отдавать целое состояние в руки законченного убийцы. Прочь, убирайся отсюда, иди к своим проституткам и бандитам. Твой отец может тобой гордиться.

— Подавись ты этими деньгами!

— И это последнее слово, которое ты говоришь матери? — спросила она театрально.

— Да. Мое последнее слово.

Он вышел, а она продолжала стоять посередине гостиной, тяжело дыша, словно у нее вот-вот начнется сердечный приступ. Не постучав, он вошел в свою комнату. Дорис уже не было, Хили полулежал на высоко взбитых подушках. Он курил, по-прежнему без рубашки, но в брюках.

— Черт побери,— сказал он,— твоя мамаша ворвалась сюда в самый неподходящий момент.

— Да-а,— буркнул Уэсли, швыряя вещи в небольшую сумку.

Хили с любопытством наблюдал за ним.

— Куда это ты собрался, приятель?

— Куда глаза глядят. Прочь отсюда,— ответил Уэсли. Он заглянул в бумажник, чтобы убедиться, что список, к которому он постепенно добавлял все новые фамилии с тех пор, как вышел из тюрьмы, на месте. Он никогда не расставался с бумажником, чтобы мать не могла его обнаружить.

— Прямо ночью?

— Сию минуту.

— Да-а, я тебя понимаю. За завтраком здесь утром будет весело.— Он засмеялся.— В следующий раз, когда меня пошлют сопровождать гроб, я потребую полные биографические данные на всех членов семьи. Если будешь в Александрии, разыщи меня.

— Разыщу,— сказал Уэсли. Он огляделся, проверяя, не забыл ли что-нибудь важное. Вроде ничего не забыл.— Будь здоров, Хили.

— Будь здоров, приятель.— Хили стряхнул пепел сигареты на пол.— Не забудь, что́ я тебе говорил насчет Парижа.

— Не забуду.— Застегнув на молнию старую куртку, чтобы не замерзнуть на улице, он молча вышел из комнаты, спустился по темной лестнице и закрыл за собой дверь дома.

Подгоняемый ветром, он шел с сумкой через плечо по темной улице и вспоминал слова отца о том, что одним из лучших дней его жизни был тот день, когда он понял, что перестал ненавидеть мать. Но это наступило не сразу, сказал тогда отец.

«И у меня это наступит не сразу»,— подумал Уэсли.

А через день он был уже в Чикаго. В ту ночь он сидел в закусочной на окраине Индианаполиса, когда там появился шофер грузовика, сказавший девушке за стойкой, что едет в Чикаго. Можно начать и с Чикаго, подумал Уэсли и спросил шофера, не возьмет ли он его с собой. Шофер ответил, что будет рад компании, и если не считать того, что Уэсли пришлось выслушать рассказ водителя о том, как он мучается со своей семнадцатилетней дочерью, оставшейся дома в Нью-Джерси, Уэсли получил от поездки удовольствие.

Водитель высадил его недалеко от Ригли-филд, и, заглянув в свой список, Уэсли увидел адрес Уильяма Эббота. «Начну отсюда»,— подумал он и направился по этому адресу. Был уже почти полдень, однако Эббот все еще разгуливал в пижаме и потрепанном купальном халате. Его жалкая однокомнатная квартирка была завалена бутылками, пластмассовыми стаканчиками из-под кофе; возле пишущей машинки валялись газеты и скомканные листы бумаги.

Уильям Эббот, делавший вид, что знает о Томасе Джордахе больше, чем знал на самом деле, не произвел на Уэсли благоприятного впечатления, и он постарался как можно скорее уйти.

Следующие два дня он пытался найти какую-нибудь работу в супермаркетах, но им никто не требовался, да к тому же его всюду просили предъявить профсоюзную карточку. Деньги у Уэсли были на исходе, и он решил, что Чикаго не для него. Он позвонил за счет абонента дяде в Бриджгемптон предупредить, что едет к нему, потому что больше ехать было некуда.

Рудольф говорил с ним по телефону как-то странно, натянуто, словно боялся, что их подслушивают.

— В чем дело? — спросил Уэсли.— Если вы не хотите, чтобы я приезжал, я не приеду.

— Не в этом суть.— Рудольф был явно обеспокоен.— Два дня назад сюда звонила твоя мать, интересовалась, нет ли тебя здесь. У нее ордер на твой арест.

— *Что-о?*

— На твой арест,— повторил Рудольф.— Она думает, что я тебя где-то прячу.

— На арест? За что?

— Она говорит, что, уходя из дома, ты украл полтораста долларов из кувшина, что стоит над плитой на кухне и где она держит деньги на хозяйство. Грозится тебя проучить. А ты действительно взял эти деньги?

— Уж лучше бы я их взял,— с горечью отозвался Уэсли. «Проклятый Хилли,— подумал он.— Научился в армии пользоваться случаем. Или нет, наверно, эта дешевка Дорис».

— Я так или иначе все это улажу,— успокоительным тоном сказал Рудольф.— Но сейчас лучше тебе, пожалуй, не приезжать сюда. Тебе нужны деньги? Дай мне знать, где ты находишься, и я тебе переведу по почте.

— Да нет, ничего,— смутился Уэсли.— Если я буду в Нью-Йорке, я вам позвоню.— И не успел Рудольф что-либо сказать, как он повесил трубку.

«Вот этого кувшина в Индианаполисе мне только и не хватало»,— подумал он.

И тогда он решил отправиться в Нью-Йорк. В Нью-Йорке кроме Рудольфа у него еще были знакомые. Он припомнил славную девушку из журнала «Тайм», которая сказала, что, если ему понадобится помощь, он может обратиться к ней. И никому не придет в голову искать его в журнале «Тайм».

На следующее утро он был уже в пути.

2

После телефонного звонка из Чикаго он не разговаривал с дядей около двух месяцев.

Приехав в Нью-Йорк, он сразу же направился в редакцию к Элис Ларкин. После дней, проведенных в дороге, выглядел он, наверное, ужасно, потому что, когда он вошел к ней в закуток, она ахнула, словно кто-то вылил на нее ведро холодной воды. Несколько дней он почти ничего не ел, спал в кабинах грузовиков, был небрит, воротник его рубашки обтрепался, а брюки были в масляных пятнах после того, как он помогал одному шоферу под Питтсбургом менять колесо на огромном трайлере; в кармане у него оставалось сорок пять центов.

Оправившись от изумления, мисс Ларкин явно обрадовалась ему и сразу же потащила его в кафетерий, хотя он даже не успел сказать, зачем он к ней пришел.

Поев и почувствовав себя вновь человеком, он рассказал ей почти обо всем. Он старался делать вид, что все происшедшее с ним не имеет столь уж большого значения, шутил над своими злоключениями: ему не хотелось, чтобы эта милая девушка считала его великовозрастным младенцем. Разговаривать с ней было легко; глаза ее за стеклами очков смотрели внимательно.

Она не прерывала его, только время от времени вздыхала или качала головой в знак сочувствия или возмущения.

— И что ты намерен делать? — спросила она, когда он закончил свой рассказ.

— Я ведь говорил вам еще в прошлый раз, когда здесь был,— сказал он,— что мне уже давно хочется разыскать людей, которые знали моего отца, и понять, каким он им казался, ну, я имею в виду — разным людям в разные периоды его жизни. Я-то знал его меньше трех лет.—Он сейчас говорил очень серьезно, не стараясь казаться ни ироничным, ни взрослым.— И поэтому у меня в голове как бы пустота в том месте, которое он должен был бы занимать... вот я и хочу по мере возможности заполнить эту пустоту. Наверное, это все очень глупо звучит...

— Нет,— возразила она,— вовсе не глупо.

— Я говорил вам, что у меня есть список людей...— Он вынул из кармана бумажник и положил на стол мятый, протершийся на сгибах листок бумаги с фамилиями.— Журнал, наверное, может отыскать любого, кто им нужен,— сказал он,— вот я и подумал, что если это вас не слишком затруднит, то, может быть, в свободное время...

— Мы совсем не так всесильны, как тебе...— Она замолчала, заметив растерянность на его лице.— Я хочу сказать, не так все хорошо знаем, как ты думаешь, но разыскивать людей мы умеем.— Она заглянула в его список.— На это потребуется вре-

мя, и не могу ручаться, что я их *всех* найду, однако...— Она посмотрела на него с любопытством.— А ты остаешься в Нью-Йорке?

— Собираюсь.

— Где?

Он заерзал на стуле.

— Я пока еще нигде не остановился. Я, как приехал, пришел прямо сюда.

— Уэсли,— спросила мисс Ларкин,— ты можешь мне честно сказать, сколько у тебя денег?

— А какая вам разница? — насторожился он.

— Ты похож на огородное пугало,— ответила она.— А ел ты так, словно целую неделю у тебя и крошки во рту не было. Так сколько у тебя денег?

— Сорок пять центов,— растерянно улыбнулся он.— Наследник состояния Джордаха. Конечно,— поспешно добавил он,— я всегда могу позвонить дяде, и он мне поможет, просто сейчас мне не хочется к нему обращаться.

— Ты не будешь против, если я возьму этот список?— спросила мисс Ларкин.— Тебе, разумеется, придется сказать мне, кто эти люди и где приблизительно их можно найти...

— Пожалуйста.

— На это может уйти не одна неделя.

— Я не тороплюсь.

— И все это время ты собираешься жить на сорок пять центов? — сердито спросила она, точно он был в чем-то виноват.

— Что-нибудь подвернется,— ответил он неопределенно.— Не одно, так другое.

— А ты не обидишься, если я скажу, что кое-что *уже* подвернулось? — Неизвестно почему, она покраснела.

— Что именно?

— Я,— сказала она неожиданно громко.— Подвернулась я. А теперь слушай внимательно. У меня две комнаты с маленькой кухней. Есть вполне удобный диван, на котором ты можешь спать. Готовлю я не очень хорошо, но с голоду ты не умрешь...

— Я не могу на это пойти.

— Это почему же?

— Не могу — и все.— Он снова растерянно улыбнулся.

— У тебя есть какая-нибудь другая одежда?

— Есть чистая рубашка, пара носков и кое-какое белье. Я оставил их внизу у вахтера.

Она строго кивнула.

— Есть чистая рубашка,— повторила она.— Насколько я могу судить, эти люди в твоем списке разбросаны по всей стране...

— Правильно. Мой отец не сидел на месте.

— И ты намерен разъезжать по всем Соединенным Штатам, заходить в дома этих людей и задавать им самые интимные вопросы, имея за душой лишь одну чистую рубашку?

— Я об этом особенно не раздумывал,— сказал он, защищаясь.

— Считай себя счастливым, если тебе в таком виде удастся пройти хотя бы мимо собаки,— сказала она.— Не могу понять, как тебя сюда-то пропустили.

— Последние несколько дней я не смотрел на себя в зеркало,— признался он.

— Я тебе сейчас скажу, что́ я собираюсь с тобой делать,— заявила она с уверенностью, которой вовсе не испытывала.— Ты остановишься у меня, и я одолжу тебе денег, чтобы ты купил себе приличную одежду и...

— Я не могу вам это позволить.

— Безусловно можешь,— сказала она твердо.— Ты слышал, я сказала «одолжу»?

— Одному богу известно, когда я получу свои деньги и вообще получу ли.

— Я могу подождать.

Он глубоко вздохнул. Она видела, какое облегчение он почувствовал.

— Не понимаю, почему вы ко мне так относитесь. Вы ведь меня почти не знаете...

— Знаю достаточно, чтобы так к тебе относиться.— Она тоже вздохнула.— Я хочу быть честной с тобой и потому открою тебе один секрет. Я поступаю так вовсе не

из соображений благотворительности. У меня есть на то особая причина. Чисто личная, эгоистическая причина поступать таким образом, и лучше, если ты о ней узнаешь сразу же. Я только надеюсь, что ты не обидишься.

— Как я могу обижаться на человека, который готов приютить меня и пристойно одеть?

— Я тебе все скажу. Когда ты ушел в прошлый раз... Нет, лучше я начну с самого начала. Как почти все, кто работает в нашем журнале, я тоже хочу писать. Я считаю, что мой жанр — это роман. Когда я тебя встретила, у меня было написано шестьдесят страниц романа. А когда ты ушел, я отправилась домой и сожгла их.

— Почему? И какое это имеет ко мне отношение?

— Самое непосредственное. После всех моих розысков и твоего рассказа я поняла, что пишу сплошную чепуху. Все это поверхностно и вторично. И я решила написать о молодом парне, у которого убили отца..

— Ничего себе,— проговорил Уэсли. Теперь он смотрел на нее уже настороженно.

— Этот молодой парень,— продолжала она, избегая его взгляда и опустив глаза,— хочет узнать, кто это сделал, почему, как прожил свою жизнь его отец... Он не знал отца, потому что его родители развелись, когда он был еще ребенком, и отец уехал. Можешь не беспокоиться: убийство происходит не в Европе, я о Европе ничего не знаю, ни разу там не была. Но, в общем, сюжет не очень отличается от того, что ты...

— Понятно.

— Так что теперь ты знаешь, в чем заключается моя особая причина.

— Ясно.

— Ты будешь все время рядом, я смогу тебя изучать, а также помогу тебе найти всех людей. Словом, это можно рассматривать как взаимную помощь. Это будет тебе неприятно?

— Не думаю,— пожал плечами Уэсли.— Хотя я не очень-то представляю себя героем какой-нибудь книги.

— А от тебя этого и не требуется,— сказала мисс Ларкин.— Я буду рассматривать тебя как литературный образ и брать только те черты, которые мне нужны и которые я смогу использовать.

— А что, если окажется, что я не стою всех ваших хлопот?

— Риск невелик.

— А чем кончится ваша книга? — с любопытством спросил Уэсли.— Он найдет убийцу?

— В конечном счете да.

— И что он тогда делает?

— Он мстит за отца.

— В книге получается все просто, правда? — грустно усмехнулся Уэсли.

— Нет, тоже непросто.

— А что дальше будет с этим парнем?

Она снова вздохнула.

— Его убивают.

Уэсли, не глядя на нее, с отсутствующим видом постукивал пальцами по столу.

— Звучит логично,— сказал он.

— Но это же вымысел.

— Ничего себе вымысел!

— Если ты имеешь дело с писателем,— сказала она серьезно,— или хотя бы с человеком, который *считает себя* писателем, надо быть готовым к тому, что у тебя попытаются украсть частицу твоей души.

— А я и не знал, что у меня есть душа,— отозвался Уэсли.

— Об этом позволь судить мне,— заявила Элис.— Слушай, если все это кажется тебе неприятным и глупым, ты не обязан соглашаться.

— Но вы же все равно будете писать эту книгу?

— Попытаюсь.

— Тогда какая разница.— Он улыбнулся.— Если у меня действительно есть душа, я могу пожертвовать какой-то ее частицей, чтоб хватило на несколько страничек книги.

— Вот и отлично,— сказала она деловым тоном, хотя руки ее дрожали. Она покопалась в сумочке.— Мне надо приниматься за работу. Вот тебе моя кредитная карточка в магазине «Блумингдейл». Он на углу Пятьдесят девятой улицы и Лексингтон авеню.— Говоря это, она писала что-то на бланке «Тайма».— Предъявишь эту записку вместе с карточкой, чтоб они знали, что я дала тебе право ею пользоваться. Купи себе пару рубашек и фланелевые брюки. Покупки пусть доставят ко мне домой, чтобы было ясно, что это мой заказ. В таком виде ты не можешь ходить. К шести часам возвращайся, и я отвезу тебя к себе. Да, тебе ведь нужны деньги на автобус.— Она снова порылась в сумочке и дала ему пять долларов, долларовыми бумажками и мелочью.

— Спасибо. И не забудьте: все, что вы мне даете, это только взаймы. Когда мне стукнет восемнадцать, я получу тысяч тридцать долларов.

— Не забуду.

— Нет, вы запишите. Пять долларов и число.

Она скорчила гримасу.

— Пожалуйста, если хочешь.— Она взяла ручку и записную книжку. Затем через стол толкнула книжку к нему.— Удовлетворен?

Он серьезно посмотрел на открытую страницу записной книжки.

— Порядок.

Она положила записную книжку обратно в сумочку.

— Теперь, когда я стал литературным образом, должен ли я как-то по-особому себя вести? Следить за тем, как я выражаюсь, или, может быть, спасать попавших в беду девиц, или что-нибудь еще делать?

— Можешь вести себя как хочешь,— сказала она. Поняв, что он шутит, она засмеялась.— Только не старайся казаться умнее, чем ты есть.

Сейчас он ехал в Порт-Филип. Можно начать там, откуда все пошло, сказал он Элис, когда она выяснила, что Теодор Бойлан еще жив и по-прежнему живет в Порт-Филипе. Отец говорил Уэсли, что Бойлан был связан с их семьей, а Порт-Филип находится всего лишь в двух часах езды поездом от Нью-Йорка.

Теперь Уэсли был хорошо одет: фланелевые брюки, спортивный пиджак и отличные коричневые ботинки из «Блумингдейла». Элис настояла на том, чтобы он подстригся — пусть некоротко, но подровнял волосы. Она, как видно, была довольна, что он крутится в ее маленькой квартирке в Западной части города, неподалеку от Сентрал-парка. Она говорила, что ей уже стало тоскливо жить одной, а теперь, после работы, она спешит домой, зная, что он там. Когда за ней заходили молодые люди, чтобы вместе куда-нибудь пойти, она представляла его как приехавшего на несколько недель кузена со Среднего Запада.

В ожидании, пока Элис раздобудет для него нужные сведения, Уэсли с наслаждением бродил по городу. Он посмотрел много фильмов, побывал в «Радио-Сити» и в здании Организации Объединенных Наций, окунулся в пеструю, бьющую ключом жизнь Бродвея. Иногда Элис водила его в театр, который открыл для него новый мир: он никогда раньше не видел настоящего, живого представления.

Когда она в своей комнате стучала на машинке, он старался ей не мешать. Она никогда не предлагала ему прочитать то, что она написала, а он, в свою очередь, не задавал ей никаких вопросов. Порой, читая какой-нибудь журнал, прислушиваясь к стуку пишущей машинки, он испытывал странное чувство — ведь кто-то рядом писал о нем или по крайней мере придумывал человека, очень на него похожего. Иногда Элис выходила из комнаты и долго молча на него смотрела, словно изучала его, стараясь проникнуть в ход его мыслей, а затем возвращалась к себе и снова садилась за машинку.

Каждый раз, когда они ходили в театр или в кафе, он заставлял ее записывать истраченную на билеты или на ужин сумму.

Поезд с грохотом мчался вдоль Гудзона на север. Был ясный, солнечный день, река казалась прозрачной и чистой, и Уэсли думал о том, как хорошо было бы иметь маленькую яхту и плыть по этим просторам вверх, мимо зеленых отвесных скал, маленьких сонных городков, подходить ночью к причалу, высаживаться и смотреть, как там живут люди.

В Оссининге он увидел тяжелую, мрачную громаду тюрьмы Синг-Синг, и сердце его сжалось от ощущения близости с томящимися там людьми, которые смотрят в зарешеченные окна вниз, на великую свободную реку и ведут счет годам. «Никогда,— подумал он,— никогда так не будет со мной. Что бы ни случилось».

Приехав в Порт-Филип, он взял на станции такси и сказал: «В особняк Бойлана». Водитель, включая зажигание, посмотрел с любопытством на него в зеркальце.

— Я туда уже лет десять никого не возил. Собираешься там работать?

— Нет,— ответил Уэсли.— Еду в гости.

Таксист издал какой-то неопределенный звук. Трудно было понять, то ли он кашлянул, то ли хмыкнул.

Когда они проезжали через город, Уэсли смотрел в окно. Городок был обветшалый, улицы грязные, словно, убедившись в безнадежности своих попыток хоть немного приукрасить город, жители давным-давно махнули на него рукой. Почему-то город привел ему на ум бродяг, которые спят на скамейках в парке, а стоит их растормошить, говорят как люди, окончившие колледж.

Ворота во владения Бойлана были сломаны и сорваны с петель, дорога, ведущая по холму вверх к дому, вся в рытвинах, лужайки заросли высокой травой, живые изгороди не подстрижены. А сам дом показался Уэсли уменьшенной копией Синг-Синга.

— Подождите минуту,— попросил он водителя, выходя из такси и расплачиваясь с ним.— Еще неизвестно, впустят ли меня.— Он нажал кнопку звонка у парадной двери. В доме стояла мертвая тишина; он подождал, затем снова позвонил. Ожидая у двери, он огляделся. Сорняки на лужайке доходили почти до пояса, лозы дикого винограда оплели стены сада.

Прошло еще минуты две, и он уже собрался вернуться к такси, когда дверь открылась. С порога на него смотрел сгорбленный старик в полосатом жилете дворецкого.

— Что вам угодно?

— Мне хотелось бы поговорить с мистером Бойланом,— ответил Уэсли.

— Как прикажете доложить?

— Мистер Джордах.

Подавшись всем телом вперед, чтобы лучше его разглядеть, старик настороженно смотрел на него.

— Я узнаю, дома ли мистер Бойлан,— сказал он и закрыл дверь.

Таксист нетерпеливо посигналил.

— Подождите, пожалуйста, еще минуту,— крикнул Уэсли.

Вскоре дверь снова отворилась.

— Мистер Бойлан сейчас вас примет,— сказал старик.

Уэсли взмахом руки отпустил таксиста, и машина, рванувшись с места, промчалась по изрезанному рытвинами кругу перед домом и понеслась вниз с холма к городу.

Старик провел Уэсли по длинному темному холлу и открыл дверь.

— Прошу вас, сэр,— сказал он, пропуская его вперед.

Уэсли вошел в большую комнату, в которой тоже было темно, потому что окна были закрыты тяжелыми занавесями, хотя стоял прекрасный солнечный день. В глубоком кожаном кресле сидел человек и читал книгу. За столиком возле одного из выходивших на террасу окон, куда проникали слабые лучи солнечного света, друг против друга с картами в руках расположились две молодые женщины. Когда Уэсли вошел, они с любопытством на него посмотрели. Хотя время близилось к полудню, они были в ночных рубашках и наброшенных сверху пеньюарах со множеством рюшей.

Человек в кожаном кресле медленно встал и аккуратно положил книгу переплетом вверх на подлокотник.

— Мистер Джордах? — Голос у него был тонкий и сухой.

— Да, сэр.

— Джордах,— повторил мужчина.— Эта фамилия мне известна.— Он как-то неприятно хихикнул.— Я — Теодор Бойлан. Присаживайтесь.— Он указал на такое же кресло с подлокотниками, стоявшее напротив того, в котором он сидел. Руки он не протянул. У него были очень светлые волосы, которые он явно красил, морщинистое лицо, на котором дрожала каждая мышца, острый нос и мутные глаза.

Уэсли сел, испытывая неловкость под взглядами этих двух женщин и мысленно желая, чтобы их здесь не было.

— Чье же это ты отродье? — спросил Бойлан, снова усаживаясь.— Принца торговли или отпетого головореза?

— Мой отец — Томас Джордах.

— Ныне покойничек,— кивнул Бойлан, словно выражал одобрение такому ходу событий.— Недолго пожил в этом мире. Так ему на роду было написано. Убит,— он обращался теперь к женщинам у окна,— в прекраснейшей из стран.— Он злобно прищурился, глядя на Уэсли.— Что тебе здесь надо?

— Видите ли,— начал Уэсли,— мне сказали, что вы хорошо знали нашу семью...

— Очень хорошо знал,— ответил Бойлан.— Слишком хорошо. — И он снова обратился к женщинам у окна: — Тетка этого молодого человека, когда я ее встретил, была девственницей. А когда от меня ушла, то уже ею не была. И можете себе представить, был такой момент, когда я предлагал ей руку и сердце. Она мне отказала.— Он повернулся к Уэсли.— Она тебе об этом рассказывала?

— Нет.

— Они тебе о многом, наверное, не рассказывали. Твоя тетка и твой дядя, бывало, с большим удовольствием наведывались в этот дом. Тогда он был в лучшем состоянии. Да и я тоже.— Он снова хихикнул.— Я научил их многому, когда они были молоды и голодны. Свои первые уроки они получили вот в этом доме. И ни разу за многие годы не пришли навестить старика. Все же, как видите, молодой человек, у меня тут есть компания...— Он махнул рукой в сторону двух женщин, которые снова занялись картами.— Молодые красотки,— ухмыльнулся он,— вот оно, преимущество богатства: можно купить молодость. Приходят и через два-три месяца уходят, отбирает их для меня моя старинная приятельница — хозяйка одного из заведений в Нью-Йорке, которая не перестает удивляться их рассказам о неутолимом аппетите старика.

— Да брось ты, Тедди,— сказала одна из них, тасуя карты.

— Девочки,— сказал Бойлан,— я был бы вам очень признателен, если бы вы на некоторое время оставили мужчин.

— Пойдем, Элли,— сказала все та же, вставая,— его опять понесло.

Другая женщина тоже поднялась, и они обе направились к двери, покачивая бедрами и постукивая по паркету каблучками туфель без задников.

— В наемном труде есть одно огромное преимущество,— сказал Бойлан, когда женщины вышли, затворив за собой тяжелую дверь.— Те, кто на тебя работает, проявляют покорность. А когда становишься старым, то ценишь это качество выше всех остальных. Итак, молодой человек, вас интересуют корни вашей благородной семьи...

— По сути дела,— сказал Уэсли,— меня интересует главным образом мой отец...

— Он мне известен лишь своими поступками,— перебил его Бойлан,— но Гретхен и Рудольфа я знал, пожалуй, слишком хорошо. Твой дядя Рудольф с самого младенческого возраста страдал от широко распространенной в Америке болезни — его интересовали только деньги. Я пытался руководить им, я указал ему путь к достижению высокого положения, к пониманию прекрасного в жизни, но у него в крови бушевала страсть к всемогущему доллару. Я предупреждал его, что он губит себя, но болезнь его была неизлечимой...— Бойлан потер средним пальцем руки о большой.— Звон монет был в его ушах божественной музыкой. Не удовлетворившись состоянием, которое он нажил сам, он женился на больших деньгах, и в конце концов это его и прикончило. Его судьба была предрешена, я предостерегал его, но он слышал лишь звуки золотой арфы — Он ликующе рассмеялся, а затем, немного успокоившись, продолжал более сдержанным тоном: — Он был человеком, у которого отсутствовало одно из основополагающих качеств — чувство благодарности. Ему пришлось заплатить за это дорогой ценой, но мне его не жаль.

— Послушайте, мистер Бойлан,— холодно сказал Уэсли,— я пришел сюда не...

— А что касается Гретхен,— продолжал Бойлан, словно не слыша его слов,— она была самой хорошенькой девушкой в городе. Расцвела словно пион на навозной куче. Застенчивая была такая, глазки опущены, скромница. Вначале. А потом нет. Могла бы вести безбедную жизнь, пользоваться уважением, путешествовать; я готов был предложить ей все что угодно. Однажды я купил ей ярко-красное платье. И когда она входила, отбрасывая вокруг красные блики, у всех, кто ее видел, дыхание перехватывало.— Он пожал плечами.— Мое предложение она отвергла с презрением. Ей нужны были легкие победы над молодыми людьми, красивые слова и постель, постель... Своей необузданной чувственностью она себя погубила. Если увидишь ее, пожалуйста, не забудь передать ей все, что я сказал, слово в слово.

«Маразм,— думал Уэсли,— полный маразм и потрясающее умение болтать языком». Он старался выкинуть из головы образ своей тетки Гретхен, входящей в комнату в красном платье, купленном этим сумасшедшим стариком.

— Я пришел сюда,— упрямо опять начал Уэсли,— чтобы узнать, что мой отец...

— Твой отец,— сказал Бойлан презрительно,— преступник и поджигатель, и место ему было за решеткой. Он приходил сюда шпионить за своей сестрой. Он установил на холме крест и поджег его, потому что в один из своих приходов он обнаружил, что сестра его находится наверху в моей постели, а я в этой самой комнате, голый, наливаю для нее виски. Горящий крест! Символ фанатизма и невежества! — Бойлан выплевывал слова, вновь переживая оскорбление, нанесенное ему у порога собственного дома.— Все это, конечно, выяснилось много лет спустя: мальчишка, который был его сообщником — его зовут Клод Тинкер, и он теперь уважаемый человек в городе,— сам признался мне в этом за превосходным обедом в моем же доме. Твой отец! — Бойлан сморщил свой длинный, тонкий, по-старчески багровый нос.— Счастливо избавился, я бы сказал. Я следил за его карьерой. Как и следовало ожидать, ему ничего не удалось, даже остаться живым.

Уэсли встал.

— Весьма благодарен вам, мистер Бойлан,— сказал он, чувствуя страшную ненависть к этому человеку.— С меня достаточно. Я ухожу.

— Как вам угодно,— безразличным тоном сказал Бойлан.— Вы знаете, где выход. Я полагал, что вы хотите услышать правду — в вашем возрасте правда часто является лучшим наставником. Я слишком стар, чтобы лгать или нянчиться с молодым забулдыгой только потому, что когда-то проявил участие к его родственникам.— Он взял свою книгу и снова принялся за чтение.

А Уэсли, выйдя из комнаты и направляясь быстрыми шагами к входной двери, думал: «Отцу не то что крест, а все это проклятое место поджечь следовало. Вместе с этим сукиным сыном».

Несколько миль до станции он прошел пешком и как раз успел к поезду.

Элис ждала его с ужином. Она видела, как стиснуты его губы, напряжен подбородок. Они поели молча. Она не спросила его, как прошла поездка в Порт-Филип.

■ ■ ■

Элис сообщила ему, что тот самый Доминик Джозеф Агостино, который в двадцатые — тридцатые годы выступал на ринге под именем Джо Агоса и имел кличку Бостонский Красавчик, а затем был тренером в спортивном клубе, когда там работал Томас Джордах, еще жив и трудится на прежнем месте. Том Джордах говорил Уэсли, что Доминик хорошо к нему относился, не уволил его с работы, когда его обвинили в воровстве в раздевалке клуба, и даже убедил выступать на любительских рингах. Учитывая все происшедшее, рассказывал Томас сыну, он ничуть не жалел, что занялся боксом, несмотря даже на то, что в конце концов из-за этого превратился в бродягу. «Я получал удовольствие от бокса,— говорил Томас сыну.— Да к тому же за это еще и платили. Во всяком случае первое время». По словам отца, у Агостино была одна замечательная черта. С членами клуба, с которыми он боксировал, он был вежлив, как горничная какой-нибудь леди. Он всегда говорил им комплименты, объяснял, как хорошо у них все получается и как растет их умение в том, что он величал Искусством. При этом он умудрялся ни на секунду не выдать своего сокровенного и давнишнего желания — взорвать этот клуб вместе со всеми его членами, роскошными помещениями и написанными маслом портретами старой бостонской аристократии.

«Вот кто умел себя вести,— говорил Томас восторженно,— и он многому научил меня».

Уэсли взял билет на рейс из аэропорта Ла-Гуардия в Бостон и обратно — тридцать шесть долларов в оба конца, как он записал в заведенную им теперь книжечку, чтобы проверять, не обсчитывает ли себя Элис, одалживая ему деньги. Полет был бы весьма приятным, если бы не сидевший рядом с ним бывший парашютист, который, едва самолет вырулил на взлетную полосу, начал потеть и впиваться ногтями себе в ладони, а когда они взлетели, без конца приставал к Уэсли:

— Прислушайся к звуку левого двигателя. Мне этот звук не нравится, мы непременно разобьемся, а они там, в кабине пилота, и в ус не дуют.

Чем больше о чем-нибудь знаешь, думал Уэсли, тем меньше испытываешь от этого удовольствия.

Самолет не разбился, и, как только они оказались на земле, бывший парашютист перестал потеть, а когда они выходили из самолета, уже ничем не отличался от остальных пассажиров.

В клубе «Ревир» сидевший у входа старик довольно странно посмотрел на Уэсли, когда тот спросил, не может ли он поговорить с мистером Агостино.

— Я и есть мистер Агостино,— представился старик. Он говорил сиплым шепотом, а сам он был маленький и костлявый, униформа швейцара висела на нем как мешок, и на жилистой шее вверх и вниз ходил большой кадык.

— Тот самый, что работал в спортивном зале?

— Тот самый.— Старик подозрительно его рассматривал.— Я уже лет пятнадцать там не работаю. Стар стал, черт подери. К тому же еще и артрит. Вот и сделали меня швейцаром. По их сердечной доброте. А о чем ты хочешь поговорить с Агостино?

Уэсли назвал свою фамилию.

— Сын Томми Джордана? — сухо сказал Агостино.— Подумать только! Я его помню. Его вроде убили? Я где-то об этом читал.— В сиплом шепоте с сильным южнобостонским акцентом не было никаких эмоций. Если эта фамилия и пробудила какие-то приятные воспоминания в лысой голове, украшенной несколькими тонкими седыми волосками, то он этого не выдал.— Ищешь работу? — спросил он осуждающе и взглядом профессионала окинул Уэсли.— Хорошо сложен. Хочешь пойти на ринг или еще чем заняться?

— Я не боксер,— ответил Уэсли.

— Ну и хорошо. В нашем клубе боксом больше не занимаются. Решили, что для джентльменов это не спорт, когда в нем появились черные и все прочие. Теперь, когда надо разрешить спор, судятся друг с другом.— Он засмеялся, выпуская со свистом воздух сквозь щербатые зубы.

— Мне просто хотелось поговорить с вами несколько минут об отце,— сказал Уэсли,— если у вас есть время.

— Твой отец... м-м-м. У него был хороший удар правой. А левую ему можно было привязать за спину — толку от нее не было. Один раз я видел, как он выступал на профессиональном ринге. Уложил противника нокаутом. Но после боя я ему сказал: «Первоклассным боксером ты не станешь, пока не научишься работать левой» Наверно, он так и не научился. Хотя сейчас мог бы изрядно подзаработать, потому что белый. Он был неплохой парень, твой отец. Была в нем, я подозревал, какая-то воровская жилка, не то чтобы я ставил это ему в укор — в этом заведении стены все равно что долларовыми бумажками оклеены. После того как он ушел, рассказывали тут всякие истории. Будто бы он шантажировал одного из членов клуба, адвоката, чтоб он сдох, и получил от него пять тысяч долларов. Папаша адвоката про это разнюхал и всем рассказывал, что его бедный сынок болен, страдает клептоманией. В клубе то и дело пропадали деньги, и я думаю, твой отец однажды застукал этого адвоката и заставил заплатить за молчание. Отец твой когда-нибудь об этом рассказывал?

— Рассказывал,— ответил Уэсли.— Он говорил, что это был его счастливый день.

— Неплохие деньги, пять тысяч, а? Что он с ними сделал?

— Купил акции,— сказал Уэсли.— Вернее, его брат купил. И в конце концов приобрел на них яхту.

— Об этом я тоже читал в журнале,— вспомнил Агостино.— Яхта! Подумать только! Недурно иметь такого брата. Подонок подонком, а оказался владельцем яхты! — Он покачал головой.— Я отлично с ним ладил, угощал его пивом! Я и не очень удивился, когда его убили. Да-а, я охотно с тобой поболтаю, если только, кроме этого, тебе от меня ничего не нужно...— В голосе его появились нотки подозрительности.— Но ни в какой фонд памяти Тома Джордана я жертвовать не собираюсь, если ты за этим сюда явился.

— Да нет, мне ничего не надо. Я хочу только немного поговорить.

— Пожалуйста,— кивнул Агостино.— У меня сейчас будет пятнадцатиминутный

перерыв. Меня здесь подменит один официант из нашего ресторана. Тут рядом есть пивная. Вот там и встретимся. Ты угощаешь.

К столику подошел полный джентльмен в черном пиджаке с бархатным воротничком.

— Добрый день, Джо. Есть для меня какие-нибудь письма? — спросил он.

— Добрый день, мистер Сондерс,— ответил Агостино, слегка кланяясь.— Очень приятно видеть вас здесь снова. Вы уже теперь совсем выписались из больницы?

— Да, до следующего раза,— ответил полный джентльмен и засмеялся.

Агостино хрипло засмеялся вместе с ним.

— Возраст, Джо, возраст,— сказал джентльмен.

— Печально, но правда,— подтвердил Агостино. Он повернулся к стене с открытыми ячейками и протянул руку к отделению, помеченному буквой «С», а Уэсли направился к выходу.

Они сидели за стойкой в глубине темного бара и пили пиво.

— Больше всего мне запомнился день,— рассказывал Агостино,— когда я разминался с одним из членов клуба — здоровый такой парень, молодой, лет двадцати пяти — двадцати шести, из старой, чтоб они, гады, провалились, бостонской семьи.— В голосе его, в его все еще горящих, черных как уголь глазах уроженца Сицилии была неподдельная ненависть.— Победитель какого-то чемпионата этих ихних колледжей. Красивый парень по фамилии Грининг. До сих пор помню эту фамилию. Так вот, этот Грининг считал, что сильнее его никого нет, был он в полутяжелом весе, а я в ту пору все еще весил сто тридцать шесть — сто тридцать восемь фунтов. И этот сукин сын — с лица у него никогда не сходило выражение превосходства,— этот сукин сын со всей силы апперкотом дает мне в подбородок. Я думал, челюсть всмятку. Я в тот день был сильно простужен, но работал в зале, соблюдая, как всегда, осторожность. Ведь если, черт побери, ударишь какого-нибудь члена клуба посильнее, чем гладишь кошку, не успеешь и глазом моргнуть, как вылетишь отсюда. А уж если из их благородных носов вытечет хоть капля крови!.. А этот сукин сын свалил меня с ног, чуть зубы все не выбил — во рту кровь, дышать не могу, а он потом будет смеяться в баре с другими такими же пижонами-кровососами, ублюдками проклятыми.— Агостино покачал головой — на лысине взлетели жалкие остатки волос — и провел рукой по костлявой челюсти, словно снова хотел убедиться, не сломана ли она; его скрипучий и возмущенный старческий голос на мгновение смолк. Глядя теперь на него, Уэсли не мог представить себе, что этот человек был когда-то молодым, легко двигался по рингу, наносил удары. «Одно я знаю точно,— думал он, наблюдая, как Агостино с шумом втягивает в себя пиво,— ни за что на свете не хочу быть таким старым».

— Но после этого,— продолжал Агостино,— я получил истинное наслаждение. Грининг разозлился, что тренировка сорвалась, заявил, что зря только разделся, и спросил твоего отца, не хочет ли он провести с ним раунд-другой. Я подал твоему отцу знак, и он надел перчатки. Ну, парень, на это было любо смотреть. Правда, сначала твой отец получил пару крепких ударов в голову, прежде чем с ним справился. Этот засранец и его хотел разделать. Но потом Томми просто принялся молотить Грининга, они позабыли про раунды и схватились всерьез. И тут я почувствовал, что твой отец мстит за меня, за всю мою вшивую жизнь. И в конце концов он так ему врезал, что отпрыск старой бостонской семьи стал ходить по кругу с остекленевшими глазами, словно пьяный комик. Том уже готовился прикончить его, но тут я вмешался. Я не беспокоился за Тома, он знал, что делает, а мне приходилось думать о своей работе. И вот мистер Грининг, сэр, вернулся в царство живых, вся его паршивая гарвардская рожа была измазана кровью. Он просто вышел и даже не сказал «спасибо». У твоего отца не было никаких сомнений. «Прощай моя работа в клубе»,— сказал он. «Очень может быть,— сказал я ему.— Но такой бой стоит этого. По крайней мере для меня».— Агостино весело засмеялся при воспоминании об этих далеких счастливых минутах.— А через четыре дня мне велели его уволить. Помню, я сказал ему напоследок: «Никогда не доверяй богачам», так ему и сказал.— Он взглянул на часы над стойкой.— Мне пора. Приятно было с тобой познакомиться, сынок. Спасибо за пиво.— Он взял со стойки свою форменную фуражку и очень прямо надел ее. Она была ему велика, и его бледное худое лицо под ней

походило на личико отощавшего от голода ребенка. Он уже было направился к двери, но тут же вернулся.— Я тебе вот что скажу, сынок: многих следовало бы убить, прежде чем очередь дошла бы до твоего отца.

Он потащился к выходу, шаркая ногами,— сгорбленный, страдающий артритом старый боксер,— чтобы занять свое место за конторкой в клубе, где он будет до конца дней своих раздавать почту и подобострастно улыбаться, а в своей сицилийской душе вынашивать мечты о мести и уничтожении.

■ ■ ■

Когда Уэсли вечером вернулся в Нью-Йорк, Элис сразу увидела, что он совсем в другом настроении, чем после визита к Бойлану в Порт-Филип.

— Этот Агостино,— рассказывал он ей, помогая в кухне готовить ужин, что заключалось главным образом в том, что он ставил на стол тарелки и раскладывал вилки и ножи,— удивительный, чудаковатый старик. Ради него стоило туда съездить.— А потом пересказал ей как можно точнее все, что узнал от старого боксера. Она несколько раз заставила его повторить отдельные фразы — «прямо слово в слово, если можно, Уэсли»,— как будто пыталась их запомнить, услышать голос старика, ритм его речи и представить себе его.

— Дома в Сицилии,— сказала она,— он, вероятно, сжигал бы поля и похищал principessas [1]. Бедняга застрял в Бостоне, выдает почту. А я сегодня раздобыла для тебя еще кое-какие новости. Я послала в Элизиум, штат Огайо, письмо одному старому газетчику, который для нас пишет, когда в тех местах происходит что-нибудь интересное, и он разыскал Клотильду.

— Каким же образом он это сумел? — спросил Уэсли, хотя, после того как Элис обнаружила местопребывание Доминика Джозефа Агостино, он начал верить, что от журнала «Тайм» никому не укрыться.

— Дело в том, что несколько лет назад в Элизиуме был громкий бракоразводный процесс,— сказала Элис,— респектабельного бюргера Хэролда Джордаха — фамилия, я полагаю, тебе знакомая?..

— Ну и что было дальше?

— Его жена потребовала развода, потому что она застала его в постели со служанкой. В Элизиуме это было крупное событие, и наш корреспондент — его фамилия Фаррелл, ты сможешь разыскать его там, если у тебя останется время,— писал об этом для местной газеты. Фаррелл сказал, что жена отхватила все — дом, половину дела, алименты, а той женщине досталось лишь презрение общества этого маленького богобоязненного городишка. Во всяком случае ты можешь догадаться, кто была эта женщина, застигнутая in flagrante delicto [1].

— Кто? — спросил Уэсли, хотя уже догадался, как зовут женщину и даже что значит in flagrante delicto.

— Клотильда,— победоносно произнесла Элис.— Клотильда Деверо. У нее прачечная как раз на той улице, где находится газета Фаррелла. Я записала адрес.

— Завтра я уезжаю в Огайо.

Он стоял на сонной улочке перед прачечной. С автобусной станции он позвонил в гараж Джордаха, предполагая повидаться с Хэролдом Джордахом, своим дальним родственником, прежде чем начать разыскивать Клотильду Деверо. Тогда с неприятной частью его путешествия будет покончено. Когда Хэролд Джордах наконец подошел к телефону и Уэсли сказал ему кто он такой, Хэролд закричал в трубку:

— И дела с тобой не желаю иметь. И вообще ни с кем из вашей семьи.— Он говорил как-то странно, следы немецкого акцента из-за высокого тембра голоса стали заметнее.— На всю жизнь хватит с меня неприятностей от этих проклятых Джордахов, даже если я до девяноста лет доживу. И близко не смей подходить к моему дому, не то натравлю на тебя полицию. И вообще я не хочу иметь ничего общего с сыном человека, который опозорил мой дом. Единственно, что я могу сказать хорошего о твоем отце — это то, что он умер. Ты меня слышишь?

— Слышу.— сказал Уэсли и повесил трубку. Он вышел из телефонной будки, покачивая головой. Его поразила аккуратность и чистота городка — подстриженные

[1] Принцесс *(итал.)*.

[2] На месте преступления *(лат.)*.

газоны, беленькие домики в стиле Новой Англии, деревянные церкви с тонкими шпилями, и он подумал о том, как в таком приятном месте человек может так долго копить злобу. Направляясь к прачечной, адрес которой дала ему Элис, он не спеша размышлял над тем, смогли бы поладить между собой его мать и этот его родственник Хэролд Джордах.

Прачечная ничем не отличалась от любой другой стандартной прачечной самообслуживания — огромное зеркальное окно, за ним ряды стиральных машин и складные стульчики, на которых сидели женщины, ожидая, когда их белье постирается.

Он стоял возле прачечной и не решался войти. В голосе отца, рассказывавшего о Клотильде, о ее красоте и мягком характере, звучали такие грустные нотки тоски и сожаления, что он не мог вот так просто пройти мимо жужжавших машин и сплетничавших женщин к прилавку, где стояла коренастая, небольшого роста женщина, раскладывавшая чужое белье, и сказать: «Я сын своего отца. Он рассказывал мне, что много лет назад, когда был в моем возрасте, очень вас любил».

Но не затем же он проделал весь путь от Нью-Йорка до Огайо, чтобы глазеть в окно. Он выпрямился и вошел, не обращая внимания на любопытные взгляды.

Женщина стояла к нему спиной, укладывая на полки пакеты с чистым бельем. Ее смуглые руки были обнажены, и он заметил, какие они сильные и полные. Черные как смоль волосы, небрежно заколотые на макушке, открывали шею, и когда она брала и клала на полку очередной пакет с бельем, он видел, как напрягались крепкие мышцы. На ней было свободное пестрое платье, в котором ее спина и плечи казались шире, чем они, по-видимому, были на самом деле. Он ждал, когда она кончит раскладывать белье и обернется.

— Слушаю вас,— любезно сказала она. Лицо у нее было широкое, с высокими скулами и почти медного цвета, что вместе с глубоко сидящими черными глазами и угольно-черными волосами делало ее похожей на женщину из индейского племени. Уэсли вспомнил: отец говорил ему, что в ней, наверное, течет кровь какого-то индейского племени с просторов Канады. Она показалась ему очень старой.

— Я ищу миссис Деверо. Миссис Клотильду Деверо,— сказал он.

Она пристально смотрела на него, не улыбаясь, немного нахмурившись, как будто стараясь что-то вспомнить.

— Я знаю тебя,— сказала она.— Ты — сын Тома Джордаха, верно?

— Да.

— Господи! — воскликнула она.— А я уж было подумала, что вижу привидение.— Она улыбнулась.— Привидение в прачечной.— Она засмеялась глубоким грудным смехом, и он вдруг почувствовал к ней симпатию, однако по-прежнему не видел в этой стареющей полной женщине даже следов той красоты, о которой говорил его отец.— Нагнись, пожалуйста, немного,— попросила она.

Он наклонился над прилавком, и она, взяв его лицо в свои гладкие и твердые ладони, какое-то мгновение пристально на него смотрела, а затем поцеловала в лоб. Он услышал, как позади одна из женщин хихикнула.

Она опустила руки, и он снова выпрямился, все еще ощущая прикосновение ее мягких губ. Клотильда улыбалась тихой, почти мечтательной, печальной улыбкой.

— Боже мой, сын Тома здесь, в этом городе! — Она принялась развязывать тесемки надетого поверх платья фартука.— Мы сейчас пойдем. Здесь и поговорить-то нельзя. Сара! — крикнула она кому-то позади стоек с бельем.— Подойди, пожалуйста, сюда.

К прилавку подошла молодая женщина со светлыми растрепанными волосами, и Клотильда сказала:

— Сара, я ухожу и сегодня уже не вернусь. Все равно до закрытия остался час, а у меня важная встреча Закроешь тут как следует, хорошо?

— Хорошо, мэм,— ответила женщина.

Клотильда повесила фартук, сделала что-то со своими волосами, и они вдруг упали ей на плечи. Так она стала еще больше похожа на индианку. Она толкнула дверцу и вышла из-за прилавка. У нее были широкие бедра, большая грудь, плотные, без жилок, сильные ноги, и он внезапно почувствовал почти щемящую боль — так сильно она напомнила ему Кейт.

Она взяла его за руку, когда они проходили мимо сидевших женщин, которые

сейчас откровенно глазели на них, гаденько ухмыляясь. Когда они вышли, Клотильда сказала:

— После той истории в суде все они смотрят на меня так, словно я блудница вавилонская.— Она по-прежнему держала его за руку, и они пошли по улице.— Боже мой,— глубоко вздохнув, сказала она,— хорошо выйти на свежий воздух после того, как весь день напролет нюхаешь грязное белье.— Она искоса на него посмотрела.— Ты слышал об этом скандале?

— Да,— ответил он.— Благодаря ему я и сумел вас найти.

— Дурная слава разносится далеко,— согласилась она.— Я знаю, что твоего отца нет в живых.— Она сказала это так просто, словно давно справилась с чувствами, вызванными этим известием.— В той же заметке я прочла, что он был дважды женат. Он был счастлив?

— Во втором браке да.

Она покачала головой.

— Я боялась, что он никогда снова не найдет счастья. Они все продолжали его травить, как...

— У него была яхта,— сказал Уэсли.— На Средиземном море. Он очень любил море.

— Подумать только,— сказала она мечтательно.— Том на Средиземном море. Мне всегда хотелось путешествовать, но...— Она не договорила.

— Он назвал эту яхту «Клотильда».

— Боже мой,— воскликнула она,— «Клотильда»! — И тут он увидел, что она плачет. Слезы текли из ее темных глаз, поблескивая на густых черных ресницах.

— Когда его спрашивали, почему он выбрал для своей яхты такое название, он говорил, что так звали одну французскую королеву. Но мне он сказал правду.

— После всех этих лет,— не без удивления промолвила она,— после всего, что произошло. Он тебе об этом тоже рассказывал? — резко спросила она.

— Рассказывал,— ответил Уэсли.— Как его дядя узнал, что вы и отец... ну... были вместе, и пригрозил, что вас вышлют обратно в Канаду за растление малолетних...

— И про остальное рассказывал? — Голос ее стал совсем резким.

— Да. Про вас и его дядю — про то, что обнаружилось на суде и о чем писали газеты,— смущенно признался Уэсли.

— Мерзкий старик,— яростно прошептала Клотильда.— Я была служанкой в его доме. Вернуться в Канаду я не могла, мой муж убил бы меня. Я пыталась заставить Тома это понять. Но он не желал слушать. Он хотел, чтобы мы вместе убежали. Шестнадцатилетний мальчик...— Она засмеялась, смех ее звучал грустно на солнечной, обсаженной деревьями улице.

— В конце концов он понял,— сказал Уэсли.— Он говорил мне. И название яхты ведь это доказывает, правда?

— Наверно.— Она смахнула слезу тыльной стороной ладони и помолчала.— А он рассказывал тебе, как я однажды положила ему в сандвич записку, когда он пошел на работу?

— Что-то не помню.

— Я написала: «Я тебя люблю». Вот так все и началось.— Она внезапно засмеялась.— Боже мой, какой у него был аппетит! Я никогда не видала человека, который мог бы столько съесть. А какую еду я ему готовила! Ростбифы, свежие овощи, все самое лучшее, когда его дядя со своей гадкой семьей уехал в Саратогу и мы остались в доме одни. По вечерам я ждала его и пела, стоя у плиты. Эти две недели я буду помнить до последних дней своей жизни.— Она вдруг остановилась, как будто ее схватила чья-то невидимая рука, и повернулась к нему.— Зачем ты сюда приехал? Тебе что-нибудь от меня нужно?

— Мне ничего не надо. Я приехал только ради того, что вы сейчас делаете — поговорить о нем.

Какое-то мгновение ее глаза словно что-то искали в его лице, а затем она снова поцеловала его в лоб.

— Ты так похож на него — даже жуть берет. Он был очень красивый. Я однажды сказала ему, что он похож на святого Себастьяна. Тогда он пошел в библиотеку посмотреть про него в энциклопедии. Там он узнал и откуда происходит мое

имя. Трудно было даже представить себе, чтоб такой необузданный малый рылся в энциклопедии.— Ее лицо смягчилось, и Уэсли подумал, что у нее, наверное, было такое же выражение, когда его отец вернулся из библиотеки и рассказал ей, что он там узнал.

— Ты разочарован? — спросила она.

— Чем?

— После всего, что отец, наверно, рассказал тебе обо мне и назвал в мою честь яхту... Подумать только — королева Франции.— Она коротко рассмеялась.— А ты встречаешь старую толстую тетку, стоящую за прилавком в прачечной.

— Нет, я не разочарован.— Он не был вполне уверен, что говорит правду. «В молодости она, наверное, была совсем другой»,— подумал он.

— Ты хороший мальчик,— сказала она, когда они снова двинулись по улице.— Надеюсь, что тебе живется легче, чем твоему отцу.

— Ничего живется.

— После того как мы... ну... можно сказать, расстались, хотя продолжали жить в одном доме и я видела его каждый день и подавала ему вместе со всеми еду, мы больше не сказали друг другу ни слова, за исключением «до свидания». Он словно озверел. Вечерами приходил домой весь в крови после драк, люди стали относиться к нему как к бездомной опасной собаке, он спал с каждой девкой в городе. Я, конечно, об этом слышала. Наверно, это было что-то вроде мести, но я его не винила, хотя и понимала, что в таком мерзком, лицемерном городишке добром это не кончится. Его посадили в тюрьму за изнасилование — подумать только, за изнасилование, когда все девки и бабы бегали за ним, как ребятишки за пожарной машиной. Про это он тебе рассказывал?

— Да.

— А про сестер-близняшек, в изнасиловании которых его обвинили? Их отец и подал на него в суд.

— Тоже рассказывал.

— Он, должно быть, очень тебя любил, если рассказывал такие вещи.

— Наверно, да. Он любил мне рассказывать.— Уэсли вспомнил ночи под звездным небом на палубе или во тьме штурвальной рубки.

— Конечно, они его и схватили — при такой репутации его можно было в чем хочешь обвинить,— сказала Клотильда с горечью в голосе.— Эти близняшки могли выбирать отца своим детям по крайней мере из полсотни людей! Включая и того полицейского, который Тома арестовал. Я видела их — этих близняшек, они по-прежнему живут здесь, теперь уже взрослые женщины. Вот их я не советую тебе разыскивать. Один из парней выглядит так, словно он твой брат.— Клотильда весело рассмеялась.— Наконец-то в этом городе хоть у кого-то в жилах течет частица порядочной крови. Иногда ночами,— тихо произнесла она,— я думаю: как все было бы, если бы я послушалась его безумных уговоров и убежала с ним — двадцатипятилетняя служанка и шестнадцатилетний мальчик, и оба без гроша в кармане... Разве имела я право совершить такую подлость по отношению к нему? — спросила она, словно стараясь найти себе оправдание.

— Наверное, нет,— ответил Уэсли.

— А я все говорю и говорю. Только о себе. О том, что было когда-то. А как ты? Как ты-то живешь?

— Неплохо.

— Ты доволен тем, как у тебя все получается?

— Этого я, пожалуй, не сказал бы.

— Тем не менее у тебя ухоженный вид — ты хорошо одет и выглядишь, как молодой джентльмен.

— Мне просто некоторым образом повезло,— сказал Уэсли.— Кое-кто обо мне заботится.

— Ты расскажешь мне все за ужином. Ты ведь не торопишься уехать из города?

— Не особенно,— ответил Уэсли.— Я хотел уехать завтра.

— Я приготовлю тебе свинину под яблочным соусом с картошкой и красной капустой. Это было самое любимое блюдо твоего отца.— Она помолчала.— Только знаешь, Уэсли,— проговорила она неуверенно,— я ведь живу не одна У меня есть друг, он хороший человек, мастер на мебельной фабрике. Но мы с ним не женаты.

У него жена и двое ребят — они католики... Он тоже будет ужинать. Ты не против?— спросила она с тревогой.

— Это ни меня, ни отца не касается.

— Люди ведь бывают разные, никогда не знаешь, что они подумают.— Она вздохнула.— Женщина не может жить одна. По крайней мере я. Я живу двумя жизнями сразу: одна — каждодневная, когда мужчина приходит домой, садится вечером за свою газету, пьет пиво и ничего такого особенного тебе не говорит, а другая — воспоминания о чудесных днях молодости, проведенных с необузданным мальчишкой. Я должна сказать тебе, Уэсли, твой отец был самым нежным, самым ласковым мужчиной, о таком женщина может только мечтать в своих странствиях по этой земле. И у него была такая нежная кожа, словно шелк. Ничего, что я тебе все это рассказываю, а?

— Мне только это и нужно,— сказал Уэсли, чувствуя, как к глазам подступают слезы жалости — не к себе или к своему мертвому отцу, а к шедшей рядом с ним коренастой, смуглой, как индианка, стареющей женщине, на чью долю выпали лишь работа и тяжелые разочарования.

— Ты пьешь вино за ужином? — спросила Клотильда.

— С удовольствием бы выпил,— ответил Уэсли.— Я ведь долго жил во Франции.

— Мы сейчас зайдем в магазин,— оживленно сказала Клотильда,— и купим бутылку отличного красного вина, чтобы отпраздновать приезд к старой женщине красавца сына ее возлюбленного. Фрэнк — так зовут моего мастера с мебельной фабрики — может по такому случаю отказаться от своего пива.

■ ■ ■

Старик Шульц, бывший менеджер его отца, жил, как сообщила ему Элис, в доме для престарелых в Бронксе.

— Это вон тот толстый старик, который сидит в холле в котелке и в пальто, точно собрался гулять,— сказал Уэсли служитель.— Только он никуда не выходит. Сидит вот так каждый божий день и молчит. Не знаю, станет ли он с вами разговаривать.

Уэсли прошел по пустынному вестибюлю к тому месту, где на простом деревянном стуле, уставившись полузакрытыми глазами на противоположную стену и со свистом дыша, сидел невероятно толстый, буквально выпиравший из костюма и пальто человек в котелке.

— Вы мистер Шульц? — обратился к нему Уэсли.— Можно с вами поговорить?

Морщинистые веки старика слегка приподнялись, хотя голова в котелке не изменила своего положения.

— Какая вам разница, Шульц я или не Шульц? — пробормотал старик. Голос его выходил словно из подземелья, вставные челюсти клацали.

— Меня зовут Уэсли Джордах. Много лет назад вы были менеджером моего отца, Тома Джордана.

Веки медленно опустились в свое первоначальное положение, а глаза снова уставились на облупившуюся стену.

— Том Джордан,— повторил старик.— И слышать не желаю эту фамилию. Мне говорили, что он таки достукался — убили его. Только не надейтесь услышать, что старый Шульци о нем жалеет. Это у него в крови было — умчаться куда-нибудь и плюнуть на все. Провел две недели с английской шлюхой, ел, пил как свинья, а ведь я столько сил потратил, чтобы сделать из него боксера. И потом, когда он очутился на мели, нашел ему заработок в Лас-Вегасе. Он получал пятьдесят долларов в день, работал спарринг-партнером Фредди Куэйлса — этот парень был единственной возможностью в моей менеджерской жизни заполучить чемпиона. И что, вы думаете, сотворил Том? Переспал с женой Куэйлса, а когда Куэйлс пошел к нему в номер выяснять отношения, так его разделал, что после этого Куэйлс не мог бы и мою мамочку побить... Если бы я над этим идиотом Томом не сжалился и не одолжил ему свою машину, чтобы он мог выбраться из Лас-Вегаса, его бы на кусочки изрезали. У твоего отца не было ничего, чем можно гордиться на ринге, парень, но зато уж в гостиничном номере он показывал класс. Только ведь, чтобы денежки иметь, надо выступать на ринге в двадцать четыре фута на двадцать четыре да еще чтоб был там рефери. Вот если бы твоему отцу дали выступать в стенном шкафу, он бы до сих пор был чемпионом мира, сукин он сын. А мой единственный шанс Фредди

Куэйлс двигался как танцор и пропал из-за бабы. Хочешь, чтобы я рассказал тебе о твоем отце? Так я тебе расскажу о нем: его тоже сгубили бабы.

— Но вы ведь знали его и до этого случая. Было же что-то и другое...

— Бабы его сгубили,— повторил старик, клацая вставными челюстями и уставившись в стену перед собой.— Я сказал свое слово. А теперь убирайся, мне некогда с тобой болтать.

Уэсли хотел сказать что-то еще, но понял, что это безнадежно. Он пожал плечами и вышел, предоставив старику в пальто и котелке смотреть на стену.

■ ■ ■

Не зная, плакать ему или смеяться, Уэсли рассказал Элис о визите к Шульцу.

— Может быть, мне и не стоит ни с кем встречаться, по крайней мере здесь, в Америке,— сказал он.— Может, есть такие вещи, которые сын и не должен слышать о своем отце. Зачем позволять, чтобы при мне его поливали грязью? В Америке, он, наверно, был совсем другим, потому что между тем человеком, которого я знал, и тем, о котором мне здесь рассказывают, нет ничего общего. Если еще кто-нибудь скажет мне, каким он был мерзавцем и как они рады, что его убили, я вернусь в Индианаполис, и пусть мать ведет меня в парикмахерскую, а потом в церковь, и я навсегда о нем забуду...— Он замолчал, увидев на лице Элис неодобрение.

— Это значит плюнуть на все.

— Может быть, к тому и идет.

— Клотильда о твоем отце так не говорила,— сказала Элис; глаза ее за стеклами очков сердито поблескивали.

— Толстая тетка из прачечной,— злобно вставил Уэсли.

— Сейчас же возьми свои слова обратно,— словно наставляя ученика, сказала Элис.

— Беру,— равнодушно отозвался Уэсли.— Извините. Но у меня такое чувство, что я понапрасну трачу время и деньги. Мое время,— криво усмехнулся он,— и ваши деньги.

— О моих деньгах можешь не беспокоиться.

— Герой вашей книги, наверно, приятный и честный человек, он никогда не впадает в отчаяние и в конце концов выясняет, что его отец был одним из благороднейших людей на свете, который при жизни только и делал, что совершал добрые поступки, помогал бедным, был вежлив со старушками и никогда не спал с женами друзей...

— Заткнись,— перебила его Элис.— Хватит. И, пожалуйста, не говори мне о том, что́ я пишу. Когда книга выйдет, если ей суждено выйти, можешь ее купить, и тогда расскажешь мне, что собой представляют действующие лица. Но не раньше.

Они были в гостиной; Элис сидела в кресле, а он стоял у окна и смотрел на темную улицу Элис уже оделась, чтобы идти в гости, и теперь ждала молодого человека, который должен был за ней зайти.

— Ненавижу этот проклятый город,— сказал Уэсли, глядя вниз на пустынную улицу.— Быть бы сейчас за тысячу миль отсюда, на море! — Он отошел от окна и плашмя бросился на диван.— Господи, если бы я только мог оказаться снова во Франции, хоть на одну ночь, с людьми, которых я люблю и которые, я знаю, любят меня...

— Убери ноги в ботинках с дивана,— резко сказала Элис,— ты не в конюшне.

— Простите.— Он опустил ноги на пол.— Меня не учили хорошим манерам. Все об этом только и твердят.

И тут он услышал, что она плачет. Он вскочил и бросился к ее креслу; она сидела, закрыв лицо руками, плечи ее вздрагивали. Он стал на колени и обнял ее. В своем нарядном черном платьице она казалась маленькой и очень хрупкой.

— Простите меня,— тихо сказал он.— Это я просто так сказал, честное слово. Разозлился сам на себя, вот и вырвалось. Я вам очень благодарен за все, что вы для меня делаете, я не хотел вас обидеть, так уж получилось...

Элис подняла голову, лицо ее покраснело от слез.

— Прости, что я заплакала,— сказала она.— Ненавижу женщин, которые плачут. У меня сегодня тоже был тяжелый день — все на меня кричали. Можешь лежать на диване в ботинках сколько тебе вздумается.— Она засмеялась сквозь слезы.

— Я больше никогда не буду лежать на диване в ботинках,— сказал он, все еще обнимая ее, радуясь, что она засмеялась; ему так хотелось защитить ее от ра-

зочарований и от кричащих на нее весь день людей, защитить от всего города и своего собственного нелегкого характера.

Они молча смотрели друг на друга; за стеклами очков ее ясные мокрые глаза казались еще больше: она робко ему улыбнулась. Он нежно притянул ее к себе и поцеловал. Она прильнула к нему. Губы у нее были удивительно мягкие — он и не представлял себе, что бывают такие губы. Наконец она его оттолкнула. Слезы ее высохли.

— Так вот, значит, что надо делать, чтобы тебя поцеловали,— засмеялась она.

Внизу у входной двери раздался звонок. Она вскочила.

— Это мой кавалер. Займи его, я приведу себя в порядок. Он археолог.

И она скрылась в ванной.

В дверь постучали, и Уэсли пошел открывать. Перед ним стоял высокий худощавый молодой человек с куполообразным лбом и в очках в стальной оправе.

— Здравствуйте,— сказал молодой человек.— Элис дома?

— Она будет готова через минуту,— ответил Уэсли, закрывая за ним дверь.— Я должен вас развлекать, пока она не соберется. Моя фамилия Джордах. Я — ее двоюродный брат.

— Робинсон,— представился молодой человек. Они пожали друг другу руки.

Чем бы его развлечь, подумал Уэсли.

— Хотите послушать радио? — спросил он.

— Не особенно. Разрешите присесть?

— Конечно.

Робинсон сел, скрестив свои длинные ноги, и достал из кармана сигареты.

— Курите? — спросил он, протягивая Уэсли пачку.

— Нет, спасибо.— Робинсон закурил. О чем говорят с человеком, который занимается археологией? — Я был во Франции и видел там кое-какие развалины,— начал Уэсли в надежде завязать разговор.— Амфитеатры в Ниме и в Арле и тому подобное.

— Да? — сказал Робинсон, выдыхая дым.— Очень интересно.

Интересно! Интересно, останется ли он таким равнодушным, если ему сказать, что как раз перед его приходом Уэсли поцеловал Элис Ларкин — девушку, с которой у этого типа сегодня свидание,— на том самом месте, где он сейчас сидит, а перед тем довел ее до слез. С чувством снисходительного превосходства он поглядывал на долговязого парня в мешковатых брюках и пестром твидовом пиджаке с кожаными заплатами на локтях — хотя, может, именно так одеваются все археологи и, может, такая униформа обеспечивает уважение в их кругу.

— А где вы копали? — внезапно спросил он.

— Главным образом в Сирии. И немного в Турции.

— И что вы нашли?

— В основном черепки.

— Понятно.

— Вас интересует археология?

— Умеренно.

Наступило молчание; Уэсли показалось, что Робинсон скучает.

— А как выглядит Сирия?

— Мрачная страна. Мрачная и красивая. Вам следует там когда-нибудь побывать.

— Я тоже так считаю,— согласился Уэсли.

— А в какой колледж вы поступаете?

— Я пока еще не принял окончательного решения.

— Я бы на вашем месте поступил в Стэнфорд. Конечно, если удастся. Поразительные там люди.

— Я это учту.

Робинсон, близоруко сощурившись, взглянул на него сквозь очки.

— Значит, вы двоюродный брат Элис?

— Да

— Не знал, что у нее есть двоюродный брат. Где вы живете?

— В Индианаполисе,— не раздумывая ответил Уэсли.

— Жуткий город. А что вы делаете в Нью-Йорке?

— Приехал навестить Элис.

— Понятно. И где же вы остановились?

— Здесь,— ответил Уэсли, чувствуя себя так, словно теперь он сам превратился в объект раскопок.

— Да? — Робинсон мрачно оглядел маленькую комнатку.— Немного тесновато.

— Нет, ничего.

— Хотя, конечно, удобно: рядом Линкольн-центр и все остальное.— Робинсон явно приуныл.— А где вы спите?

— На диване.

Робинсон потушил сигарету и закурил другую.

— Да-а,— протянул он подавленно.— Я полагаю... Двоюродные...

В комнату вошла Элис, свежая как бутон. Она сменила очки на контактные линзы, чтобы, как она не раз говорила Уэсли, отправляясь на другие свидания, не выглядеть канцелярской крысой в присутствии своих кавалеров.

— Ну,— спросила она весело,— вы тут приятно поболтали?

— Неплохо,— мрачно отозвался Робинсон, вставая.— Уже поздно. Нам пора.

Элис, видно, не очень везет, подумал Уэсли, если лучше Робинсона ей ничего не удалось найти. Всю жизнь копается в черепках. Вот было бы ему сейчас двадцать семь лет! Хорошо, что он не услышит, как Элис будет объяснять археологу, какие они двоюродные брат и сестра.

— Уэсли,— сказала Элис,— в холодильнике два сандвича с мясом и пиво, если проголодаешься. Да, совсем забыла: через Национальный союз моряков я нашла адрес и телефон человека, которого ты ищешь, мистера Ренвея, он плавал с твоим отцом. Я звонила ему сегодня, и он сказал, что с удовольствием с тобой встретится. Когда он не уходит в море, он живет у брата, тут рядом, на Девяностых улицах. По телефону он был исключительно вежлив. Ты сходишь к нему? Он завтра целый день дома.

— Не знаю, какое у меня завтра будет настроение,— не очень любезно отозвался он, и Элис укоризненно на него взглянула.

Робинсон подал Элис пальто и уже в дверях сказал:

— Не забудьте про Стэнфорд.

— Не забуду,— ответил Уэсли, подозревая, что Робинсон так настаивает на Стэнфорде только из-за того, что этот университет за три тысячи миль от Элис Ларкин.

Накрывшись одеялом, он заснул на диване и проснулся от шепота за дверью, совершенно не понимая, который час. Затем послышался звук вставляемого в замок ключа, и Элис одна тихо вошла в комнату. Он почувствовал, что она на него смотрит, но не открыл глаз, притворяясь спящим. Она вздохнула и отошла. Дверь ее комнаты закрылась, а немного погодя раздался стук пишущей машинки.

«Интересно, что ей было от меня нужно?» — подумал он, снова засыпая.

■ ■ ■

Калвин Ренвей напоминал Кролика Дуайера: невысокого роста, сухой и узкий в кости, с резко обозначенными мышцами рук и кожей почти такого же кофейного цвета, как у Кролика, когда тот все лето работал на солнце.

— Сегодня у нас радостный день,— сказал он, здороваясь с Уэсли в дверях дома своего брата; чувствовалось, что мягкий голос его звучит всегда вот так же учтиво.— В гости пришел сын Тома Джордаха. Входи, мальчик, входи. Дама, которая говорила со мной по телефону, сказала, что ты обязательно придешь.— Он провел Уэсли в гостиную и придвинул ему самое большое кресло.— Устраивайся, мальчик, поудобнее. Принести тебе пива? Полдень уже прошел, самое время выпить пивка.

— Нет, спасибо, мистер Ренвей.

— Называй меня просто Калвин,— сказал Ренвей.— Ну и удивился же я, когда эта дама позвонила и сказала, что ты меня ищешь... Столько лет я твоего отца не видел... Плаваешь с человеком, который уже для тебя больше чем просто приятель, а потом каждый идет своим путем, как корабли в море, так сказать... и вдруг к тебе приходит молодой человек... ах ты, господи, как время-то летит... Я никогда не был женат, и сына у меня, к сожалению, нет, жизнь моряка — это один порт за

другим, ухаживать за женщинами некогда, а тех, которые и так готовы за тебя выскочить,— он весело засмеялся, сверкнув белыми зубами,— тебе не хотелось бы видеть матерью своих детей: будешь потом всю жизнь гадать, отец ты им или нет. Понятно, о чем я говорю? По поводу тебя-то никаких сомнений быть не может. Сразу видно — сын Тома Джордаха. Да, сэр. Держу пари, отец гордится тобой...

— Мистер Ренвей... Калвин,— неловко произнес Уэсли,— разве та дама не сказала вам по телефону...

— О чем? — удивился Ренвей.— Она только спросила: «Вы тот самый мистер Ренвей, который когда-то плавал на грузовом судне с Томом Джордахом?» И когда я ответил: «Да, мэм, тот самый», она сказала, что сын Тома Джордаха сейчас в Нью-Йорке и хотел бы поговорить со мной. Вот и все. И еще она спросила, живу ли я по тому адресу, который ей дали в Союзе моряков.

— Калвин,— сказал Уэсли,— отца больше нет в живых. Его убили в Антибе.

— О, господи! — прошептал Ренвей и отвернулся к стене, чтобы скрыть боль. Длинные темные кисти его рук непроизвольно сжимались и разжимались.— Убили,— тихо повторил он, наконец снова повернувшись к Уэсли.— Да, самых хороших людей убивают в первую очередь. Не рассказывай мне об этом, мальчик. Как-нибудь в другой раз. Подробности подождут, мне не к спеху. Главное, ты пришел и сказал мне, что случилось... А то я бы жил и не знал, пил бы пиво в каком-нибудь баре в Марселе или в Новом Орлеане и рассказывал бы, как мы вместе ходили на «Эльге Андерсон» — наверно, самой мерзкой посудине, бороздившей Атлантику,— и как он, образно выражаясь, спас мне жизнь, а кто-нибудь бы равнодушно сказал: «А-а, Том Джордах, да он умер давным-давно». Уж лучше узнать так, как сейчас, и я тебе очень благодарен. Я понимаю, тебе хочется поговорить о нем, мальчик, ты за этим и пришел...

— Если вы не против,— сказал Уэсли.

— Тогда были другие времена. Во всяком случае, на флоте. В ту пору со словом «мистер» никто к нам не обращался, мы были «ниггеры» и никогда об этом не забывали. Твой отец не был ни каким-то особым другом черных, ни проповедником, но когда он проходил мимо меня утром, я всегда слышал: «Привет, приятель, как жизнь?» Обычное человеческое приветствие, но на этом мерзком судне, где почти все меня презирали, оно было как музыка. Отец называл тебе когда-нибудь такую фамилию — Фальконетти?

— Кое-что о нем рассказывал.

— Хуже него ни среди белых, ни среди черных я никого не встречал,— продолжал Ренвей.— Настоящий зверь в человечьем обличье, терроризировал всю команду, избивал людей только для своего скотского удовольствия и от низости души. И вот этот Фальконетти говорит, что не намерен сидеть в одном кубрике с ниггером, а я был единственным черным на борту, и значит, как он войдет, мне надо было вставать и уходить, даже если я не съел и половины обеда. Тогда твой отец, единственный из всей команды в двадцать восемь человек, у кого достало мужества, устроил ему — не из-за меня, Фальконетти приставал и к Кролику Дуайеру — такую трепку, какой он в жизни не видал. Может, Том перегнул палку, как говорили в команде, а он позорил этого Фальконетти каждый день. Стоило им повстречаться, как твой отец говорил: «Подойди-ка сюда, скотина» — и бил его под дых — этот буйвол так и скрючивался, а все стояли и смотрели.

Однажды вечером в кубрик пришел Фальконетти, тихий, как ягненок, а там играет радио. Твой отец приводит меня туда и говорит: «Мы просто посидим как воспитанные джентльмены рядом с этим джентльменом и послушаем музыку». Я сел рядом с Фальконетти — сердце у меня стучало, клянусь тебе, я его все еще боялся,— но никто и бровью не повел. Так мы посидели немного, а потом твой отец говорит ему: «Теперь можешь идти, скотина». Фальконетти встал, вышел из кубрика, поднялся на палубу и прыгнул за борт.

Твоему отцу это среди команды популярности не принесло — они говорили: мол, одно дело проучить человека, а другое — толкнуть его на смерть. Знаешь, Уэсли, я не мстительный, но я не был с ними согласен: я не мог забыть, как я сидел рядом с этим отвратительным человеком и играла музыка, а он молчал и не сказал мне ни слова, и что я тогда чувствовал. Это был лучший день в моей жизни, и я до сих пор вспоминаю о нем с удовольствием. Им я обязан твоему отцу и об этом никогда не забуду.

Ренвей говорил нараспев, глаза его были полузакрыты, словно перед ним снова развертывалась вся эта история и был он сейчас не в аккуратной, чистенькой гостиной на одной из Девяностых улиц, а в притихшем кубрике среди замолкших матросов, еще раз переживая момент высшего наслаждения под надежной защитой человека, сын которого сидел сейчас перед ним.

— Я тебе вот что скажу, мальчик.— Он открыл глаза и задумчиво посмотрел на Уэсли.— Если ты станешь хоть наполовину таким, каким был твой отец, тебе надо будет каждый день благодарить бога. Подожди-ка минутку.— Он встал и направился в дальний конец гостиной. Уэсли слышал, как он выдвинул ящик, потом снова задвинул. Вернулся Ренвей, держа в руках какой-то предмет, завернутый в папиросную бумагу. Он развернул ее, и Уэсли увидел маленькую, обтянутую кожей шкатулку с золотым тиснением.

— Я купил эту шкатулку в Италии, во Флоренции. Там они такими вещами славятся. Это — тебе.— Ренвей протянул Уэсли шкатулку.— Бери.

— Я не могу взять такую вещь. Она, наверное, стоит огромных денег, и зачем вам дарить мне ее, когда вы до вчерашнего дня даже не знали о моем существовании.

— А я тебе говорю, бери,— повысил голос Ренвей.— Пусть у сына человека, который сделал для меня то, что он сделал, будет дорогая для меня вещь.— И он осторожно вложил шкатулку в руку Уэсли.

— Какая красивая,— сказал Уэсли.— Спасибо.

— Пока не за что. А теперь я одеваюсь, мы идем на Сто двадцать пятую улицу, и я угощаю тебя самым лучшим обедом, какой можно заказать в Гарлеме, город Нью-Йорк.

Обед был сытный — жареные цыплята со сладким картофелем; они выпили пива, и Ренвей, забыв на время свою печаль, рассказывал Уэсли о Глазго, Рио-де-Жанейро, Пирее, Триесте и о своем брате, который все время уговаривает его оставить море, но стоит ему представить себе, что он будет жить на суше и никогда не увидит поднимающихся из воды новых городов, как ему становится ясно, что никогда он не сможет расстаться со странствиями — на хороших ли, на плохих ли судах — по океанским просторам.

На прощание Ренвей взял с Уэсли клятву, что как только Уэсли узнает о его появлении в городе, то навестит его и снова с ним пообедает.

Спускаясь в подземку, Уэсли решил выбросить свой список. «После таких слов об отце уже нет смысла встречаться еще с кем-то»,— подумал он и почувствовал облегчение, словно с души у него свалился камень.

3

Рудольф сидел на террасе арендованного им дома и смотрел на открывавшуюся за высокими дюнами полосу белого песка и набегавшие на нее волны Атлантического океана. Было мягкое сентябрьское утро, солнце приятно припекало, отражаясь от сценария Гретхен, который он перечитывал. Рядом, вытянувшись на надувном матрасе, лежала в купальном костюме Элен Морисон. Дом ее находился немного поодаль, но она несколько дней в неделю проводила у Рудольфа. Она была разведена и однажды на вечеринке у соседей сама подошла к нему и представилась, сказав, что много слышала о нем. Она была приятельницей Гретхен. Познакомились они на собрании участниц Движения за освобождение женщин, организованном Идой Коэн. По словам Гретхен, иронична деловитость, с какою Элен излагала факты и намечала программу деятельности, разительно контрастировала с неистовыми выпадами Иды, направленными против мужского коварства. У Элен, как успел заметить Рудольф, враждебности к мужскому полу не наблюдалось. «Совсем наоборот»,— сказал он ей однажды, и она, засмеявшись, согласилась. Тот факт, что она жила на алименты от мистера Морисона и посылала, также за счет мистера Морисона, своего тринадцатилетнего сына в привилегированную епископальную школу для мальчиков, казалось, ее совершенно не беспокоил. Рудольф, знавший, как часто его собственные действия противоречат его же убеждениям, никогда не обсуждал с ней этой темы.

Она была высокой, стройной женщиной, с лицом, которое даже во сне не теряло четкости очертаний. Она отлично обходилась без лифчика, а свои темные, красновато-каштановые волосы только вечером, когда он заходил за ней, чтобы идти в ресторан ужинать, закалывала на макушке. Окруженная соседями-республиканцами, она активно занималась делами демократической партии и потеряла из-за этого много друзей. Она принадлежала к числу тех женщин, на которых в тяжелую минуту можно положиться больше, чем на мужчин.

Утром она уже успела поплавать, хотя воздух был прохладным и вода в океане с каждой ночью становилась все холоднее. Она не забывала о требованиях своего тела и не делала никакого секрета из своих отношений с Рудольфом.

Он к ней очень привязался. Возможно, даже больше чем привязался. Но он не принадлежал к тем людям, которые стремятся сразу же проявить свои чувства или делают опрометчивые заявления,— наступит время, можно будет дать волю и словам и чувствам.

А сейчас его мысли занимал фильм, который намеревалась поставить Гретхен. При повторном чтении сценарий понравился ему еще больше. Он назывался «Комедия реставрации»; это была игра слов, ибо сюжет сводился к тому, что молодая героиня сначала с помощью просьб и уговоров, а затем путем запугивания и угроз пытается заставить вымирающий городок в Пенсильвании под вымышленным названием Лондстон заняться реставрацией прекрасных старинных особняков на пяти улицах, пришедших в полное запустение после того, как закрыли единственную в городке фабрику. В сценарии энергичная девушка, используя женское коварство, красоту, кокетство и безграничное чувство юмора, а иногда и обман, на который она смотрела с чисто женской прагматичностью, сумела объединить циничных банкиров, бесчестных политиканов, голодающих молодых архитекторов, одиноких секретарш, закоснелых бюрократов, разорившихся подрядчиков и заставила студентов колледжа стать чернорабочими во имя создания отвечающего эстетическим требованиям, экономически независимого пригорода, где благодаря новым дорогам могли бы поселиться работающие в Филадельфии и Кэмдене люди. И хотя все в сценарии от начала до конца было вымыслом и подобного места на самом деле не существовало, Рудольфу, расчетливому и трезвому бизнесмену, сама идея восстановления города показалась практически осуществимой.

Однако его смущало два обстоятельства: во-первых, само название, по его мнению, несколько отдавало курсом английской литературы, и, во-вторых, он не был уверен, что у Гретхен хватит способностей сделать картину. И все же он не из одной лишь братской снисходительности согласился взять на себя треть расходов и проводил бесчисленные совещания с Джонни Хитом, чтобы защитить интересы Гретхен при заключении контрактов. Ида Коэн и сама Гретхен нашли людей, предоставивших им недостающие средства, и будь у них больше времени, могли бы вообще обойтись без его финансовой помощи.

Но он получал от этого удовольствие. Он охотно ездил два раза в неделю в Нью-Йорк и теперь уже не говорил друзьям, что они могут звонить ему в любое время, так как он целый день дома.

За несколько месяцев Рудольф хорошо познакомился с кинопромышленным бизнесом. Не все здесь ему понравилось, но ведь Гретхен обратилась к нему не как к ангелу-хранителю, а как к «человеку с идеями», потому что, когда они думали о том, где найти подходящую натуру, он полушутя предложил их родной городок Порт-Филип — там уже более двадцати лет в полном запустении находился целый квартал некогда прекрасных старых домов. Гретхен съездила туда с архитекторами и с художником, и все они утверждали, что место исключительно подходящее: Гретхен уже вступила в переговоры с мэром и муниципалитетом, чтобы заручиться их помощью во время съемок. Рудольф не был уверен, что найдет в себе силы посетить группу на натуре. О Порт-Филипе и прилегающем к нему Уитби у него сохранились не самые приятные воспоминания.

Он дочитал сценарий и довольно улыбнулся.

— Он тебе по-прежнему нравится? — спросила Элен.

— Даже больше, чем раньше.

По мнению Элен, в сценарии не хватало четкости позиции. Так же расценивала она и политические взгляды самого Рудольфа.

— Твой ум и сердце отравлены «холодной войной»,— сказала она,— а затем к этому добавились коррупция в Вашингтоне, Вьетнам и общий атеросклероз. Когда ты последний раз принимал участие в выборах?

— Не помню,— ответил он, хотя прекрасно помнил: голосовал за Джонсона в 1964 году. После этого выборы стали казаться ему бессмысленными.

— Позор.— Элен принимала активное участие во всех выборах. Атеросклероза у нее, безусловно, не было.— Как ты считаешь, не нужен ли Гретхен консультант по политическим вопросам? Я могла бы поработать бесплатно.

— По-моему, не нужен. Даже бесплатный,— усмехнулся Рудольф.

— В конечном счете я заставлю тебя переменить взгляды.

— В какую же сторону?

— В сторону джефферсоновой демократии. Какова бы она ни была.

— Прошу тебя, избавь меня от джефферсоновой демократии, какова бы она ни была.

— Вот где надо говорить о политике,— засмеялась Элен.— На пляже, на солнышке и после хорошего заплыва. Тогда никаких войн бы не было.

Он наклонился и поцеловал ее. Почему после Жанны у него так долго не было женщины? Но теперь, когда Элен рядом, незачем пересекать океан.

— По-своему,— небрежно заметил он,— ты восхитительна.

— Ты хоть раз сказал женщине комплимент, без такого вот добавления, которое сводит его на нет?

— Не помню. И вообще не помню никаких других женщин.

— Когда я завтра поеду в Нью-Йорк, надеть мне на грудь алую букву? — насмешливо спросила она.

— Не забудь захватить и монашеское покрывало.

— Как ты думаешь, если мы займемся любовью прямо здесь — я вся соленая и в песке, а ты весь в мыслях о деньгах и контрактах, соседи будут шокированы?

— Они — нет, я буду.

— Ну, тебе еще многое надо преодолеть,— заметила она.

— Это точно. Только я ничего преодолевать не собираюсь.

— А после обеда? В моем приготовлении.

— А что на обед?

— Что-нибудь легкое, питательное и возбуждающее,— сказала она.— Например, суп из моллюсков Посмотрим, как ты будешь себя чувствовать к двум часам дня. Телефон! — У нее был на удивление острый слух, и его всегда изумляло, как она в разгар оживленной беседы на одну из своих любимых тем слышит и может повторить слово в слово разговоры, которые в это время шепотом ведутся в другом конце комнаты и состоят главным образом из злобных замечаний в ее адрес.— Подойти? Я скажу, что это говорит дворецкий, а ты делаешь упражнения по системе йогов и тебя нельзя сейчас беспокоить.

— Я сам подойду,— сказал он. Ему становилось неловко, когда Элен брала трубку и довольно определенно давала понять, что она в его доме не посторонняя.— Только не уходи, я сейчас вернусь.

— Не уйду. От солнца меня клонит в сон.

Он встал и вошел в дом Женщины, которая три раза в неделю наводила порядок в доме, сегодня не было. Миновав большие стеклянные двери гостиной, выходившие на океан, он, как всегда, с удовольствием окинул взглядом удобные, обтянутые вельветом диваны со спинками из светлого дерева и широкие старые доски до блеска натертого пола.

— Рудольф,— сказала Гретхен,— у меня неприятность. Ты сейчас не занят?

Он подавил вздох. У Гретхен по крайней мере раз в неделю случались неприятности, по поводу которых она ему звонила. «Будь она замужем,— подумал он,— ее телефонные счета были бы в два раза меньше». На прошлой неделе неприятности касались дяди Иды Коэн, бывшего голливудского продюсера, который после инсульта отошел от дел. Этот хитрый старик хорошо знал кинобизнес и, когда Ида показала ему сценарий, согласился с ними работать. Сидя в маленькой конторке в Нью-Йорке, он помогал в подборе исполнителей, занимался организацией проката будущего фильма, а также выполнял всю повседневную черную работу: сражался с агентами актеров, подписывал контракты с одними и вежливо отклонял предложения других. Но он уже в течение трех дней был болен, Гретхен боялась, что его хватил

второй удар, и спрашивала, что ей теперь с ним делать. Рудольф посоветовал поговорить с врачом, и Гретхен выяснила, что у старика всего-навсего простуда.

Затем были неприятности с Билли Эбботом, которые ужасно взволновали Гретхен, и она разбудила Рудольфа среди ночи. Оказывается, из Чикаго ей позвонил отец Билли.

— На этот раз совершенно трезвый,— заметила Гретхен, подчеркивая серьезность ситуации.— Билли написал ему, что собирается остаться в армии еще на один срок. Вилли же против этого, как и я. Профессиональный солдат! Это как раз то, о чем мы мечтали для своего сына! Вилли хочет, чтобы мы вместе поехали в Брюссель и отговорили его, но ты же знаешь, я сейчас не могу ни на минуту уехать из Нью-Йорка. Тогда Вилли посоветовал взять Билли в мою картину — третьим помощником режиссера или что-нибудь в этом роде. Но Билли ведь и понятия не имеет, как делаются фильмы... наверное, и в кино-то был не больше трех раз... в наше время для молодого человека это просто ненормально... кроме того, он ленив и на него нельзя положиться... а если он согласится работать, то это будет как раз типичный случай протекции, которая погубила старые голливудские студии. К тому же, если ему платить, пусть немного, это все равно будет означать, что мы крадем деньги у тех, кто нас финансирует, в том числе и у тебя. Я сказала Вилли, что не могу дать Билли работу, и не могу поехать в Брюссель, и почему бы ему самому не отправиться туда и не разобраться на месте. И знаешь, что он мне ответил? Что у него нет денег, и не смогу ли я одолжить ему на дорогу! Одолжить! Ха! У меня все до последнего цента вложено в картину. Тогда он сказал — почему бы мне не взять денег у тебя, и я сказала, что запрещаю ему к тебе обращаться.— По мере приближения начала съемок Гретхен говорила все торопливее, а голос ее становился все выше и напряженнее. Плохой признак, подумал Рудольф, не миновать ей нервного срыва.

— Ну а ты? — спросила тогда Гретхен, поколебавшись.— Тебе ни за чем не надо в Европу?

— Нет, не надо. На некоторое время я с ней покончил. Ну, а что тут такого страшного, если твой сын останется в армии?

— Тебе не хуже моего известно, что рано или поздно начнется очередная война.

— Но вряд ли мы с тобой в состоянии ее предотвратить,— сказал Рудольф.— Не так ли?

— Тебе легко говорить,— возразила она.— У тебя дочь.— И повесила трубку.

Потом был звонок по поводу того, кому дать роль младшего брата героини — ту самую, на которую Гретхен хотела попробовать Уэсли. По сценарию это был красивый, печальный и циничный юноша, который то и дело охлаждал восторги своей сестры, а в конце каждой фразы любил повторять: «Тут уж ничего не попишешь!»; не по летам развитой и разносторонне способный, он намеренно себя губил, презирая всех и каждого, работал грузчиком в местном аэропорту, играл по воскресеньям в полупрофессиональный футбол и водился с самыми отпетыми бездельниками и головорезами. Гретхен говорила, что Уэсли удивительно подходит для этой роли, даже по внешним данным, к тому же от него не требуется умения играть, и что ни один из тех, кого она приглашала на пробы, ее не устраивает. Она много раз писала Уэсли, но все письма возвращаются с почтамта в Индианаполисе невостребованные, без указания нового адреса... так вот, не знает ли Рудольф, где сейчас Уэсли. Рудольф сказал, что после телефонного звонка из Чикаго он не имел от Уэсли никаких вестей. Он не стал говорить Гретхен о выданном в Индианаполисе ордере на арест Уэсли, так как был уверен, что Уэсли рано или поздно объявится сам, а Гретхен сейчас это сообщение ни к чему. Да и потом Рудольф не был уверен, что из Уэсли получится актер. Если он чем-то и отличался от других, так это сдержанностью в проявлении чувств, что отнюдь не предвещает блистательной карьеры кинозвезды. Вообще Рудольф по отношению к актерской братии был неисправимым снобом, хотя никак этого не проявлял. В глубине души он считал актеров самовлюбленными людьми, которые за очень большие деньги играют в детские игры.

Стоя возле телефона, он видел, как Элен поднялась с надувного матраса и медленно начала делать сложные упражнения, вытягиваясь и изгибаясь, словно балерина. В трубке звучал, терзая его слух, пронзительный голос Гретхен.

— Сейчас это в самом деле очень серьезно.— Каждый раз она говорила то же самое, но Рудольф не стал ей об этом напоминать.— Сегодня утром позвонил Эванс

Кинселла — он вчера вечером прилетел из Калифорнии. Он передумал и теперь хочет сам ставить «Комедию реставрации». Он говорит, что у него есть два миллиона на постановку, преимущественные права на прокат и два знаменитых актера на главные роли. Он готов возместить нам все расходы, а тем, кто финансирует картину, выплатить еще десять процентов.

— Сукин сын,— сказал Рудольф.— И что ты ему ответила?

— Что мне надо подумать. Мы встречаемся у него в отеле через полчаса.

— Поговори с ним и перезвони мне. Если хочешь, можно сразу отказаться, но согласия не давай, не поговорив предварительно со мной.— Он повесил трубку. «Десять процентов прибыли всего через два месяца»,— подумал он. Совсем неплохо. Однако эта мысль его не обрадовала. Элен продолжала свои упражнения. После звонка Гретхен ему захотелось поскорее приступить к обеду, который восстанавливает силы и возбуждает.

Гретхен тщательно подкрасилась, взбила волосы, выбрала свой самый красивый костюм и надушилась духами «Фам», которые, как когда-то сказал Эванс, ей очень подходят. «Ида Коэн наверняка осудила бы меня за эти старания,— подумала Гретхен,— ведь предстоящая встреча будет чисто деловой и к тому же довольно неприятной. В моем возрасте,— думала Гретхен, глядя на себя в большое зеркало,— все труднее и труднее быть привлекательной». Последнее время она плохо спала. Она теперь часто принимала снотворное, и это было заметно. Пошел он к черту, этот Кинселла. И она еще раз брызнула на себя духами.

Чисто выбритый Эванс ждал ее в своем номере в отеле «Ридженси» на Парк авеню. Он был в пиджаке и галстуке, хотя обычно встречал ее просто в рубашке или в халате. На этот раз он, по-видимому, решил пустить в ход все свое обаяние. Он поцеловал Гретхен на парижский манер — сначала в одну щеку, затем в другую, и она почувствовала побежавшие по спине мурашки. Она сейчас ненавидела свое тело.

В вычурно обставленной гостиной вместе с ним сидел Ричард Сэнфорд, молодой автор «Комедии реставрации»,— как всегда, в шерстяной рубашке с расстегнутым воротом, в куртке, джинсах и высоких нечищенных сапогах. Он словно выставлял напоказ свою бедность и равнодушие к условностям. «Интересно,— подумала Гретхен,— как он будет одеваться в Голливуде после своей третьей картины?». Сэнфорд был приятный молодой человек с широкой улыбкой; в общении с Гретхен он неизменно проявлял дружелюбие и почтительность. Хотя они виделись почти каждый день, он ни разу и словом не обмолвился, что знает Эванса Кинселлу. Заговор, пронеслось у Гретхен в голове.

Но сегодня от дружелюбия Ричарда Сэнфорда не осталось и следа — это она почувствовала сразу. Да, он в Калифорнии далеко пойдет, этот Ричард Сэнфорд.

«Держись подальше от молодых мужчин»,— думала Гретхен, глядя на них. Хотя Эванса Кинселлу, который в свои тридцать три года уже столькому научился, столько из чужих фильмов позаимствовал и просто украл, вряд ли можно назвать молодым человеком. Для равновесия надо было взять с собой Иду Коэн, но этот маленький вулкан тотчас начал бы извергаться. К тому же она не сказала Иде о звонке Кинселлы. Еще успеется.

— Хочешь выпить? — Кинселла указал на столик, где аккуратно были расставлены бутылки, стаканы и лед. В отелях такого класса, должно быть, есть специальный официант, эксперт в своей области, который, как только приходит телекс, извещающий о прибытии очередного магната из новой аристократии, бежит в номер расставлять бутылки, численность и качество которых строго соответствуют тому, какое место на этот момент занимает данное лицо в табели о рангах у администратора. Не без злорадства Гретхен мысленно отметила, что бар у Кинселлы самый средний. Его последняя картина провалилась, и администратор отеля в своем тайном «Almanach de Gotha»[1] не преминул это зафиксировать.— Мы с нашим молодым гением уже немножко выпили,— сказал Кинселла.— По-скромному. Чтобы к твоему приходу быть в праздничном настроении. Что даме угодно?

— Спасибо, ничего,— ответила Гретхен.— Для работающей женщины еще немного рано.— Она собиралась сохранять этот легкий и спокойный тон, пусть внутри у нее

[1] Готский альманах — периодически выпускаемый в Германии сборник данных обо всех королевских и титулованных семействах Европы.

все кипит от возмущения.— Значит, молодой гений,— улыбнулась она Сэнфорду.— Эванс, как видно, изменил свое мнение о вас.

— Просто я перечитал сценарий,— торопливо сказал Кинселла.— В первый раз я, должно быть, читал его в очень неудачное время.

— Насколько я помню,— сказала Гретхен медовым голоском,— ты тогда назвал этот сценарий кучей дерьма.— Она с удовлетворением отметила, что Сэнфорд покраснел, поставил свой стакан и устремил взгляд на Кинселлу.

— Людям искусства свойственно ошибаться, Дик,— сказал Кинселла. («Ах, вот что, уже Дик»,— подумала Гретхен.) — Нас ведь буквально рвут на части. Извини меня.— Он повернулся к Гретхен и заставил себя улыбнуться.— Помимо всех прочих причин, наше маленькое совещание объясняется еще и тем, что мы с Диком, обсудив сценарий, решили внести в него некоторые изменения, причем довольно существенные. Так ведь, Дик?

— Да,— сказал Сэнфорд. Лицо у него было по-прежнему красное.

— Два дня назад,— обратилась к нему Гретхен,— вы говорили мне, что можно начинать работу и что вы не собираетесь менять ни единого слова.

— Эванс указал мне на несколько моментов, которые я упустил,— пояснил Сэнфорд тоном мальчишки, понимающего, что его могут наказать за упрямство. Заговор возник, по-видимому, уже много недель назад, а может, и месяцев.

— Давай говорить прямо, Гретхен,— сказал Кинселла.— При двух миллионах на постановку Сэнфорд получит в три раза больше, чем ты ему предлагаешь. Он небогатый человек, как тебе известно. У него жена и ребенок...

— Маэстро,— перебила его Гретхен,— тут скрипке полагается играть tremolo. Кинселла бросил на нее злой взгляд.

— Ты забыла, что значит быть бедным и выбиваться из сил, добывая деньги, чтобы каждый месяц платить за квартиру, моя дорогая? У тебя-то при богатом братце всегда подстелена солома. Ну, а у Дика такой подстилки нет.

— А тебе не мешало бы забыть, Эванс, что у меня есть брат. Богатый или бедный. Что же до вас, Ричард... — она сделала ударение на имени,— я просила бы не забывать, что у вас заключен со мной контракт.

— Об этом я и хотел поговорить,— сказал Кинселла. Он уже взял себя в руки.— Я никоим образом не намерен отстранять от участия в картине тебя или твою приятельницу Иду, эту еврейскую Жанну д'Арк. Я с самого начала собирался предложить тебе быть директором картины со всеми вытекающими финансовыми последствиями, конечно. Иду же сделать режиссером по монтажу. Ну что может быть справедливее?—И лицо его расплылось в улыбке.

— Я полагаю, Ричард,— сказала Гретхен,— что вы полностью согласны с Эвансом? Мне бы хотелось, чтобы вы сами об этом сказали. Вам также, безусловно, приятно слышать, что Иду Коэн, которая день и ночь гнула спину, чтобы довести ваш сценарий до экрана, называют еврейской Жанной д'Арк?

— Нет, с этим я не согласен,— снова вспыхнул Сэнфорд.— Но с тем, что, имея два миллиона, картину можно сделать лучше, чем имея семьсот пятьдесят тысяч,— с этим я согласен. И пока вы не предложили мне с вами работать, скажу вам честно, мне никогда не приходило в голову, что эту картину может поставить женщина...

— А теперь?

— Ну-у... — Он был в растерянности.— Я знаю, вы умная женщина и у вас большой опыт... но ведь не режиссера-постановщика. Это — моя первая картина, Гретхен, и мне будет спокойнее, если такой человек, как Эванс Кинселла, с его репутацией режиссера, поставившего удачные фильмы...

— От его репутации несет дерьмом,— обрезала его Гретхен.— Для тех, кто понимает. Как я, например. А если он сделает еще одну картину в том же духе, как его последняя, ему в Калифорнии даже камеры напрокат не дадут.

— Видишь, Дик,— вмешался Кинселла,— я говорил тебе, она будет вести себя как самая обычная мстительная баба. Она была замужем за режиссером, которого считала вторым Станиславским. Я видел его картины, но если бы не видел, тоже ничего бы не потерял. И поскольку он умер, она хочет получить свое с кем угодно, с каждым режиссером, и превратилась в самую большую шлюху двадцатого века. А старушка Ида, которая не может заставить ни одного мужика дотронуться до себя даже трехметровым шестом, вбивает ей в голову, что она призвана проложить женщинам-режиссерам путь к высшей награде Академии искусств.

— Мерзавец, интриган! — обрушилась на него Гретхен.— Ради одного того, чтобы посмотреть, как ты превратишь картину в ту самую кучу дерьма, с которой ты сравнивал сценарий, стоило бы отдать его тебе.

— Когда я ее нанял,— продолжал Кинселла, потеряв уже всякое самообладание,— один приятель сказал мне: никогда не нанимай богатых. Особенно богатую бабу. И ни в коем случае не спи с ней. Она тебе никогда не простит, если ты только взглянешь на другую. Убирайся отсюда, ты, сука,— завизжал он.— Я приду к тебе на премьеру и хорошо посмеюсь.

— Гретхен... — жалобно начал Сэнфорд. У него был испуганный вид, он, наверно, жалел, что вообще когда-то сел за пишущую машинку.— Пожалуйста...

— Ричард,— спокойно сказала Гретхен, чувствуя себя удивительно очистившейся и свободной до головокружения,— когда мы начнем съемки, можете поступать как вам захочется: хотите — приходите, не хотите — не надо. Всего хорошего, джентльмены.— И она с достоинством вышла из заполненной цветами, бутылками и злобой гостиной.

В лифте она улыбалась и плакала, не обращая внимания на стоявших рядом людей. «Подожди, пока я расскажу все это Иде»,— думала она.

А на улице она приняла твердое решение: никаких молодых людей. Отныне и впредь, если она выберет какого-нибудь мужчину, он будет старше ее, будет испытывать к ней благодарность, а не ожидать благодарности от нее. Она, правда, не знала, что скажет Ида Коэн, но ее это мало беспокоило.

■ ■ ■

Они сидели за столом и ели приготовленный Элен обед — суп-пюре из моллюсков и горячие сдобные булочки.

— Приятно готовить для человека, которому не надо следить за своим весом,— сказала Элен, и тут в дверь позвонили. Элен чертыхнулась.

Обед уже и так прерывался телефонным звонком Гретхен, которая в течение пятнадцати минут рассказывала Рудольфу об утренней встрече с Кинселлой. Она не сомневалась, что Рудольф одобрит ее действия. Однако вопреки ее ожиданиям он особого восторга не проявил.

А теперь звонок в дверь. Рудольф встал из-за стола и пошел открывать. Перед ним залитый лучами сентябрьского солнца, отражавшегося в океане, стоял Уэсли, аккуратно одетый, в фланелевых брюках и спортивном пиджаке, подстриженный и причесанный, немного похудевший, с выпирающими скулами и, как всегда, утомленным и загадочным выражением глаз.

— Здравствуй, Уэсли,— сказал Рудольф.— Я знал, что ты рано или поздно появишься. Как раз к обеду. Проходи, пожалуйста.

4

Билли с интересом наблюдал, как Джордж осторожно налаживает на столе часовой механизм для бомбы. На самом деле Джорджа звали вовсе не Джордж, и Билли это было хорошо известно. Моника, которую Джордж называл Хейди, стояла по другую сторону стола. Лицо ее над ярким клином света от рабочей лампы было в тени.

— Ты внимательно следишь, Джон? — спросил Джордж по-английски с сильным испанским акцентом, бросив взгляд на Билли.

Джон — это имя ему дали в группе, и Моника в присутствии членов группы тоже так его называла. Все это напоминало ему игры в тайные общества, в которые он мальчишкой играл во дворе своей школы в Гринвич-Вилледж. Только сейчас он имел дело не с детьми. «Одна улыбка,— подумал он,— и они меня убьют».

Из других товарищей Джорджа и Моники-Хейди он встречал только двоих, но в этот полдень в маленькой комнатке трущобного района Брюсселя, где Джордж собирал бомбу, их не было. Билли никогда не видел Джорджа в одном и том же месте дважды. Из отдельных слов в разговоре он сделал вывод, что группы, аналогичные этой, членом которой он теперь являлся, существуют и в других городах Европы, но о том, где они находятся и чем занимаются, он пока никакого представления не имел. Несмотря на то, что в интересах собственной безопасности он не особенно стремился узнать больше, чем ему сообщали, его возмущало, что к нему все еще относятся как к не проверенному в деле и почти не пользующемуся доверием постороннему, хотя он уже дважды давал им из гаража машину, а в ту ночь, когда Джордж закладывал бомбу

в испанское туристическое агентство в Амстердаме, даже сам сидел за рулем. Он не знал, в каких еще операциях принимали участие Джордж и Моника, но в газетах прочитал о взрыве в отделении Американского банка в Брюсселе и около здания компании «Олимпик эйруэйз». И если эти взрывы были делом рук Моники и Джорджа, то Моника сдержала свое обещание: ни один человек ни в Брюсселе, ни в Амстердаме не пострадал.

— Ну как, сможешь, если понадобится, сам это собрать? — спросил его Джордж.

— Наверно, смогу.

— Вот и хорошо,— сказал Джордж. Это был чернявый, невысокого роста парень с ласковыми печальными глазами и размеренными движениями. Говорил он всегда тихо и казался совершенно безобидным. Глядя на себя в зеркало, Билли не мог поверить, что его самого тоже можно причислить к разряду опасных людей.

Вот Моника — совсем другое дело. Волосы у нее всегда растрепаны, а глаза сверкают, особенно когда она сердится. Но он жил с Моникой, боялся ее и любил больше прежнего. Моника велела ему остаться в армии еще на один срок. А когда он сказал, что сыт армией по горло, она в ярости набросилась на него и заявила, что это приказ, а не предложение и что она уйдет от него, если он не будет ее слушаться.

— В следующий раз,— продолжал Джордж,— я дам тебе попробовать — просто для практики.

Джордж снова приступил к работе, его тонкие маленькие руки осторожно двигались над проводами. Ни он, ни Моника не сказали Билли, где, когда и с какой целью предполагается использовать эту бомбу, а он теперь уже знал, что спрашивать бессмысленно.

— Ну вот,— сказал Джордж.— Вот и готово.— Маленькая пластиковая бомба с часовым механизмом и детонатором невинно лежала на столе, освещенная резким светом лампы.— На сегодня урок закончен. Ты теперь уходи, Джон, а Хейди некоторое время побудет со мной. Иди к автобусу и поезжай в противоположном от своей квартиры направлении. Когда проедешь восемь остановок, выйди из автобуса, пройди еще три квартала пешком, затем бери такси. Дай водителю адрес отеля «Амиго». Войди в отель. Выпей в баре. А после этого иди пешком домой.

— Хорошо, Джордж,— сказал Билли. Этим и ограничивалось его участие в разговоре с Джорджем.— Ты придешь ужинать? — спросил он у Моники.

— Это зависит от Джорджа.

— От Джорджа?

— Не забудь,— напомнил Джордж,— по крайней мере десять минут в отеле «Амиго».

— Хорошо, Джордж,— сказал Билли.

Сидя в автобусе, который шел в противоположном от его дома направлении, в окружении женщин, спешивших с покупками домой, чтобы приготовить ужин, детей, возвращавшихся из школы, стариков, погруженных в вечерние газеты, он мысленно усмехался. Знали бы они, чем занимался на одной из маленьких улочек их города этот невысокий приятный молодой американец в аккуратном скромном костюме... Хотя он и старался казаться спокойным, наблюдая за работой Джорджа, собиравшего бомбу, пульс его участился от волнения. Теперь же, придя в себя и холодно глядя на окружавшую его в тряском автобусе повседневную жизнь, он, пожалуй, назвал бы это ощущение другим словом — удовольствие. Он уже испытал это странное чувство в Амстердаме, когда, оставив позади туристское агентство, мчался куда глаза глядят и в шести кварталах позади себя услышал отдаленный взрыв.

В отличие от Моники, он не верил в непрочность существующей системы и не считал, что взрыв случайной бомбы то в одном, то в другом месте может с ней покончить, но зато он теперь по крайней мере уже не чувствовал себя всего лишь незначительным, легко заменимым винтиком в этой отвратительной бесчеловечной машине. Его действия подвергались изучению, важные лица пытались определить, кто он такой, какова его цель и где он может нанести удар в следующий раз. Он теперь с иронией относился к презрению товарищей по оружию, считавших его любимчиком полковника,— эта ирония доставляла ему тем большее удовольствие, что они не могли даже и предположить, чем он на самом деле занимается. Монике тоже пришлось признать, что она ошибалась, когда говорила, что он ничего не стоит. В конечном счете они вло-

жат ему в руки оружие и прикажут убивать. И он будет убивать. А на следующий день, прочитав утренние газеты и втайне гордясь, будет скромно являться на службу. Он не верил, что Моника, и Джордж, и их сообщники-призраки когда-либо достигнут своих призрачных целей. Но это и не важно. Зато он теперь уже не плыл по течению, не зависел от мелких повседневных случайностей жизни солдата, вынужденного, чтобы заработать свой хлеб, покорно твердить: «Да, сэр», «Слушаюсь, сэр». Теперь он сам был судьбой, готовым воспламениться бикфордовым шнуром, человеком, который что-то значит.

Автобус тащился все дальше, и Билли считал остановки. На восьмой он вышел. Под моросящим дождем он быстро прошел еще три квартала, как велел ему Джордж, приветливо улыбаясь попадавшимся навстречу прохожим. На углу третьего квартала стояло такси, словно заранее специально для него заказанное. Он удобно устроился на заднем сиденье и с удовольствием доехал до отеля «Амиго».

Когда вошла Моника, он сидел в полутемном баре, где не было никого, кроме двух блондинов за угловым столиком, разговаривавших, по-видимому, на иврите, и допивал свое пиво.

Она забралась на соседний табурет и заказала водку со льдом.

— Тебе Джордж велел сюда прийти? — спросил Билли.

— У меня сейчас потребность пообщаться с людьми.

— Ты Моника или Хейди?

— Заткнись.

— Ты сказала, что хочешь пообщаться с людьми. Но ты же врешь. Тебя послали проверить, выполнил ли я инструкции.

— Здесь все понимают по-английски,— прошептала она.— Говори о погоде.

— О погоде,— повторил он.— Сегодня днем было довольно тепло, как ты считаешь?

— Довольно тепло.— Бармен поставил перед ней стакан, и она улыбнулась ему.

— А что ты будешь делать, если меня отправят обратно в Америку? — Билли вертел в руках кружку, где оставалось еще немного пива.

— Тебя куда-нибудь переводят? — насторожилась Моника.— Ты что-то от меня скрываешь?

— Да нет. Просто мой полковник последнее время разнервничался. Он здесь уже давно. Кроме того, в армии никогда ничего не знаешь заранее...

— Воспользуйся связями,— сказала она.— Устройся где-нибудь в Германии.

— Это не так-то просто,— возразил он.

— Но вполне возможно,— сказала она решительно.— И ты не хуже меня это знаешь.

— Тем не менее,— продолжал он,— ты не ответила на мой вопрос. Что ты тогда будешь делать?

Она пожала плечами.

— Это будет зависеть от многого.

— От чего?

— Я же говорю — от многого. Куда тебя пошлют. Что ты там будешь делать. Где я буду нужна.

— А как же любовь?

— Никак.

— На глупый вопрос получаешь глупый ответ,— засмеялся он.

— Есть более важные вещи, Джон,— сказала она, не без иронии подчеркивая его новое имя.— Мы не должны забывать о своих первоочередных задачах, правда?

— Еще бы.— Он заказал еще кружку пива.— Возможно, на следующей неделе я поеду в Париж.

Она снова внимательно на него посмотрела.

— Возможно? Или точно?

— Почти точно. Полковник считает, что ему надо ехать, и если он поедет, то возьмет и меня с собой.

— Тебе бы пора научиться заранее говорить мне о таких вещах,— сказала она.

— Я сам узнал только сегодня утром.

— Как только будешь знать наверняка, сразу же мне сообщи. Ясно?

— О господи, перестань, пожалуйста, разговаривать со мной, как ротный командир!

Она пропустила его замечание мимо ушей.

— Я говорю не просто так. На следующей неделе в Париж надо доставить один пакет. Как ты полетишь? Обычным самолетом?

— Нет. Военным. Начальство летит в Версаль на какую-то церемонию.

— Прекрасно.

— А что будет в этом пакете?

— Узнаешь, когда придет время.

Он вздохнул и выпил еще пива.

— Я всегда был неравнодушен к приятным, простым и неискушенным девушкам.

— Я попробую тебе такую подыскать — лет через пять-шесть.

Он мрачно кивнул. Сидевшие в углу два блондина теперь заговорили громче — по-видимому, начали спорить.

— Это иврит? — спросил он.

Она прислушалась.

— Нет, финский.

— Они что, очень похожи — иврит и финский?

— Нет, не похожи.— Она засмеялась и поцеловала его в щеку. Он понял, что теперь она уже не Хейди, а Моника.

— Итак,— сказал он,— рабочий день окончен.

— На сегодня — да.

— На сегодня,— повторил он и допил пиво.— Ты знаешь, чего бы мне сейчас хотелось?

— Чего?

— Отправиться домой и лечь с тобой в постель.

— О дорогой,— сказала она манерно,— что за солдатские разговоры!

— В результате послеобеденной деятельности мне захотелось любви.

Она засмеялась и прошептала:

— Мне тоже. Расплачивайся и пошли.

Когда они добрались до своей улицы, уже совсем стемнело. Они остановились на углу, чтобы посмотреть, не следят ли за ними. Вроде никого. Они медленно пошли — не по той стороне, где находился дом Билли, а по противоположной. Перед домом Билли стоял какой-то человек и курил сигарету. Дождь моросил по-прежнему, и шляпа у человека была нахлобучена на самый лоб. В темноте они не могли определить, попадался ли он им раньше.

— Не останавливайся,— тихо сказала Моника.

Они прошли мимо дома, завернули за угол и вошли в кафе. Билли очень хотелось выпить еще пива, но Моника заказала два кофе.

Минут через пятнадцать они вышли. Человек стоял на прежнем месте и курил.

— Ты иди дальше,— сказала Моника.— А я пройду мимо него и поднимусь наверх. Через пять минут возвращайся. Если все будет в порядке, я зажгу свет и ты войдешь.

Билли кивнул, поцеловал ее в щеку, словно прощаясь, и пошел дальше. Дойдя до угла, он оглянулся. «Профессиональный риск,— подумал он.— Вечные подозрения». Человек все еще стоял перед домом, но Моника исчезла. Билли снова зашел в кафе и выпил пива, на которое Моника наложила запрет. Выйдя из кафе, он быстро свернул на свою улицу. Свет в квартире горел. Не останавливаясь и опустив голову, он перешел на другую сторону, где перед домом стоял тот человек, и начал подниматься по ступенькам, доставая из кармана ключи.

— Здравствуй, Билли,— произнес человек.

— Господи! Отец! — От удивления он уронил ключи, и они с Уильямом Эбботом чуть не столкнулись лбами, одновременно нагнувшись, чтобы их поднять. Оба рассмеялись. Отец подал ему ключи, и они обнялись. Билли про себя отметил, что не почувствовал запаха джина, который у него с детства ассоциировался с отцом.

— Ну пошли,— сказал Билли.— Сколько времени ты меня тут ждешь?

— Часа два.

— Наверно, промок насквозь?

— Это неважно,— сказал Эббот.— Зато было время кое о чем поразмыслить.

— Пошли наверх,— сказал Билли, отворяя дверь подъезда.— М-м... только знаешь, отец, мы будем не одни. Там еще девушка,— добавил он, поднимаясь впереди отца по лестнице.

— Постараюсь воздержаться от крепких выражений,— отозвался Эббот.

Билли отпер дверь, они вошли в маленькую переднюю, и он помог отцу сбросить мокрый плащ. Когда Эббот снял шляпу, Билли увидел седеющие волосы и одутловатое, с желтизною лицо. Он вспомнил фотографию отца в форме капитана. Красивый молодой человек, черноволосый и смуглый, весело улыбался какой-то шутке. Теперь красивым его не назовешь. Ссутулился, обмяк, отрастил брюшко. «Ни за что не стану таким в его возрасте»,— думал Билли, вводя отца в гостиную.

В маленькой, захламленной гостиной сидела Моника и читала книгу. Она не особенно утруждала себя уборкой и не занималась хозяйством. При виде двух мужчин она встала.

— Моника,— сказал Билли,— это мой отец.

Моника улыбнулась, глаза ее приветливо засияли, и лицо осветилось. «Настроение у нее меняется в одну секунду»,— подумал Билли, глядя, как Моника здоровается с Эбботом за руку.

— Добро пожаловать, сэр,— сказала она.

— А я видел, как вы входили в подъезд,— заметил Эббот.— Вы на меня так странно посмотрели.

— Моника всегда довольно странно смотрит на мужчин,— вмешался Билли.— Садись, папа. Хочешь чего-нибудь выпить?

— После такого ожидания это не помешает.— Эббот потер руки и поежился.

— Я сейчас принесу стаканы и лед,— сказала Моника и вышла на кухню.

— Уютно,— заметил Эббот, с одобрением оглядев комнату.— Тебе неплохо живется в армии, а Билли?

— Пожалуй.

— А это временно или постоянно? — Эббот сделал жест в сторону кухни.

— Временно-постоянно.

Эббот засмеялся и сразу словно помолодел, несмотря на седые волосы и отечное лицо.

— Вечная история в семье Эбботов.

— А что привело тебя в Брюссель, папа?

— Да надо кое-что разузнать.— Эббот задумчиво посмотрел на сына.— Поговорим об этом потом, ладно?

— Конечно.

— А чем занимается молодая дама?

— Она переводчица в НАТО,— сказал Билли. Он не считал себя обязанным рассказывать отцу, что Моника также организует заговоры с целью уничтожения капиталистической системы и почти наверняка принимала участие в недавнем убийстве судьи в Гамбурге.

Моника вернулась с тремя стаканами, льдом и бутылкой шотландского виски. Билли заметил, с какой жадностью Эббот посмотрел на бутылку.

— Мне, пожалуйста, немного,— сказал Эббот.— После перелета через океан да еще бесконечного дня, проведенного в хождении по Брюсселю, я чувствую себя так, словно не спал уже несколько недель.

Билли видел, как дрожала отцовская рука, когда он брал у Моники стакан. Сердце его кольнула щемящая жалость к этому маленькому человеку, который, по его воспоминаниям, был и выше, и увереннее в себе.

— За отцов и детей.— Эббот поднял стакан. Он грустно улыбнулся и покрутил лед в стакане, но пить не спешил.— Сколько же лет мы с тобой не виделись?

— Шесть, может, семь...

— Давненько, а? Я уж избавлю вас от необходимости выслушивать избитые фразы.— Он медленно потянул виски из стакана и глубоко, благодарно выдохнул.— Эти годы на тебе не сказались, Билли, ты в прекрасной форме.

— Я много играю в теннис.

— Превосходно. С грустью должен признаться, что я в последнее время теннис забросил...— Он снова отпил из стакана.— Это моя ошибка. Но за шесть-семь лет

можно наделать ошибок. Разной степени тяжести.— Он поглядел на Билли, прищурившись, словно человек, потерявший очки.— Ты изменился. Это естественно. Повзрослел, наверно, лучше сказать. Появилась сила в лице и все такое прочее. Весьма привлекателен, как вы считаете, Моника?

— Умеренно,— засмеялась Моника.

— В детстве он был очень хорошенький,— сказал Эббот,— только уж слишком серьезный. Жаль, я не захватил с собой его детских фотографий. Когда мы познакомимся поближе, я как-нибудь отведу вас в сторонку и попрошу рассказать, какого он мнения о своем отце. Просто из любопытства. Отцам всегда кажется, что у сыновей о них неверное представление. Удел отцовства, так сказать.

— Билли всегда говорит о вас с любовью,— сказала Моника.

— Преданная у тебя подружка, Билли. Как я уже говорил, людям свойственно ошибаться, и возможности для этого у них безграничны.— Он сделал еще глоток виски.— Насколько я понимаю, Моника, вы влюблены в моего сына.

— Пожалуй, да,— осторожно ответила Моника. Билли видел, что отец не произвел на нее благоприятного впечатления.

— Он, несомненно, говорил вам, что собирается остаться в армии еще на один срок.— Эббот снова покрутил стакан.

— Говорил.

«А-а,— подумал Билли,— вот что привело его в Брюссель».

— Американская армия — это благородная и нужная организация,— сказал Эббот.— Я сам когда-то служил, если память мне не изменяет. Вы одобряете его намерение продлить свое пребывание в рядах этой нужной и благородной организации?

— Это его личное дело,— уклончиво ответила Моника.— Я уверена, у него есть на то свои причины.

— Могу я полюбопытствовать, Моника, воспользовавшись правом отца, которому небезразличен выбор сына... я надеюсь, вы не обидитесь...

— Конечно нет, мистер Эббот. Билли все обо мне знает, правда, Билли?

— Даже слишком много,— усмехнулся Билли, чувствуя, что разговор принимает какое-то совершенно ненужное направление.

— Так вот,— продолжал Эббот,— могу я полюбопытствовать... мне кажется, я уловил в вашей речи крохотный акцент... скажите, из каких вы мест? То есть откуда родом?

— Из Германии. Родилась в Мюнхене.

— А-а, Мюнхен. Однажды мне пришлось быть в самолете, который бомбил Мюнхен. К счастью, вы настолько молоды, что не могли тогда находиться в этом прекрасном городе. Это было в начале сорок пятого.

— Я родилась в сорок четвертом.

— Прошу прощения,— сказал Эббот.

— Эти события не сохранились в моей памяти,— коротко ответила она.

— Как прекрасно иметь возможность сказать: не сохранились в моей памяти.

— Папа,— вмешался Билли,— война давно кончилась.

— Все так говорят.— Эббот медленно сделал еще один глоток.— Должно быть, это правда.

— Билли,— сказала Моника, ставя на стол недопитый стакан,— я надеюсь, ты и твой очаровательный отец извините меня. Я должна вас покинуть. У меня деловая встреча...

Эббот поднялся галантно, хотя и не без труда — так страдающий ревматизмом старик утром встает с постели.

— Надеюсь, дорогая, мы будем иметь удовольствие вместе поужинать.

— Боюсь, что нет, мистер Эббот. У меня сегодня вечер занят.

— Не обязательно сегодня...

— Конечно,— сказала Моника.

Билли вышел вместе с ней в прихожую и подал ей плащ. Она накинула на свои спутанные волосы шарф.

— Ты еще вернешься? — прошептал он.

— Скорее всего нет. И не слушай отца, а то он тебя отговорит. Ты же знаешь, зачем он приехал.

— Знаю, не беспокойся. И возвращайся в любое время. Я тебе обещаю, что буду в форме.

Она засмеялась, поцеловала его в щеку, и дверь за ней закрылась. Он беззвучно вздохнул, изобразил на лице улыбку и пошел обратно в гостиную. Отец наливал себе виски — на этот раз изрядную порцию.

— Интересная девушка,— сказал Эббот. Его рука, когда он разбавлял виски содовой, уже не дрожала.— А она когда-нибудь причесывается?

— Ее такие вещи не интересуют.

— Я так и понял,— сказал Эббот, снова усаживаясь в кресло.— Я ей не доверяю.

— Да перестань, папа. Ты и видел-то ее ровным счетом десять минут. Почему? Только из-за того, что она немка?

— Совсем не потому. Я знаю много хороших немцев,— сказал Эббот.— Я так говорю, потому что так принято говорить, хотя это и неправда. Я никого из немцев не знаю и не питаю к ним никаких чувств — ни хороших, ни плохих. Однако к женщинам я питаю вполне определенные чувства и знаю их гораздо лучше, чем немцев. Когда она проходила в дом, она бросила на меня такой странный взгляд, что мне стало не по себе.

— Ну, на меня она никаких странных взглядов не бросает.

— Вполне возможно.— Эббот оценивающе посмотрел на Билли.— Жаль, что ростом ты в меня, а не в мать, однако с твоими красивыми глазами и умением держаться ты, наверно, вызываешь немалый интерес у женщин.

— Который они умудряются скрывать в моем присутствии,— заметил Билли.

— Восхищаюсь твоей скромностью,— засмеялся Эббот.— Я в твои годы был менее скромен. А мать пишет тебе?

— Пишет. Она прислала мне письмо после того, как ты сообщил ей, что я собираюсь остаться в армии еще на один срок. Я не знал, что вы поддерживаете такой тесный контакт.

— Ты — ее сын,— сказал Эббот, и лицо его стало серьезным,— как и мой. И ни один из нас этого не забывает несмотря на то, что об очень многом мы умудряемся забывать.— Он сделал большой глоток виски.

— Пожалуйста, папа, не напивайся сегодня.

Эббот задумчиво посмотрел на стакан и вдруг бросил его в камин. Стакан разлетелся вдребезги, и на кирпичах осталось от виски темное пятно. Какое-то время они сидели молча, и в тишине Билли слышал громкое, неровное дыхание отца.

— Прости меня, Билли,— сказал Эббот.— Я не сержусь на тебя за то, что ты сказал. Совсем наоборот. Это слова заботливого и хорошего сына. Я тронут твоим беспокойством о моем здоровье. Если я на кого сержусь, то на себя.— В его голосе зазвучали горькие нотки.— Мой сын собирается совершить огромную и, возможно, непоправимую ошибку. Я занял деньги на поездку из Чикаго в Брюссель у единственного в мире человека, которого еще удается иногда уговорить одолжить мне доллар-другой. Я приехал сюда, чтобы попытаться убедить тебя... ну... передумать. Я сегодня целый день мотался под дождем, перебирая доводы, которые могли бы изменить твое решение. Я сумел удержаться и не выпил ни капли во время перелета через океан, потому что хотел появиться перед тобой в наилучшем виде.— Он криво усмехнулся.— И что я делаю? Восстанавливаю своего сына против себя из-за девушки, которой, как ты правильно заметил, я совсем не знаю,— только потому, что она странно посмотрела на меня возле подъезда, и начинаю с двойной порции виски, что должно неминуемо напомнить тебе все тягостные уик-энды, когда мать отдавала тебя отцу на субботу. Ну вот, Вилли Эббота опять понесло.— Он неожиданно встал.— Пойдем поужинаем. Обещаю тебе не брать в рот ни капли, пока ты не отвезешь меня в гостиницу. А там уж я напьюсь до потери сознания. Завтра я буду не в самой блестящей форме, но трезвым быть обещаю. Где тут у тебя уборная? Я целую вечность простоял под дождем, и мочевой пузырь у меня вот-вот лопнет. Ради тебя и армии Соединенных Штатов я не стал справлять нужду на улице, чтоб меня не обвинили в неуважении к почтенным бюргерам Брюсселя.

— Надо пройти через спальню,— сказал Билли.— Там, правда, жуткий беспорядок. Мы с Моникой уезжаем на работу рано утром и чаще всего возвращаемся лишь к ужину.— Ему не хотелось, чтобы отец подумал, что Моника неряха, хотя сам он изредка упрекал ее за хаос, в котором они живут. «В учениях Маркса, Мао и Че Гевары,— недавно сказал он ей,— ничего не говорится о том, что настоящие революционеры должны швырять белье на пол, чтоб оно так и лежало там».— Мы убираем квартиру по субботам,— сказал он отцу.

— Я не собираюсь делать никаких замечаний относительно того, как вы живете,— отозвался Эббот.— Я сам не принадлежу к числу аккуратных людей, но, как это ни парадоксально, очень ценю аккуратность в женщине. Однако все это не имеет значения. Мы довольствуемся тем, что нам достается.— Он вопросительно посмотрел на Билли.— Послушай, солдат, а как это получается: ты служишь в благородной и нужной армии Соединенных Штатов и не носишь формы?

— Вне службы нам разрешают ходить в штатском.

— В мои времена было по-другому. Я не ходил в штатском четыре года. Ну ладно, войны теперь уже не те.— Он твердой походкой направился в уборную. Когда он вернулся, Билли подумал: «Костюм на нем по крайней мере десятилетней давности. Разрешит ли он мне купить ему новый?»

■ ■ ■

За ужином отец много говорил на самые разные темы. Он настоял, чтобы Билли заказал себе вина, но когда официант хотел налить и ему, перевернул свой бокал. Он сказал, что еда первоклассная, однако едва к ней притронулся. Он то принимал покровительственный тон, то оправдывался и выражал сожаление; его цинизм и агрессивность тут же сменялись верой и надеждой на лучшее будущее, он то ругал себя, то безудержно хвастался.

— Не считай меня человеком конченым,— говорил он,— хотя на вид, может, именно так и представляется. У меня миллион идей. Если бы я не прикладывался к бутылке, я был бы первым в сфере информации и рекламы. Так мне говорили все лучшие специалисты Чикаго в этой области... мне предлагали работу, за которую готовы были платить шестизначную сумму, если только я вступлю в общество трезвенников... но я просто не представляю себе, как это я стану публично каяться перед сборищем людей, сделавших покаяние своей профессией. Вот если бы ты отказался от своей безумной идеи остаться в армии... у меня просто в голове не укладывается, честное слово, такой блестящий молодой человек, образованный и даже не офицер... ну, что ты там целый день делаешь — выпускаешь машины из гаража, как девчонка-диспетчер, которая вызывает такси по радио? Вот если бы ты поехал со мной в Чикаго, мы могли бы организовать агентство — «Уильям Эббот и сын». Я ведь помню твои письма... я все время держу их при себе... первое, что я беру при переезде с одного места на другое,— это коробка, в которой я их храню... так вот, скажу я тебе, ты здорово пишешь. Мне бы твой талант, и в моем письменном столе не валялась бы куча незаконченных пьес, нет, сэр, уж такого бы не случилось. Мы бы их поразили... я ведь знаю эту механику и мог бы взять на себя всю техническую сторону дела, у нас отбою не будет от заказов на рекламу. Ты не думай, что Чикаго какая-то дыра. Реклама и родилась-то в Чикаго.

Я знаю, что ты думаешь о рекламном бизнесе,— продажная девка потребительского общества и все такое прочее. Но как ни крути, мы живем в этом обществе, и по закону джунглей либо ты глотаешь других, либо они проглотят тебя. Посвяти рекламе два года жизни и потом сможешь делать все что твоей душе угодно. Хочешь, пиши книгу, хочешь — пьесу. Когда я вернусь в Чикаго, я сниму копии с твоих писем и пришлю их тебе, ты будешь поражен, когда прочтешь их все вместе. Послушай, твоя мать зарабатывала себе на жизнь — и совсем недурно — статьями для разных журналов, а в твоих письмах, написанных за несколько минут, есть нечто большее... как бы это сказать? Больше настроения, больше души, больше понимания, чем у нее даже в лучшие времена. А ведь ее многие умные люди очень высоко ставили... издатели всегда заказывали ей статьи... непонятно, почему она все это бросила. То, что она писала, нравилось издателям, нравилось публике, только ей не нравилось. Она мечтала достичь совершенства... смотри, чтоб с тобой этого не случилось... и в конце концов перестала писать. Господи, должен же хоть кто-то из семьи выбиться в люди! Она жалуется, что ты почти ей не пишешь. Я, конечно, рад, что мне ты часто пишешь, но ведь она тебе мать, и ничего с тобой не случится, если время от времени ты черкнешь ей пару строчек. Я знаю, что вел себя по отношению к ней как последняя скотина и не оправдал ее надежд, оказался плохим мужем. Она была слишком хороша для меня... во всех отношениях... и физически, и умственно, и морально. Она поглотила меня, но это не мешает мне столько лет спустя оценивать ее по достоинству. Вполне возможно, что, если бы рядом был другой человек или ей чуть больше повезло, она бы далеко пошла... А Колин Берк погиб...

Возьми ты этих Джордахов: старик покончил с собой, брата убили, святошу Рудольфа тоже чуть не прикончили в его же собственной квартире. Умри он, твоя мать совсем бы пала духом. Трое из троих. Два брата и муж. Каков процент? А этот парень Уэсли... я, кажется, писал тебе, что он приезжал в Чикаго и разыскал меня. Хотел, чтобы я рассказал ему про его отца... прошлое отца не дает ему покоя... дух Эльсинора... его, конечно, нельзя за это винить... но он точно привидение, и взгляд у него жуткий... одному богу известно, чем он кончит. Я с его отцом и знаком-то не был, но начал говорить, что слышал о нем много хорошего, и, наверно, хватил через край, потому что паренек вскочил на середине фразы и сказал: «Спасибо, сэр. Мне кажется, мы напрасно теряем время».

Ты наполовину Джордах... а может, и больше, чем наполовину... если женские гены вообще берут верх, то Гретхен Джордах — это именно тот случай... так что будь осторожен и не думай, что удача досталась тебе по наследству: унаследовать тебе ее было не от кого...

Я тебе вот что скажу: кончай ты с этой проклятой армией, приезжай в Чикаго, будем работать вместе, и, клянусь тебе, я никогда больше в жизни не возьму в рот и капли. Я знаю, ты меня любишь... мы взрослые люди, можем называть вещи своими именами... ты имеешь возможность, какая редко выпадает на долю сына,— спасти жизнь своего отца. Ты сейчас ничего не говори, но по возвращении в Чикаго я хотел бы получить письмо, в котором ты сообщаешь о своем приезде. Я буду там примерно через неделю. Завтра я уезжаю в Страсбург повидаться с одним человеком. Довольно щепетильные переговоры по поводу старого долга. Химическая компания. Я должен прощупать француза — возьмет ли он плату, ну, гонорар... а попросту говоря, взятку, чтобы перевести дела моего клиента в свою фирму. Не буду говорить тебе, какие деньги с этим связаны,— ты просто ахнешь, назови я цифру. И если все пройдет удачно, я получу свою долю. Это, конечно, не самый приятный способ зарабатывать на жизнь, но только на таких условиях мне удалось занять денег, чтобы приехать сюда. Не забывай, что́ я тебе говорил о законе джунглей.

Время позднее, твоя девушка уже заждалась, да и я порядком устал. Итак, если тебе не совсем безразлично, как твой отец проведет остаток жизни, то, вернувшись в Чикаго, я найду твое письмо. Это, конечно, шантаж, не думай, что я не понимаю. И последнее: за ужин плачу я.

Посадив отца в такси, Билли медленно пошел домой по мокрому городу, освещенному туманным светом уличных фонарей. Войдя в квартиру, он сел за письменный стол и уставился на пишущую машинку.

«Безнадежен,— думал он,— совершенно безнадежен. Бедный, жалкий фантазер — и такой любимый. И я так и не сказал, что мне хотелось бы купить ему новый костюм».

В постель он лег один.

Моника в эту ночь не пришла.

Она явилась утром, когда он уже собирался уходить на работу, и принесла пакет, который ему предстояло доставить на улицу Гро-Кайю в Седьмом округе Парижа. Пакет был сравнительно безобидный: всего-навсего десять тысяч французских франков в потертых купюрах и американский автоматический пистолет с глушителем.

Пистолет и запасные обоймы лежали в его теннисной сумке, когда в двадцать минут четвертого он вылез из такси на углу авеню Боске и улицы Святого Доминика. Он предварительно нашел на карте Парижа улицу Гро-Кайю, которая находилась между улицами Святого Доминика и Гренель, недалеко от Высшей военной школы. Конверт с десятью тысячами франков лежал во внутреннем кармане его пиджака.

Он пришел слишком рано. Моника сказала, что его будут ждать в три тридцать. Про себя он повторил адрес, который она заставила его заучить наизусть. Он шел, не торопясь, разглядывая витрины магазинов и надеясь, что его принимают за праздного американского туриста, у которого есть несколько свободных минут до встречи с партнерами по теннису. Когда до арки, за которой начиналась нужная ему улица, оставалось

метров тридцать, по улице Святого Доминика против движения с воем пронеслась полицейская машина и остановилась, загородив вход на Гро-Кайю. Из нее выскочили пятеро полицейских с пистолетами в руках и бросились в арку. Билли ускорил шаг и прошел мимо арки. Перед одним из зданий уже стояли трое полицейских, подбежавших с другого конца улицы. Он услышал крики и увидел, как эти трое бросились в подъезд. Раздались выстрелы.

Он повернул обратно к авеню Боске, заставляя себя идти медленно. День был не холодный, но его трясло словно в лихорадке, и в то же время он обливался потом.

На углу улицы он увидел банк и зашел в него. Все что угодно, только не оставаться на улице. За конторкой у входа сидела девушка, и он сказал, что хотел бы арендовать сейф, с трудом выговорив по-французски «Coffre-fort». Девушка встала и подвела его к клерку, который попросил предъявить документы. Он показал свой паспорт, и клерк заполнил несколько бланков. Когда клерк спросил у него адрес, он, мгновение подумав, назвал отель, где они останавливались с Моникой, когда вместе приезжали в Париж. На этот раз он жил в другом отеле. Он заплатил вперед за год и расписался на двух карточках. Подпись показалась ему самому странной. Затем клерк отвел его в подвал и вручил ключ от сейфа охраннику у входа. Охранник подвел Билли к ряду сейфов в задней части хранилища, открыл один замок ключом Билли, а другой своим и отошел, оставив Билли одного. Билли открыл теннисную сумку и положил пистолет, патроны и конверт с десятью тысячами франков в сейф. Он закрыл дверцу и позвал охранника, который снова запер сейф и отдал Билли его ключ.

Билли поднялся наверх. Никто вроде бы не обращал на него внимания, и он решился выйти на улицу. Выстрелов больше не было слышно, полиция исчезла. Его отец, как выяснилось, был излишне пессимистичен, когда советовал ему не полагаться на наследственное везение. За прошедшие десять минут ему повезло, как никому и никогда в жизни.

Он остановил такси и дал водителю адрес своего отеля неподалеку от Елисейских Полей.

Войдя в отель, он спросил, нет ли для него каких-либо писем или сообщений. Ничего не было. Он поднялся к себе в номер и, сняв трубку, назвал телефонистке номер своей квартиры в Брюсселе. Через несколько минут телефонистка сообщила, что номер не отвечает.

Полковник отпустил его на весь день, и он оставался в номере — звонил в Брюссель каждые полчаса до двенадцати ночи, когда коммутатор заканчивал работу. Но его номер так и не ответил.

Он попытался заснуть, но, едва задремав, тут же проснулся, весь мокрый от пота.

В шесть утра он снова позвонил в Брюссель, но ответа по-прежнему не было.

Он вышел на улицу и купил утренние газеты: «Фигаро» и «Геральд трибюн». За завтраком в кафе на Елисейских Полях он прочел о том, что произошло. В обеих газетах об этом сообщалось мимоходом. В Седьмом округе был убит неизвестный, подозреваемый в торговле наркотиками и оказавший сопротивление полиции, которая продолжает работу по установлению его личности.

«Да, они ведут себя осторожно,— подумал Билли.— Не сообщают в печати об известных им фактах».

Из отеля он снова позвонил в Брюссель. Ответа не было.

Через два дня он вернулся в Брюссель. Квартира была пуста, и все, что принадлежало Монике, исчезло. Никакой записки оставлено не было.

Когда несколько недель спустя полковник спросил его, собирается ли он остаться в армии, он ответил:

— Нет, сэр, я решил этого не делать.

5

После яркого солнечного света, заливавшего прибрежную полосу, Уэсли, проходя вслед за дядей в дом, с трудом различал предметы. Перед огромным зеркальным окном с видом на дюны и Атлантический океан, за накрытым на двоих столом сидела женщи-

на. Против света он еще плохо видел черты ее лица, и ему вдруг показалось, что это бывшая жена дяди Рудольфа. Он пожалел, что пришел. Он не видел ее со дня смерти своего отца и с тех пор приложил немало усилий, пытаясь ее забыть. Но когда его глаза привыкли к свету, он увидел, что это не Джин Джордах, а какая-то незнакомая высокая женщина с длинными рыжевато-каштановыми волосами. Рудольф ее представил.

Женщина приветливо улыбнулась, встала и ушла в кухню. Она вернулась с подносом, на котором стоял стакан, тарелки, серебряный прибор, и накрыла стол на третью персону. От запаха, шедшего из большого глиняного горшка, и аромата только что испеченных булочек кружилась голова. Он выехал из города в семь утра, затем добирался на попутных машинах, прошел пешком две-три мили от шоссе до пляжа и еще не ел. Ему приходилось то и дело сглатывать слюну.

Женщина была в купальном костюме, очень загорелая и нисколько не походила на миссис Уэрфем. Густой суп из моллюсков так понравился Уэсли, что он старался есть помедленнее. Элис кормила его вполне прилично, но в основном тем, что попадалось под руку, когда она неслась после работы домой,— на большее у нее не хватало времени. Приятные воспоминания о пиршествах, которые устраивала Кейт на «Клотильде», тонули в потоке салатов с тунцом и сандвичей с холодным мясом, которыми кормила его Элис. Он был благодарен ей за гостеприимство; конечно, она много работает и в редакции и дома, сидя до глубокой ночи за своей машинкой, но ее интересы не распространялись на область кухни, и он частенько думал, что уж лучше бы она написала что-нибудь толковое, потому что у плиты ей славы не добиться.

Когда он съел суп и четыре булочки, из которых буквально сочилось масло, миссис Морисон подлила ему еще и принесла несколько горячих булочек.

— Да, вовремя я пришел,— усмехнулся Уэсли, управляясь со второй тарелкой супа.

За обедом Рудольф не задавал ему никаких серьезных вопросов, а только спросил, как он добрался до Бриджгемптона и как нашел дом. Сам Уэсли ничего о себе не рассказывал. Он ответит на все вопросы, когда они останутся одни.

— Мы собирались обойтись без десерта,— сказала миссис Морисон,— но для молодого члена семьи, я думаю, в холодильнике что-нибудь найдется. У меня тоже есть сын, и я знаю, какой у вас аппетит. От вчерашнего вечера, кажется, остался пирог с черникой, а в морозилке лежит мороженое.

Уэсли решил, что женщина ему нравится и что жизнь дяди сложилась бы совсем иначе, если бы он встретился с ней раньше и женился бы на ней, а не на той, другой.

После обеда женщина накинула пляжный халат и сказала, что ей надо идти. Рудольф пошел проводить ее до машины; Уэсли остался в доме.

— До чего красивый мальчик,— сказала Элен, садясь в машину.

— Гретхен считает, что он похож на молодого принца с картины одного флорентийского художника. Она хочет попробовать его на одну роль в своей картине.

— А как он к этому относится?

— Я еще его не спрашивал. В нашей семье только киноактера не хватало.

— Пришел он, к сожалению, не совсем вовремя.

— Ты права. Обед и вправду возбуждающий, как и было обещано.

— Всегда есть завтра,— засмеялась Элен.

— А почему нельзя сегодня вечером?

— Я занята. Подрываю устои республиканской партии. Да и мальчик, наверно, захочет обстоятельно поговорить с дядей. Он приехал в такую даль вовсе не ради обеда.— Она высунулась из машины, поцеловала Рудольфа и включила мотор. Он задумчиво наблюдал, как она отъезжала — женщина, имеющая цель в жизни. Интересно, появится ли и в его жизни снова какая-то цель? Он вздохнул и отправился обратно в дом.

Уэсли стоял перед окном и смотрел на океан.

— Если я когда-нибудь осяду,— сказал он,— то вот в таком месте — весь океан перед тобой.

— Мне повезло с этим домом,— сказал Рудольф.

— Да-а, определенно повезло. А какой был обед! Она приятная женщина, правда?

— Очень приятная,— сказал Рудольф. Подробности его отношений с Элен Морисон и оценка ее качеств могут и подождать.— Хочешь поплавать? Купальные трусы я тебе найду — их тут гости оставляют в большом количестве... — Он понимал, что ищет

предлога оттянуть разговор, ради которого, несомненно, и приехал Уэсли.— Вода довольно прохладная, зато весь океан в твоем распоряжении.

— Поплавать — это здорово! — сказал Уэсли.

Они вышли на дощатый настил перед домом и спустились по ступенькам в маленькую кабину, где висело штук пять купальных трусов.

Наконец Уэсли в купальных трусах и с полотенцем вокруг шеи вышел из кабины, и Рудольф проводил его до самой воды. Уэсли бросил полотенце на песок и несколько секунд постоял в нерешительности. У него были мощные покатые плечи, плоский живот атлета и длинные мускулистые ноги. «Лицо у него более интеллигентное, чем у отца,— подумал Рудольф,— а вот фигура — копия отцовской, только повыше. Может быть,— думал Рудольф, когда мальчик стремительно бросился навстречу надвигавшейся волне,— может быть, Гретхен и права насчет него». Уэсли нырнул в волну, затем легко поплыл вперед. А вот Инид все еще боится океана и осторожно плещется у берега. Он и не пытался привить ей смелость. Он не станет одним из тех отцов, которые за неимением сына пытаются воспитывать дочь как мальчика. Ему доводилось встречать таких девиц с чересчур развитой мускулатурой, и он знал: что бы они ни говорили про своих отцов, в глубине души они их проклинают.

Уэсли плыл все дальше и дальше, и теперь голова его в голубой блестящей дали казалась маленькой точкой. Рудольф начал беспокоиться. А вдруг мальчик приехал сюда с единственной целью — утопиться в его присутствии? К нему вернулось прежнее чувство неловкости, которое он всегда испытывал при разговоре с племянником, чувство, что в любой момент мальчик может сделать или сказать что-либо совершенно непредсказуемое, опасное или по крайней мере вызывающее замешательство. Если бы они проводили вместе больше времени, может быть, он сумел бы преодолеть ощущение, что мальчик взвешивает каждое его слово, судит о нем по каким-то одному ему известным меркам. Бесполезно махать руками и кричать, чтобы он возвращался. Рудольф резко повернулся и пошел к дому.

В полукилометре от берега Уэсли лежал на спине, глядя в безоблачное голубое небо и испытывая почти чувственное удовольствие от того, как волны то поднимали, то опускали его. Он погрузился в мечты — ему казалось, что рядом с ним Элис, что, целуясь, они опускаются вниз, невесомые и окутанные, словно кружевом, каскадами воды, потом снова поднимаются на поверхность и глядят друг другу в лицо — возбужденные прикосновением океана, они объявляют всему миру о своей любви. После того единственного поцелуя, когда он, нагрубив, заставил ее заплакать, они не коснулись друг друга, и какое-то новое напряжение, какая-то застенчивая отчужденность, возникшие между ними, изменили их взаимоотношения — и не в лучшую сторону.

Но теперь, поднимаясь и опускаясь на ласковых волнах, он думал об Элис с желанием, в котором не посмеет ни ей, ни кому бы то ни было признаться.

Если бы сейчас на пляже вместо Рудольфа стоял его отец, он не решился бы заплыть так далеко, потому что отец не посмотрел бы, что он отлично плавает, и задал бы ему хорошую трепку. «Никогда не рискуй только ради того, чтобы всем показать, какой ты замечательный,— говорил отец.— На риск надо идти, только если в нем есть смысл».

Уэсли стало холодно, он повернулся и поплыл назад. Начался отлив, и он изо всех сил старался доплыть до того места, где волны разбивались друг о друга. Одна из них подхватила его, опрокинула в вихре пены и выбросила на гладкий и твердый песок. Собрав все силы, он встал и вышел из воды. Он стоял, вытирая лицо и тело полотенцем, и смотрел на уходящий до самой линии горизонта океан, на котором не было ни единого корабля. «Как бы в конце концов ни сложилась у меня жизнь,— подумал он,— она непременно будет связана с морем».

Приняв в кабине душ и одевшись, он поднялся на веранду и вошел в дом. В гостиной дядя разговаривал по телефону: «...если он не уплыл в Португалию». Дядя ему улыбнулся и сказал в трубку:

— Подожди минутку, вот он пришел. Просолился насквозь.— Он протянул трубку Уэсли.— Это твоя тетя Гретхен. Хочет с тобой поздороваться.

Уэсли взял трубку.

— Добрый день! Как вы живете?

— Занята по горло,— ответила Гретхен.— Хорошо, что ты наконец объявился. Я несколько месяцев тебя ищу. Где ты был?

— В разных местах.

— Послушай, Уэсли! Рудольф завтра утром едет в город, мы с ним должны встретиться. Ты можешь с ним приехать? Мне необходимо тебя увидеть. Он тебе объяснит почему.

— Понимаете ли...— сказал Уэсли.— Он не предлагал мне остаться ночевать.

— Можешь считать, что предложил,— сказал Рудольф.

— Хорошо, попытаюсь.

— Не пытайся, а приезжай. Не пожалеешь.

— Передать трубку Рудольфу?

— Времени нет. До свидания, дорогой.

Уэсли положил трубку.

— А я не испорчу вам вечер? — спросил он Рудольфа.

— Наоборот,— сказал Рудольф.— Я с удовольствием проведу его с тобой.

— Она сказала, что вы должны мне что-то объяснить. Что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке. Давай сядем поудобнее.

Они сели друг против друга за стол у окна. При ярком свете перемены в лице Рудольфа были особенно заметны. Сломанный нос и шрам под глазом делали его более живым и близким. Теперь лицо у него как у человека, который много пережил. Уэсли впервые подумал о том, что дядя удивительно похож на его отца. До этого момента он никогда не замечал в братьях сходства.

— Эти двое парней, должно быть, здорово над вами поработали,— заметил он.

— Очень я страшный? — спросил Рудольф.

— Нет, ничего, мне даже нравится. Наверно, я просто привык к перебитым носам. Выглядит более по-домашнему.— Ссылка на отца далась ему легко и естественно, и они оба засмеялись.

— Гретхен уговаривает меня решиться на операцию, но я сказал, что такой нос делает меня непохожим на других. Я рад, что ты с этим согласен.

— А что вы должны мне объяснить?

— Помнишь, я писал тебе, что она собирается поставить фильм?

— Да.

— Ну так вот, теперь у нее все уже на мази, и через месяц она начинает съемки. Почему-то,— шутливо продолжал Рудольф,— она считает, что ты очень красивый молодой человек...

— Ну что вы,— смутился Уэсли.

— Как бы то ни было, о вкусах не спорят. Во всяком случае, она уверена, что ты можешь подойти для одной из ролей, и хотела бы тебя на нее попробовать.

— Меня? — изумленно спросил Уэсли.— В кино?

— Мне судить трудно, но Гретхен прекрасно разбирается в этом, и если она так считает...

— Я с удовольствием готов повидаться с Гретхен,— пожав плечами, сказал Уэсли,— но ни на какие роли я не согласен. У меня много дел, и не хочется терять попусту время. И зачем это мне, чтобы люди на улице подходили и говорили: «Я вас сразу узнал, мистер Джордах!»

— Я тоже такого мнения,— заметил Рудольф,— но мне кажется, что гораздо вежливее сначала выслушать Гретхен, а потом уж отказываться. Во всяком случае, люди на улице не будут говорить «мистер Джордах», потому что в кино любят менять фамилии актеров, а такую, как Джордах, поменяют всенепременно, поскольку никто не будет знать, как ее правильно произнести.

— Неплохая мысль — поменять мне фамилию.— Уэсли задумался.— И не только для кино.

Рудольф внимательно посмотрел на племянника. Для подростка его возраста это были странные слова. Он не совсем понимал, что за ними скрывалось, но почему-то они вызвали в нем тревогу. Пора переменить тему.

— А чем ты занимался последнее время? — спросил он.

— Я ушел из дома,— ответил Уэсли.

— Ты сказал мне об этом по телефону.

— Меня выгнали,— объяснил Уэсли.— Об этом я вам не сказал.

— Нет.

— Мать выгнала. Но я ее не виню. Мы, наверное, слишком разные люди и не можем жить под одной крышей. И, пожалуй, на одном свете... Она приставала к вам из-за меня — насчет ордера на арест и всего прочего?

— Этот вопрос решен,— ответил Рудольф.

— Я полагаю, вами? — Голос Уэсли звучал почти обвиняюще.

— Об этом не стоит говорить,— отозвался Рудольф.— Кстати, где ты был все это время?

— Во многих местах,— уклончиво ответил Уэсли.— Приезжал в Нью-Йорк несколько раз...

— Ты мне об этом не сообщал.— Рудольф постарался скрыть огорчение.

— Вам хватает и собственных забот.

— Я мог бы тебе помочь.

— Может быть,— усмехнулся Уэсли,— я приберегал вас на тот случай, когда мне на самом деле понадобится помощь.— Лицо его стало серьезным.— Мне повезло. Я нашел очень хорошего друга.

— Ты неплохо выглядишь и прилично одет...— Ему внезапно пришло в голову, что, возможно, кто-то прибрал Уэсли к рукам и использует его для темных дел: заставляет подбирать для сутенеров на автовокзале попавших в беду девчонок или перевозить наркотики. После зверского избиения в собственной квартире Нью-Йорк приобрел в глазах Рудольфа новый, зловещий ореол. А неопытный мальчик, бродящий по Нью-Йорку без цента в кармане...— Я надеюсь, ты не занимаешься ничем недозволенным?

— Нет,— засмеялся Уэсли.— По крайней мере пока нет. Мой друг работает в журнале «Тайм». Это женщина. Она помогла мне, когда я приехал в Нью-Йорк, разузнать про отца, найти людей, которые его знали. Ну, их адреса и кто они. Они там, в журнале, все обо всех знают. Наверно, ей стало меня жаль. Во всяком случае, я не ошибся: она навела меня на след многих людей.

— Этот костюм она тебе купила?

— Она одолжила мне деньги,— обороняясь, сказал Уэсли.— И выбрала. И еще кое-что.

— Сколько ей лет? — встревожился Рудольф, представив себе старую деву, завлекающую неискушенного юнца.

— Года на два больше, чем мне.

— Ну все, что меньше тридцати, это ничего,— улыбнулся Рудольф.

— Ей до тридцати далеко.

— У тебя с ней близкие отношения? Ты извини, что я так прямо спрашиваю. Уэсли этот вопрос, по-видимому, не обидел.

— Нет. Я сплю на кушетке. Она называет меня двоюродным братом.

— Мне бы хотелось встретиться с этой молодой дамой.

— Она вам понравится. Она очень милая. И правда много для меня сделала.

— С кем же ты разговаривал? — с любопытством спросил Рудольф.

— С четырьмя-пятью людьми, в разных местах. Одни оказались хорошими, другие — плохими. Но если вы не против, мне не хотелось бы об этом говорить. Мне самому еще надо во всем разобраться.

— И теперь тебе кажется, что ты лучше знаешь своего отца?

— Пожалуй, нет,— серьезно ответил Уэсли.— В общем, я теперь знаю, что в молодости он попадал во *всякие* передряги. И понимаю, каково ему было. И, возможно, сейчас я даже еще больше им восхищаюсь за то, каким он стал после такого начала в жизни,— сам не знаю. Но главное — я лучше его *помню*. Я боялся, что начну забывать его. А так,— сказал Уэсли очень искренне,— он со мной все время. У меня в голове — будто сидит и разговаривает со мной, понимаете?

— Кажется, понимаю. А теперь объясни, зачем ты все-таки приехал? — Рудольф засмеялся.— Помимо обеда.

— Я приехал, чтобы попросить вас об одной вещи,— Уэсли замялся и опустил глаза на стол.— Даже о двух.

— О каких?

— Я хочу уехать обратно в Европу. Мне хочется повидаться с Кейт и увидеть ее ребенка. И Кролика. И Билли Эббота. Посмотреть, как он живет. И еще кое-кого

в Антибе. Я почему-то не чувствую себя дома в Америке. С тех пор как я сюда приехал, у меня не было ни одного радостного дня.— В его голосе звучало такое волнение, что это нельзя было счесть просто жалобой.— Может, со временем я привыкну, но пока я здесь чужой. Вы мне когда-то говорили, что, по мнению того адвоката в Антибе, через год мне разрешат вернуться во Францию. Вот я и подумал: если бы вы написали ему и узнали...

Рудольф встал и медленно направился к камину.

— Я хочу задать тебе еще один прямой вопрос, Уэсли,— сказал он.— Ты только поэтому хочешь поехать в Европу или...— Он замолчал.

— Или что?

— Или ты предполагаешь разыскать человека, с которым у твоего отца была драка?

— Возможно, такая мысль и приходила мне в голову,— не сразу ответил Уэсли.

— Это было бы большой глупостью, Уэсли. И это очень опасно.

— Я обещаю быть осторожным.

— Надеюсь, мне не придется напоминать тебе об этом обещании. Ну, а о чем еще ты хотел меня попросить?

— Это сложнее,— сказал Уэсли. Теперь взгляд его был устремлен на море.— Это касается денег. Свою долю наследства я получу только через год, когда мне исполнится восемнадцать лет. Вот я и подумал, что, если вам не слишком трудно, не смогли бы вы одолжить мне, скажем, тысячу долларов? А как только мне стукнет восемнадцать, я их верну...

— Дело не в деньгах,— сказал Рудольф, хотя у него тут же возникла мысль, что почти все его решения связаны с деньгами: откупиться от матери Уэсли и получить ее согласие на развод; помочь Гретхен на новом поприще; добиться примирения с отцом Уэсли; даже его переезд сюда, где он живет сейчас, на побережье Атлантического океана, был следствием того, что у него в кармане оказалось всего лишь несколько долларов и какая-то мелочь, когда раздосадованные неудачей бандиты избили его в Нью-Йорке. Деньги помогли и вызволить Уэсли из тюрьмы, потому что хитрому старому адвокату в Антибе на его счет под цифровым кодом в Швейцарии была переведена кругленькая сумма.— Нет, дело не в деньгах,— повторил он.— Меня больше всего беспокоит твое будущее.

— Меня самого оно беспокоит,— с горечью отозвался Уэсли.— В день своего восемнадцатилетия, когда мне предстоит стать на учет для прохождения военной службы, я хочу быть во Франции. Могила во Вьетнаме — не самое лучшее будущее.

— Этого можно избежать и не уезжая из Америки,— сказал Рудольф. Он подошел к племяннику, стоявшему у окна.— Я писал тебе об училище торгового флота...

— Я помню. Это было бы неплохо.

— Как у тебя с математикой? Для поступления это важно.

— Довольно прилично. Математика мне дается легко.

— Ну и прекрасно,— сказал Рудольф.— Но там требуется диплом об окончании средней школы и рекомендация какого-нибудь конгрессмена. Рекомендацию я могу устроить. А вот...— Внезапно ему пришла в голову новая мысль.— Ты можешь поселиться здесь и жить у меня — тебе ведь здесь нравится?

— Еще бы!

— Откровенно говоря, мне бы этого очень хотелось. Я думаю, тогда ты, наконец, сможешь сказать, что тебе в Америке не так уж плохо. Ты кончишь здесь школу. Конечно, если не помешает тетка и не сделает из тебя кинозвезду...

— Не беспокойтесь!

— К тому времени, как ты закончишь училище, войны уже не будет. Должна же она когда-нибудь кончиться.

— Кто это так считает?

— История.

— Я не читал такой книги, где бы об этом говорилось,— насмешливо сказал Уэсли.

— Я тебе ее разыщу. И никто не требует, чтобы ты принял решение немедленно. А я тем временем напишу адвокату. Ну как, договорились?

— Договорились,— сказал Уэсли.

(Окончание следует)

Из норвежской поэзии

В стихотворении, посвященном Улаву Хауге, его друг, известный советскому читателю норвежский поэт Ролф Якобсен, писал:

Вовсе не обязательно жить в больших городах.
Вовсе не обязательно,
чтобы тебя услышали,
громко кричать с трибуны.

Строки эти можно отнести не только к Улаву Хауге, они в равной мере справедливы и по отношению к Халвору Сандсдалену и Хансу Бёрли, которые также живут вдали от столицы и самобытные голоса которых слышит вся Норвегия.

Эти поэты ходят по земле, не скованной асфальтом. Благоухающая на солнце хвоя, шум водопадов и пение горных рек для них не условные поэтические образы, а повседневная жизнь. Земля, лес и море, которые кормят норвежцев, кормят и этих поэтов в самом прямом, а не переносном смысле. Несмотря на признание читателей, норвежским поэтам приходится зарабатывать себе на жизнь не только литературным трудом — тиражи поэтических сборников очень невелики.

Улав Хауге, которому в этом году исполняется семьдесят пять лет и стихи которого широко известны по всей стране, живет в своем родном поселке Улвик в Харангере на западе Норвегии, возделывая землю и занимаясь садоводством. Ханс Бёрли, выпустивший с 1945 года двадцать книг, в том числе пятнадцать сборников стихов, до сих пор ежедневно отправляется в лес со своей механической пилой, хоть ему и перевалило за шестьдесят. Халвор Сандсдален с рождения живет в маленьком поселке Сельюр, раскинувшемся на берегу живописного горного озера в Телемарке. Ему семьдесят два года, он выпустил двадцать две книги. Всю жизнь он писал стихи, а средства к жизни добывал, работая батраком, лесорубом, дорожным рабочим, журналистом. Его слова о том, что «вдохновение — это время и покой, чтобы писать», следует понимать буквально.

Любовь к поэзии и верность ей объединяют этих поэтов, но норвежцы легко узнают каждого по поэтическому почерку.

В метафорических, лаконичных, но емких по содержанию стихах Улава Хауге слышится порой отзвук древней Эдды, однако говорится в них о сегодняшней жизни, и лирический герой живет острыми проблемами современного мира. Будущее беспокоит поэта не меньше, чем настоящее, ибо в наше время надо обладать мужеством, чтобы смотреть в глаза завтрашнему дню. И вместе с тем он верит в победу созидательного начала в человеке, верит, что «обвал» можно предотвратить.

«Лесным поэтом» стали называть Ханса Бёрли после выхода в свет его первого сборника стихов, главной темой которого была жизнь леса и лесорубов. Сын бедного многодетного крестьянина, Ханс Бёрли с ранней юности пошел работать в лес. Лес стал его судьбой и символом в его поэзии. Глубокую социальную несправедливость поэт видит в том, что лес, «породивший и вскормивший» работающих в нем людей — людей, которые с детства были «прихвачены... жизненной стужей»,— принадлежит «пришлым людям», связанным с ним не кровными узами, а правом собственности. Это тем более горько для поэта, что он верит в «великую нежность» природы, в спасительную силу корней, поддерживающих жизнь человека.

Об этих же корнях, о необходимости хранить их пишет и Халвор Сандсдален. Он видит эти корни и в близости к природе, и в бережном отношении к культуре и обычаям прошлого, и в народных сказках, которые собирает и записывает старая крестьянка. И не случайно в его стихах появляются тревожные интонации, когда он пишет о молодом поколении, «таком деловом, таком современном», что оно, уподобляясь «перелетным птицам», готово отказаться от родного дома.

Публикуемые в журнале поэты душою и плотью связаны со своей «малой родиной». Но это не делает их провинциальными. Халвор Сандсдален одной из своих книг предпослал эпиграф: «Я не сочиняю, я просто рассказываю правду». Эти слова могли бы сказать о себе и Улав Хауге, и Ханс Бёрли. А правда неделима на провинциальную и столичную. Она одна для всех трудовых людей на земле.

Л. ГОРЛИНА

УЛАВ Х. ХАУГЕ

Под угрозой обвала

Ты живешь под угрозой обвала,
и тебе об этом известно.
Но ты засеваешь поле
и спокойно ходишь по лугу,
глядишь, как играют твои дети,
и ложишься спать
как ни в чем не бывало.

Случается,
летним вечером
ты стоишь,
опершись на косу,
и глаза твои пробегают
по нависшей скале —
там, говорят,
есть трещина.
Случается,
ты лежишь без сна
всю ночь
и прислушиваешься
к паденью камней.

И если загрохочет обвал,
он не будет нежданным.
И ты начнешь наводить порядок
на зеленых клочках земли
у подножия горного склона...

Если останешься жив.

Ты стала ветром

Был я судном
с повисшими парусами.
Ты стала ветром.
Куда лежит мой путь?
Кто же спрашивает о пути,
когда дует такой ветер!

Слово

Слово —
камень
в холодной реке.
Камень для...
Мне нужно много камней,
чтобы перейти реку.

Коса

Я так стар,
что предпочитаю косить косой.
Тихо поет она в траве,
и мысли могут течь без помехи.
К тому же трава говорит,
что коса
не причиняет ей боли.

Не прибегай к наждачной бумаге

Не прибегай к наждачной бумаге там, где надо ровнять рубанком,
не поправляй лыжню, что надежно ведет тебя через горы,
не пользуйся словом, стертым от употребления.

Слово — динамит, оно проникает в глубины,
из трещины, сделанной им,
могут хлынуть грунтовые воды.

Ты не вешаешь шапку на солнечный луч

Тебе нужна под ногами
твердая почва,
ты должен
за что-то держаться,
мысль
не смеет
разжать руки,
она, как ребенок,
не доверяет себе
и постоянно
ищет опору.
Ты не вешаешь шапку
на солнечный луч,
ты поздно выучился
плавать,
не доверяешь самолету,
чувствуешь себя уверенно,
только стоя на земле.

Бродяги и лошади

Бродяги и лошади ищут
родники у обочин.
На что им бензоколонки?

Я готовлю косу

Коса, которой косят,
блестит и не ржавеет,
хотя
я знаю, что и она не вечна.
Что же лучше — ржаветь без дела в чехле
или сточиться об оселок и разбиться о камень?

*Долго ли ты спал?**

Смеешь ли ты
открыть глаза
и оглядеться вокруг?
Да, ты здесь,
в этом мире,
тебе это не снится,—
он таков каким
ты его видишь, все
так и есть.
Так?
Да, именно так,
не иначе.
Долго ли ты спал?

*Под старым дубом в дождливый день**

Дождь не виноват,
что я стою
под этим старым дубом
у дороги. Здесь

© Noregs Boklag L/L, 1981.

так спокойно под надежной кроной,
мы старые друзья,
и нам хорошо
стоять вот так вдвоем,
и молчать, и слушать,
как льет дождь,
вглядываться в серый день,
ждать и понимать.
Мир стар, думаем мы,
и мы оба тоже стары.
Сегодня я немного вымок —
листва начала облетать,
пахнет прелым сырой воздух,
я чувствую капли,
падающие на волосы.

Перевод Ю. ВРОНСКОГО

ХАНС БЁРЛИ

Леса принадлежат нам

Я никогда в жизни не владел ни единым деревом.
Никто в моем роду никогда
не владел ни единым деревом,
хотя жизненный путь всех моих предков
проходил по синим горам, поросшим
вековыми лесами.

Лес в ненастье,
лес в вёдро,
лес, лес, лес,
и так — каждый год.

В моем роду никто
никогда не жил в достатке.
Никто.
С раннего детства прихвачены мы
жизненной стужей.

Пришлые люди владеют лесом
и землей,
заваленной валунами.
Мои предки ее расчищали
при свете лунного фонаря.

Пришлые люди
с гладкими лицами,
холеными руками,
с автомобилем, неизменно
ждущим у двери.

Никто в моем роду никогда
не владел ни единым деревом.
Но, политые нашей кровью,
леса принадлежат нам.

Ты богат,
у тебя акции, чековые книжки
и собственный автомобиль.
Ты купил сотню гектаров леса,
и еще, и еще сотню.
Но тебе не купить закат,
шум ветра
и радость людей, что идут домой
по лиловому вереску.

Нас породившие и вскормившие,
леса принадлежат нам.

Люди леса

Мы жили
на плечах Земли
под белым деревом северного сияния.
Завывал ветер.
И его вой врывался в бормотанье людей,
стоявших на коленях у костерной ямы,
и пламя спички дрожало испуганно
в пустом мировом пространстве сложенных лодочкой ладоней.

Рукавицы были пропитаны кровью —
от топорища потрескалась кожа.
Страх безработицы преследовал нас,
как призрак с ввалившимися глазами.
Дня не хватало — в лунные вечера
тени деревьев, сгибающихся под снегом,
были кривы, словно коса Безносой.

Ручей подо льдом смеялся
бессмысленно и глухо,
как узник, сошедший с ума в заключении.
У нас не хватало тепла
растапливать снег, облепляющий сердце.

И по сей день
нежное слово
замерзает порой у меня в груди,
как перелетная птица,
прилетевшая слишком рано.

Поэзия

Что такое поэзия?

Спроси у ветра,
у журавля на ночном озере,
у старого подсвечника в подтеках воска.
Его молчание будет ответом.

Ты живешь.
Вся поэзия в этом.
Изо дня в день ты
побеждаешь смерть на земле.

Но поверь,
из этой борьбы не вышло бы ничего,
если б твои сапоги
не оставляли темных полос
на зеленой росистой траве по утрам,
если б у девушки на автобусной остановке
не морщились губы в улыбке, если б
у черного хлеба в обед не было привкуса
августовских таинств и тишины,
если бы...

*Быть человеком**

Быть человеком — чувствовать боль.
Этот недуг неизлечим.
Мы ищем, ищем средства
утишить боль.

Перевод И. БОЧКАРЕВОЙ

*Великая нежность***

Вечерами,
когда звезды спешат на запад
и на землю потихоньку нисходит
покой летнего неба,
ты чувствуешь всем своим существом,
как теплая, добрая ладонь
подхватывает и поднимает все живое.
Великая нежность обнимает мир
вопреки всему...
Весь мир
с его сумасшедшими домами,
танками, детоубийцами,
войнами...
Великая нежность, которая когда-нибудь
создаст Человека.
И тогда у истоков нового летосчисления
черные залежи зла
превратятся в поля пшеницы,
колышущиеся от ветра.

Вот почему
держится жизнь
на планете Земля.
Вот почему
колокольчики все так же синеют
в траве каждое лето.
И птицы все так же золотятся,
летя высоко над полями
в лучах заката.

Перевод Ю. ВРОНСКОГО

*© H. Aschehoug & Co. (W Nygaard), 1974.
**© H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1976.

ХАЛВОР Й. САНДСДАЛЕН

Три книги

Мою первую книгу сжевали козы.
Мне было одиннадцать лет,
я пас скотину.
Побежал за коровами,
а книгу оставил на камне.
Я больше никогда не писал таких хороших
стихов.

Вторую — вынашивал долго,
да так и не написал,
книгу о девушках,
что шли по дороге
в белых платьях.
Дорога, сумерки,
белые платья...
Не счесть, сколько бабочек
было в том году!

Третью —
издал.
И упрятал в сундук.

Гунил Торсдоттер

Она говорила,
что собирает сказки,
но никто ей не верил —
ходит себе
по усадьбам
да толкует
со стариками.

Мы смеялись над ней,
звали
Гунил-Старуха.

Она умерла, оставив
лишь семь карандашных огрызков.

В роскошном издании
«Сказки Телемарка»
сто сказок
записаны Гунхилд Торсдоттер.

© Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1976, 1978, 1981.

Теперь мы хотим
поставить ей памятник.

Перевод Н. КИЯМОВОЙ

Ночь

Лежу и смотрю, не мигая:
город залит
белым светом.
Где же тот мост
над черной водой?
Фонарь на высоком столбе.
Я знаю, там
дорога сворачивает на Телемарк.

Где бы мне сесть?

Пока платил за проезд,
быстренько оглядел
весь автобус.

Свободных-то мест полно,
да мне охота сидеть
среди своих.

Девица вяжет.
Соседнее место занято сумкой.
Сесть на свою сумку
девица, конечно, не может.

Подруги беседуют
через проход.
Негоже мешать беседе.

Депутат стортинга,
сами понимаете:
раскрыл папку с бумагами,
чтобы ничего не видеть.

Но вон там,
в самом конце,
лесоруб.
Топорище торчит
из рюкзака.
Уж он-то, ясное дело,
поставит рюкзак себе на колени,
чтобы я мог сесть.

Трава

Всезнающие юнцы,
вас видит насквозь трава:
вы родились, вы состаритесь,
вы исчезнете,
как перелетные птицы за дальним лесом.

Перевод И. БОЧКАРЕВОЙ

Весенняя ночь

Что с вами, больной,
почему вы всю ночь не спите?

Не смейтесь, сестрица,
я тревожусь за чибисов.

Тревожитесь за чибисов?

Да. Мой сын начинает пахать.
Обычно я ставлю шесты на полях
там, где чибисовы гнезда,
но не знаю,
сделает ли это Юн.
Он такой деловой,
такой современный,
я тревожусь за чибисов.

Позвоните ему, сестрица.
Передайте от меня поклон
и скажите,
что чибисов особенно много
на поле у Долгого болота.
Сколько я спас там их гнезд!
Позвоните ему сейчас же, ночью,
он очень рано выезжает в поле.

Перевод Ю. ВРОНСКОГО

Чудно

Чудно́, удивляются люди:
Кнют не заикается,
когда говорит с животными.

Привет!

Почему это юное слово,
выведенное на снегу,
залепившем окно машины,
так меня радует,
ведь я не знаю,
кто его написал?
Я подошел,
и оно улыбнулось мне.

Перевод Н. КИЯМОВОЙ

■

И. ЗОРИНА

ОБЩИЙ ЯЗЫК И ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ

Советско-американский писательский диалог в Киеве и психология времени

Когда зарождалась мысль об этих встречах, разумеется, было ясно, что дело окажется непростым, как вообще непросто налаживать международное общение, имея в виду социальные различия, которые свойственны XX веку, как никакому другому, и которые, в частности, сопутствуют отношениям между СССР и США. Не станем говорить о различиях мировоззренческих, творческих, индивидуальных. Известно: начиная с 1977 года состоялось пять встреч. Пять. Можно ли уже сказать о том, что объединяло художников слова двух стран? Встреча, проходившая летом 1982 года в Киеве, как, впрочем, и опыт предыдущих встреч, хочется думать, приблизила нас к ответу на этот вопрос.

Не будем рисовать благостной картины, но и не будем акцентировать сложных, неприемлемых моментов, таких, скажем, как попытка официальных органов США сделать невозможной встречу в Лос-Анджелесе в 1980 году,— в ту пору Соединенные Штаты взяли курс на еще большую конфронтацию с нашей страной. Отметим лишь, что хотя международная обстановка накалялась, от встречи к встрече все определеннее заявляли о себе идеи гуманистические, человеколюбивые. На дискуссии в Киеве забота о сохранении мира на земле стала основным связующим звеном в общении советских и американских литераторов. Сказать это — значит, безусловно, сказать главное, ибо нет сегодня иной идеи, кроме идеи антивоенной, антиимпериалистической, в которой гуманистическое начало было бы столь ярко выражено.

Но как быть с реально бытующими противоречиями, расхождениями во взглядах, если говорить о столь насущной в наш век потребности в единстве, своего рода целостности человечества? Не вступают ли при этом в конфликт с диалектикой живой действительности гуманистические устремления времени? Да, вступают. И о том свидетельствует хотя бы опыт общения советских и американских писателей, который мы пытаемся осмыслить. Вот почему всякий раз участники дискуссии стремились отделять главное от второстепенного, находить общий язык, устанавливать язык общения. Их не покидал здравый смысл. Вот почему, вопреки злым силам времени, встречи продолжаются. Вместе с тем во время дискуссии в Киеве — так было и во время предыдущих встреч — советские участники принимали в расчет, что среди американцев были люди не просто иного с нами миропонимания, но находящиеся в плену предвзятых о нас представлений, что нередко имели место и недружественные высказывания в адрес нашей страны.

Однако сегодня можно утверждать: происходит изменение отношения к самому факту разногласий. Если прежде разногласия являлись препятствием, порой непреодолимым, тому, чтобы был обретен общий язык в главном, ныне (стоит подчеркнуть, что в этом вопросе инициатором не раз выступала советская сторона) наиболее трезвые умы приходят к выводу: надо отделить вопрос о разногласиях от вопроса, относящегося к реальной угрозе ядерной войны. Это не значит, что через разногласия можно и нужно переступить, что их нужно игнорировать. Спор продолжается, в нем — веление времени. Подобная точка зрения защищает жизненные интересы человека независимо от того, какой категории взглядов он придерживается, она защищает интересы общего, нерасторжимого, что являет собой планета Земля. Не потому ли у этой позиции все больше сторонников — даже среди тех, кто вчера относился к подобному мнению с предубеждением.

В этой связи с особой настойчивостью возвращаешься к мысли о значении непосредственного человеческого общения, которое помогает лучше постигать личность, явление, самую жизнь. Это тем действеннее, если человек знакомится не только с человеком, но и с его страной, как было во время пяти состоявшихся встреч. Мы убеждались в этом, когда наши американские коллеги знакомились, к примеру, с Грузией, с ее людьми, с жизнью ее села. То же можно сказать и об Украине, на сей раз это она гостеприимно распахнула свои двери.

Два признания, сделанные американскими коллегами за «круглым столом» в Киеве:

Эрика Джонг: «Впервые приехав в Советский Союз, я поняла, что у меня было о нем весьма превратное представление».

Роберт Блай: «Мое мнение о России значительно изменилось после этого визита в вашу страну. Когда вы приедете в Америку, мы встретим вас так же гостеприимно».

По-видимому, настало время представить участников киевской дискуссии. Для встречи с советскими писателями в нашу страну из Соединенных Штатов Америки прибыли поэты Гвендолин Брукс и Роберт Блай, прозаик и эссеист Сьюзен Сонтаг, поэт и романист Эрика Джонг, прозаик Ирвинг

Стоун, критик-славист Вера Данхем, прозаик и публицист Стадс Теркел, историк и эссеист, президент Американской Академии и Института литературы и искусств Артур Шлесинджер. От университета Пепердайн (город Малибу, Калифорния) присутствовал его канцлер М. Норвел Янг, а также его вице-президент Олаф Тэгнер.

К сожалению, по состоянию здоровья в Киев не смог прилететь бессменный американский сопредседатель Норман Казинс. На этом посту его заменил участник предыдущих встреч публицист Гаррисон Солсбери. Н. Казинс адресовал собравшимся приветственное письмо, в котором, как отметил сопредседатель встречи с советской стороны Николай Федоренко, была выражена «вера в лучшее, что может сделать человек и человечество» [1].

В состав советской делегации входили наши писатели и литературоведы: Григол Абашидзе, Михаил Алексеев, Чингиз Айтматов, Олесь Гончар, Михаил Дудин, Павло Загребельный, Давид Кугультинов, Виталий Коротич, Генрих Боровик, Леонид Новиченко, Мстислав Козьмин, Ясен Засурский.

Во встрече в Киеве участвовали также А. Овчаренко, А. Мулярчик, Т. Голенпольский, Т. Ротенберг и автор этих строк.

В призме памяти — годы войны

«История и современность» — тема дискуссии. Какое же освещение получила она за «круглым столом»? Учитывая основную направленность, которую приобрело обсуждение темы, наверное, ее можно было бы обозначить и так: вторая мировая война, ее уроки и современность. И не надо объяснять, что само наше время обусловило этот взгляд на проблему. Среди советских писателей были те, кто знал, что такое война, не понаслышке, кто сражался на фронте, как, например, П. Загребельный, О. Гончар, как участник Сталинградской битвы М. Алексеев; кто знал блокадный Ленинград, как М. Дудин, или находился в рядах защитников Москвы, как А. Овчаренко, и те, кто в суровые дни испытаний вносили свою лепту в дело победы в нашем тылу. Надо ли говорить о том, что все это нашло отражение в их творчестве.

Рассказ советских участников встречи, полный живых примет военного времени, их размышления о том, как они, умудренные печальным опытом, смотрят сегодня на события, грозящие ядерной катастрофой, производили большое впечатление на американцев: они возвращались к этому в выступлениях, им хотелось продолжить разговор за пределами «круглого стола». Полны глубокого смысла слова Эрики Джонг: «Это — живая история»

В связи с затронутой проблемой следует отметить, что мы высоко ценим вклад, который внес американский народ в победу над фашизмом. Память о тех днях живет и во многих значительных произведениях писателей этой страны. Напомним лишь о книгах участников предыдущих встреч Уильяма Стайрона [1] и Курта Воннегута [2], известных советскому читателю,— в них личный опыт пережитого авторами во время второй мировой войны; напомним о выступлениях на эту тему за нашим «круглым столом» Гаррисона Солсбери, который был военным корреспондентом в Советском Союзе и не раз говорил о том, что своими глазами видел героизм и страдания советского народа. И, наконец, расскажем о новой книге, над которой работает Стадс Теркел,— она посвящена второй мировой войне, но, как всегда у Теркела, это — взгляд нашего современника, чему немало способствует избранный им жанр. Читатель, очевидно, знает[3], книги его обычно состоят из интервью, взятых у американцев, «людей с улицы». Автор же, оставаясь «за кадром», умело направляет разговор. На этот раз в книге будут не только американские главки: беседа с немкой, не покидавшей Германии в годы войны, с французским священником из Чикаго, который мальчишкой участвовал в Сопротивлении во Франции. Будут в ней, конечно же, интервью, взятые С. Теркелом во время посещения нашей страны, в которой он, кстати говоря, побывал впервые: с участниками Сталинградской битвы, этого, по словам Теркела, «поворотного события второй мировой войны, во всяком случае на европейском театре», с ленинградцами, пережившими дни блокады родного города.

Пусть будет позволено короткое отступление: оно имеет отношение к существу разговора. Перенесемся из Киева на несколько дней вперед. Участники дискуссии, те, кто выразил желание побывать в Ленинграде,— на Пискаревском кладбище. Рядом — Стадс Теркел. Солнечный летний день. Все в природе утверждало радость жизни. Тем сильнее чувствовалось настроение пришедших сюда людей,— они были строги и неторопливы. Огромные братские могилы, много могил. Взгляд Теркела следил за надгробными надписями: «1941 год», «1941», «1941». «Сколько же их может быть?» Потом: «1942», «1943»... И у каждой могилы цветы, иногда конфеты, чаще — кусок хлеба. Американские гости обратили внимание на молодые пары в нарядах новобрачных. «Зачем они здесь? Переведите, пожалуйста»,— попросил Стадс Теркел. Их ответ (он был лаконичен, выдавая застенчивость): «Чтобы помнить». Стадс Теркел был явно взволнован. Кто-кто, а он умеет «разговорить» собеседников. «Ну, хорошо, это сейчас уже традиция, здесь покоятся близкие, ваши или ваших знакомых. Но чтобы стать традицией, это должно быть известно. Откуда так много людей в вашей стране знают обо всем этом?» Вопрос заста-

[1] Письмо Н. Казинса опубликовано в статье Н. Федоренко «Продолжение диалога», посвященной состоявшейся дискуссии. (См. «Вопросы литературы». 1982. № 11.)

[1] Читатели «Иностранной литературы» знакомы с повестью У. Стайрона «Долгий марш» (1967, № 7) и главами из романа «Софи делает выбор» (1981, № 1).

[2] Роман К. Воннегута «Бойня номер пять» был опубликован в журнале «Новый мир» (1970, № 3, 4)

[3] «Иностранная литература» печатала книги С. Теркела «Улица Разделения: Америка» (1969, № 8, 9); «Работа» (1976, № 11), последняя вышла и отдельным изданием. В интервью с писателем, взятом во время его пребывания в Советском Союзе летом 1982 г., о новой книге рассказано подробнее (см. «ИЛ», 1982, № 12).

ет молодых врасплох: «От людей, из книг, рассказывают в школе...»

«Откуда так много людей знают обо всем этом?» — подобный вопрос, очевидно, мог задать только американец. Весьма американский вопрос. Не секрет ведь — американцы и сами не раз говорили нам: в США правдивая история борьбы с фашизмом находится за семью печатями.

А между тем в жизни наших стран были моменты, когда мы стояли очень близко; в прямом и переносном смысле слова мы чувствовали локоть друг друга. Конечно, это могло быть лишь эпизодом, если бы нас не сплачивала тогда идея антифашистской борьбы, о которой помнят многие из нас. Был совершен великий подвиг духа наших народов. Те, кто совершил его,— по какую бы сторону океана они ни находились — заслуживают благодарности человечества. И потому столь значительно то, чему посвящает новую книгу Стадс Теркел: ибо есть в его стране люди, которые пытаются предать забвению годы совместной борьбы, создать видимость, что ее не было. Все это можно было бы отнести к сфере эмоциональной, если бы не имело столь актуального значения сегодня. Тогда был спасен мир. Как ни отличен тот день от нынешнего, сегодня в конечном счете нам надо сделать то же самое.

Как сказала во время киевской встречи Гвендолин Брукс, цитируя одно из своих стихотворений: «Давайте объединимся... Мы потерянные, и мы должны найти свой собственный путь в лабиринтах жизни».

А конкретный факт (его привел Виталий Коротич) — военнопленные, которым гитлеровцы поручали сжигать трупы в Бабьем Яре, искали в карманах убитых ключи, чтобы попробовать отпереть камеры и спастись,— обрел особую образность: «Ключи для спасения живых очень часто хранятся в карманах убитых».

История и современность — где граница?

Да, очень часто прошлое, история таят в себе урок для современности — истина, казалось бы, азбучная, но на дискуссии в Киеве она привлекла к себе самое пристальное внимание: не случайно же мы становимся свидетелями все возрастающего интереса к своим истокам и корням, не случайно мы «смело углубляемся уже и не в саму историю, а в праисторию, в миф, в народные предания, мистерии, обычаи, верования. И процесс этот охватывает буквально все литературы мира...» (П. Загребельный). В самом факте всеобщности интереса к истории — специфика нашего времени, особая острота возникающих проблем. Пытаясь выявить причины этой тяги к истории, многие ораторы утверждали мысль о неразрывности связи времен. Так было и в том случае, когда вставал вопрос, в известной мере философский: что есть история и что — современность? Есть ли граница между ними и где она пролегает?

В устах Н. Федоренко ответ был облечен в вопросительную форму: «Где кончается история и где рубеж ее? Разве в дне нынешнем мы не несем заряд истории, заряд прошлого? Разве мы свободны от всего того, что дало нам человечество в виде цивилизации, в виде наследия, в виде духовных ценностей, общечеловеческих ценностей?»

По словам М. Алексеева, «прошлое, история и настоящее — как они совершенно естественно сливаются».

В. Данхем обратилась к области лингвистики. В ряде языков, сказала она, существуют глагольные структуры, в которых нет настоящего времени, и отнесла понятие настоящего времени в английском и русском языках к чисто грамматической категории: «Как только вы что-то произнесли... этот момент в жизни уже канул в вечность». А перед этим высказала предположение, что «настоящего, может, и нет, оно не существует, вместо него есть лишь чувство ответственности».

Разве не о том же говорил Д. Кугультинов, когда заявил едва ли не категорично: «Я не знаю, где кончается история и начинается современность... Они для меня едины. Ибо история — это биография народов. Человечество без осознания прошлого не может узнать настоящего».

История — движущаяся история — это всегда современность. Не только потому, что учит, но в первую очередь потому, что это взгляд из современности. Там, где нынешний человек начинает смотреть по-иному на события, по поводу которых не было двух мнений, там, очевидно, пролегает граница, отделяющая прошлое от настоящего. От этого, вероятно, не уйти: история существует не только в своем времени и пространстве. А может быть, только?..

Два американских участника дискуссии, профессионально занимающиеся историей, пытались рассуждать именно так, полемически, как показалось, заострив вопрос. А. Шлесинджер говорил о том, что, «описывая и воссоздавая историю, нужно избегать приношения прошлого в жертву настоящему», что «нельзя переписывать историю», А Г. Солсбери, как бы развивая эти положения, высказался за сбалансированные оценки, за то, чтобы из истории никто и ничто не вычеркивалось. Казалось бы, в такой абстрактной форме эти утверждения не могут вызвать возражения. Однако именно абстрактность постановки вопроса и вызывает возражения.

Она вызвала прямые возражения советских участников встречи (Н. Федоренко, Я. Засурского, Г. Боровика, М. Козьмина), когда со стороны некоторых американских коллег (С. Сонтаг, А. Шлесинджера), подобно тому, как это было и на предыдущих встречах, прозвучал призыв говорить «нет» всякому правительству, политике как таковой. Притом совершенно игнорировался факт, что политика может объединять людей, а может и разъединять их, что одни политики выступают за разоружение, другие — против него, что «историю, как и все в жизни, можно использовать не только в целях благородных, но и преступных» (П. Загребельный). Отстаивая конкретно-исторический подход к явлениям, Я. Засурский, в противовес, как он выразился, позиции «симметричности» А. Шлесинджера, подчеркнул: «Если мы будем всегда думать, что то, что у меня плохо, обязательно плохо у моего соседа, мы придем к выводам антиисторическим».

Человек должен иметь право понимать время — прошлое, настоящее, будущее. Но что такое взгляд современника на какое-либо событие или лицо прошлого? Все мы являемся свидетелями того, как в одну эпоху возникает интерес к одним явлениям и гаснет — к другим. Имеет место влияние и новых разысканий, исторических открытий; их трактовка зависит от взглядов толкователя, от самого «воздуха», которым он дышит. Не уйти здесь и от момента субъективности восприятия. Мы не раз наблюдали в истории — не будем исключать здесь исторического романа (вопроса о разнице между ученым-историком и писателем, работающим в историческом жанре, мы коснемся дальше),— как одно и то же явление получало различное толкование в разные времена. И всегда ли мы имели дело с «переписыванием» истории, то есть ее заведомой фальсификацией,— об этом можно было подумать, слушая А. Шлезинджера и Г. Солсбери.

Возьмем близкие нам два литературных примера. Роман о Ван Гоге Ирвинга Стоуна и «Бэрр» Гора Видала [1], с которыми знаком советский читатель. По словам И. Стоуна, его роман способствовал росту интереса к французским импрессионистам — в США устраивается их большая выставка, книга Стоуна привлекает внимание за рубежом. Вы скажете, это носилось в воздухе, что пришло время признания импрессионистов. Да, но писатель сумел это «почуять». Можно даже в известной мере утверждать, что, благодаря усилиям таких людей, как И. Стоун, французские импрессионисты в историю были вписаны. Или роман «Бэрр», который, как известно, был воспринят в США в связи с уотергейтским делом. Какое отличное от официальной историографии США освещение получила в нем деятельность «отцов-основателей» Америки. Писатель опирался в работе и на новые документы и по-своему расставил известные акценты, хотя, возможно, и не бесспорные.

Мы подходим по крайней мере к двум моментам, которые были затронуты и на встрече в Киеве: отличие работы историка от труда писателя, разрабатывающего историческую проблематику, и непременность связи со своим временем в творчестве такого писателя — независимо от того, осознает он это или не осознает.

Г. Абашидзе поставил в более широком плане вопрос о том, как происходит понимание современником минувших событий, как человек наших дней понимает, к примеру, человека античного мира или средневековья. Основываясь на достижениях современной исторической науки и социальной психологии, он связал влияние социальной среды на мировосприятие людей с тем общечеловеческим, что присуще самой их природе, с общими свойствами, которые «позволяют потомкам понимать предков». По замечанию писателя, «художники интуитивно поняли это много раньше исторической науки».

Учитывая, что среди участников «круглого стола» в Киеве были художники слова, для которых историческая тема стала предметом особого пристрастия, обсуждение отразило и чисто писательский взгляд на проблему, нередко изнутри собственного творчества. Речь шла о работе с документом, с памятниками прошлого, о степени опоры на них, стремлении идти в ногу с исторической наукой — в плане общего осмысления минувших событий, о необходимости сочетать бережное отношение к истории с современным ее прочтением; речь шла и о роли языка в историко-литературных произведениях.

А сколь интересно прозвучали в выступлениях И. Стоуна и О. Гончара, Э. Джонг и Г. Абашидзе размышления о соотношении между фактом и вымыслом, о писательском воображении, том творческом соприкосновении с действительностью, которое одно способно «обогатить произведение чем-то значительным, может, даже непреходящим» (О. Гончар). Как сказал Ирвинг Стоун, чтобы написать биографический роман, «недостаточно быть просто достоверным, основываться на соответствующих фактах... биограф должен быть поэтом». Думается, всесилие того, что дает писателю воображение, и позволяет не только проникнуть в существо проблемы, но и раскрыть внутренний мир героя, находится именно здесь — оно заключается в деспотической власти первоисточника, с одной стороны, и в не менее деспотической власти воображения — с другой. И в этом, очевидно, отличие писателя от ученого-историка.

Как всегда во время писательских встреч, были удивительные минуты, когда приоткрывались тайны творчества и вниманием завладевал рассказ о чем-то таком, на что, казалось бы, элементарный разум не всегда может ответить и что говорило о сложности духовного мира художника.

Киев: поэтический турнир

На одном из заседаний состоялся своего рода поэтический турнир. Вера Данхем сделала для Михаила Дудина подстрочные переводы стихов Роберта Блая, а синхронные переводчики потрудились над тем, чтобы стихотворение Гвендолин Брукс «Поль Робсон» смогли перевести на свой родной язык Д. Кугультинов, Г. Абашидзе и М. Дудин.

Не зря говорят: поэзия предполагает сокровенность. Это вновь ощутили присутствующие, когда в зале заседаний зазвучала русская и английская, калмыцкая и грузинская поэтическая речь.

«Мне приснилось, что ты погибала, но на помощь меня не звала...» — читал Михаил Дудин, а Роберт Блай стремился сохранить в английском переводе певучую интонацию стихотворения советского автора.

Это вновь ощутили присутствующие, когда Роберт Блай исполнил свои стихи, аккомпанируя себе на бузуке..

«Я за то люблю стихи Роберта Блая,— сказала как-то Вера Данхем,— что это и стихи, и совершенная проза в одно и то же время».

Мы немало размышляем сегодня над тем, что называется жанровым взаимодействием,— современная литература дает для этого достаточно богатый материал.

[1] Опубликован в «ИЛ», 1977, № 7—10.

Возьмем пример с поэзией Роберта Блая. Казалось бы, традиционные поэтические средства по большей части ему чужды. Но вот он трогает струны бузуки, и музыка словно бы сообщает его стихам дополнительную выразительность.

О том, что знаком сегодняшнего дня является порой стирание отчетливых граней между прозой и поэзией, нельзя было не подумать и тогда, когда Эрика Джонг, чья проза, можно сказать, выросла из поэзии, прочла отрывок из своего исторического романа «Фэнни». На стиль романа Э. Джонг явно повлияло поэтическое слово; часть романа написана прозой, часть — белым стихом. Проза стилизована под язык XVIII века. «Писатели этой эпохи любили следовать традициям Горация, именно так я строила свое повествование»,— призналась Э. Джонг, в творчестве которой женская тема, проблемы и чувства женщины занимают главенствующее место. Она прочла отрывок из романа, его можно назвать хвалой материнству — здесь и вынашивание ребенка в чреве матери, и его рождение, и счастье обладания им: «Тебе кажется, что маленькая русалка коснулась плавником твоего сердца, в тебе растет ребенок... мысли о котором завладели тобой. Наступает время, когда ты чувствуешь ребенка под сердцем,— нечто тяжелое, новое в твоем теле. И тяжесть эта приносит радость...»

Эрика Джонг недавно стала матерью. Но эти строки написаны ею до рождения дочери. Какие же отношения отличают жизненный опыт писателя от того, что является лишь плодом его чувствований и размышлений? Г. Брукс сказала об этом в Киеве: «Поэзия есть концентрация жизни. Непосредственное испытание не обязательно. Если поэт сочувствует чему-либо, это становится его жизненным опытом».

Но когда в одной из бесед возникло: «Может ли белый писатель правдиво отразить мироощущение черного человека в США?» — прозвучало решительное «нет» Гвендолин Брукс, с которым трудно было согласиться. Тем не менее оно прозвучало по-своему убедительно, ибо свидетельствовало о жизненном опыте писателя, который знает, что значит быть черным в Америке.

И думалось: вот как все отливается в душе поэта.

Хочется верить: в душе Гвендолин Брукс отлилась и эта, первая в ее жизни, встреча с Россией.

В стихотворении, написанном ею в Ленинграде и прочтенном за дружеским столом в Доме литераторов, есть посвящение: «Молодому русскому от черной женщины, родившейся в Америке, но чьи корни уходят в Африку». В уста этого русского человека, воплощающего молодую Россию, Гвендолин Брукс вложила следующие слова: «Я люблю всех людей на земле...»

Диалог: его трудные повороты

Как известно, в споре рождается нечто, приближающее нас к истине. Вместе с тем сам процесс спора, участие в нем могут и осложнить отношения, особенно в том случае, если спор ведется на людях и реакция спорящих может быть разными людьми воспринята по-разному. Это обстоятельство словно бы по негласному уговору учитывалось в ходе дискуссий. Во всяком случае, нетрудно было заметить, что многие острые вопросы нередко обсуждались в кулуарных беседах, за пределами «круглого стола». Встреча в Киеве не явилась исключением. Скорее напротив. Если попытаться сопоставить все пять дискуссий в этом отношении, можно даже утверждать, что на сей раз «критический накал» за «круглым столом» был в известной мере меньше — при всем разнообразии высказанных мнений и при наличии взаимно неприемлемых точек зрения. И вновь думаешь об обостренном чувстве ответственности присутствовавших на дискуссии, о стремлении не утратить язык общения, общий язык, обретаемый с таким трудом.

Учитывая этот чисто психологический момент, может быть, есть смысл поделиться с читателем некоторыми впечатлениями от неофициальных бесед с американскими участниками встречи. Они несут в себе черты современного общественного самочувствия, свидетельствуют о состоянии умов, о мнениях, бытующих в среде художественной интеллигенции США. И, как можно было подчас заметить, суждения являлись как бы слепком стереотипных представлений о нашей стране, насаждаемых реакционными кругами США.

Вероятно, и в нашей стране, с точки зрения американских собеседников, существуют какие-то неверные, неполные представления, касающиеся США. Не это ли имела в виду С. Сонтаг, когда сказала: «В последнее время произошло так, что мы внушили друг другу стереотипное представление друг о друге», хотя тут же добавила, что у нас в стране лучше знают Америку.

Разговор обычно шел в сугубо личном плане — в кулуарах конференции, за обеденным столом, на пароходике, уносившем нас из Киева в знаменитые шевченковские места, или в поезде, мчавшем участников конференции из Москвы в Ленинград.

И здесь разговор неизбежно возвращался к угрозе войны. По мнению ряда американцев, она исходит от Советского Союза в той же мере, в какой и от Соединенных Штатов. Даже скорее от Советского Союза. Не случайно в выступлениях советских участников встречи прозвучал протест против распространения мифа о советской военной угрозе.

Л. Новиченко: «Главное мое желание, как, надеюсь, и желание всех моих товарищей, чтобы вы уехали к себе домой с твердой уверенностью в миролюбии советского народа и с личным пониманием того, насколько далек от истины миф о советской угрозе, усиленно распространяемый на Западе».

А. Овчаренко: «Расскажите правду американскому народу — мы не хотим войны».

В этой связи Г. Боровик вернулся к 1922 году, «когда Россия лежала в развалинах,— уже тогда шла продажа страха перед тем, что Россия грозит миру».

Советскому человеку тут не надо объяснять многого. Но на американцев, так по крайней мере казалось, прежде всего производил впечатление аргумент, что в нашей стране нет людей, корыстно заинтересован-

ных в войне, получающих прибыли от гонки вооружений. Мы говорили, что внешняя политика Советского Союза отражает нашу гуманистическую концепцию, наше представление о развитии истории. Мир видит победы в национально-освободительной борьбе, обретение суверенности все новыми государствами — это, в сущности, является своего рода открытым голосованием, в процессе которого голоса постепенно склоняются в сторону нового мира. Это видит и империалистический Запад. И для него возможность войны — средство остановить логическое развитие событий. Способствуя этому, американская пропаганда, как известно, не брезгует никакими средствами. Подготовка к войне ведется в Америке с таким безрассудством, что ее проповедники забывают: опасность равновеликая, в этой войне не будет победителей.

Среди американских собеседников были и такие, кто в разговоре с нами возвращался к темам, которые, как нельзя не заметить, не сходят со страниц их прессы: терроризм, права человека; обсуждались и проблемы демократии.

В тех беседах, которые отражали интерес к экономической теме, остро чувствовалось, с какой ловкостью официальная пропаганда в Соединенных Штатах использует объективные трудности и, вероятно, даже просчеты противоположной стороны. Отвечая американцам, мы не закрывали глаза на трудности, говорили что они широко и открыто обсуждаются. Хотелось, чтобы американские собеседники поняли: наши проблемы определены диалектикой роста, тем, что сознание человека отстает от общественно-экономического развития,— об этом марксистско-ленинская наука сказала свое слово.

Думается, встречи и беседы с советскими людьми, нередко случайные, непреднамеренные, в которых не содержалось желания как-то приукрасить нашу действительность, были тем более убедительны. Люди отмечали необходимость повышения производительности труда, подлинно хозяйского отношения к делу. С горечью говорили о том, что страна не по своей воле вовлечена в гонку вооружений и должна тратить немалую часть бюджета на военные расходы.

Вот каков отчасти тот круг вопросов, который волнует сегодня американских художников слова. Не зря сегодня повсеместно отмечают политизацию мышления писателей. К сожалению, рамки статьи не вмещают анализа того, как все это преломляется в их творчестве.

Разговоры велись, конечно же, и о литературе, нашей и американской литературной политике.

Приведем некоторые записи, сделанные во время бесед с американскими писателями.

Запись первая. Вопрос к Гаррисону Солсбери: «Чем вы объясняете популярность в вашей стране книг, в которых под прикрытием малой толики объективной информации явно содержится тенденциозное, клеветническое изображение жизни в Советском Союзе? Не только же умелой работой рекламы, ибо с точки зрения литературного качества это полнейшая дешевка. Я имею в виду, к примеру, «Парк Горького» М. К. Смита или «Россия: власть и народ» Р. Кайзера и «Русские» Х. Смита».

Он отвечает: «А знаете, у нас они не воспринимаются как такие уж антисоветские, интерес к вашей стране велик, а произведений советских писателей выходит мало, особенно сейчас». Да, добавим мы, не только ничтожно мало, маленькими тиражами, но и без сопровождения привычной американцам предварительной рекламы. И каков же должен быть накал антисоветизма, каковы же должны быть сведения о советской стране, которыми располагает сегодня американец, если явно антисоветские книги утоляют жажду знаний о нас?

Запись вторая. Всего одна фраза Сьюзен Сонтаг: «Вряд ли мои произведения смогут быть опубликованы у вас — они слишком пессимистичны»,— а сколько кроется за ней. Здесь и ставшее расхожим на Западе представление о социалистической литературе как литературе некоего обязательного оптимизма, а следовательно, незнание нашей литературы, которой — это широко известно — критическое начало не только не противопоказано, но зримо в ней выражено и направлено на совершенствование общества и человека. Здесь и незнание нашей издательской политики.

«А что, если мы разделяем пессимистический взгляд на окружающее вас общество?..» В ответ на это С. Сонтаг лишь молча подняла на меня глаза.

Запись третья. На лице собеседницы изумление: «Неужели журнал печатал «Носорога» Ионеско?» Не сложно понять, что вопрос С. Сонтаг вызван не только особенностями этой пьесы французского писателя, но и сегодняшней его позицией, которая стала еще более тенденциозной.

«Печатал. Хотел познакомить читателя с произведением, «о котором говорят», как сделал это, публикуя, к примеру, образцы французского «нового романа». Это — одна из наших задач: знакомить с характерными явлениями. При этом журнал стремится вести диалог с возможно более широким кругом зарубежных литераторов, печатает писателей разных творческих устремлений, занимающих разные позиции (скажем, писателей-католиков), поддерживая все гуманистическое, так или иначе помогающее делу мира. Но если бы сегодня заговорили о публикации Ионеско, то в журнале, очевидно, возобладало бы мнение, что нынешний Ионеско — и тут трудно возражать — деградировал и творчески и идейно. Впрочем, все решается в результате обмена мнениями между членами редколлегии — с учетом ситуации в каждом отдельном случае».

«Значит, вы можете не напечатать произведение по политическим мотивам?»

«Да, если позиция писателя реакционна».

«А что понимать под реакционностью?»

«Когда усилия писателя направлены на разобщение народов и культур, когда он — субъективно или объективно — отнес себя к стану тех, кто готовит почву для нового мирового пожара, когда он выступает против того, что является для нас священным и что мир зовет национально-освободительной борьбой народов... Существенное замечание: журнал может не напечатать

такого писателя, но он не скроет своего мнения о нем».

Если пытаться сделать какие-то обобщения из бесед с американскими коллегами, имея в виду характер отношения к тому, что они увидели у нас и как на это реагировали, надо еще раз напомнить о трудностях, предубеждениях, которые приходится преодолевать на пути к достижению столь необходимого нам всем взаимопонимания. Недаром, очевидно, многие участники киевской встречи вновь возвращались к мысли о пользе личного общения писателей.

Дискуссия завершена — что дальше?

Никто, вероятно, не станет оспаривать того факта, что личное общение словно бы само собой способствует развитию интереса к творческим достижениям сторон, а следовательно, в той или иной мере способствует лучшему знанию друг друга.

Скажем, появляется новый роман Курта Воннегута «Тюремная пташка», и вот уже на страницах «Иностранной литературы» помещена на эту книгу рецензия[1].

Читаешь в американской прессе о только что вышедшем романе Фрэнсин Грей, и рука уже тянется к перу — написать письмо (теперь уже на правах личного знакомства), попросить писательницу поскорее прислать книгу; может быть, в данном случае журнал откликнется не просто рецензией, может быть, сам роман заслуживает опубликования — советский читатель не знаком еще с ее произведениями.

Или видишь статью автора, с которым встречался во время дискуссий,— стремишься скорее ее прочесть.

Но как бывает неприятно, порой даже больно, если книга разочаровала, а статья показалась едва ли не обидной. И дело не в различиях творческих устремлений. Дело — в другом.

Вот статья поэта Уильяма Джея Смита, опубликованная в новогоднем номере газеты «Интернэшнл геральд трибюн»[2].

Не очень хочется писать об этой статье. Ты сидел с Уильямом Джеем Смитом за «круглым столом» заседаний, знаком с его женой, знаешь его книги, присутствовал в Московском университете на его лекциях об американской поэзии, на вечерах его поэзии советские поэты Андрей Вознесенский, Лариса Васильева, Борис Заходер и другие читали свои переводы стихов Смита, он же читал их по-английски, читал свой перевод «Телефона» К. Чуковского. И как хорошо реагировала аудитория, какая была атмосфера — искреннего дружелюбия, высокой духовности.

С каким увлечением работали мы на Пятницкой в «Иностранной литературе», уточняя перевод его диалога с Л. Васильевой, перевод стихов, выполненный поэтессой, сопровождавший эту публикацию[3].

И теперь эта статья. Начиная с заголовка: «В Москве статус обязывает носить шапку на голове», речь в ней идет о каких-то меховых шапках, которые «стали для рядового русского необходимой частью одежды. И более того — символом положения в обществе». Эта шапка якобы не снимается с головы ни днем, ни порой даже ночью и когда на улице или в метро жарко... Развивая эту избранную им ассоциативную тему, автор полон иронии (она, как известно, не чужда произведениям У. Дж. Смита), а статья пронизана какими-то намеками, цель которых сделать вид, будто за этой «своеобразной иронией» скрывается что-то...

Трудно удержаться и не привести здесь мнения двух других американцев, на протяжении двадцати лет, так же как и У. Дж. Смит, они четырежды побывали в нашей стране. Правда, последний раз они были у нас прошлым летом и, видно, по рассеянности не заметили меховых шапок на головах советских людей, однако обратили внимание на нечто иное.

Артур Шлесинджер: « ... Произошли улучшения в условиях жизни. В магазинах появилось больше товаров, на рынках — больше продуктов, а на улицах — больше автомобилей. Словом, всего стало больше, за исключением икры — как это ни странно. Люди стали лучше одеваться, вести себя более раскованно, стали гораздо приветливее и коммуникабельнее». (Из статьи «Снова в России», посвященной его последнему визиту в Советский Союз и опубликованной в газете «Уолл-стрит джорнэл»[1]).

Ирвинг Стоун: «Я обнаружил, что за эти годы произошло множество поразительных перемен. Скажу лишь о самых простых вещах. Одежда на людях лучше по качеству и покрою. Больше товаров; может быть, не все есть, что хотелось бы, но товаров явно больше, а очереди явно меньше... Одна из самых важных перемен — люди на улицах, особенно молодежь, улыбаются, смеются, болтают, веселятся, ходят в обнимку с таким видом, будто все прекрасно, — как оно и есть на самом деле. Двадцать лет назад было не так — тогда выражение лиц было по большей части озабоченным»[2].

Возникает вопрос: чему же способствуют статьи, подобные той, что написал У. Дж. Смит?

Положим рядом со статьей У. Дж. Смита книгу его стихов «Что за поезд придет? Избранные стихотворения» (перевод с английского под редакцией А. Вознесенского),— в работе над ней участвовали многие наши известные поэты. Она вышла в свет в издательстве «Радуга», едва ли не одновременно со статьей Смита. Книга сделана достойно, это — плод большого труда. Кстати, нельзя не заметить: у нас выходят книги американских авторов, мы серьезно изучаем их творчество. А там писатель порой не считает зазорным выступить со статьей, в которой отсутствует добрая воля, не говоря уже о литературе,— и это в такой момент.

Или небольшая статья Гаррисона Солсбери в газете «Нью-Йорк таймс»[3], опубликованная после киевской встречи. Это скорее отклик на поездку в нашу страну, ибо речи о дискуссии в ней практически нет. Написан-

[1] См. рецензию Н. Анастасьева в «ИЛ», 1982, № 6.

[2] «International Gerald Tribune». December 31, 1982, — January, 1, 1983.

[3] См. «ИЛ», 1981, № 6.

[1] The Wall Street Journal. August I. 1982.

[2] Из интервью, данного «ИЛ», см. № 12 за 1982 г., с. 222.

[3] "The New York Times", September 9, 1982.

ная в форме диалога с неким русским «другом», статья призвана якобы пролить свет на некоторые настроения, бытующие в среде советской интеллигенции. Разговор ведется по частностям, но тенденция очевидна.

Взять, к примеру, оценку произведений американских авторов, которые будто бы привлекли особое внимание у нас в стране. Конечно, у людей могут быть различные мнения, скажем, по поводу нашумевшего в США романа Джона Ирвинга «Мир глазами Гарпа». Солсбери считает, что это «капиталистическая книга, в ней нет идеологии», а его советский оппонент решительно возражает: «Мы считаем ее антикапиталистической, показывающей подлинную природу общества США». Или по поводу пьес Теннеси Уильямса, которые идут на советской сцене. Солсбери морщится: «Это же писатель-декадент, носитель буржуазной порнографии», а его оппонент вновь возражает: «Это блестящий критик капиталистического общества». В интерпретации Солсбери мы в Советском Союзе, дескать, выбирая произведения для перевода, завышаем степень их критичности по отношению к капиталистическому Западу — мнение, которое опровергается нашей издательской практикой, отличающейся широтой выбора. Известно вместе с тем, что лучшие произведения в литературах мира, и американские писатели во время дискуссий не раз это подчеркивали, ставят задачей изобличать существующее зло, содействовать улучшению человека и общества.

Статья Солсбери оставляет чувство неудовлетворения: литераторы двух стран собирались, обсуждали, как представляется, важные вопросы, а потом ни слова обо всем этом... Как тут не вспомнить статьи Нормана Казинса, написанные по следам состоявшихся встреч. Они, естественно, отражали его точку зрения на происшедшее, но тем не менее являлись своеобразным продолжением диалога.

А вот еще один результат писательских встреч. Впрочем, это, может быть, не совсем результат встреч, а следствие интереса в нашей стране к американской литературе. Но об этом стоит сказать и в связи с киевским форумом писателей.

...На столе книга «Избранное» Роберта Лоуэлла[1]. Вспоминается ставший далеким 1977 год, первая советско-американская встреча писателей в Москве; поэт был ее участником. Именно тогда, во время посещения редакции «Иностранной литературы», он подарил нам том своего «Избранного», недавно вышедший в Америке. Так на наших страницах появилась новая публикация стихов Лоуэлла в переводах А. Сергеева[2].

А теперь сборник стихов. Среди переводчиков — А. Сергеев, А. Парин, В. Топоров, В. Орел, А. Ибрагимов, Нат. Булгакова, В. Британишский и другие. Причем нередко стихи из очередной книги поэта, всякий раз отличающейся нелегким поиском, переводятся одним человеком, и тогда лицо этой книги в большей мере сохраняет присущие ей черты.

Создатели «Избранного» стремились показать многое из того значительного, что сделал большой поэт, чей путь отмечен трагическими моментами, когда ему хотелось бежать от окружавшей действительности:

Пой нежней! Вдруг и это адажьо
не дает ни надежды, ни даже
нежности — только разлад
наспех, успех невпопад,
здравомыслие с самообманом,
сопряженные страхом незваным.
Мы внимаем колоколам —
но не здесь, а там, где-то там!

(Из книги «У океана». Перев. В. Орла)

Но жизнь врывалась в его стихи, и драма личных переживаний сплеталась с тем, чем жили страна, история, человечество...

Поэту не держать в руках этой любовно изданной книги — в том же 1977 году Америка лишилась талантливого сына, много сделавшего для славы ее культуры. Но, может быть, ее увидит дочь Лоуэлла, Харриет, или жена Элизабет — в сборник вошло немало стихов из книги «Посвящается Лизи и Харриет» (перев. А. Парина). Читаешь эти стихи, и взгляд приковывают строки:

Ты когда-то,
дрожа пред зрелостью,
мечтала об одном:
стать старой, не служить,
писать и думать

А мысль перекидывает мостик к словам самой Элизабет Хардуик, известного прозаика и эссеиста, сказанным на одной из советско-американских встреч. Участники встречи делились тем, как они пишут, приоткрывая двери в свою рабочую лабораторию: сколько там было писателей — столько и особенностей, привычек, оттенков мнений свидетельствующих о мучительном процессе творчества.

Помнится, Элизабет Хардуик призналась: «Когда я работаю, я хожу и ничего не делаю. Читаю книги, думаю. Думать — это самое трудное». На той же нью-йоркской встрече американские писатели высоко оценили достоинства прозы Элизабет Хардуик: ее роман «Бессонные ночи» тогда только что вышел в свет.

...Том стихов Лоуэлла на русском языке. Как приятно об этом сказать. Вот что должно сопутствовать писательским встречам.

Но вернемся к киевскому «круглому столу».

Общий язык и язык общения

Дискуссия близилась к концу. Уже выступили с заключительными речами сопредседатели встречи. Они говорили о значимости диалога между СССР и США сегодня, об авторитете писателя, силе его слова. Особо остановились на характере состоявшегося обмена мнениями, самой атмосферы, в которой он проходил.

Г. Солсбери: «У нас были разногласия, мы отстаивали свои взгляды честно и откровенно, без всякого лицемерия. Отказ от лицемерия является основой для взаимопонимания между народами и людьми».

Н. Федоренко: «Мы имели возможность

[1] Роберт Лоуэлл. Избранное. Перевод с английского. Составление и предисловие А. Зверева. Комментарии А. Парина. Редакторы А. Парин и И. Архангельская. М., «Прогресс», 1982, 264 с.

[2] См. «ИЛ», 1980, № 2. До этого читатели были знакомы с поэзией Роберта Лоуэлла в переводах Андрея Сергеева («ИЛ», 1967, № 3) и Андрея Вознесенского («ИЛ», 1970, № 3).

свободно и откровенно обменяться своими суждениями, своими мыслями, взглядами... Мы собрались не для того, чтобы учить, но учиться друг у друга всему лучшему, что достигнуто народами и культурами наших стран. Наша встреча, посвященная теме «История и современность», проходила в условиях сложной международной обстановки, непрекращающейся гонки вооружений. Но именно в этой обстановке особенно актуален диалог между Западом и Востоком».

Должны были выступить доктор М. Норвел Янг с предложением провести следующую дискуссию на базе Пепердайнского университета, и хозяин встречи, глава украинской писательской организации Павло Загребельный, чтобы выразить удовлетворение по поводу обмена мнениями, имевшего место в Киеве. Но это еще предстояло, а пока вновь берет слово Стадс Теркел.

Вчера, после посещения Бабьего Яра, он не нашел в себе сил говорить. Трагедия, с которой связано это место, была воспринята им сильнее оттого, что не сохранилось следов происшедшего,— писателя поразила красота природы. Меж тем здесь суждено покоиться праху многих тысяч людей, замученных гитлеровцами: «Мы, американцы, стояли там вместе с советскими людьми... и мы разделяли их чувства». Писатель был взволнован: «Могу ли я взять на себя роль проповедника?.. Динозавры исчезли с лица земли, так как не сумели приспособиться к изменениям ландшафта...» Мысли писателя, летучие, незавершенные, не обретшие окончательной формы в слове, овладели присутствующими — надо всем этим хотелось думать. Теркел высказал мнение, что народы мира сегодня оказались впереди своих правительств. Не будем спешить возражать против таящегося здесь уравнивания вины, послушаем, что сказал писатель дальше,— а он призвал стороны к замораживанию вооружений и, должно быть веря в миролюбие нашей политики, предложил советским участникам встречи обратиться с призывом к главе Советского правительства «сделать что-нибудь подобное...». О признании миролюбия нашей политики свидетельствовали и слова Ирвинга Стоуна, произнесенные накануне, когда он выдвинул целую программу действий в защиту мира: «Советское правительство уже приняло решение о ненанесении первого ядерного удара, Соединенные Штаты — пока еще нет».

Наверное, это характерно для умонастроений людей, озабоченных судьбами войны и мира: опасность войны настолько приблизилась, что тревога проникла в такие толщи населения, в какие она еще не проникала — миллионы людей участвуют в маршах мира. О таком марше рассказала присутствующим Эрика Джонг, которая прошла по улицам Нью-Йорка летом 1982 года, взяв с собой маленькую дочь.

Вероятно, правы люди, говорящие: возникла на земле сила, с которой даже самые агрессивные круги не могут не считаться. Это явление столь значительно, что народы могут оказаться сильнее оружия, сильнее тех, кто заинтересован в развязывании войны.

Если задаться целью сопоставить то, что имело место всякий раз на очередной дискуссии, с тем, что одновременно происходило на земном шаре, можно сказать: дискуссии с известной точностью отражали состояние умов обеих сторон. Наверное, это можно проследить, рассмотрев самую актуальную из проблем — проблему мира. От встречи к встрече она занимала все большее место в диалоге писателей, и, наконец, в Киеве в разговоре о мире зазвучала всеобщая тревога — не было оратора, который не коснулся бы этой проблемы.

Характеризуя сложившуюся ситуацию, Чингиз Айтматов заметил: «...великий путь освобождения разума привел вместе с тем человеческое общество на земле к парадоксальному и вряд ли предполагавшемуся противоречию с собственным духом — с готовностью и способностью к самоуничтожению... что это — тупик истории, исход эволюции, конец света, проклятье неба? Думается, ни то, ни другое, ни третье. Это, возможно, качественно новая форма борьбы за существование, преодоление которой откроет перед человечеством невиданные ранее горизонты развития и бытия».

Завершая эти заметки о киевской встрече, есть смысл еще раз вернуться к А. Шлесинджеру. Профессиональный политик, в прошлом помощник президента Джона Кеннеди, именно он затронул во время дискуссии ряд острых политических вопросов, которые обычно муссируются нашими западными оппонентами и которые, как правило, служат поводом завести переговоры в тупик. Можно сказать, что на встрече в Киеве этого не произошло, хотя, обменявшись мнениями (как уже упоминалось, советские участники встречи серьезно возражали ему), стороны, как представляется, в целом остались на первоначальных позициях.

Конечно, выступление А. Шлесинджера можно было бы воспринять как всплеск «холодной войны», но вместе с тем на этот факт можно посмотреть и с иной стороны. Шел принципиальный и вместе с тем доброжелательный разговор, который цементировало сознание общей ответственности. В результате А. Шлесинджер счел необходимым вторично взять слово и подтвердить, что разделяет цели киевского форума. А. Шлесинджер — человек, далекий от понимания наших принципов; это отразила и уже упоминавшаяся его статья «Снова в России». Тем более знаменательно его утверждение: расхождения во взглядах по вопросам «гражданских ценностей», гражданских свобод и прав личности не могут служить оправданием осложнений, чреватых ядерной катастрофой.

Таким образом, мы пришли к тому, с чего начали: общий язык и язык общения.

Не переоценивая опыта, накопленного советскими и американскими писателями за эти годы, и отдавая себе отчет в том, что барьер взаимонепонимания не может быть с легкостью преодолен,— этот опыт вместе с тем свидетельствует: ничто не в состоянии заменить личного общения. Вероятно, об этом стоит сказать именно теперь, когда позади осталась пятая встреча —в Киеве. И следует посчитать удачей тот факт, что в нынешнюю более чем тревожную пору удалось сберечь эти нити писательского общения.

М. ВОЛЬПЕ

ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ МЭСКЭЛЬ...

Заметки о некоторых тенденциях современной литературы Эфиопии

В конце сезона дождей из-за туч выглядывает солнце, согревая раскисшую землю. Склоны гор покрываются нежной зеленью трав, распускается ромашка-мэскэль, вестник эфиопской весны. Наступает сентябрь — утро светлых, солнечных дней, когда сердца людей бьются в радостном ожидании счастливых перемен. В сентябре 1974 года для эфиопов такие перемены наступили: пала тысячелетняя монархия.

Сентябрь, весны восход! Встречая твой приход,
Земля моей страны ромашками цветет.
Сентябрьские лучи, для моего народа
Вы символ новизны, надежды и свободы,—

(Перев. А. Шараповой[1])

писал о революционной весне поэт Асэффа Гэбрэмариам Тэсэмма.

Разговор о сегодняшнем дне литературы Эфиопии я намеренно начал со стихов. Ведь самое сокровенное, идущее из глубины души — человека ли, народа ли,— наиболее эмоционально выражается в поэтическом слове. Национальная поэзия словно очнулась сейчас от долгой, тяжелой дремы. Революция придала ей новый пафос — пафос борьбы за народное счастье. Содержание большинства стихотворений, опубликованных в последние годы, определяется чувством ответственности авторов за судьбу родины — тем, чего так недоставало раньше. Да и откуда было взяться таким стихам в мрачную пору монархизма?

Давно ли тот же Асэффа Гэбрэмариам Тэсэмма, ныне генеральный секретарь Союза писателей Эфиопии, получал нагоняй от императорских цензоров за перевод на амхарский язык шекспировского «Юлия Цезаря»? Сама мысль о допустимости свержения диктатора тогда казалась крамолой. От пишущего человека ждали только верноподданнических деклараций, с точки зрения властей предержащих — таково было назначение литературы. Всякий правдивый отклик на события действительности — трагические для большинства народа в монархической Эфиопии — объективно становился ударом по господствующему режиму. Поэтому на каждого, кто осмеливался выйти за рамки официально дозволенного, обрушивались репрессии. В таких условиях полноценное творческое раскрытие художника было невозможно. Именно это имел в виду поэт и драматург Тэсфайе Гэссэсэ, когда в 60-е годы назвал свое поколение «срезанными цветами»:

Мы — цветы, которые кто-то сорвал,
Убитые — походя — наповал,
Которым не дали по воле беды
Ни цвести, ни превратиться в плоды.
Наши дни бесполезны, пусты,
Мы — срезанные цветы.

(Перев. Е. Витковского)

Сказанное во многом объясняет, почему литература Эфиопии — одна из старейших на африканском континенте, имеющая многовековые традиции, воплощенные в сохранившихся до нашего времени замечательных произведениях древности,— в последние десятилетия находилась в состоянии застоя.

Впрочем, было бы упрощением полагать, что никакого развития не наблюдалось совсем. Неблагоприятная внутриполитическая обстановка в дореволюционный период тормозила прогресс литературы, но вопреки трудностям литературное движение исподволь продолжалось. Так в первой половине XX века современные жанры сменили средневековые формы книжности. Появились национальные прозаики, поэты, драматурги. Творчество наиболее крупных из них — Афэворка Гэбрэ Иесуса, Хируя Вольдэ Селассие, Кэббэдэ Микаэля, Гырмачоу Тэклэ Хавариата, Эндалькачоу Мэконнына — стало основанием, на котором писатели послереволюционного поколения возводят сегодня здание новой литературы. Правда, их произведения мало известны вне пределов Эфиопии, поскольку написаны по-амхарски, их достижения не столь очевидны, как успехи их коллег из других стран Африки, пишущих на европейских языках. Однако подлинное значение их работы в ином: эфиопская литература, пока единственная на африканском континенте (вне арабоязычного ареала), полноценно развивающаяся на национальном языке, играет, без сомнения, чрезвычайно важную роль во внутренней жизни страны: воспитательную, образовательную, формирующую общественное мнение. Перемены, которые в настоящее время претерпевает национальная словесность, живо ощущаешь, разговаривая с эфиопскими писателями. Однажды при встрече в Москве с

[1] Здесь и далее стихотворения цитируются по сборнику «Из современной поэзии Эфиопии» (М., 1981), позволяющему советскому читателю вынести свое суждение о творческом потенциале наиболее известных поэтов.

упоминавшимся уже видным литератором, ныне директором национального театра в Аддис-Абебе Тэсфайе Гэссэсэ, я напомнил ему строчку из его давнего стихотворения:

— Вы и сейчас ощущаете себя срезанным цветком?

Он улыбнулся, давая понять, что принимает шутливый тон моего вопроса.

— Сейчас не то время. Эфиопия вступила в новую эру. Поэт стал свидетелем и участником великих событий. Раньше всякий свободомыслящий литератор находился в интеллектуальной изоляции, путь к читателю был наглухо перекрыт цензурой. Вы слышали о гонениях на талантливого прозаика Абе Губэнню? В начале 60-х годов он написал несколько произведений, в которых рискнул открыто критиковать монархический режим, за что подвергся жестоким репрессиям. Такой была судьба каждого честного писателя, не скрывавшего своих убеждений. Еще вчера и меня вынуждали молчать, а сегодня мне и моим коллегам дано право исполнить долг писателя-патриота. Удивительное ощущение! В пьесах, которые ставит наш театр, поэтическое слово играет важную роль. К нам приходят люди... Многие и читать только-только научились. Но как они слушают! Вы бы видели их одухотворенные поэзией лица. Нет, теперь у меня совсем другое настроение...

То, о чем говорил Тэсфайе Гэссэсэ, становится очевидным, когда читаешь стихи эфиопских поэтов, написанные в последние годы. Они публикуются главным образом в периодике. Отдельными книгами выходят не так уж часто (основные усилия издательств направлены на выпуск школьных учебников — в стране продолжается кампания по ликвидации неграмотности). Поэзия пестрит новыми именами. Она откровенно публицистична. Рифмованные столбцы стихов с их злободневным содержанием как бы дополняют материалы газеты, журнала, информационного листка. Отношение к художественному слову как средству активного воздействия на жизнь, свойственное литераторам, вставшим на сторону революции, резко контрастирует с идеями аполитичности искусства, его отстраненности от реальных противоречий действительности, которые исповедовала часть творческой интеллигенции прежде. Характерен лозунг молодого поэта Аду Тоера. Со страниц одного из журналов он призвал собратьев по перу отдавать все силы борьбе за новую Эфиопию:

Современные стихотворцы,
К вам обращаюсь с призывом:
Будьте борцами!

Почему публицистическое начало доминирует сегодня в амхарской поэзии? Революция убыстрила темп времени. События последних лет требуют немедленного, сиюминутного отклика. Свержение монархии, подавление контрреволюционного террора, отпор внешнему агрессору, борьба с голодом, трудовой энтузиазм народа — может ли художник-гражданин остаться в стороне от всего этого? Конечно, нет. Каждый поэт, если он сохранил верность родине, стремится выразить свое отношение к революции, постичь смысл и масштаб происходящего.

Вот и брызнули у нас
Слезы радости из глаз,
Кто бы раньше мог поверить, что
настанет этот час?

Тот, кто прежде был голодным,
Стал и сытым, и свободным...

(Абэрра Лемма. «Перемены». Перев. Ю. Стефанова)

Гражданское звучание, глубокопатриотическое содержание публикуемых стихотворений, к сожалению, не всегда находит выражение в эстетически зрелых формах. Велика ли художественная ценность таких произведений? Долговечны ли они? Подобные вопросы — не будем закрывать глаза на очевидное — отчасти справедливы: новая эфиопская поэзия еще далеко не всегда совершенна. И дело тут не только в неопытности авторов. В стране, где всего несколько лет назад 93% населения не знало, сколько букв в родном алфавите, литератор сталкивается с трудностями, неизбежными в первые годы обновления. Меняется ориентация его творчества. Если раньше он писал для немногочисленной образованной элиты, то теперь нужно искать язык, понятный широким массам трудящихся. Эфиопский стихотворец овладевает новым для себя арсеналом выразительных средств — ведь даже лексика амхарского языка претерпела в последнее время значительные изменения, пополнилась многими словами, которых не было раньше. Часто приходится упрощать форму произведения ради ясности его идейной направленности для любого неискушенного читателя. Сложная метафора уступает место простому сравнению, аллегория — прямой констатации, лаконичному, обращенному непосредственно к читателю (или слушателю) призыву. «Мы — не рабы, рабы — не мы!» — примерно таков стиль и пафос многих публикуемых сейчас на амхарском языке стихотворений. Одна из труднейших задач, стоящих перед амхарской поэзией, — гармоничное соединение двух начал: высокой гражданственности содержания и эстетически полноценной формы.

Один из путей обретения такой гармонии, показывает сегодняшняя литературная практика, — вдумчивое отношение к традициям национальной культуры. Пример. Издревле в Эфиопии развивался оригинальный поэтический жанр — кыне. Это стихи на древнеэфиопском языке геэз, сложенные с применением особых стилистических и композиционных приемов и заключающие в себе наряду с явным один или несколько скрытых смыслов. В них широко используется игра слов, созвучия, различные виды тропов. О мастерах-сказителях, владевших тонкостями этой поэзии, в старину говорили: «Их уста превращают слова в золото». Форма кыне воспринята современной поэзией и наполняется актуальным содержанием. Особенно популярны двустишия хыбр. Их часто декламируют на митингах, со сцены, по радио. Они легко запоминаются, в них много каламбуров, неожиданных созвучий. Емкая простота этих стихов импонирует слушателям.

Если в первые послереволюционные го-

ды поэзия и новеллистика определяли характер национальной литературы, то позднее на передний план выходит проза крупных жанров, в которой делается попытка более глубокого осмысления темы коренной перестройки общества. Писательская мысль вновь обращается к драматическим событиям середины 70-х, когда народ с оружием в руках поднялся против деспотии. Эти события — уже история, пусть недавняя, свежая в памяти, напоминающая о себе болью полученных тогда ран, но история. Опыт послереволюционных лет позволяет отобразить ее шире, эпичнее. Отсюда и потребность в повести, романе.

1980 год оказался плодотворным для прозы на амхарском языке: из печати вышло несколько значительных произведений. Среди них роман Бэалю Гырма «Зов красной звезды». Он — о становлении народной власти в стране, о смертельной схватке с реакцией, пытавшейся помешать революционным преобразованиям.

...Опустевшие, замершие в изматывающей настороженности улицы Аддис-Абебы. Ночная стрельба. Гулкие шаги патруля по мостовой... Такой встает столица со страниц книги. В городе неспокойно: заговорщики всех политических мастей, осмелевшие в смутное время уголовники — все, кому не по нраву новая власть, взялись за оружие.

Кто защитит от них страну? Бэалю Гырма показывает одного из таких людей. Его герой, Дербе, бывший слуга в доме богатых землевладельцев, простой труженик, для которого революция — кровное, родное дело. На собрании кэбэле, районной ассоциации городских жителей, Дербе избирают председателем. Теперь он облечен большими полномочиями.

Было бы легче всего наделить Дербе качествами этакого ковбоя от революции, лихо расправляющегося с врагами, не знающего сомнений и тревог. Такие литературные персонажи встречаются в современной эфиопской прозе. Бэалю Гырма избрал другой путь. В реальности не все шло гладко. Были ошибки, предательства, разочарования, но было и беззаветное служение высоким идеалам, и готовность пожертвовать собой ради народного блага. Именно эти последние качества определили характер главного персонажа.

Писатель не сглаживает противоречий борьбы. Уже в начальных главах книги мы становимся свидетелями разоблачения бывшего председателя кэбэле и его сообщников, прикрывавших злоупотребления звонкими псевдореволюционными фразами. Отражен в романе и тот неоспоримый факт, что в стане явных недругов революции были люди, искренне ошибавшиеся, которым можно было помочь развеять их заблуждения.

Революционный гуманизм — пожалуй, наиболее привлекательная черта образа Дербе. Он не спешит выдергивать из кобуры пистолет, где возможно, действует убеждением. Разглядеть человека и во враге и, взывая к лучшему в нем, постараться сделать его союзником — вот принцип, который обеспечивает Дербе моральное превосходство над противником. Однако в критической ситуации Дербе умеет действовать решительно: он возглавляет операцию по разгрому левацкого подполья, готовившего восстание. В разгар контрреволюционного террора бандитские винтовки были нацелены прежде всего на активистов народной власти. Убийства из-за угла, зверские расправы над патриотами — жуткие события того времени, когда классовая борьба приобрела самый ожесточенный характер, запечатлены в романе.

Нелегко складывается личная судьба Дербе. Он давно любит девушку, являющуюся членом той самой группы левых экстремистов, которую необходимо обезвредить. Возникает конфликт между интимным чувством и этикой революционера — впервые в национальной литературе поставив эту проблему, писатель, к сожалению, не сумел раскрыть ее глубоко. Развязка романа выглядит в известной мере искусственной. После штурма конспиративной квартиры заговорщиков Дербе склоняется над раненой Хирут. «Куда меня теперь?»— испуганно спрашивает девушка. «Домой, а потом в больницу». «Подлечите — и к стенке?» «Зачем же, наша цель не расстреливать таких, как ты, а по возможности делать борцами за революцию». Он поднимает истекающую кровью девушку на руки и несет по улице, в угрюмую тишину которой неожиданно врываются звуки веселой песни — в одном из соседних домов празднуют свадьбу. Желание автора оптимистически завершить произведение понятно. Однако развитие сюжета и содержание образа Хирут не оправдывают столь лирической концовки.

Говоря о тенденциях современной литературы Эфиопии, нельзя не отметить то обстоятельство, что в стране только начинается формирование собственных кадров литературоведов и критиков. На страницах периодических изданий редко встретишь глубокую литературоведческую статью, аналитический обзор новинок поэзии и прозы, компетентную рецензию. Как правило, даже крупные произведения не получают серьезной профессиональной оценки. Однако все, кто так или иначе следит за творчеством писателей Эфиопии, единодушны во мнении, что одним из самых удачных произведений последнего времени является историческая эпопея Быркану Зэрихуна «Волна». Первая ее часть («Канун») увидела свет в 1980 году, вторая («Революция начинается»)— в 1981-м. Вот-вот должна появиться третья, заключительная книга («Завтрашний день»).

Памятью о героизме народа, разрушившего империю угнетателей, дышит трилогия «Волна». Писатель рассказывает о нищете, в которой прозябало эфиопское крестьянство и городские низы при монархическом режиме, о страшной засухе начала 70-х годов — тогда погибли сотни тысяч людей, о продажных чиновниках, наживавшихся за счет голодающего населения, об озверевших помещиках, расстреливавших истощенных крестьян у дверей продовольственных складов. Вернее передать напряжение эпохи писателю помогает стилистический прием соединения художественного повествования с фактом. Он предваряет каждую главу выписками из официальных сообщений, цитирует прессу,

документы тех лет. Если проследить за фабулой «Волны», станет очевидным, что автор последовательно освещает наиболее крупные события антифеодальной революции: февральские выступления трудящихся Аддис-Абебы, волнения в армии, приход к власти военных и, наконец, свержение императора.

Как всякое многоплановое, отражающее драматизм истории произведение, «Волна» с ее обилием действующих лиц и сюжетных ответвлений трудно поддается беглому пересказу. Пожалуй, главным героем эпопеи следует считать не отдельного человека, а народ, поднявшийся на борьбу за свои права. Волна, которая как бы прокатывается по Эфиопии, сметая все дряхлое, отжившее свой век, становится символом, вынесенным и в заглавие трилогии.

Изображение общественной стихии, революционного вала по стилистике своей порой напоминает некоторые советские романы, посвященные гражданской войне, такие как «Железный поток» Серафимовича, «Россия, кровью умытая» Веселого. Кстати, современные писатели Эфиопии очень внимательно относятся к опыту советской литературы, лучшие произведения которой доступны им в переводах на амхарский и английский языки. Прозаик показывает события панорамно, дает масштабные картины демонстраций, забастовок, вводит в текст диалоги неперсонифицированных «людей с улицы», выступления ораторов на митингах. Ему важно показать настроение массы людей: студентов, крестьян, рабочих, военных — всех тех, кто непосредственно участвовал в революции. Писатель выступает в роли хрониста, пишущего летопись бурного времени.

«Сквозные» персонажи трилогии призваны сцементировать разрозненные события, направить обширнейший материал в единое сюжетное русло. Таковы, например, крестьянин Мухе и его родственники, вынужденные покинуть родной дом в пораженной засухой провинции Уолло и разделить невзгоды сотен тысяч людей, гонимых голодом. Судьба беженцев, оказавшихся без всяких средств к существованию, трагична, и писатель говорит об этом с чувством огромного сострадания. «Расположившись на ночлег после изнурительного дня пути, обессилевшие от голода и усталости люди долго не могут заснуть. Кто-то, скрючившись на рогоже, закрыл глаза, кто-то уставился отрешенным взглядом на усыпанное звездами небо — все с тревогой думают о грядущем. Завтра утром опять взойдет солнце, но лучи его не будут светить обездоленным. Завтра, как и сегодня, люди будут плутать во тьме без малейшего проблеска надежды».

У старого Мухе тоже нет надежды: от непосильных тягот умирает жена, потерян след дочери Зэйне. Сгинул бы на бескрайних дорогах и сам горемыка, если бы не весть о переменах: она застает Мухе в лагере беженцев, и он находит в себе силы вернуться домой. Аграрные преобразования всколыхнули деревню, начинается новая жизнь, по-прежнему трудная, а подчас и смертельно опасная (организованные помещиками банды терроризируют население), но уже нет в ней безысходности. После долгой разлуки Мухе вновь встречается с дочерью и зятем Касахуном — участником антимонархических выступлений трудящихся в Аддис-Абебе, и сам впервые в жизни перестает быть пассивной жертвой обстоятельств: вместе с другими крестьянами он встает на защиту революционных завоеваний.

Другая сюжетная линия «Волны» связана с образом классового антипода Мухе — помещицы Зэрфэщуаль. Перенося действие из хижины бедняка в господский особняк, чередуя картины нищенского быта крестьян с изображением роскоши, в которой живут эксплуататоры, автор добивается желаемого: ясно показать пропасть, расколовшую Эфиопию на два непримиримых лагеря. Для эфиопов, наших современников, понятие феодализма не относится к далекому прошлому. Им характеризуются многие стороны жизни страны вплоть до середины 70-х годов. Зэрфэщуаль — типичная феодальная владычица. Именно против таких, как она, восстал народ. В ней воплотился обобщенный образ феодального класса — одряхлевшего, уже бессильного изменить что-либо в своей судьбе, но по-прежнему корыстного, без совести, злобного, отчаянно сопротивляющегося веяниям времени. Бырхану Зэрихун уверен в его исторической обреченности.

Драматический момент в жизни страны раскрывается писателем в противоречивой многосложности. Истинной художественной удачей автора можно назвать образы главных героев, которые предстают перед читателем не литературными схемами, но полнокровными людьми, движимыми неподдельными страстями. Трилогия «Волна» — первая попытка эфиопского писателя создать широкое историко-революционное полотно, звучащее весьма актуально в нынешних условиях созидательной деятельности народа. Следует ожидать, что и в дальнейшем с темой революции будут связаны творческие поиски пишущих по-амхарски литераторов.

Писатели Эфиопии понимают существо стоящих перед ними проблем: в уставе созданного в конце 1977 года Союза писателей Эфиопии не просто количественный, но качественный рост художественной литературы провозглашается первоочередной задачей. И произведения таких ведущих на сегодняшний день прозаиков, как Бырхану Зэрихун и Бэалю Гырма, свидетельствуют о том, что идейно-художественный уровень национальной литературы растет. Это позволяет предсказывать ей благоприятное будущее.

◆

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

ИРВИН ШОУ: ПРОФЕССИЯ — БЕЛЛЕТРИСТ

Читательский успех для Ирвина Шоу — дело привычное, если не сказать само собой разумеющееся. Из одиннадцати романов, выпущенных им за последние три с половиной десятилетия, десять попали в списки бестселлеров, а «Богач, бедняк»...»[1] вошел в число наиболее читаемых англоязычных романов семидесятых годов. В каком бы жанре ни пробовал себя Ирвин Шоу, у него получалось интересно — для самых разных читательских групп, казалось бы ничего общего между собой не имеющих. Рассказы, романы, пьесы, выходящие из-под пера Шоу, имеют свойство привлекать тех, кто любит почитать книгу, чтобы «развеяться», отдохнуть от сложностей повседневности, и тех, кто не мыслит удовольствия от чтения без напряжения интеллектуальных способностей и берется за книгу в надежде както разобраться в запутанной современности. Шоу читают любители отождествить себя с героем — затаив дыхание, следуют за ним через все тяготы и невзгоды его фабульной судьбы, искренне радуются счастливому финалу и горюют над печальными развязками. К книгам Шоу обращаются и читатели аналитического склада, стремящиеся отстраниться от конкретных судеб персонажей и уловить в сюжетных перипетиях знаки общих ситуаций, документ времени.

Ирвина Шоу читают, о нем спорят «просто читатели» и читатели-профессионалы— рецензенты. Рождаются стойкие концепции: «непревзойденный мастер новеллы», а вот романы-де «простоваты», «старомодны». Или же: «Шоу — прежде всего романист, а новеллы — это так, черновики, наброски». Американское литературоведение в отношении Шоу вообще проявляет сдержанность. Стойко сохраняя верность произведению с фабулой, веря в увлекательность как в обязательное свойство литературного произведения, Шоу, прямо скажем, оказывается в противоречии с весьма популярной у американских литературоведов точкой зрения, по которой увлекательность и понятность — зловещий признак угасания художественности. Возникает, кстати сказать, ситуация любопытная: литературоведческая индустрия США порой слишком увлекается «обработкой» книг сложно написанных, зашифрованных и, напротив,— предназначенных для массового потребления. В результате много писали по Джойсу и Роббинсу, Джону Барту и Флемингу (и в одном и в другом случае есть что развинчивать, выявлять схемы и модели построения), и все реже изучались написанные в формах жизни книги, из которых плохо извлекаются мифологемы и социологемы,— лишь в последние годы наметился вновь интерес к тем писателям, что пишут «по старинке».

«По старинке» пишет и Ирвин Шоу, но за традиционностью письма, за приметами жизни «в натуральную величину» возникают наболевшие проблемы современной Америки, рождается иносказательный план, позволяющий охарактеризовать книги Шоу как моральные притчи.

Впервые о Шоу Америка услышала в 1936 году, когда двадцатитрехлетний дебютант опубликовал пьесу «Хороните мертвых». Она с успехом прошла на Бродвее, была напечатана у нас, в переводе на русский язык. Это был яркий антивоенный гротеск: убитые солдаты восставали против погребения. Они выходили на улицу, не давая успокоиться в уютном неведении жи-

[1] Опубликован в «ИЛ», 1980, № 8—11.

вым, призывая их присоединиться к своей манифестации против бессмысленного уничтожения человека человеком. Годом позже вышла пьеса «Осада», посвященная Испании. В ее интонациях и сюжетных коллизиях было немало заимствованного, скопированного у экспрессионистов, Лорки, Брехта, но за абстрактностью характеров и положений выступал реальный враг — фашизм, с которым, автор был убежден, следовало бороться сообща — на полях сражений и у себя дома, где внимательные наблюдатели констатировали опасность заражения американской «демократии» «коричневой болезнью» (роман-памфлет Синклера Льюиса «У нас это невозможно», 1935).

Когда началась вторая мировая война, Шоу пошел на фронт добровольцем, был военным корреспондентом. Увиденное и пережитое легло в основу романа «Молодые львы» (1948), принесшего автору первый большой успех — в Америке и за ее пределами. Тогда в литературу пришли бывшие фронтовики: в том же году издан роман Нормана Мейлера «Нагие и мертвые», а через три года романом «Отныне и во веки веков» (в русском переводе вышел под заглавием «Отсюда и в вечность») дебютирует Джеймс Джонс, на долгие годы сохранивший приверженность военной тематике. Это были горькие книги — о перечеркнутых войной надеждах, о красивых фразах и страшной реальности, где все перепутано: добро и зло, враги и друзья, где человек — винтик, оружие мощных и анонимных сил. Это были книги о насилии над личностью, о постоянном унижении человеческого достоинства. В них было весьма много правдивых свидетельств и прозрений. Ускользало, однако, едва ли не самое главное: книги были о войне, но враги, фашисты, в понимании героев (да и авторов), оказывались, как правило, по эту сторону окопов, носили те же американские военные мундиры, обычно с нашивками начальников. Тратя энергию на сохранение себя в борьбе с начальством (тайной и явной), солдаты Мейлера и Джонса участвовали в военных действиях, смысл и назначение которых оставались по сути дела неосознанными ими. Был противник реальный — плохие командиры, и был враг абстрактный, условный, что ли, как на учениях — гитлеровцы и японские милитаристы, и то, что с ними приходилось воевать — и погибать, воспринималось как рок или же результат злой воли со стороны руководителей американской военной машины. Нет, авторы здесь отнюдь не грешили против истины — такое мироощущение действительно было весьма характерно для Америки того времени. Потом историки и теоретики культуры, социологи, философы, пытаясь осмыслить это явление, отмечали, что во многом дело в том, что Америка вообще плохо знакома с войной. Напоминали, что с апреля 1865 года, после капитуляции Юга в Гражданской войне, на американской земле никогда не рылись окопы и не рвались снаряды. Но вряд ли только поэтому слишком многие американцы, герои романов о войне и о временах мирных, воспринимали войну — любую! — прежде всего как угрозу личному благополучию, как свидетельство всеобщего помешательства, где обе воюющие стороны равно неправы. Такое отношение, думается, сформировалось как результат воспитания в уважении перед идеей индивидуализма, испокон веков составлявшей важную черту того типа сознания, что именуют «исконно американским». Сложившаяся в такой социально-культурной обстановке «самостоятельная личность» весьма болезненно реагировала на все попытки общества ограничить ее свободу и заставить поступиться кое-чем ради общих целей, тем более что последние слишком часто оказывались по своей сути такими же частными, но заданными теми группировками, что узурпировали право говорить от имени всего общества.

«Молодые львы», совпадая в частностях с романами Мейлера и Джонса, отличались в главном: для Шоу позиция «обиженной личности» в конкретных условиях войны с фашизмом оказывалась не просто ошибочной, но и опасной. Не закрывая глаза на серьезные изъяны американской военной машины, на бездушие и бездарность ее многих представителей, писатель напоминал, что врагом номер один тогда был германский нацизм, победа над которым стала возможна ценой объединенных усилий, забвения разногласий и подавления капризов своего «я».

Один из центральных персонажей «Молодых львов», Ной Аккерман, начинал с того, на чем так и застыли многие герои американской послевоенной прозы — с обиды на мир, с чувства ущемления личного достоинства. Он страдал, давал выход эмоциям. Он бросал осточертевшую армию, рисовавшуюся ему сборищем расистов и насильников. Такое заключение «сепаратного мира» («чума на оба дома ваши») у многих литературных родственников Аккермана было естественным шагом. Но для Ноя то был эпизод минутной слабости, ошибка, которую следовало исправить. Побеждая эгоцентрическую сосредоточенность на личных невзгодах, Ной не терял себя, но, напротив, обретал ту самую цельность и уверенность в себе, которой так не хватало тем, кто, спасая свою свободу, отгораживался от «посягающего» общества. Самоосуществление для Шоу возможно только через осознание своих обязательств по отношению к миру других, который его многими коллегами трактовался как угроза автономии личности. Соглашаясь с героем хемингуэевского «Иметь и не иметь» в том, что «человек один не может ни черта», Шоу продолжал благородные традиции другого романа своего старшего товарища — «По ком звонит колокол», опровергавшего спасительность «сепаратного мира», утверждавшего необходимость личной ответственности человека за происходящее на земле.

Если в романе «Молодые львы» перекличка с Хемингуэем была тематически-содержательного плана, то в новеллах Шоу (в 50-е и 60-е годы он много работал в области «малой прозы») уроки мастера ощущались прежде всего в области стиля. Это и скупая точность диалогов, и лаконизм опи-

саний, и стремление предъявить читателю «только факты» так, чтобы он за внешним увидел ту самую подводную часть айсберга, что хоть и скрыта от непосредственного наблюдения, но не менее реальна. В лучших рассказах тех лет — обеспокоенность Шоу в связи с нарастанием потребительского мироощущения, овладевающего «средними» американцами, мелочностью забот, стандартизацией поступков, мыслей, ориентиров. Герои его новелл ведут внешне благополучное существование, но в один прекрасный день их охватывает чувство неподлинности образа жизни, совсем недавно еще представлявшегося естественным и разумным — в силу привычки.

Шоу всегда отличал профессионализм, превосходное владение словом, чувство целого. Написанное им имело свойство убеждать формой, порой заставляло предполагать в произведении значимость и глубину, которых не было, а было лишь красноречие рассказчика, умеющего «подать» историю. Здесь кроется одна из опасностей умения «хорошо писать». Победа над словесным материалом — дело нелегкое, и когда вдруг «получается», трудно менять понравившуюся манеру, угол зрения. Читательский успех заставляет повторить однажды найденное, потом другой раз, третий... Сначала это называют «оригинальным почерком», потом начинает проскальзывать слово «штамп». А предыдущие достижения словно поддразнивают писателя, превращаясь в удаляющиеся вершины, грозя так и остаться лучшим из написанного. И тогда владение формой — «легкость пера» — становится даром сомнительным, подчиняющим себе своего же обладателя.

Романы Шоу 50—60-х годов читались нарасхват, но по строгому счету были лишь слабыми копиями, «репродукциями», не шедшими ни в какое сравнение с громким дебютом. Переломным для писателя явился 1970 год, когда вышел «Богач, бедняк...», став своеобразным прологом к новому, пожалуй наиболее плодотворному, этапу в творческой биографии Шоу.

В основе этого романа — простая аналогия: общество — это семья, семья — это общество в миниатюре. Судьбы членов семьи Джордахов выстроены так, что читаются как типично американские, а хронология романа, начинающегося в 1945 году и продвигающегося к современности, указывает на стремление автора дать панорамную картину конкретно-исторической Америки.

«Типичный американец» — для Шоу человек как бы без корней. Он покинул прежнюю родину, чтобы попытать счастья на новом месте. Таков Аксель Джордах, родоначальник клана Джордахов, в 20-е годы приехавший в Америку из Германии.

«Типичный американец» — оптимист, не падает духом ни при каких обстоятельствах, ибо усвоил, что терпение и труд рано или поздно принесут благополучие. Ну а если дела не ладятся, то виновата не система, а сам неудачник — значит, плохо старался. Аксель старался вовсю, работал не разгибая спины в своей булочной-пекарне, но ни материального успеха, ни обыкновенного житейского покоя, радости простых семейных отношений не испытал. Начав с надежды, он кончает ненавистью.

Не повезло родителям — повезет детям. Памятуя об этом важном пункте кодекса оптимизма, Аксель возлагает надежды на Рудольфа, старшего сына. «У Рудольфа,— читаем в романе,— был единственный талант — всем нравиться... Он сознательно старался нравиться, ему приходилось прилагать много усилий, чтобы ладить с людьми, делать вид, будто они его интересуют». Рудольф не просто один из героев романа. Это социальный тип, своего рода герой времени. Давным-давно, в период развития капиталистических отношений в Америке, вовсю пропагандировалась волевая, инициативная личность, которая в своей деятельности руководствовалась принципом: «никому отчета не давать, себе лишь самому». Активная, неутомимая, своенравная, она, согласно легенде, творила чудеса во всех сферах американской жизни, оставляя далеко позади не столь расторопных конкурентов. Идеальный деятель-одиночка и теперь появляется на страницах книг или на экране. То это шериф, сражающийся один на один с бандой уголовников, то частный детектив, распутывающий тайну убийства, поставившую в тупик полицию, то, наконец, «человек со стороны» (обычно журналист или адвокат), выводящий на чистую воду нечестных сенаторов, членов международной политической мафии, и предотвращающий мировую катастрофу. Но это, так сказать, персонаж фантастический, побеждающий исключительно в мире вымысла. В жизни ему приходится не в пример труднее. В американском позднекапиталистическом обществе монополий и корпораций самостоятельность не поощряется. Зато одобряется и всеми средствами рекламируется искусство «кооперации», умение быть послушной и надежной деталью социальной машины.

Раньше, в минувшем столетии, высоко ценилось постоянство личных качеств, умение следовать внутреннему, раз и навсегда сложившемуся набору понятий и представлений (таких людей американский социолог Д. Ризмен определил как «управляемых изнутри»). Теперь, напротив, ценится умение лавировать, быстро адаптироваться к меняющейся ситуации. Постоянство качеств и убеждений в нынешних обстоятельствах уже не благо, а изъян. Чтобы преуспеть, необходимо быть готовым к быстрой и полной переориентации, вырабатывать свойства и навыки, диктуемые данной конъюнктурой (в терминологии Ризмена такие люди характеризуются как «управляемые другими»).

Рудольф как раз являет собой пример человека, управляемого другими. Есть в романе и старомодный, «управляемый изнутри» персонаж. Это младший, «непочтительный» сын Акселя Том. Он скверно учился, дерзил старшим, не думал о карьере и если в чем и преуспел, то в искусстве кулачного боя. Том — самый настоящий аутсайдер, «черная овца», и все же благовоспитанный и добропорядочный Рудольф временами мучительно завидует непутевому брату, который во всяком случае жил, не считаясь ни с чьим мнением.

Герои «Богача, бедняка...», эти типичные американцы, пытаясь осуществить «типично американское» восхождение к славе и успеху, обычно остаются ни с чем. Тема шаткости идеалов материального благополучия весьма близка писателю, его полемика с американской мифологией успеха носит личный, выстраданный характер: отец Шоу, весьма преуспевавший торговец недвижимостью, разорился в том самом 1929 году, когда крах биржи на Уолл-стрите стал началом тяжелейшего в истории США кризиса, перечеркнувшего миф об особом пути «американской цивилизации». С шестнадцати лет будущий писатель столкнулся с необходимостью самому зарабатывать на жизнь.

В жизни Джордахов важную роль играют деньги, полученные сомнительным путем. Очередная финансовая операция — это преступление. Уголовное — убийство Акселем в Гамбурге англичанина. Нравственное — Гретхен, сестра Тома и Рудольфа, зарабатывает нужные ей восемьсот долларов (чтобы уехать в Нью-Йорк и поступить на сцену), став любовницей своего босса, он заодно раскошелился и на Рудольфа, едва не лишившегося шансов на высшее образование из-за амурных шалостей Тома. Тот, в свою очередь, вернет истраченное на него путем по сути такого же шантажа: поймает за руку члена респектабельного клуба, который чистит бумажники своих партнеров. Ворует он не корысти ради, а по болезни: он клептоман. Но аналогия слишком прозрачна, чтобы упустить ее из виду: делание денег в Америке, напоминает Шоу, уже давно стало болезнью — разновидностью клептомании, истоки которой следует искать в расстройствах социальной системы.

«Неправедные деньги», как водится, ничего хорошего не сулят. Шоу — моралист, иногда даже морализатор, и приверженность к изображению жизни «как она есть», с пороками и изъянами, сочетается у него с чуть ли не пуританской суровостью, с какою он судит своих героев. Акселю не простится убийство в Гамбурге: логика житейских обстоятельств, вычерченная Шоу, приведет его, запутавшегося и озлобившегося, к самоубийству. Припомнятся и Гретхен пресловутые восемьсот долларов. Наказание — несчастливый брак, потом нелепая гибель второго мужа, талантливого и любимого, потом нарастающее одиночество, рушащиеся мечты о служении великому искусству...

Дорого обойдется Рудольфу умение всем нравиться. Он женится на красивой и богатой — и женится неудачно. Талант Рудольфа адаптироваться к обстоятельствам не спасет семейного счастья, сильно подпорченного психической неуравновешенностью и алкоголизмом Джин. Из-за нереспектабельного поведения супруги рухнет карьера Рудольфа-мэра. Из-за нее же погибнет Том, вызволяя невестку из очередной скандальной истории.

И все же не распущенная Джин и не пытавшийся соблазнить ее гангстер — истинные виновники гибели Тома, если прислушаться к Шоу. Виноват прежде всего Мир Самых Богатых. Все, входящее в соприкосновение с ним, подвергает себя немалой опасности. Шоу судит не только этот мир, но и тех, кто с ним сотрудничает. Том виноват — он катал богачей по Средиземному морю на своей яхте, купленной, кстати сказать, на деньги, в основе которых те самые пять тысяч, что Том выманил у вора-богача.

Роман обрывается на мрачной ноте. Официальная пропаганда воспела как истинного американца — американца, который «сделал сам себя». Герои романа Шоу сами себя разрушают — прежде всего потому, что взяли на вооружение ценности и ориентиры объективно ложные и губительные, но в американской повседневности котирующиеся как разумные и реалистические.

В 1959 году Шоу выпустил роман «Две недели в другом городе». Написанный с присущим ему стилистическим мастерством, роман наметил достаточно серьезные проблемы, которые, однако, подлинно художественного исследования не получили, утонув в сентиментально-мелодраматических поворотах сюжета. У книги, впрочем, имелось достоинство, тогда, естественно, невычислимое: это был черновик, первый вариант одной из наиболее запоминающихся работ Шоу — «Вечера в Византии» (1973)[1].

В том, раннем, романе была «римская метафора»: вечный город и безвозвратно уходящее время, отпущенное на жизнь человеческую,— время, сплошь и рядом растрачиваемое на пустяки. Бессмертие великого искусства — и тиски коммерции, жестокие законы кинобизнеса, властно распоряжающиеся и бездарностями, и талантами. Образ Византии, вынесенный в заглавие более позднего романа, углубляет в основе ту же мысль писателя, делает ее сложнее, социально конкретнее. Византия — символ высокой и утонченной культуры — вот-вот рухнет под напором варварства. Таков обобщенный образ западной цивилизации и его конкретное наполнение — очередной кинофестиваль в Канне, где одни развлекаются, другие устраивают дела, а третьи «заявляют протест» против первых и вторых.

Главный герой романа, продюсер и сценарист Джесс Крейг,— явно чужой на этом празднике. Ситуация, в которой оказался он, вообще типична для многих романов Шоу: кризис в жизни человека, существовавшего как бы по инерции, а теперь вдруг под влиянием тех или иных, вроде бы случайных, обстоятельств вдруг задумавшегося, оглянувшегося на прожитые годы и подвергающего беспристрастному разбору себя и свои поступки.

Многое открылось в эти дни Крейгу, и многое, ранее казавшееся самоочевидным, утратило былую ясность, но самое, пожалуй, главное в его размышлениях — ощущение глубокой внутренней порочности того уклада, что предстает в празднично-карнавальном облике киносмотра. Крейг оказывается на показе фильма о фестивале попмузыки в Вудстоке, куда съехалось более ста тысяч приверженцев новой «антибуржуазной» морали. На экране занимаются любовью парочки, в экстазе извиваются перед микрофонами самовыражающиеся менестрели, толпа «раскрепощенных» юнцов скан-

[1] Опубликован в «ИЛ», 1975, № 9, 10.

дирует непристойности. Что это — нелепый вывих дурного вкуса, неудачная коллективная шутка или тревожный симптом социальной паранойи? Нет, это вполне серьезный «жест», направленный против «репрессивного общества», против рутины буржуазного образа жизни. Это протест. Недаром перед просмотром к публике обратился режиссер фильма с траурной повязкой на руке и призвал зрителей последовать его примеру, напомнив, что лента посвящается памяти четырех студентов, погибших во время молодежных волнений в Кенте. Звучит торжественно, но, увы, все это «липа», как сказал бы сэлинджеровский Холден Колфилд. Трудно сказать, как бы отреагировал на фильм Крейг раньше, но теперь его не страшит прослыть «отставшим от времени», он перестал быть «управляемым другими»— он не может избавиться от ощущения страшной фальши: «жест режиссера, кажется ему, был продиктован не скорбью, а желанием продать товар подороже».

Здесь Шоу формулирует проблему, о которой тогда только начинали задумываться. Разумеется, он не открыл эту тему. «Вечер в Византии» вызывал у критиков ассоциации с «За стеклом» Р. Мерля и «Ирреволюцией» П. Лэне[1]. Но для Америки позиция Шоу отличалась новизной и даже, если угодно, смелостью. Самодовольный мещанин, законопослушный буржуа, плохой капиталист — все эти типажи приобрели в американской послевоенной прозе характер устойчивых мишеней. Их осмеивали под снисходительные аплодисменты читателей (среди которых, заметим, хватало и буржуа и капиталистов), а под защиту — со всеми оговорками — их брали разве что такие «козлы отпущения» у американской литературной критики, как Слоун Уилсон и Герман Вук, заработавшие устойчивую репутацию «конформистов».

В то же самое время изгой, бунтарь, аутсайдер с давних пор пользовались симпатиями не в жизни, а на экране, на страницах романов — в ситуации, так сказать, эстетической. Они казались то безобидными чудаками, то большими смельчаками, бросающими вызов «организованному обществу». и бичующими его пороки. Им внимали, с ними соглашались, в них верили как в искреннее, живое, противостоящее лжи и коррупции начало. Казалось, они окрепнут, повзрослеют и смогут дать еще больший отпор дурной социальности. Со временем, однако, обнаружилось, что это были весьма расчетливые бунтари, прекрасно усвоившие законы спроса и предложения и неплохо существовавшие за счет на все лады поносимого ими общества: оно устраивало их именно таким — снисходительно внимающим критике, громкой, эффектной, но по сути не затрагивающей никого.

Так и бунтарство юных героев «Вечера в Византии», не испытывающих и тени сомнения в своей правоте (во всем виноваты старшие, они-де нас до этого довели), слишком связано с принципом удовольствия, который в свою очередь оказывается оборотной стороной принципа пользы, чтобы восприниматься всерьез. Это бунтарство, которое не только не пугает «организованное общество», но, напротив, вполне устраивает: умело отредактированная, «антибуржуазность» может стать отменным предметом потребления. Недаром кто-то из персонажей «Вечера в Византии» заметит, что в наши дни фильм, где мало откровенных сцен, а героям больше тридцати, шансов на успех не имеет.

Драма Крейга состоит в том, что в конфликте с «духом времени» он оказывается побежденным. Он написал сценарий, в который вложил все, что знал, думал, чувствовал. Но фильм по этому сценарию будет сильно отличаться от первоначального замысла. Естественное желание художника быть услышанным возможно большей аудиторией может быть осуществлено лишь ценой уступки запросам потенциальных потребителей, которые жаждут «чего-то новенького», с фрондой, с эпатажем и вседозволенностью. Обречь себя на молчание или облекать в занимательную образную упаковку полюбившиеся публике клише и стереотипы — такова дилемма, встающая перед героем романа.

«Ночной портье» (1975) по иронии обстоятельств стал своеобразной реализацией «компромиссного варианта» этой дилеммы. История бывшего летчика, нежданно-негаданно ставшего обладателем внушительной суммы денег, строилась на обыгрывании многих штампов авантюрного романа. Были там и роскошные отели, и богатые бездельники, и благородные жулики. Были и «неправедные деньги», которые хоть и доставляют главному герою немало беспокойств, но в конечном счете — в полном противоречии со всеми канонами Шоу-моралиста — приносят ему счастье. Читая «Ночного портье» вслед за «Богачом, бедняком...» и «Вечером в Византии», невольно испытываешь ощущение подвоха, мистификации, гадаешь, не иронизирует ли Шоу в этом романе и «уж не пародия ли он»? Но нет — даже если «Ночной портье» и пародия (самопародия), то невольная. Знакомство с этим романом — лишнее подтверждение того, насколько близка автору «Вечера в Византии» драма его персонажа Крейга, насколько вообще конфликт между высоким искусством и большими гонорарами актуален для американской культуры.

Разумеется, при особом желании и в «Ночном портье» отыскиваются элементы социальной критики, беда только в том, что носит она декоративный, «виньеточный» характер, оправдывая появление образов и эпизодов весьма сомнительного в этическом и эстетическом отношении характера. Снимается — развлекайся, читатель! — порнофильм, и тут же интеллектуал-критик сочиняет такую нелепую апологию этому жанру, что читателю ясно дается понять: лично автор порнографию осуждает. Герой прикарманил чужие деньги, но опять-таки, чтобы не вызвать чувства морального читательского негодования, в нужном месте будет вскользь брошено, что эта сотня тысяч долларов была предназначена для подкупа крупных правительственных чиновников, так что герой, сам того не ведая, своим вроде бы сомнительным поступком совершил дело достойное. Что и говорить, герою «Ноч-

[1] См., например, предисловие А. Зверева в кн.: И. Шоу. Вечер в Византии. М., «Прогресс», 1980.

ного портье» сильно повезло — попади он в роман «Богач, бедняк...» или «Нищий, вор»[1], быть бы ему наверняка среди тех, на кого в полной мере обрушивается авторское презрение. Но в «Ночном портье» действуют иные — «опереточные» — законы. Шоу здесь только развлекал, стараясь понравиться всем сразу, никого не огорчить (сентиментальнейший хэппи-энд рассеивает последние остатки проблемности), никого не отпугнуть — и к своей цели стремился, позволив профессионалу в себе отказаться от помощи художника.

Возвращаясь после семилетнего перерыва к «саге о Джордахах», Шоу в известной степени шел на риск: очень нелегко бывает продолжать то, что уже опубликовано и имело успех (кстати сказать, в данном случае подогретый многосерийным телефильмом по «Богачу, бедняку...»). С другой стороны, семейный роман как раз и предполагает неторопливость и обстоятельность, умение сводить воедино истории разных членов семьи, в том числе и представителей нескольких ее поколений. Жанр семейного романа достаточно точно отвечал исканиям Шоу-художника 70-х годов.

Тема поиска общности людей, прочных и устойчивых связей возвращала писателя к идее семьи. «Вся литература выросла из истории семьи,— как-то заметил он в интервью.—«Царь Эдип», «Гамлет», даже книга Бытия — это все в конечном итоге истории семей». Прогрессирующая утрата институтом семьи своего объединяющего значения является для Шоу (как и для многих его коллег-соотечественников) одним из свидетельств глубокого неблагополучия американской современности. Указывая на процессы распада внутри американской семьи (на примере Джордахов), он вместе с тем далек от мысли объявить это нормой и универсальным законом. Указывая на многое из того, что разъединяет людей, Шоу в «Богаче, бедняке...» и особенно в «Нищем, воре» очень внимателен к тем моментам биографии своих героев, когда между ними рождается близость и понимание. Дело, разумеется, не в формальном родстве: родная мать Уэсли Джордаха, например, окажется для него хуже злой мачехи, и, напротив, не раз на протяжении романа чужие люди проявят по отношению к нему внимание и заботу.

Читатели «Иностранной литературы» пока лишь только миновали середину романа, а потому не будем выдавать сюжетные подробности, о которых еще предстоит узнать, и обратим внимание лишь на общие черты книги. Как и в первом романе, в центре повествования братья-антиподы (на сей раз братья двоюродные)— Билли Эббот, на первой же странице доверительно делящийся своей жизненной философией: «плыть надо только по течению», и неприкаянный, мятущийся Уэсли Джордах, отвергающий правила и условности того жизненного уклада, с которым связан. Он, собственно, и есть «нищий, вор» в глазах тех, кто свято чтит эти условности. Правда, в отличие от «Богача, бедняка...» несходство братьев здесь скорее заявлено, декларировано, не-жели реализовано в сюжетном конфликте с той полнотой и жизненной достоверностью, с какой в раннем романе раскрыта антитеза Том — Рудольф.

Как и в «Богаче, бедняке...», тема денег выступает одной из ведущих. И снова их власть двусмысленна: деньги могут купить многое. Свободу для Уэсли, в начале романа чуть было не угодившего надолго за решетку в результате нелепой ссоры в кабаке. Отмщение — Рудольф всерьез заинтересуется услугами «профессионального устранителя», чтобы «оградить от неприятностей» все того же Уэсли, мечтающего самолично расправиться с убийцей отца. Но маня видимостью власти, свободы и независимости, деньги становятся причиной многих несчастий героев книги. Получив благодаря деньгам Рудольфа свободу, Уэсли снова окажется под угрозой ее потери: причитающаяся ему доля от отцовского наследства вызовет повышенный интерес его матери, а Рудольф вообще чуть было не расстался с жизнью, став жертвой нападения нью-йоркских бандитов.

Западная современность в «Нищем, воре» снова (как и в «Богаче, бедняке...» и «Вечере в Византии») показана нелицеприятно: она безнадежно утрачивает идеалы и ориентиры, становится опасной для человека в самом прямом и буквальном смысле. «Вечер в Византии» затронул проблему оппозиции традиционным буржуазным ценностям со стороны самых юных и продемонстрировал «радикальную несерьезность» протеста молодых людей из обеспеченных слоев. «Нищий, вор» указывает на те серьезные опасности, что несет в себе ультралевацкая идея тотального террора. Было бы, разумеется, преувеличением говорить о том, что этот феномен подробно исследуется Шоу — для него это прежде всего штрих времени, лишнее свидетельство «голода идеалов», испытываемого сегодняшним Западом, еще один яркий симптом наступления «вечера» буржуазной цивилизации. Вместе с тем Шоу, касаясь этой проблемы, точен — психологически и социологически. Сколь пагубным может быть стремление «плыть по течению», показывает пример Билли Эббота, типичного представителя класса людей, «управляемых другими», с их нравственным и мировоззренческим вакуумом. Ну а втянувшая Билли в акции одной из таких ультралевых группировок Моника, ловко оперирующая набором раз и навсегда затверженных цитат и не задумывающаяся над смыслом и последствиями террористических актов-жестов,— тоже тип, заставляющий вспомнить меткое определение истоков такой «убежденности», прозвучавшее в устах одного из персонажей Достоевского: «Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигала».

Сравнивая романы о Джордахах, американские критики отдавали предпочтение первому — как более острому, драматическому — и отмечали «увядание» в «Нищем, воре» таких персонажей, как Гретхен и Рудольф. Эти книги, однако, вряд ли есть смысл отделять друг от друга: это части единого целого, и у каждой из них своя функция в создании общей картины. Конеч-

[1] Роман публикуется в «ИЛ», 1983, № 5—7.

но, первый роман в чем-то и в самом деле эффектнее, но не следует забывать, что, реализуя в нем свою художественную задачу, Шоу находился в весьма выигрышной ситуации человека, отвечающего на вопрос: «что такое плохо?». Негативное — такое уж у искусства свойство — с давних пор получается (во всяком случае на самом внешнем уровне) как-то нагляднее и достовернее позитивного.

Вместе с тем Шоу не останавливается на констатации неблагополучия, его всерьез волнует проблема обретения человеком устойчивых положительных начал своего существования. Оттого-то, может быть, и теряют в «Нищем, воре» броский мелодраматический ореол иные персонажи, оттого-то и меркнет в нем столь популярная в американском искусстве тема аутсайдерства, гордого и упрямого противостояния всем и вся. Недаром Уэсли Джордах так настойчиво собирает сведения об отце: ему жизненно важно понять до конца этого человека, слишком поздно ставшего для него родным и близким. Понять его — а через него и самого себя.

В этом романе многие персонажи как бы покидают привычные, сценически эффектные оболочки «типажей» и, так сказать, незащищенные «достоверной стереотипностью» своих прежних амплуа, начинают движение в сторону «живой жизни». Именно так обстоит дело с Рудольфом и Гретхен, что-то осознавшими, кое-что пытающимися наладить в себе и своих взаимоотношениях с миром других, в ком они начинают видеть уже не только конкурентов, противников или деловых партнеров, но и людей, с кем возможны отношения, не опосредованные идеей выгоды. Разумеется, изображение такой переориентации составляет вовсе не простую задачу. И хотя Шоу временами несколько торопится с решениями — а отсюда и неизбежные упрощения, апелляции к читательским эмоциям,— но то, что он поставил перед собой такую задачу, безусловно, заслуживает одобрения.

Об этом-то нравственном возрождении человека, о скрытых в каждом способностях к добру и альтруизму — его последние романы «Вершина» (1979) и «Хлеб по водам» (1981). Оба они в свое время рецензировались «Иностранной литературой»[1], об их достоинствах и недостатках говорилось достаточно подробно, а потому лишь подчеркнем актуальность затронутых в них вопросов.

В последние десятилетия одним из отличительных признаков серьезности намерений художника в литературной ситуации США стал своеобразный «антиоптимизм» — пристрастие к изображению американской современности как воплощения сил зла, хаоса и абсурда. Художественно оправданный и социально детерминированный критический подход слишком часто подменялся тотальным отрицанием и приверженностью к живописанию распада. Опасность такой негативной ориентации, дававшей о себе знать в творчестве Мейлера и Доктороу, Воннегута и Апдайка, слишком часто выпадала из поля зрения литературной критики (и не только в США), видевшей лишь сильные стороны этих действительно одаренных писателей. Отрезвляющую роль здесь сыграла книга американского литературоведа и писателя Джона Гарднера «О нравственной литературе» (1978). Гарднер подверг суровому разбору творчество многих признанных лидеров современной прозы США, упрекая их за то, что они своими произведениями не борются с тем дурным, что видят в окружающей действительности, но, напротив, лишь «удваивают» хаос. «По своей сути искусство благородно и серьезно,— писал он.— Это игра, но игра, противодействующая хаосу и смерти, противодействующая энтропии». Напоминая о том, что искусство есть начало нравственное, утверждающее, Гарднер поднял проблему сложную, однозначному решению не поддающуюся и тем не менее подлежащую художественному воплощению.

Ирвин Шоу — среди тех писателей, кто не желает удовлетвориться одним лишь отрицанием. Конечно, мы должны отдавать себе отчет в том, что поиски положительных начал в кризисной, чреватой конфликтами, в целом не очень-то расположенной к человеку реальности Запада — дело чрезвычайно тонкое и сложное. Здесь велика опасность спекуляций, подтасовки, завуалированной апологетики существующих социальных отношений. Стремление непременно снять в пределах романной фабулы противоречия повседневности может повлечь за собой и нарастание сентиментального, мелодраматического начала.

Ирвин Шоу — беллетрист-профессионал, со всеми достоинствами и недостатками этой профессии. Он далеко не свободен от требований литературного рынка, и не только в таких откровенных неудачах, как «Ночной портье», облегченная занимательность с необязательными подчас длительными экскурсами в область интимной жизни героев дает о себе знать даже в значительных произведениях, как «Вечер в Византии», как дилогия о Джордахах. Однако эти частности не должны заслонять главного: Ирвин Шоу останется в истории американской литературы книгами, отмеченными подлинным гуманизмом, проникнутыми реальной болью и тревогой за человека и уверенностью в том, что человек окажется сильнее неблагоприятных социальных обстоятельств.

[1] «ИЛ», 1981, № 9; «ИЛ», 1982, № 10.

◆

Культура и современность

СРАЖАЮЩИЕСЯ ПЕРЬЯ ВЬЕТНАМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Еженедельнику вьетнамских литераторов «Ван нге» («Литература и искусство») исполнилось тридцать пять лет. Пожалуй, нет во Вьетнаме ни одного деятеля искусства, литературы, который не счел бы для себя честью выступить на страницах «Ван нге», одного из самых читаемых в стране печатных органов. Страницы «Ван нге» украшали стихи То Хыу, Суан Зиеу, Те Ханя, Хюи Кана, очерки и рассказы Нгуен Динь Тхи, Нам Као, То Хоая, Нгуен Туана, многих литераторов среднего и молодого поколений, которым «Ван нге» дал путевку в творческий поиск.

Сейчас еженедельник «Ван нге» возглавляет известный вьетнамский писатель Нгуен Ван Бонг. Его книга «Буйвол», посвященная войне Сопротивления против французских колонизаторов, получила премию Ассоциации культуры Вьетнама и одной из первых была переведена на русский язык. Он — автор многих произведений о строительстве новой жизни в социалистическом Вьетнаме. Книги Нгуен Ван Бонга о борьбе вьетнамского народа за свободу Юга, участником которой он был, удостоены премии Национального фронта освобождения.

Публикуя его статью, наша редакция поздравляет еженедельник «Ван нге», внесший большой вклад в дело популяризации советской литературы, с юбилеем и высокой правительственной наградой — Орденом Труда первой степени.

Еще в годы своей подпольной деятельности, когда наша страна находилась под двойным игом французских колонизаторов и японских милитаристов, Коммунистическая партия Вьетнама (тогда она называлась Коммунистической партией Индокитая) уделяла огромное внимание вопросам культуры, литературы и искусства. В 1943 году она опубликовала «Тезисы о вьетнамской культуре». Вскоре после этого была организована всевьетнамская Ассоциация работников культуры за спасение Родины, призванная объединить творческую интеллигенцию в борьбе за освобождение страны, за создание новой культуры. Уже в тот период Ассоциация готовилась выпустить свой журнал «Тиен фонг» («Авангард»), но вскоре по всей стране развернулась интенсивная подготовка ко всеобщему восстанию, поэтому первый номер журнала вышел в свет только 10 ноября 1945 года, после победы Августовской революции и образования Демократической Республики Вьетнам.

Журнал «Тиен фонг», издававшийся два раза в месяц, объединил вокруг себя наиболее известных в стране писателей, публицистов, решивших посвятить себя делу построения независимой, свободной и счастливой Родины. Но в декабре 1946 года началась война Сопротивления против французских колонизаторов, попытавшихся силой оружия подчинить себе Вьетнам. Журнал «Тиен фонг» в номере 24-м, вышедшем тогда же, в декабре 1946 года, опубликовал на первой странице «Обращение», в котором говорилось:

«...Друзья, деятели вьетнамской культуры!

Французские реакционные колонизаторы полностью сбросили с себя маску. Не считаясь с соглашениями, подписанными самим правительством Франции, они попрали наш национальный суверенитет, атаковали наши позиции от Севера до Юга.

Угроза нависла над свободой нашей Родины.

Угроза нависла над будущим нашей культуры.

Угроза нависла над жизнью каждого из нас...

Сыны и граждане своей страны, мы должны взять на себя соответствующие задачи в войне Сопротивления. Мы должны ринуться в бой за свободу Родины, за будущее нашей культуры, за само наше существование.

...Льется вьетнамская кровь.

Отечество страстно зовет нас!..»

После этого номера выпуск журнала «Тиен фонг» временно прекратился. Передовые вьетнамские литераторы, художники, артисты вместе с частями народной армии ушли на фронт. Затем они стали съезжаться во Вьетбак, тогдашний опорный район вьетнамского движения Сопротивления. Здесь в конце 1947 года состоялось под руководством партии собрание представителей творческой интеллигенции, на котором об-

суждались задачи развития литературы и искусства Сопротивления, была создана Ассоциация деятелей литературы и искусства и ее орган «Ван нге».

Первый номер «Ван нге» вышел тридцать пять лет назад, в марте 1948 года. Его первым главным редактором был выдающийся поэт-коммунист То Хыу, ныне член Политбюро ЦК КПВ, заместитель Председателя Совета министров СРВ.

В тогдашних трудных условиях войны журнал выходил один раз в месяц, а порою в два месяца. Печатался он на бумаге, изготовлявшейся кустарным способом в джунглях, и на примитивных станках. Его развозили для распространения на багажниках велосипедов, связные на своих плечах доставляли его в различные районы страны, пробираясь мимо вражеских постов и дотов.

После 1954 года полностью освобожденный Северный Вьетнам встал на путь социалистического строительства. Развитие вьетнамской революционной литературы и искусства приобрело новые темпы и размах. Появился ряд литературно-художественных газет и журналов. Что касается «Ван нге», то это издание, выходившее то в виде еженедельника, то снова в виде журнала, из года в год получало все более широкое распространение, становилось все более богатым по содержанию. «Ван нге» пользовался широкой популярностью не только в Северном Вьетнаме, активно служа делу восстановления экономики страны и строительства социализма, но и в оккупированных районах Юга, становился боевым соратником кадровых работников, бойцов и населения Южного Вьетнама в их борьбе с американскими империалистическими агрессорами и их приспешниками.

А тем временем в самой базовой зоне южновьетнамского Сопротивления после образования Национального фронта освобождения в декабре 1960 года в середине следующего года была создана Ассоциация деятелей литературы и искусства за освобождение, которая в труднейших, сложнейших условиях принялась выпускать свой печатный орган — журнал «Ван нге зяй фонг» («Литература и искусство освобождения»).

В апреле 1975 года Южный Вьетнам был полностью освобожден, вслед за этим 2 июля 1976 года завершилось воссоединение страны от Севера до Юга. В 1977 году Ассоциация деятелей литературы и искусства за освобождение объединилась с Ассоциацией деятелей литературы и искусства Вьетнама, а журнал «Ван нге зяй фонг» — с газетой «Ван нге», образовав единое периодическое издание творческой интеллигенции всей страны. В 1978 году интенсивное развитие всех жанров искусства в нашей стране привело к тому, что у многих творческих союзов появились свои газеты и журналы, и еженедельник «Ван нге» из органа Ассоциации деятелей литературы и искусства стал органом Союза писателей Вьетнама.

Еженедельник «Ван нге» гордится тем, что ему всегда отводилась и отводится роль передового бойца в развитии вьетнамской литературы и искусства. На протяжении всех 35 прошедших лет наша газета всегда была другом и спутником бойцов и всех соотечественников как в их героической борьбе за освобождение и защиту Родины, так и в многотрудном деле национального строительства. Многие редакторы и внештатные сотрудники газеты пали смертью храбрых в этой борьбе. Вспомним о мастером, одареннейшем писателе Нам Као, погибшем в первые годы антифранцузской войны. Вспомним о молодом литераторе Буй Нгуен Кхиет, до последнего патрона сражавшемся в северных пограничных районах нашей страны в феврале 1979 года.

Выполняя роль боевого печатного органа литераторов в борьбе за освобождение, защиту и строительство новой жизни в стране, «Ван нге» ведет непримиримый бой на культурном и идеологическом фронтах. Наша газета последовательно выступала и выступает против всех реакционных явлений в культуре, литературе и искусстве, против проникновения неоколониалистской культуры, идеологии и их пережитков, еще сохраняющихся в нашей стране. Она неустанно отстаивала и отстаивает марксистско-ленинский курс КПВ в области литературы, культуры и искусства, активно участвует в формировании и развитии вьетнамской социалистической литературы и искусства. Почти все произведения отечественной художественной литературы, получившие широкое признание в стране за последние 35 лет, были или впервые опубликованы, или отрецензированы в «Ван нге». Все известные мастера литературы и искусства выступали на страницах нашей газеты. Печатая художественные произведения, рецензии и критические статьи во время проведения ежегодных конкурсов на лучшие произведения поэзии и прозы, наш еженедельник открывал и открывает значительную часть молодых дарований, входящих сегодня в литературу.

«Ван нге» вносит вклад в развитие революционной литературы и искусства Вьетнама, всемерно способствует освоению сокровищницы национальной художественной культуры, постоянно знакомит вьетнамского читателя с достижениями прогрессивной литературы и искусства всего мира, в первую очередь Советского Союза и других братских социалистических стран. Уже в первых своих номерах, вышедших во время антифранцузской войны Сопротивления, журнал «Ван нге» опубликовал такие выдающиеся произведения советской литературы, как «Железный поток» А. Серафимовича (в переводе известного прозаика Нго Тат То) и «Жди меня» Константина Симонова. Стихотворение это в переводе То Хыу, переписанное от руки, в годы войны можно было найти в вещмешках чуть ли не каждого вьетнамского бойца.

Позднее, по мере постоянного расширения контактов и углубления сотрудничества между вьетнамской и советской литературой и искусством, наша газета все чаще и шире знакомит читателей с творчеством советских писателей, художников, других деятелей искусств. Многое дают сотрудникам нашей редакции встречи и обмен опытом с представителями редакций литературно-художественных газет и журналов братских социалистических стран, в частно-

сти ежегодные совещания главных редакторов центральных литературных газет и журналов. Все это помогает еженедельнику «Ван нге» еще успешнее выполнять возложенные на него задачи, лучше служить своему народу, Родине, служить своей национальной литературе и искусству и способствовать пропаганде новых достижений мирового социализма, социалистических литератур и культур.

Нгуен Ван Бонг

Март 1983 г.

КИНО, ИСКУССТВО ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ, ПОЛИТИКА

Давно ушли с молотка алые туфельки Джуди Гарланд. Та же участь постигла и великолепно скроенный мундир красавца Кларка Гейбла. Впрочем, все то, что сегодня по традиции называют Голливудом, давно уже не принадлежит студиям. Ярмарка тщеславия и грез раскуплена мегабизнесом США. Американский кинематограф — в руках отнюдь не культуртрегерских компаний, монополий, банков, транснациональных корпораций и синдикатов. И причина тому более чем простая: кино сегодня — большие деньги.

Весьма показательным в этом отношении был 1982 американский киногод. Суммируя его результаты (конечно же, не по творческим, а по кассовым параметрам), журнал «Тайм» поспешил оповестить своих читателей, что это был «год скачка».

«В 1982 году было больше фильмов, которые публика хотела увидеть». И отсюда далеко идущий вывод-обобщение: «На кино не влияют ни спад, ни депрессия, ни инфляция».

12 миллионов безработных (при Картере их было 7 миллионов) — итог двухлетнего пребывания новой администрации США в Белом доме, триллионные расходы на вооружение породили в стране синдром неуверенности в завтрашнем дне. И кино, отвечая на заказ буржуазной пропаганды со свойственной массовой культуре быстротой реакции, уводит зрителя от конкретных проблем больного общества в мир сказки, мир детства. В свою очередь стремление к эстетизации быта, простых человеческих чувств и отношений в еще большей степени усилило отмеченный американскими социологами в 70-х годах феномен самолюбования и нарциссизма. Все эти тенденции нашли свое выражение в таких фильмах, как «Крамер против Крамера», «На золотом озере», «Женщина французского лейтенанта», в бесконечных продолжениях «Супермена», «Войны звезд» и в других инопланетных одиссеях великого мифотворца — американского кинематографа.

Итак, всеобщей панацеей от всех бед в тяжелые времена объявляется бегство от действительности, эскапизм. Это подтвердил и бывший помощник президента Джонсона, а ныне президент Американской киноэкспортной ассоциации Джек Валенти:

«В беспокойное время люди ходят в кино, чтобы ненадолго забыть о своих тревогах. В эскапистском искусстве нет ничего плохого».

Если исходить из позиции Дж. Валенти, известного своими правыми взглядами, в эскапистском кино и в самом деле ничего нет плохого: оно является наглядным воплощением того, как идеологические и политические установки реализуются в буржуазной культуре.

В списке 50 самых кассовых фильмов 1982 года, еженедельно публикуемом журналом «Верайети», что служит рекламным целям, одно из ведущих мест занимает третья серия «Рокки». «Рокки-III» собрал 119 миллионов долларов. Сериалы — вполне апробированный прием американского кинематографа. Коммерческий успех оригинала — своего рода реклама и гарантия его продолжению. Так появился «Крестный отец-II». За «Смешной девчонкой» с Барброй Стрейзанд последовала «Смешная леди». Потом «Французский связной-II», «Челюсти-II», «Изгоняющий дьявола-II» и т. д. Из 110 новых фильмов, которые появятся на американском кинорынке в 1983 году, 17 будут продолжением лент, некогда пользовавшихся коммерческим успехом.

«Американский зритель,— отмечает журнал «Тайм»,— с готовностью тратит деньги лишь на то, что ему хорошо известно».

В этом приеме нет ничего нового — он унаследован от довоенного Голливуда. Ведь фильмы с Гретой Гарбо, Джин Харлоу, Хэмфри Богартом были в известном смысле продолжениями самих себя.

Значительный успех выпал на долю фильма «На золотом озере» (собрал 120 миллионов долларов). Нам видятся по крайней мере две причины этого успеха. Во-первых, на ведущих ролях в фильме заняты три выдающихся актера — Кэтрин Хэпберн, Генри Фонда и Джейн Фонда. Их филигранная игра придает в целом камерной ленте утонченность, гуманность и внутреннее благородство. Во-вторых, по духу своему фильм очень точно перекликался с умонастроениями американцев конца 70-х — начала 80-х годов, когда, как писал известный историк и публицист Кристофер Лэш в своей книге «Культура нарциссизма», после политической сумятицы постуотергейтского, постьветнамского периодов,

«...потеряв надежду каким-либо реальным способом улучшить свою жизнь, американцы обратились к психологии самоулучшения, к анализу собственных чувств... к потреблению здоровой пищи, к бегу трусцой»...

Будучи не в состоянии найти общий язык с детьми, Америка старшего поколе-

ния устанавливает контакт с внуками. Через них отцы обретают детей, а дети отцов. Таков социальный вывод, который делают авторы фильма, подводя итог конфликту отцов и детей 60—70-х годов.

Несомненным «чемпионом» кассовых сборов, побившим даже «Войны звезд», этот боевик всех времен, стал очередной фильм на космические темы «И. Т.— Инопланетянин» Стивена Спилберга, собравший к 1983 году почти 350 миллионов долларов. Феномен успеха фильма и личность его режиссера, на наш взгляд, заслуживают более подробного разговора.

...Однажды ранней весной в звездную ночь на землю опускается космический корабль с инопланетянами, прибывшими для изучения земной флоры. К месту посадки устремляются грозные машины с полицией и представителями секретных служб, чтобы задержать «вражеский» корабль. Инопланетяне вынуждены покинуть Землю, не успев забрать с собой одного из членов своего экипажа. Он-то и подружится с мальчиком Эллиотом, его сестренкой и братишкой. Но в добрый мир детской дружбы врывается другой мир, мир ни во что не верящих «злых взрослых». Они наконец ловят Инопланетянина, разрушают сказочный мир детства. Но, конечно же, Инопланетянин с помощью своих новых друзей успевает «позвонить» домой на планету, отстоящую от Земли на 3 миллиона световых лет; на выручку прибывает корабль. Спасенный детьми Инопланетянин прощается с ними, унося с собой горшок с цветком. «Я всегда буду с вами»,— говорит он детям... И на глазах кинозрителя появляются слезы.

Так, что же это — коммерчески беспроигрышная мелодрама? Сказка для взрослых о рае, из которого все они были изгнаны и который назывался детством? Притча о том, что раздираемый подозрениями мир может спасти только искренность, любовь и взаимное доверие? На все эти вопросы можно ответить «да» при условии, что к этому прибавится холодный расчет режиссера и знание законов американского кинорынка. Рекордные кассовые сборы — не новость для С. Спилберга. 34-летнему режиссеру принадлежат такие откровенные киноподелки, как «Челюсти», «Контакты третьего рода», «1941». На американском киногоризонте он появился одновременно с такими звездами первой величины, как Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола, Скорсезе.

Если «Инопланетянин» был самым кассовым фильмом, то самым большим провалом стал фильм Фрэнсиса Копполы «От всего сердца». Его «Крестный отец-II» был одной из лучших лент прошлого десятилетия, а «Апокалипсис» — одной из самых серьезных попыток создать антивоенный фильм в стране, охваченной милитаристским угаром.

«Мне хотелось сделать фильм без выстрелов и солдат. Снять красивый фильм, простой, про любовь, про то, о чем мечтают обычные молодые люди».

Но главным образом Копполе, видимо, хотелось утвердить себя и в жанре откровенно развлекательных фильмов, показать, что ему все по плечу в не меньшей мере, чем Лукасу и Спилбергу. И он погнался за рекордом, тем более что коммерческий рекорд ему был очень нужен. Ставка была сделана на новейшие технические средства, сосредоточенные в его студии «Зоэтроп» в Лос-Анджелесе, которую он вынужден был заложить, чтобы добыть необходимые для съемки 26 миллионов долларов.

«В фильме немало от сердца, но, к сожалению, мало для ума»,—

отметил в своей рецензии, опубликованной в канадском журнале «Маклинз», рецензент Лоренс О'Тул.

Если всерьез говорить о новом фильме Копполы, то единственное, что следует отметить,— это фейерверк технических находок. Что касается его содержания, то оно, как нам показалось, нарочито банально и искусственно. Рухнул карточный домик «американской мечты» героев фильма Фрэнчи и Хэнка, который они пытались построить в городе-притоне Лас-Вегасе. Не оправдала себя и ставка Копполы реализовать свою мечту: снять банк в тотализаторе индустрии массовой культуры. И дело здесь, вероятно, не столько в творческом просчете режиссера, сколько в тенденции буржуазной культуры нивелировать таланты, вне зависимости от их величины и яркости.

Желтая пресса не без ехидства сообщила о фиаско, постигшем мастера социально-критического фильма в его мезальянсе по расчету с откровенно коммерческим кинематографом. Магнаты индустрии ликовали:

«Независимый режиссер в долгах? Значит, уже не независимый».

Но, видимо, неудача, постигшая Копполу, не сломила его. В интервью, которое он дал журналу «ЮС ньюс энд уорлд рипорт», режиссер сказал:

«Американская культура сегодня создается не людьми творчества. Она под контролем циничных адвокатов и агентов, рвущихся к власти и богатству, а настоящий капитал получают корпорации... Сегодня Америка живет как в тумане, и мы обязаны включить фары. Этими ее фарами могут стать те, кто в своей деятельности полагается на творческую интуицию,— художники».

Не будем упрощать проблем, стоящих сегодня перед художником в буржуазном обществе. В индустрии «масскульта» сегодня заняты талантливые мастера, создающие свои произведения при помощи утонченных приемов и изощренной техники. Произведения эти — нередко результат усилий огромного числа художников, инженеров, специалистов по рекламе, одаренность которых не вызывает сомнений.

«За всю историю человечества,— сказал генеральный секретарь КП США Гэс Холл,— никогда не существовало такого правящего класса, как класс американских капиталистов, который бы более глубоко и серьезно осознавал значение культуры как средства борьбы. Он утверждает себя не вполне обычным путем: он правит железной рукой, полной золота».

Пример тому — «Инопланетянин». 300 миллионов долларов, которые принес сам

фильм,— лишь капля в бушующем море коммерческого шабаша, который разыгрался вокруг фильма. Вот лишь некоторые данные: по фильму сделана книга, явление весьма распространенное в книгоиздательском деле США последнего времени. Уже продан миллион экземпляров в твердой обложке по 6 долларов 95 центов за штуку, 3 миллиона экземпляров в мягкой обложке по 2.95. На нее проданы права иностранным издательствам. За право использовать образ Инопланетянина в виде кукол, на майках, коробках для завтраков школьников, на фантиках, переводных картинках, наклейках получен 1 миллиард долларов. Известный певец Нил Даймонд записал диск с песней о «сердце, светящемся добром», как у Инопланетянина, мгновенно ставшей шлягером. В суды поступили первые дела, возбужденные против «бутлеггеров» — предпринимателей, использовавших образ Инопланетянина на своих товарах без приобретения на то лицензии. Этот список можно было бы еще долго продолжать.

Искусство? Да. Искусство делать деньги.

Однако было бы серьезной ошибкой полагать, что массовая культура, и в первую очередь Голливуд,— это только «фабрика грез», обслуживающая сферу развлечений американцев. Кино США, вопреки широковещательным утверждениям о его аполитичности, всегда было связано с политикой. Американский кинематограф использовался и используется как инструмент экономической экспансии, нещадно подавляющей не только национальные кинематографы развивающихся, но и других капиталистических стран. Он широко используется как новоявленный троянский конь, функция которого — экспорт так называемого американского образа жизни, а нередко и антисоветизма, антикоммунизма. Не стали исключением из этого правила и 80-е годы.

Так, на гребне пропагандистской кампании администрации Рейгана в унисон с баснями о «советском военном превосходстве» на экраны Америки выходит фильм «Огненная лиса», который даже враждебный всему советскому журнал «Комментари» вынужден признать «самым решительно антисоветским фильмом.., хотя и плохим».

Пока «миролюбивая» Америка пребывает в безмятежном сне, утверждает фильм, «коварные Советы» изобретают неуловимый, непеленгуемый сверхсверхзвуковой бомбардировщик. И, конечно же, заменивший Джона Уэйна в роли стопроцентного американца Клинт Иствуд должен его выкрасть. А советские государственные деятели, устами которых наш народ внес за последние годы более ста миролюбивых инициатив, заявляют мало информированному и мало читающему кинозрителю США: «Теперь американцы поплатятся за свою мягкость!» На этот опасный бред кто-то стоящий за спиной студии «Уорнер бразерс» тратит миллионы долларов, которые могли бы найти куда более благородное применение, будь они использованы для улучшения бедственного положения американских школ, больниц, жизненных условий сотен тысяч людей пенсионного возраста.

Увы, «Огненная лиса» — не исключение. Следом за ним появляется антисоветский боевик «Парк Горького» — экранизация одноименного романа Мартина Круза Смита. О нем уже писала наша пресса. А в феврале 1983-го «Эй-Би-Си моушн пикчерс» выпустила на телеэкраны боевик «Ветры войны» — 18-часовой сериал, обошедшийся в 40 миллионов долларов. 7 дней телестудия промывала американцам (затем фильм был показан и в других странах) мозги, подсунув откровенную фальшивку, извращающую историю кануна вступления США во вторую мировую войну, снятую по роману одного из поставщиков чтива Германа Вука. Вокруг показа была раздута бешеная рекламная кампания. Стоимость 30 секунд рекламы во время демонстрации фильма достигала 175 тысяч долларов. Так, за счет культуры осуществляется слияние интересов бизнеса и реакционной политики.

Примитивность и явная тенденциозность всех этих киноподелок, направленных на то, чтобы распалить в стране шовинистические страсти, рассчитаны на самого неискушенного зрителя.

Но, судя по всему, джингоистов от культуры это не останавливает. Появляются все новые ленты и книги, создаются специальные комиссии по обработке общественного мнения при самом президенте страны. Еще английский историк Дж. А. Гобсон в своей книге «Империализм» предложил следующее классическое определение джингоиста, которое выписал В. И. Ленин, сопроводив его одобрительными пометками:

«*Джингоист* весь поглощен риском и слепой яростью борьбы... Вполне очевидно, что зрительное сладострастие джингоизма является *весьма серьезным фактором империализма.* Фальшивое драматизирование как войны, так и *всей политики империалистской экспансии* в целях возбуждения этой страсти в среде широких масс занимает немалое место в искусстве *истинных организаторов* империалистских подвигов— маленьких *групп дельцов и политических деятелей, которые знают, чего хотят и как этого добиться*»[1].

Это определение остается неопровержимым и сегодня.

Вместе с тем было бы неверно представлять дело так, будто поле идеологического боя в США полностью захвачено реакцией. Слишком сильны в народе демократические настроения, уходящие корнями в традиции американской революции, Гражданской войны, антифашизма, антимилитаризма. И, конечно же, их проявления очевидны и в произведениях современной культуры, и в частности в кино. К их числу относится и новый американский фильм, снятый в США греческим режиссером Коста-Гаврасом «Пропавший без вести», приведший в ярость госдепартамент США. Госдепартаментом было даже выпущено специальное заявление, где делалась попытка если не опровергнуть, то, во всяком случае, бросить тень сомнения на события, о которых рассказывается в киноленте.

Картина раскрывает роль США в фашистском перевороте в Чили в 1973 году. В ее основе — повесть Томаса Хаузера «Казнь Чарльза Хормана», написанная по мате-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 28, с. 399.

риалам, собранным отцом погибшего и автором книги.

В 1972 году талантливый молодой журналист и кинодокументалист Чарльз Хорман приехал в Сантьяго, чтобы создать произведение о социальном переустройстве в Чили. В первые дни путча в руки Хормана попали сведения о причастности спецслужб США к трагическим событиям в стране. Вскоре Хорман исчезает.

Фильм Коста-Гавраса показывает, что американским дипломатам было известно об убийстве Чарльза, и даже не исключает, что оно было совершено с одобрения американских официальных лиц.

«Официальный Вашингтон в отчаянии,— сказал корреспонденту «Тайм» отец Хормана.— Если подлинная история когда-нибудь станет известной, ее последствия будут не менее серьезными, чем Уотергейт».

Изображенный в фильме посол США в Чили Н. Дэвис угрожал подать в суд на режиссера и студию «Юниверсал» «за диффамацию». Но Хорману-старшему удалось получить копию телеграммы, направленной послом Дэвисом государственному секретарю США Генри Киссинджеру, в которой сообщается об аресте Чарльза.

Центральным событием кино Америки последних двух лет, несомненно, стал фильм режиссера Уоррена Битти «Красные», посвященный жизни выдающегося американца Джона Рида, автора всемирно известной книги «Десять дней, которые потрясли мир».

В Соединенных Штатах, опутанных сетями антикоммунистической пропаганды, появление фильма о революционере, об Октябрьской революции произвело огромное впечатление. В стране не было ни единого крупного общественно-политического журнала, который бы прошел мимо этого серьезного события в американской культуре, тем более что фильм явился несомненным художественным достижением его создателей. Успеху фильма способствовало и то, что в нем снимались такие замечательные киноактеры, как Джек Никольсон, Джин Хэкман, Дайэн Киттон. Роль Джона Рида взял на себя продюсер, режиссер и сценарист фильма Уоррен Битти.

«Красные» — самый популярный фильм у критики»,— отмечал еженедельник «Верайэти».

«Киноассоциация Америки выдвигает «Красных» на 12 Оскаров»,— извещали калифорнийские газеты.

«Первый фильм за 35 миллионов долларов, рассчитанный на мыслящих людей. Три с половиной часа хорошо скроенного, отлично отснятого, красивого, смелого повествования об очевидце Октябрьской революции Джоне Риде, человеке, практически неизвестном современной попкультуре»,— писал канадский журнал «Маклинз».

Сравнивая «Красных» с другим фильмом, пользующимся ностальгической популярностью у так называемого среднего американца,— с «Унесенными ветром», Р. Гренье в злобной антикоммунистической рецензии на страницах журнала «Комментари» вынужден подтвердить неосведомленность современного американского, особенно молодого, зрителя во всем, что касается борьбы народа за свою свободу и, уж конечно, за социализм.

«Если американцы,— писал он,— и знают что-нибудь сегодня о Гражданской войне в США, то лишь один из тысячи, и то очень сомнительно, слышал о Смольном институте».

Озабоченность буржуазной пропаганды успехом фильма в США понятна. С экранов кинотеатров страны с трудовой Америкой заговорил обаятельный, мужественный молодой человек. коммунист, посвятивший свою 33-летнюю жизнь, всю до последнего вздоха, делу рабочего класса. Все, о чем он рассказывает, не утратило своей актуальности и сегодня.

...Вернувшегося из Европы, охваченной пожаром первой мировой войны, Джона Рида спрашивают на митинге в Портленде, в чем суть той бойни, в которую хотят втянуть Америку. «В прибылях»,— лаконично отвечает Рид.

...Выступая на конгрессе народов Востока в Баку, он призывает не доверять американским капиталистам. «Они,— говорит Рид,— ничуть не отличаются от капиталистов других стран, чью империалистическую политику народы Востока уже испытали на себе... Есть только один ориентир на пути к свободе — красная звезда коммунистического Интернационала».

Подобные высказывания не могли прийтись по вкусу правящему классу США. Не случайно поэтому попытки нивелировать гражданское звучание фильма, свести его к любовной мелодраме, к рассказу об утраченных идеалах. «Красные» — это фильм о многом. Это и история трудной любви двух сильных личностей. Это история борьбы рабочего класса США и становления антивсенного, антиимпериалистического движения. Это биография революционера, который шел к пониманию процессов, формирующих историю, через романтический экстремизм к единственно верной цели — служению классу угнетенных против класса угнетателей.

«Красные» — фильм не только о прошлом. Это фильм о молодых, но и для молодых. В какой-то мере он подытоживает события, которые волновали зеленую поросль Америки 60-х годов XX столетия: контркультура (а раньше говорили о богеме), сексуальная революция (в начале века речь шла о свободной любви), экстремизм (читай — анархизм), новая журналистика (маккрекерство), женское освободительное движение феминизм),— и что же, все эти искания, споры, схватки были тщетными? Нет, отвечает фильм, все это было не зря. Уже на темнеющем экране слышен голос одного из тех свидетелей, кто знал Джека Рида: «Впереди замечательные события, ради которых стоит жить и стоит умирать. Сам Джек так говорил». В этих заключительных словах — квинтэссенция фильма, его оптимистический пафос.

«В наше время мы запрещали таким актерам, как Кларк Гейбл, делать поли-

тические заявления. Ведь если такой, как он, что-то говорил, ему верили,— сказал недавно корреспонденту «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» один из ушедших на покой продюсеров студии «Юниверсал».— Вы вот не помните, а я помню, как в 1933 году Гейбл снял рубашку в фильме «Это случилось однажды ночью» и оказался без майки, чем разорил целую индустрию, специализировавшуюся на мужском белье».

С тех пор утекло много воды, предприниматели научились пользоваться «имиджем» кумиров зрителей для своих коммерческих целей. Но появились актеры, режиссеры, кинодеятели, осознавшие, что не имеют права молчать перед лицом возможности повторения «времени негодяев». Среди них Марлон Брандо, Пол Ньюмен, Ширли Маклейн, Ванесса Рэдгрэйв, Роберт Редфорд, Джейн Фонда, Лиллиан Хеллман. Среди них сегодня и Уоррен Битти.

Минула первая четверть нового десятилетия. Трудно пока сказать, какие тенденции в нем станут преобладающими. Те, кто еще год назад спешил заявить, что в киноискусстве США наметился отход от острых политических проблем, явно ошиблись. Интересы большого бизнеса, как всегда, совпадают с интересами буржуазной пропаганды. Молодые люди от 12 до 24 лет — именно та мишень, на которую наведены оптические прицелы «промывателей мозгов». Это для них будут создаваться ленты, прославляющие «корпус быстрого реагирования», их будут убеждать в том, что третья мировая война уже началась.

Впрочем, очевидной стала и иная тенденция: чем громче Вашингтон убеждал рядового налогоплательщика в неизбежности ограниченной ядерной войны, там далеко за океаном, в Европе, тем больше этот налогоплательщик политизировался; чем больше его миллиардов отпускали на спасение человечества от «угрозы Москвы», тем активней он стал участвовать в демонстрациях против гонки вооружения. Ибо, как пел в былые времена известный американский куплетист, профессор математики Том Лерер: «Если бомба упадет на тебя, она прихватит и меня: некому тогда нас будет хоронить». Это начинает понимать даже американский обыватель. Явления, о которых здесь шла речь, конечно же, неоднородны. Они свидетельствуют о противоречивости тенденций, обнаруживающих себя в современном американском кино как части индустрии культуры США, в которой противоборствуют две культуры — буржуазная и демократическая.

Т. ГОЛЕНПОЛЬСКИЙ

РОМАН О ВОЙНЕ БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.

Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили ему это, и позаботился бы о том, чтобы все было сделано по возможности гуманно и прилично...» —

писал Эрнест Хемингуэй в предисловии к роману «Прощай, оружие!». Автор книги, о которой пойдет речь в этой статье, никогда не высказывался столь категорично, однако, будь жив Хемингуэй, оба они были бы сегодня в одном лагере, лагере борцов за мир, против угрозы войны.

«На учениях мы отрабатывали ядерную атаку. Самого опытного из врачей поставили у входа сортировать пострадавших. Главное — было выявить тех, кому понадобится лечение. Остальных направляли в другую сторону: им нужно было помочь поскорее умереть. Каждому потом впрыскивали летальную дозу морфия. Учения представили мне войну во всей ее отвратительности, всей ее мерзости... С тех пор я знаю, что самое страшное на свете — это ядерная война».

Так вспоминает о прохождении службы в армии врач по образованию, шведский писатель Пер Кристиан Йершильд.

Имя Пера Кристиана Йершильда пока незнакомо советским читателям, а в Швеции оно очень популярно. Популярно прежде всего потому, что писателя интересуют самые животрепещущие проблемы. В этом легко убедиться, раскрыв любой из его последних романов: «Детский остров» (1976) посвящен неприкаянности подростка в сегодняшней Швеции; «Вавилонский дом» (1978) — одиночеству пожилых людей (и, конечно, проблеме медицинского обслуживания, поскольку действие происходит в ультрасовременной больнице); в «Живой душе» (1980) писатель создает очеловеченный образ «живой души» — мозга, который сохраняют в питательной среде и с помощью манипулирования по последнему слову науки лишают эмоций, оставляя только способность мыслить. И, наконец, самый недавний из романов, выпущенный в 1982 году,— роман-предостережение «После потопа». Можно сказать, что эта книга — предостережение тем, «кто наживается на войне и способствует ее разжиганию», тем, кто живет по принципу «после нас — хоть потоп», но это одновременно и предостережение всему человечеству: что нас ждет, если...

Йершильд дал себе труд задуматься о том, что будет «после потопа», и здесь слово «потоп» воспринимается и в буквальном смысле, в смысле страшного наводнения, последовавшего за ядерной катастрофой.

В послесловии к роману Йершильд признается, что «почти сразу вынужден был отказаться от попыток описать саму ка-

тастрофу». Это не случайно. Человеческий разум восстает против того, чтобы в подробностях вообразить светопреставление, если он с трудом заставляет себя поверить свидетельствам очевидцев, переживших не глобальную катастрофу, а Хиросиму,—например, тем, что приводятся в книге Кэндзабуро Оэ «Заметки из Хиросимы», вышедшей в Японии и известной в Швеции:

«Очнувшись, я увидел, что мои друзья все еще стоят в позе приветствия.— Что это с вами? — спросил я и хлопнул их по плечу: оба рассыпались в прах».

Или:

«Лица их опухли и посерели, волосы стояли дыбом. Воздев руки к небу, они с беззвучными стенаниями один за другим прыгали в реку».

Будучи ученым, Йершильд изучил гору литературы по интересующей его проблеме. Он делает это всегда, когда работает над новой книгой — только не прежде, чем начнет, а после первого варианта, в противном случае «это сковывает его воображение». Из многочисленных теорий, пытающихся предсказать последствия ядерной войны, он выбрал для своего романа нечто среднее: он не согласен с учеными, которые склонны приуменьшать эти последствия, указывая на пример Хиросимы и Нагасаки — двух городов, выживших в атомной бомбардировке, однако он не хотел бы впасть и в другую крайность — представить себе мгновенную гибель всего человечества («Тогда получилась бы книга о тараканах»,— замечает он, поскольку именно насекомые быстрее всех приспосабливаются к новым условиям). Он выбрал для показа время, когда самое страшное уже позади (с момента катастрофы прошло более тридцати лет), и изображает жизнь трех-четырех десятков представителей человеческого рода, разбросанных по территории острова в Балтийском море. острова, похожего на Готланд, где Йершильд проводит лето и пишет свои романы.

Но если самое страшное позади, это не значит, что нарисованная им картина не страшна. И страшно в ней не опустошение, царящее вокруг. не беззубые рты, не лысые головы, не странный цвет лиц («бледно-розовый, бледно-голубой, бледно-желтый, бледно-огненный») — страшнее всего сами люди... и полная утрата цивилизации.

Главный герой романа — тридцатитрехлетний Эдвин, родившийся в бомбоубежище в год, когда разразилась катастрофа. Мать его умерла при родах, отец — шесть лет спустя. До шести лет мальчик так и прожил в бомбоубежище. Он не любит рассказывать о тех временах:

«К чему вспоминать о холоде, голоде, темноте, сырости, болезнях... и о том, что кого-то съели. чтобы не умереть с голоду остальным? Папа думал, я не догадываюсь, что он приносит поесть».

После смерти отца Эдвин вынужден сам заботиться о себе, и оказывается, что первые годы были далеко не самыми трудными. В мире ожесточившихся взрослых нет места слабому, нет места человеку, который ничего не может предложить другим. «Что ты умеешь?» — спрашивают у Эдвина везде, куда он попадает. Капитана ценят за то, что он единственный на корабле знает навигацию, врача — за то, что к нему всегда можно обратиться за советом: реальной помощи он оказать почти не может, поскольку у него нет ни лекарств, ни инструментов, да и знания свои он почерпнул в основном из немногих чудом уцелевших учебников — тех, что не успели сжечь (книги горят плохо, но за неимением лучшего топлива пошли в ход и они). Жизнь остальных, не таких «ценных» людей не стоит и гроша. Убить человека, чтобы освободить место для себя, почитается едва ли не делом чести.

Поражает наивное неверие Эдвина в то, что когда-то мир был устроен по-иному. Как это: нельзя воровать? «Кто же может прожить без воровства?» Или прожить, никого не убив? Отец рассказывал, как они в детстве играли. Кто «они»? Дети? А что, было много детей?! Сам Эдвин не встречал за свою жизнь ни ровесников, ни людей младше себя. Он вообще не видел больше двадцати—тридцати человек сразу.

Его зрительные представления об ушедшем мире в лучшем случае основываются на картинках, виденных в нескольких книгах.

Вместе с Эдвином читатель имеет возможность проследить, как в одиночку и группами пытаются выжить разные люди. Так, семидесятилетний Генри коротает свой век в полуразвалившейся хижине, сажая картошку и добывая для обмена золото на ближайшем кладбище. Трое людей на другом конце острова живут продажей соли, которую они выпаривают из морской воды. Группа «прокаженных» — которых врач не считает таковыми, но за которыми укрепилась эта слава, отпугивающая всех— также возделывает картофель и питается сушеными насекомыми.

Женщин на острове очень мало, и почти все они пожилые, верующие и живут отдельно — в здании бывшего монастыря.

Жизнь на острове абсолютно безысходна, поскольку не предусматривает продолжения человеческого рода. Младенцы, рождавшиеся в первые годы после войны, быстро умирали. К тому же считается, что все они были уродами. Страх перед последствиями, которые невозможно предусмотреть, приводит к появлению неписаного закона: не допускать рождения новых младенцев. Даже в самом «идеальном» из показанных в романе микрообществ — том, которое создается под руководством врача,— этот закон остается в силе, и все планы на будущее связаны лишь с обеспечением тихой, беззаботной старости тем, кто будет умирать последними.

Врач — человек достаточно жесткий и разочарованный, и в его уста в романе зачастую вкладываются очень горькие слова. Он, например, сожалеет, что человечество не покончило с собой сразу, одним ударом, поскольку оставшиеся его представители не в состоянии существовать

как общество, а если бы и были в состоянии, это, по его мнению, привело бы к тому же результату — новой катастрофе. Он же говорит:

«Человек думающий несчастнее того, кто лишь слепо трудится. Он переживает все заранее, прежде чем беда коснется его самого. И несет двойное наказание. Склони голову и работай, тогда тебе не придется умирать дважды!»

Однако сам врач не живет согласно этому совету, который он дает Эдвину. Более того, он как бы против своей воли способствует тому, чтобы из Эдвина тоже получился «человек думающий».

Пафос романа, таким образом, не в безысходности (хотя конец далеко не оптимистичен): в нем показан процесс «гуманизации» человека в нечеловеческих условиях.

Эдвин, не знавший другой жизни, поначалу не верит в добрые побуждения людей. С чего бы врачу делиться с ним своими знаниями, своим опытом? И какую плату он за это потребует? Эдвин не ожидает от людей ничего, кроме зла, и сам старается не отстать от них. Лишь постепенно пробуждается в нем способность мыслить, сопереживать, испытывать угрызения совести, брать на себя ответственность за другого.

У романа есть еще одна концовка, которую можно условно назвать экологической. Это «Сценарий второй», шесть страниц бесстрастного, чуть ли не научного текста, на которых рассказывается о десяти годах дальнейшей жизни острова: как на нем поселился народ, пришедший с севера на больших лодках, как он вытеснил и истребил остатки прежних жителей, как сам он погиб, зараженный неизвестной болезнью, которую принесли с собой расплодившиеся голуби, и как те были в свою очередь уничтожены нашествием крыс... В конечном счете изменения климата и новые болезни привели к тому, что на острове не осталось ничего живого.

Кое-кто из шведских читателей обвиняет Йершильда в излишнем пессимизме, однако это неправильно. Он верит в человека, верит в то хорошее, что в нем есть или может быть развито. Но Йершильд трезво смотрит на вещи. Об опасности ядерной войны он говорит так:

«Я не утверждаю, что она непременно будет. Но она может произойти — вот почему необходимо взвесить возможные последствия».

За последние годы в Швеции, как и во всей Скандинавии, как и во всем мире, активизировалась борьба за предотвращение ядерной войны. Марши мира, демонстрации и манифестации, выступления в школах и библиотеках, разъясняющие необходимость принятия срочных мер,— это лишь часть огромной работы, которая ведется в стране. Следует отметить, что активисты движения за мир придумывают все новые формы такой работы, стараясь самыми различными способами привлечь всеобщее внимание к проблеме. Это, например, единственная в своем роде пресс-конференция детей, посвященная вопросам войны, мира и права детей на будущее; это минута молчания во время демонстрации в Стокгольме в августе 1981 года, когда вслед за сигналом воздушной тревоги и звуком разорвавшейся бомбы все присутствовавшие на площади упали на землю, имитируя трагедию Хиросимы; это и «мост мира», который 24 октября 1982 года построили участники другой демонстрации, когда, взявшись за руки, соединили семикилометровым живым мостом два посольства в Стокгольме: советское и американское (советский посол в Швеции Б. Панкин вышел встречать участников демонстрации и принял от них манифест мира, в то время как американское посольство оказалось закрытым на выходной).

Пер Кристиан Йершильд является активным участником движения «Шведские врачи против ядерного оружия», а также одним из организаторов движения «Писатели против ядерного оружия».

«Предотвращение войны,— говорит он,— это политический вопрос... Обладая профессиональными знаниями и лучшим представлением о том, чем чревата война, врачи и другие специалисты обязаны донести до людей факты».

Йершильд не боится, что вместе со страхом его роман может внушить людям апатию, безразличие, заставить их примириться с войной как с неизбежностью. Возможно, он надеется, что книга окажется такой же «прививкой» против ядерной войны, как в свое время оказалось для него «прививкой» против религии вскрытие трупа в анатомическом театре: пятнадцатилетним подростком он специально пошел на вскрытие, чтобы убедиться, что у человека нет души, и доказывать это потом отцу и всей верующей общине.

Тема последнего романа волновала Йершильда уже много лет, однако интересно, что непосредственным толчком к написанию книги послужил советский фильм «Сталкер». Сейчас Йершильд работает над сценарием фильма по своему роману.

Писатель считает тему угрозы мировой ядерной войны самой актуальной сегодня, потому что он, врач и гуманист, слишком хорошо понимает, как дорого может обойтись человечеству молчание и бездействие, поскольку, по его же собственным словам,

«...в тотальной атомной войне нет победителей, есть только проигравшие».

Т. ДОБРОНИЦКАЯ

◆

Публицистика

В. МАЛЫШЕВ

КОГДА С ЦЕПИ СПУСКАЮТ ЧУДОВИЩ...

Очерком журналиста-международника В. Малышева «Когда с цепи спускают чудовищ...» мы продолжаем рассказ о подрывной деятельности современного масонства, начатый в мартовском номере нашего журнала статьей публициста Л. Замойского «Каменщики» империализма». В мире сейчас насчитывается около 14 миллионов членов масонских лож. Масонами были 33 президента США, в том числе Трумэн, Никсон, Форд, Картер; председатель правления могущественного «Чейз Манхэттен бэнк» Нельсон Рокфеллер, один из основателей ЦРУ Аллен Даллес также были масонами.

Во Франции только за период с 1871 по 1940 год в списках масонских лож числились президенты республики А. Тьер, Ж. Греви, С. Карно, Ф. Фор, П. Думер, премьер-министры Л. Гамбетта, Ж. Ферри, Ж. Симон и многие другие высокопоставленные политические деятели. В рядах общества «вольных каменщиков» состояли и Уинстон Черчилль, и покойный шах Ирана. Масонство процветало даже на Тайване, где ему покровительствовал сам Чан Кайши. Многие латиноамериканские диктаторы, в том числе Пиночет,— тоже масоны.

В течение ряда лет масоны управляли Либерией — африканским государством, имеющим самый большой в капиталистическом мире торговый флот. По свидетельству корреспондента агентства ЮПИ Барри Джеймса, это «правительство масонов» было «одним из самых продажных правительств в Африке». В масонской ложе, в красивом здании в Монровии, собирались большие боссы из правящей партии истинных вигов и вершили свои дела.

На Западе в масонские ложи входит практически весь цвет истеблишмента, высшие руководители НАТО и ЦРУ. Возникло своего рода «суперправительство», главная задача которого — защита интересов правящих классов. Масоны, таким образом, играют в современном мире роль тайного оружия империализма, выполняя «социальный заказ» международной реакции и монополистического капитала — не допустить роста авторитета демократических сил, осуществить давнюю мечту буржуазии о мировом господстве.

В статье Л. Замойского упор был сделан на историю, анализ процесса превращения организаций «вольных каменщиков» в тайные элитарные общества верхушки монополистического капитала.

В. Малышев, долгое время работавший в Италии корреспондентом ТАСС дает своего рода «панораму» их деятельности вплоть до наших дней, рассказывает о перипетиях разоблачения орудовавшей на Апеннинах тайной масонской ложи «П-2». Доказано, что именно масоны из «П-2» стоят за многими актами террора и политическими убийствами, совершенными в Италии за последние годы. Масоны создали на Апеннинах нечто вроде «теневого правительства», в которое входили многие видные политические деятели, генералы, руководители спецслужб, видные промышленники. Опираясь на ЦРУ и неофашистов, они готовились совершить правый переворот. Подрывные происки «каменщиков империализма» из «П-2» разоблачены, однако тайные масонские организации не разгромлены и продолжают плести паутину новых опасных заговоров.

Сейчас, когда на Западе развернута оголтелая кампания по обвинению социалистических стран в причастности к «международному терроризму», разоблачение подрывной деятельности террористических организаций, созданных под ширмой масонских лож, особенно актуально.

Масоны — религиозно-этическая организация, возникшая в XVIII веке. Ныне утратили свое значение...

(Из современного справочника)

Масонская ложа «П-2» является самым могущественным центром незримой власти в Италии.

(Из доклада итальянских служб безопасности)

Вступление

Весной площадь Испании благоухает, словно огромный букет. Широкая лестница, уступами поднимающаяся по склону холма к церкви «Тринита дей монти», снизу доверху покрыта цветущими азалиями. Такова традиция — в мае местные жители выносят из домов кадки с распускающимися цветами и ставят их на ступени лестницы. От этого все вокруг словно купается в красно-розовой пене миллиардов свежих лепестков.

На этой лестнице из белого травертина, занимающей чуть ли не половину площади, идет своя, особая жизнь. Греются на ступеньках туристы, подставив горячему весеннему солнцу бледные лица, дремлют возле мольбертов уличные художники, разложили на одеялах свой нехитрый товар — проволочные браслеты, дешевые кольца, бусы из стекляшек, плетеные ремешки для часов — мелкие торговцы. Тихо плещет вода в фонтане «баркачча», а со стороны церкви на вершине холма плывет колокольный звон — там замаливают свои и чужие грехи монахини из французского ордена Пресвятого сердца Иисуса.

Тонкий аромат азалий, увитые плющом уютные террасы, позеленевшие от старости черепичные крыши, черные фаэтоны, поджидающие у подножья лестницы туристов,— все здесь сохранилось таким, каким было много лет назад. Кажется, что время остановилось...

Но это впечатление обманчиво. Стоит спуститься по лестнице вниз — и оазиса тишины и покоя как не бывало. Снова попадаешь в наш тревожный и стремительный век: сердито рычит бесконечный поток автомобилей, несутся битком набитые зеленые автобусы фирмы АТАК с выхлопными трубами на крышах, из распахнутых дверей бара рвутся пульсирующие ритмы рока и хриплый вой модного певца Ренато Дзеро.

Обманчива тишина старинных улиц и площадей итальянской столицы. В любой момент она может взорваться трелями полицейских свистков, душераздирающим воем сирен, хлопками гранат со слезоточивым газом, топотом бегущей толпы лохматых юнцов, закрывающих лица шейными платками,— бесчинствующей банды экстремистов.

Рим — беспокойный город. Кипят митинги противоборствующих политических партий, демонстрируют рабочие и служащие, протестующие против увольнений и роста стоимости жизни, молодежь выходит на улицы с антивоенными плакатами, лозунгами против ядерной угрозы. Шумят провокаторы-«радикалы», требуя от правительства разрешения на... «свободное курение марихуаны», взрывают бомбы неофашисты, стреляют террористы из «красных бригад», сводит счеты со своими противниками мафия... Нет мира под оливами. Острый, напряженный характер носит борьба между силами демократии и прогресса и силами реакции, стремящимися любым путем сохранить буржуазные порядки, не допустить в стране сдвига влево. Все сильнее и влиятельнее становятся левые силы.

И даже по вечерам, когда город успокаивается, когда зажигаются витрины магазинов и яркие огни реклам, когда по улицам плывет неспешный говор гуляющей толпы, даже в эти часы вас не оставляет смутное ощущение того, что эта тишина и покой не надолго, что они — затишье перед бурей, что за стенами домов идет неслышная и потому еще более опасная работа тех, кто хотел бы взорвать эту тишину. Сил тайных, могучих, словно огромный паук опутавших всю страну липкой и густой паутиной.

Вот расположенная совсем рядом с площадью Испании сверкающая огнями виа Кондотти — улица самых дорогих в Риме магазинов и лавок. В самом ее начале — знаменитый ювелирный магазин «Булгари», где за пуленепробиваемыми стеклами разложены доступные только миллионерам золотые украшения. Вечерняя толпа лениво течет мимо, и никому не приходит в голову, что за наглухо закрытыми ставнями этого дома, в квартире над ювелирным магазином, происходят странные вещи. Ведь в этом доме помещалась штаб-квартира тайной масонской ложи «П-2». Той самой ложи, вокруг которой весной 1981 года вспыхнул и до сих пор продолжает бушевать на Апеннинах небывалый политический скандал.

В бурной истории послевоенной Италии этот скандал был самым крупным. И по числу замешанных в нем лиц, и по их весу в обществе, и по его последствиям. Под его ударами было вынуждено уйти в отставку правительство христианского демократа Арнальдо Форлани, именно этот скандал с небывалой еще остротой обнаружил самые отвратительные черты, гнилость и порочность всей системы власти, созданной буржуазным обществом, вскрыл новые факты грубого вмешательства США во внутренние дела Италии.

Что же происходило за наглухо закрытыми ставнями особняка на виа Кондотти? Почему, наконец, скандал вокруг итальянской ложи «П-2» вызвал такой оглушительный резонанс во всем мире?

Черное на черном

Дождливой осенью 1979 года я купил на книжном развале площади Эзедра новый роман Леонардо Шаши. Небольшой аккуратный томик издательства «Эйнауди». Толстый небритый продавец тщательно завернул книгу в оберточную бумагу и заклеил пакет клейкой лентой. Перепрыгивая через лужи, я вернулся в припаркованную неподалеку машину и, сорвав обертку, раскрыл книгу.

Помнится, ее начало поразило меня. «В этом году в сельской местности,— писал Шаша,— часто встречают чудовищ. Некий пастух, крестьянин и одна женщина видели нечто вроде огромной обезьяны-шимпанзе, очень черной и косматой. Обезьяна приближалась к ним, а потом убегала. Многие крестьяне видели «биддину» — водяную змею, которая, однако, прекрасно себя чувствует и на выжженной солнцем земле. Туловище этой змеи толщиной в руку, длина составляет два метра, а голова защищена крепким панцирем. Об этой легендарной твари много говорили еще в дни моего детства, но никто тогда ее не видел. Теперь же ее встречают многие. Кроме того, часто попадаются «гуиццине» — быстрые, как стрелы, и очень ядовитые морские гадюки. В результате какой-то дьявольской метаморфозы они рождаются в воде из волоса, выпавшего из конской гривы или хвоста... Мне кажется, что наступает эпоха чудовищ и призраков. Это неизбежно, ибо «сон разума порождает чудовищ...».

Смеркалось. Я захлопнул книгу, включил зажигание и поехал домой. То есть хотел поехать домой, а попал в «пробку». Возле виа Национале бурлил людской водоворот. Группа молодых людей, сбившись в кучу, агрессивно размахивала флагами. По надписям на кусках материи я понял, что это — громилы из левацкой группировки «аутономия операйя», или, как их называют, «автономисты». Некоторые из парней свернули флаги, превратив их в увесистые дубины. На мостовой чадно горели сваленные в кучу автопокрышки.

Выезд на виа Национале перегораживала цепь карабинеров в угольно-черной форме. Вместо фуражек на них были каски, а в руках большие щиты из пластика. Из люка стоящего тут же полицейского бронеавтомобиля торчала фигура в похожем на ватник пуленепробиваемом жилете и кастрюлеобразном шлеме с узкой прорезью для глаз. Откуда-то из живота у полицейского торчало длинное ружье с белым набалдашником на конце — граната со слезоточивым газом. В этой экипировке он походил на космического пришельца, спустившегося на грешную землю, чтобы установить на ней свои жестокие законы.

Спрятавшийся за цепью карабинеров офицер хрипло прокричал что-то в мегафон, башня бронеавтомобиля повернулась, «пришелец» направил пику в сторону демонстрантов. Оставляя белый шлейф, граната пролетела над кучкой «автономистов» и шлепнулась в толпу зевак на тротуаре, которая тут же окуталась клубами ядовитого дыма. Из толпы послышались крики. Несколько человек, прорвав цепь карабинеров, побежали, спасаясь от удушливого газа. За ними, гремя щитами, бросились карабинеры.

На мгновение я увидел их совсем близко. Разгоряченные, искаженные яростью молодые лица, разинутые в крике рты. Они пытались достать бегущих толстыми резиновыми дубинками. Кто-то из бежавших споткнулся и упал лицом на асфальт. Тотчас вокруг завертелся водоворот черных паучьих мундиров, замелькали дубинки, послышались глухие удары. Из толпы леваков треснуло несколько револьверных выстрелов. Цепь полиции смешалась, освобождая улицу. В образовавшуюся прореху устремились застрявшие автомобили...

Шаша назвал свою книгу «Черное на черном» и сам расшифровал название: «Это очень итальянская книга. Она написана черными чернилами на черной странице нашей действительности». Окружающее кажется автору настолько мрачным, что коллективная воля людей, человеческий разум оказываются, как думает Шаша, парализованными. Пользуясь этим, из своих темных нор выползают страшные свирепые чудовища. Эти чудовища — аллегория современной итальянской жизни с ее деградацией быта, распадом социальных, общественных отношений, моральных устоев, разъедаемых страшной язвой терроризма, еще более страшной, чем летучие мыши с человеческими головами на офортах Гойи.

Впрочем, я не собираюсь повествовать далее ни о новой книге Шаши, ни о том, как события реальной жизни преломились в современной итальянской литературе. У меня другая задача. Мой рассказ — о чудовищах. Вернее, об одном из монстров черного террора, которого мрачные силы реакции выпустили на улицы итальянских городов.

В книге историка-коммуниста Мауро Галлени «Доклад о терроризме» приводится поражающая воображение цифра: с 1969 по 1980 год на Апеннинах было совершено более 12 тысяч террористических актов, в результате которых было убито около 400 человек и более 4,5 тысячи ранено. Дело дошло до того, что итальянцы исчисляют свою историю за последние 13 лет по наиболее громким террористическим актам. 1969 год — год взрыва бомбы в сельскохозяйственном банке Милана, 1974 год — год взрыва пассажирского экспресса «Италикус» и бойни на площади Лоджа в Брешии, 1980 год — год взрыва железнодорожного вокзала в Болонье и т. д.

О причинах «террористического бума» на Апеннинах, да и в других странах Запада, писали много. Он был вызван общим обострением кризиса капиталистической системы, что привело к резкому ухудшению положения всех слоев населения и особенно молодежи. «Но кризис общества,— как вполне справед-

ливо пишет М. Галлени,— сам по себе не является «фабрикой терроризма». Он способствует ему, поскольку приводит к потере ориентиров, порождает неверие в демократическую борьбу масс, ведет к отчаянию, способствует возникновению корпоративных тенденций, которые часто находят выражение в бунтарских выходках. Терроризм... рождается и действует «внутри» кризиса, но его «мотор» находится за его пределами, кризис стараются обострить и использовать для подрыва демократической системы».

Не случайно терроризм круто пошел вверх в 70-х годах. Именно в те годы в Италии наметилось общее полевение, подъем рабочего и молодежного движения, обсуждался вопрос об объединении трех крупнейших профсоюзных конфедераций. Именно в этот момент была запущена в ход «стратегия напряженности» — взрывы бомб, политические убийства, поджоги, бандитские налеты на помещения демократических партий. Цель этой стратегии состояла в том, чтобы до смерти напугать мелкую и среднюю буржуазию, подорвать республиканские институты, создать в стране обстановку хаоса и насилия и добиться таким образом прихода к власти «сильного правительства» правой ориентации.

Мне довелось жить в Риме с 1973 по 1980 год и быть невольным свидетелем постепенного развертывания в стране «стратегии напряженности». Как это было? Стычки молодежи с полицией вроде той, что была на площади Эзедра, гулкие взрывы бомб в ночной тишине, едкие облака слезоточивого газа, выползающие из узких переулков, дерзкие надписи «красных бригад» на стенах древних палаццо, телевизионные передачи, заполненные репортажами о похоронах жертв терроризма... Однажды вечером позвонили в отделение ТАССа, где я работал. Хриплый незнакомый голос предупредил: «Здесь «красные бригады». Мы заложили у вас бомбу, через 24 часа она взорвется». Вызванные полицейские долго искали взрывчатку, но ничего не нашли.

В другой раз по телефону уже никто не звонил. Бомбу взорвали во дворе без предупреждения. От стены соседнего дома откололся большой кусок штукатурки, вылетели стекла, треснула прочная входная дверь из литого стекла. Никто не пострадал, но кто-то из соседей испугался и переехал в другое место, родители перестали выпускать вечерами детей гулять во двор, несмотря на то что там постоянно дежурил Фернандо — молчаливый портье из южан.

Многое в Риме менялось под жутким прессом террора. Полицейские стали носить пуленепробиваемые жилеты, вместо винтовок образца первой мировой войны им выдали автоматы. Около здания парламента установили бронированные башни с амбразурами для пулеметов.

«Римляне меняют образ жизни»,— писал еженедельник «Эпока», публикуя фотографии вооруженных до зубов полицейских и опустевших по вечерам улиц. Заметно поредела вечерняя толпа даже там, где плюют на политику и думают только об удовольствиях,— на виа Венето, цитадели «сладкой жизни». Завсегдатаи модного «Кафе де Пари» перебрались за надежные двери частных клубов, оборудованных в подвалах ночных баров. «Вроде бы не атомная война, а мы уже забрались в бункер»,— иронизировала в те дни одна из римских газет.

Поначалу я снимал квартиру довольно далеко от римского отделения ТАССа, в районе вокзала Тибуртино. Жутко было, надо признаться, возвращаться домой после вечерней смены. Оживленная днем виале делле Провинче, по которой надо было пройти, с наступлением темноты превращалась в каменную пустыню. Накрепко заперты дубовые двери парадных, стекла витрин и окна первых этажей наглухо закрыты металлическими жалюзи, а звуки шагов слышно за квартал. 9 часов вечера, а вокруг — ни одной живой души! Все спрятались по домам или несутся мимо на автомобилях, которые, сколько ни кричи, никогда не остановятся.

Вот открытые двери бара — хозяин обязан держать их открытыми до 11 часов вечера, иначе лицензию отберут,— но и там пусто, голо, неуютно. Блестит никель стойки, за которой мертвенно-бледное — то ли от страха, то ли от света люминесцентных ламп — лицо хозяина. Кое-где на втором этаже открытые окна — там уже безопасно — светятся голубым светом включенного телевизора. Работа — телевизор — сон. Сон — работа — телевизор. И так каждый день...

Когда выпущенный на улицы монстр терроризма разгуливает по городу, людям в нем нет места. В центре, правда, полно иностранных туристов, которые наивно полагают, что происходящие в Италии события их не касаются. Кое-кто из них впоследствии жестоко поплатился за свою беспечность. Под развалинами взорванного неофашистами вокзала в Болонье погибло и было изувечено немало приехавших в Италию на каникулы иностранцев. Немало беспечных путешественников сгорело и в экспрессе «Италикус».

Помнится, западногерманский журнал «Шпигель», предупреждая своих читателей, что теперь ездить в Италию стало опасно, поместил на обложку рисунок: на тарелку со спагетти брошен дымящийся черный пистолет. Итальянский журнал «Панорама» не преминул ответить обложкой в том же стиле: граната на блюде из баварских сосисок. Намек был ясен — ФРГ тоже не избавлена от язвы терроризма.

Конечно, во всем этом есть элемент гиперболы, преувеличения. Невозможно запугать целую страну, целый народ. И этого в Италии у организаторов «стратегии напряженности» не получилось: провалились планы правых путчей, не удалось развалить профсоюзы и ослабить левые партии. На происки реакции народ, демократические силы ответили сплочением рядов, забастовками, реши-

тельной борьбой за демократию. Но борьба эта была трудной.

В 60-е годы демократические силы Италии боролись с чудовищем неофашизма, в 70-е — появился монстр так называемого «левого» экстремизма, а затем был спущен с цепи еще один страшный зверь. Речь идет о тайных масонских организациях, которые готовили на Апеннинах правый переворот. На черной странице итальянской действительности рядом с черной рубашкой неофашистов и черным пистолетом «левых» экстремистов появился черный капюшон «братьев» из тайной ложи «П-2».

Небывалый скандал

Подпольная деятельность масонской ложи была разоблачена весной 1981 года — к тому времени я уже вернулся в Москву. По этой причине, которую читатели должны признать уважительной, в очерке о масонах не будет описаний ни личных бесед с главарями ложи, ни масонских обрядов, с которыми ухитрился познакомиться предприимчивый журналист.

Впрочем, будь я тогда в Риме, все равно вряд ли мне это удалось бы. Попасть на тайное собрание масонской ложи постороннему лицу так же невозможно, как в Сикстинскую капеллу, когда там «замуровывают» кардиналов для выборов папы римского. Что же касается личных бесед с масонами, то разыскать место их встреч чаще всего оказывается бессильным даже Интерпол. Куда уж тут журналисту!

Правда, итальянские репортеры — надо отдать им должное — все же умудряются брать интервью и у находящихся в бегах преступников, но у советского журналиста другие задачи. Он — не следователь, не охотник за сенсацией, он — исследователь. Когда нельзя что-то «пощупать» собственными руками, можно собрать факты, проанализировать их. К тому же главная моя цель — не просто рассказать о масонах и о скандале с ложей «П-2», а разобраться, кто стоял за его кулисами. Кто выкормил и спустил с цепи чудовище в черном масонском балахоне.

Итак, сначала факты, хроника скандала. В марте 1981 года при обыске на вилле «Ванда» в захолустном городке Ареццо полиция случайно обнаружила списки тайной масонской ложи «П-2». Искали же на вилле, которая принадлежала некоему швейному фабриканту Личо Джелли, совсем другое: документы, которые могли бы пролить свет на скандал, связанный с именем приятеля Джелли — прогоревшего банкира Микеле Синдоны. Синдона — это имя мы еще не раз встретим на страницах очерка — был замешан в грандиозных финансовых аферах. Подозревали, что на вилле у своего приятеля он запрятал важные бумаги о незаконном экспорте валюты.

Списки какой-то ложи, да еще каких-то, никому не известных масонов, может быть, и не вызвали бы подозрений — мало ли чудаков на свете! — если бы следователям не пришло в голову просмотреть их повнимательнее. Оказалось, что в состав «П-2» входили парламентарии, члены правительства, видные государственные чиновники, генералы, начальники спецслужб, промышленники. По итальянской конституции, секретные организации в стране строго запрещены и членами их никак не могут быть государственные служащие, а тем более министры и армейские офицеры.

Кроме того, на вилле в бронированном сейфе Джелли, который, как оказалось, был главой — «почетным мастером» — ложи «П-2», обнаружили также правительственные документы с грифом «секретно», конфиденциальные досье на видных политических деятелей государства, составленные итальянскими спецслужбами, и многие другие бумаги, которые не должны были выходить за пределы архивов итальянских государственных учреждений. Кто собирал их и зачем? Чем занималась ложа «П-2»? Тревожных вопросов было много, и следователи незамедлительно передали документы в прокуратуру.

«Бомба» скандала взорвалась 21 мая, когда канцелярия Совета министров опубликовала в печати найденный на вилле список 962 членов (впоследствии выяснилось, что их было гораздо больше) ложи «П-2». Среди прочих были названы имена министра труда и социального обеспечения Франко Фоски, министра внешней торговли Энрико Манки, политического секретаря социал-демократической партии Пьетро Лонго, заместителя министра обороны Паскуале Бандьеры, генерального секретаря МИДа Италии Франческо Мальфатти ди Монтетретто, президента «Конфиндустрии» (объединение итальянских промышленников) Гуидо Карли и многих других «сильных мира сего» на Апеннинах.

Скандал получился грандиозный даже для Италии, где скандалами никого не удивишь.

— Кто же нами правит: правительство или тайная масонская ложа? — с возмущением спрашивали итальянцы. Однако замешанные в скандале лица делали отчаянные попытки оправдаться и все отрицали.

— Какие масоны?! Ничего не знаем! — заявляли они. — И вообще, нам непонятно, почему газеты подняли шум. Ложа «П-2» — безобидная культурная организация. «Центр по изучению латинской культуры», а также «Центр по изучению современной истории» (именно под такими вывесками скрывалась ложа).

— Ложа «П-2» была секретной? Ну и что из этого? Верно, тайные общества в Италии запрещены конституцией, но ведь такова традиция! Масоны всегда действовали тихо, незаметно, вдали от мирской суеты. Они занимались благотворительной деятельностью, иногда собирались вместе, чтобы подискутировать о смысле жизни, о предназначении человека и других масонских материях.

Все чинно и пристойно. Культурные люди, культурная организация. К чему весь этот шум, господа?

Однако попытки замять скандал не удались. Находка на вилле «Ванда» и публикация списка 962-х были всего лишь подтверждением того, о чем уже давно предупреждали демократические партии: за ширмой масонской ложи действует могучая тайная организация, преследующая свои, совершенно особые, цели. Тот факт, что в ее состав входят члены правительства и многие другие «сильные мира сего», настораживал и требовал самого тщательного расследования.

«Было бы неточным сказать,— писала римская газета «Мессаджеро»,— что этот скандал вызвал в стране беспокойство, тревогу и возмущение. Все это напоминает «театр ужасов».

В специальном докладе службы безопасности «П-2» была названа «самым могущественным центром незримой власти» на Апеннинах.

Первым ушел в отставку министр юстиции Адольфо Сарти. «Несговорчивыми» оказались поначалу замешанные в скандале генералы и руководители спецслужб. Из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе недвусмысленно дали понять, что «вакуум власти», который бы образовался с уходом со своих постов «масонов», привел бы к серьезным последствиям для положения на южном фланге НАТО. Несмотря на это, на состоявшемся в конце мая специальном заседании замешанные в скандале чины решили «самоустраниться» от исполнения служебных обязанностей, а кое-кто сразу подал в отставку. 169 военных чинов, фигурировавших в списке ложи, отправили в «досрочный отпуск». 26 мая скандал достиг кульминации — подал в отставку и четырехпартийный кабинет во главе с христианским демократом Арнальдо Форлани.

Через день генеральный прокурор Рима Доменико Сика выписал ордер на арест Личо Джелли по обвинению в «политическом шпионаже» и создании «преступной организации». Но надеть наручники на «почетного мастера» ложи «П-2» не удалось. Прихватив аргентинский дипломатический паспорт, он вовремя улизнул и скрылся за границей.

Операция «Сицилия»

Эннио Флайано, популярный в Италии писатель-эссеист, говорил: «Итальянцы — это не нация, а профессия». Журналисту Энцо Бьяджи принадлежит еще более парадоксальное высказывание: «Итальянцы не существуют». В доказательство этого Бьяджи приводит известные примеры, свидетельствующие о том, что в разных районах Италии не только говорят практически на разных языках, но и думают, и едят по-разному. Даже традиционное спагетти, сетует Бьяджи, нас не объединяет. Масоны тоже здесь были разные — с одной стороны, например, Гарибальди, с другой — легендарный авантюрист Джузеппе Бальзамо — «граф Калиостро», ухитрившийся разбогатеть, торгуя «философским камнем», превращая ржавые гвозди в «золото», и другими подобными способами.

Разительно отличается от остальной Италии ее южная часть, особенно остров Сицилия. Высокомерные жители индустриального Севера иногда называют обитателей острова «африканцами», демонстрируя тем самым свое презрение к их нищете и отсталости. Короче говоря, Сицилия — это внутренняя колония Италии, десятки лет служившая ей источником дешевой рабочей силы. Роясь в итальянских книгах по истории, именно там я нашел первые следы масонов в современной Италии. Оказались они в нехорошей компании. Вместе с мафией.

Вслед за писателем Микеле Панталеоне, автором книги «Мафия и политика», перенесемся на Сицилию 1943 года.

...Виллальба, небольшой городок в провинции Кальтаниссетта. Раннее утро 14 июля. Пять дней прошло с тех пор, как на острове высадились англо-американские войска. Пыльные улицы, раскаленная солнцем площадь с пересохшим фонтаном, кафе, где за столиком несколько местных фашистов в черных рубашках с озабоченными лицами обсуждают положение на фронте. Все как в любом другом городке на Сицилии. Но Виллальба — место особенное. Здесь расположена «штаб-квартира» сицилийской мафии, в те времена ее возглавлял Каложеро Виччини, или, как его называли на острове, дон Кало́.

В это утро жители городка услышали показавшийся им странным гул. Еще несколько минут — и в небе над поселком появился американский истребитель. Жители Виллальбы следили за ним скорее с любопытством, чем со страхом. Немцы и дивизии чернорубашечников быстро отступали, всем было ясно, что Сицилию оккупируют скоро и без особого труда.

Тем временем самолет снизился настолько, что стал заметен желтый флажок, вернее, большой платок, привязанный к кабине пилота. В центре этого платка была отчетливо видна черная буква «Л».

Самолет спустился еще ниже, и когда, едва не задевая колесами крыш, он пролетал над домом Джованни Виччини — брата дона Кало, летчик что-то выбросил из кабины. Большой пластиковый конверт, покружившись в воздухе, медленно упал на землю. На нем была надпись: «Для дона Кало».

В этот же день некий всадник поскакал из Виллальбы в соседний городок Муссомели. Это был надежный «пичотто» (на языке мафии — «подручный») дона Кало по прозвищу Манджапане. Под рубашкой посланец вез записку своего босса, которую в случае «неприятной встречи» следовало проглотить. Письмо было адресовано главарю другой «семьи» сицилийской мафии — Джузеппе Дженко Руссо.

«Кум Тури,— гласило написанное на сицилийском диалекте послание,— погонит скот на ярмарку в Черду во вторник

20 июля. А я в тот же день вместе с коровами, телегами и быком тоже отправлюсь в путь. Подготовь местечко, где бы можно было накормить и укрыть овец».

Записка была шифрованной. На языке мафии в ней сообщалось, что 20 июля некто по имени Тури проведет моторизованные дивизии союзников до Черды, в то время как дон Кало с основной частью войск (с коровами), с танками (телегами) и с главнокомандующим (быком) отправится в тот же день. Получатель записки должен подготовить все необходимое для размещения войск.

Через неделю по приказу командования оккупационных войск дон Калоджеро Виццини за «особые заслуги» был назначен мэром Виллальбы. Во всех соседних городках по указанию Калоджеро Виццини мэрами были поставлены «верные люди». Для местного населения, правда, мало что изменилось. Кроме того, что из тайной власть мафии стала явной.

За кулисами этой операции, в ходе которой мафия оказала содействие англо-американским войскам в оккупации Сицилии, стоял, считает М. Панталеоне, главарь американской «Коза ностры» Лаки Лючано (Счастливчик Лючано). Именно его инициалы означала буква «Л», вышитая на сброшенном с самолета желтом платке. Передача платков с условным шифрованным знаком — излюбленный способ заочных контактов мафиози.

В 1943 году, незадолго до открытия второго фронта, американские спецслужбы освободили Лаки Лючано из тюрьмы в США, где он отбывал очередной срок за многочисленные преступления (от торговли наркотиками до убийств), и перебросили его на Сицилию для организации связи с местными главарями мафии. «Почтенное общество» (так называют на Сицилии мафию), которое тесно, хотя и тайно, сотрудничало с режимом Муссолини, вовремя поняло, что его крах неизбежен, и переориентировалось на будущих хозяев Италии — американцев. Кстати, сделать это мафии было нетрудно, поскольку ее главари всегда поддерживали самые тесные связи не только с американскими «коллегами», но и со спецслужбами США. Эти связи сохранились и после окончания войны, а за Лючано еще прочнее утвердилась кличка Счастливчик.

«Между секретной службой США, американскими гангстерами и итальянской мафией,— пишет Панталеоне,— сложились особые тесные связи, которые позволили после войны обеспечить перестройку «почтенного общества» и укрепить его влияние на Сицилии. Отношения, которые сложились между главарями американских гангстерских синдикатов и «мафиози», позволили сицилийской мафии обновить методы своей деятельности, открыли новые горизонты для преступной активности».

И действительно, в оккупированной союзными войсками Сицилии махровым цветом расцветает спекуляция, «черный рынок», контрабанда, торговля наркотиками, на которых мафиози наживают огромные капиталы. Именно в это время гангстер Лаки Лючано (а теперь и агент американской разведки) заприметил расторопного парня из сицилийского городка Патти, бойко торговавшего зерном на «черном рынке». Звали этого парня Микеле Синдона. Ему было суждено сделать такую головокружительную карьеру, которой мог бы позавидовать сам «граф Калиостро». Синдона, правда, не умел превращать ржавые гвозди в «золото», но так же, как его знаменитый предшественник, начал с нуля, нажил миллионы, вовремя понял силу и тайное могущество масонов, а в конце своей карьеры тоже очутился в тюрьме.

Но не будем забегать вперед. Все это случилось гораздо позднее. А началось все с того, что Лаки Лючано поручил «верному пичотто» Микеле ответственную миссию — «очистку» грязных долларов мафии, полученных от торговли наркотиками, игорного бизнеса, а позднее и похищений людей. Оказалось, что таким путем можно нажить миллионы еще быстрее, чем при помощи «философского камня».

Сколотив состояние, Синдона стал приобщаться к «большой политике». Мафии были нужны не только деньги, но и такая политическая обстановка, которая позволила бы ей безнаказанно обогащаться, и правительство, которое бы смотрело и на ее дела сквозь пальцы. В послевоенные годы на Сицилии активизируется движение сепаратистов, выступающих за отделение острова от Италии. Этого требуют могущественные сицилийские землевладельцы, которые опасаются роста влияния левых партий и потери своих полуфеодальных привилегий. Мафия тоже поддерживала сепаратистов, рассчитывая на укрепление своего влияния на острове. Еще больше были заинтересованы в операции «Сицилия» спецслужбы США и Пентагон, рассматривавшие остров как важный стратегический плацдарм в Средиземноморье.

9 декабря 1943 года в Палермо состоялось первое собрание сепаратистов, в котором приняли участие 28 человек: представителей реакционной буржуазии и главарей мафии. Собрание было тайным, и его участники приняли решение: «Приступить к активному созданию групп «друзей Сицилии», любым путем, в том числе и насилием, препятствовать митингам национальных итальянских партий».

После собрания в ресторане «Олимпия» состоялся прием, на который среди прочих были приглашены «дон Кало», а также полковник Полетти — командующий АМГОТ (военное союзное правительство на оккупированной территории).

На следующий день на Сицилии стали тысячами распространять значки сепаратистов, на которых была изображена цифра «49» — намек на то, что Сицилия должна отделиться от Италии и стать 49-м штатом США. «Мы хотим отдать свою землю американцам, чтобы защи-

тить Запад от красных»,— признался однажды Синдона. Добиться «политического» перехода острова под юрисдикцию США не удалось, и тогда «дон Микеле» начал готовить на Сицилии правый путч, опираясь на поддержку влиятельных американских «друзей».

Высадка на Сицилии гангстера Лаки Лючано, тайные операции с целью отделения острова от Италии и перехода под юрисдикцию США были первыми акциями американских спецслужб для обеспечения своих интересов на Апеннинах. Какое отношение имело все это к скандалу с тайной масонской ложей «П-2»? Самое непосредственное. Ведь Микеле Синдона стал впоследствии в этой ложе одной из центральных фигур...

С благословения американских «братьев»

Вслед за продвигавшимися на Север американскими моторизованными колоннами, как грибы после дождя, стали плодиться масонские ложи. Дело тут не только в том, что при Муссолини ложи были запрещены, а их члены подвергались гонениям. Запрет, как известно, был формальным, поскольку сам «божественный дуче» — Бенито Муссолини был масоном 33-й степени. Меньших итальянских «братьев» взяли под свою опеку могущественные масонские организации США. Крупнейшая в Соединенных Штатах масонская организация Севера, насчитывающая около 2,5 миллиона членов, устами своего руководителя Мейнарда Джонсона объявила о признании римской ложи «Великий Восток». Во главе «Великого Востока» оккупационные власти поставили «своих людей» — американца итальянского происхождения Фрэнка Джильотти и «инженера» Публио Кортини, которым было поручено очистить ложи от «подозрительных» левых элементов.

Созданию сети масонских лож проамериканской ориентации содействовали тогдашний государственный секретарь Белого дома Кристиан Хертер, член масонской ложи «Монте Табор» в Бостоне, а также посол США в Риме Джеймс Зеллербах (тоже масон). Посол мобилизовал в помощь «братьям» аппарат УСИС, информационную службу, которая распространяла на Апеннинах американские пропагандистские материалы, а также собирала в стране шпионскую информацию.

Американские масоны взяли под свой контроль военный аппарат Италии, внедрив своих людей в высшие звенья командной структуры на базах НАТО. Так, в конце 50-х — начале 60-х годов на натовских базах в Италии были созданы специальные ложи для американских офицеров: в Вероне — ложа «Верона Америкэн», в Виченце — «Джордж Вашингтон», в Ливорно — «Бенджамин Франклин», в Баньоли, под Неаполем,— «Гарри Трумэн» и т. д. В Риме для американских военных чинов и дипломатов была создана ложа «Колизеум».

Именно в эти годы активного проникновения американских «братьев» на Апеннины среди масонов стал подвизаться некий Личо Джелли. Тот самый Джелли, на вилле которого в 1981 году нашли список сверхсекретной масонской ложи «П-2». О прошлом этого человека ходили разные слухи, но поначалу никто толком ничего не знал. Он владелец фирмы в Ареццо, и у него водятся деньги. В 1962 году Джелли исполняет скромные функции «подмастерья» — низший чин в масонской иерархии в римской ложе «Джан Доменико Романьози». На все собрания приходит аккуратно и уже тогда демонстрирует феноменальные способности оказываться в курсе всех событий и совать нос в чужие дела.

Потом случилось неожиданное. В один прекрасный день «великий магистр» Джордано Гамберини внезапно назначает Джелли сразу на пост «почетного мастера» ложи «П-2». Для масонов это было чрезвычайным и странным событием. Во-первых, был нарушен устав. В среде масонов передвижение по ступенькам иерархической лестницы происходит медленно и постепенно, в духе древних традиций. В случае с Джелли на ответственный пост впервые был назначен новичок и «человек со стороны». Почему? Гамберини этого не объяснил «братьям».

Оказавшись во главе ложи «П-2», Джелли с огромной энергией начинает вербовать в нее новых членов. Отбор осуществляется самым тщательным образом. Каждого кандидата долго проверяют. Для этого назначают специальную группу из трех преданных масонов, которые выясняют причины, почему он собирается вступить в ложу, его политические взгляды, имущественное положение. В ложу принимают далеко не всех желающих. Среди военных нужно иметь ранг не ниже капитана, предприниматели — только самые состоятельные, служащие — только с высоких постов государственного аппарата. Для вступления надо заплатить взнос в размере 100 тыс. лир и ежегодно вносить еще по 60 тыс. Но самое главное — масоны обязаны доставать секретные документы и передавать их главе ложи Джелли, с целью «укрепления мощи» союза «вольных каменщиков».

Прежде всего Джелли устанавливает тесные связи с «капитанами» итальянской промышленности, контакты масонов с «Конфиндустрией». Достаточно сказать, что ему удалось завербовать в ложу «П-2» такого «кита», как директор итальянского банка Г. Карли (его имя тоже фигурирует в списке на вилле «Ванда»). Вскоре «Конфиндустрия» начала регулярно переводить крупные суммы денег на секретные счета масонов. 150 миллионов перевел высокопоставленный служащий «Конфиндустрии» Джузеппе Бордонья. Только между 1970 и 1972 годами итальянские промышленники передали «достопочтенным братьям» около полумиллиарда лир.

Постепенно в состав ложи были вовлечены многие влиятельные лица: парламентарии, промышленники, банкиры. Но Джелли метил еще выше...

Джелли и президент

В Италии до сих пор спорят: что погубило президента Италии Джованни Леоне, ушедшего в 1978 году в бесславную отставку? Одни говорят, что виной тому — «происки врагов». Другие — что репутацию главы государства подмочила книга Камиллы Чедерны «Карьера одного президента», разоблачившая политические и финансовые махинации семейного клана Леоне. Свою роль сыграли и просочившиеся в печать сведения о причастности главы государства к скандалам с подкупами итальянских должностных лиц американской авиастроительной компанией «Локхид». Впрочем, уход Джованни Леоне мало кого огорчил. В президентском кресле он оказался благодаря голосам неофашистов, поддержавших в парламенте христианских демократов, которые выдвинули его кандидатуру. Горевал, пожалуй, один только «почетный мастер» ложи «П-2». Личо Джелли уже давно «подбирал ключи» к главе государства. Как считает автор книги «Масоны в Италии» журналист Роберто Фабиани, в этой сложной операции ему удалось преуспеть.

Двери Квиринальского дворца перед масоном распахнул секретарь Леоне Никола Пичелла, а также небезызвестный Антонио Лефевр — близкий друг семьи президента (тот самый Лефевр, который потом оказался замешанным в скандале с финансовыми махинациями при покупке американских самолетов «Локхид»). Пичелла и Лефевр начали усиленно «обрабатывать» президента, стараясь внушить ему мысль о том, что своим избранием на этот высокий пост он обязан исключительно Джелли, который-де отдал приказ своим депутатам-масонам проголосовать на выборах за кандидатуру Леоне.

Неизвестно, поверил ли в это Леоне, однако он принял Джелли в президентском дворце с распростертыми объятиями. О чем беседовали президент и глава тайной масонской ложи? Через окружение Леоне Роберто Фабиани установил, что обсуждали они вовсе не проблемы «морального усовершенствования человека». Италия, уверял президента Джелли, находится на краю финансового и экономического краха. Пользуясь этим, коммунисты готовятся захватить власть. Никто уже фактически им не в силах противостоять. Агенты коммунистов проникли даже в ряды вооруженных сил.

Что же нужно делать в такой, казалось бы, безнадежной ситуации? Спасительный рецепт есть у ложи «П-2». Необходим срочный пересмотр конституции, отмена парламентской неприкосновенности, укрепление сил охраны общественного порядка. Нужно также приостановить деятельность профсоюзов с тем, чтобы восстановить, наконец, доверие предпринимателей, «измученных нежеланием рабочих трудиться».

Фактически Джелли изложил Леоне план правого государственного переворота, ликвидации демократической конституции, завоеванной итальянским народом в результате кровопролитной борьбы с фашизмом. Президент республики был обязан немедленно сообщить о таких предложениях компетентным органам и выставить Джелли из Квиринальского дворца. Однако этого не произошло.

Мало того, «почетный мастер», свидетельствует Фабиани, продолжал регулярно посещать главу государства. Поначалу он предложил создать на базе масонских лож новую правую политическую партию, которая могла бы «навести порядок» в государстве. Во главе ее он планировал поставить адмирала Джино Бириннделли, тогдашнего председателя неофашистской партии Итальянское социальное движение. Для выработки всех деталей этого плана Джелли провел серию встреч с начальником отдела печати президента и близким другом Леоне Нино Валентино.

Однако завербовать президента «почетный мастер» не успел: Леоне был вынужден уйти в отставку.

Черный оборотень

За годы работы в Риме мне часто приходилось бывать по журналистским делам в гостинице «Эксельсиор» — одной из самых фешенебельных в городе. Там обычно останавливались государственные деятели, знаменитые артисты, бизнесмены с индустриального Севера. Позолоченные канделябры, старинные картины на стенах, вышколенные лакеи, бесшумно порхающие по толстым ковровым дорожкам,— все в ней весьма пристойно и солидно. Но знал ли я тогда, что именно в этой гостинице размещалась одна из тайных штаб-квартир ложи «П-2»? Нет, конечно, как, впрочем, не знали этого и многие другие посетители и гости «Эксельсиора».

Для Личо Джелли в этом отеле был постоянно снят номер «люкс» с тремя телефонами. Именно там он принимал многих высокопоставленных лиц с целью предварительного зондажа и выяснения их согласия на вступление в масонскую ложу. По свидетельству служащих «Эксельсиора», телефоны в номере Джелли звонили не умолкая.

Первый звонок раздавался обычно в 6 часов утра. Оставшийся неизвестным информатор сообщал «почетному мастеру» самые последние политические и финансовые новости. Джелли всегда видели в окружении самых влиятельных людей Италии. О его прошлом мало что было известно. Тщательно скрываемые подробности биографии главы ложи «П-2» всплыли уже после того, как скандал с масонами бушевал вовсю, и судебные власти выписали мандат на его арест.

А Джелли было что скрывать. Под фраком «фабриканта из Ареццо» таился черный оборотень, палач и профессиональный убийца. В прошлом — кадровый фашистский офицер, он воевал на стороне франкистских войск против республиканцев в Испании, а затем в ка-

честве командира роты диверсантов во время финской кампании против Советского Союза. Во времена марионеточной «республики Сало» (созданной фашистами на Севере Италии) он занимал должность офицера по связи с гитлеровцами.

Один из участников движения Сопротивления рассказал о прошлом Джелли: «Возглавляя федерацию чернорубашечников в Пистое, Джелли руководил всеми расправами. Вместе с другими фашистами он лично, с садистским наслаждением, пытал тех, кто был арестован по подозрению в принадлежности к движению Сопротивления или просто сочувствовал его участникам».

До амнистии «почетный мастер» скрывался в Аргентине, а потом подделал документы и выдал себя, чтобы избежать наказания за фашистское прошлое, за участника... движения Сопротивления!

Не успев отмыть с рук кровь патриотов, Джелли превратился в респектабельного дельца. Каким образом? Кто ему помогал? Это до сих пор покрыто мраком тайны. Известно, что Джелли принадлежат многочисленные особняки, имения и виллы в Мексике, Уругвае, Парагвае и Бразилии. Его состояние оценивают в 100 миллиардов лир в недвижимой собственности и в ценных бумагах. В 1979 году Джелли был избран президентом Международной организации масонов, ездил на конгресс в Бразилию, в работе которого принимали участие американские масоны. Цель этого съезда заключалась в выработке общей стратегии в преддверии президентских выборов в США. 29 мая 1981 года уругвайская полиция произвела обыск на вилле Джелли неподалеку от Монтевидео. Полицейские обнаружили там тысячи документов, которые погрузили на две машины и увезли. Предполагают, что это — главный архив ложи «П-2». Однако и он до сих пор не передан итальянским властям.

Обнаруженные в бронированном сейфе на вилле «Ванда» документы позволили следователям установить, каким образом действовала масонская ложа для того, чтобы подчинить своей воле нужных ей людей, направить ход событий в необходимое русло. Для этого «почетный мастер» умело пользовался секретным досье службы СИФАР (прежнее название итальянской спецслужбы), которое содержало секретные сведения о деятельности политиков, о спекулятивных махинациях банкиров, об операциях по незаконному вывозу валюты за границу, а также частные письма и расписки в получении всякого рода незаконных платежей. Многими компрометирующими документами его в изобилии снабжали «братья» по ложе из секретных служб, полиции и финансовой гвардии.

Для пополнения рядов «вольных каменщиков» Джелли пользовался методом, который опять же заставляет вспомнить о ловком проходимце «графе Калиостро». Имея широкую сеть осведомителей, он заранее знал имена реальных кандидатов на важные посты в государственных учреждениях. В решающий момент к такому человеку подходил посланник предводителя тайной ложи и убеждал его, что только «П-2» может гарантировать назначение на желаемую должность. Неискушенные сразу же клевали на эту приманку, и спустя несколько дней их приглашали в роскошные апартаменты «Эксельсиора» для знакомства с Джелли. Глава ложи лично принимал новых «братьев», стремясь обставить встречу как можно более помпезно и торжественно. К участию в подобных церемониях непременно привлекались для солидности депутаты парламента и генералы. Джелли утверждал, что в его ложе состоят 160 депутатов итальянского парламента.

Так ли было на самом деле? Документы с виллы «Ванда» позволяют предполагать, что слова главы ложи «П-2» не были лишены основания. Достоверно известно, что помимо Леоне он поддерживал «добрые отношения» со многими министрами. Бывший президент социал-демократ Джузеппе Сарагат часто приезжал погостить к Джелли и охотился в его угодьях. О широте связей Джелли говорит хотя бы такой факт, что ежедневно глава скромной швейной фирмы из Ареццо принимал не менее 50 посетителей.

— Чтобы составить список всех моих друзей,— хвастался в своем кругу «почетный мастер»,— потребовалось бы несколько толстых томов.

Конец ниточки

В 70-х годах в Италии широкое распространение получил необыкновенно доходный чудовищный бизнес — похищение людей с целью выкупа. Бандиты похищали банкиров, промышленников, состоятельных врачей и адвокатов, а чаще всего их детей. Нападали дерзко, прямо на улице, среди бела дня, вводили жертве парализующий наркотик, надевали на голову черный капюшон и увозили в заранее подготовленную в укромном месте «тюрьму». Через несколько дней родственники получали письмо с требованием выкупа. Если они медлили с уплатой, то их «предупреждали»: посылали фотографию похищенного сына или дочери, потом прядь их волос. Родственникам приехавшего в Италию на каникулы и потом «украденного» внука американского миллиардера Гетти прислали в конверте... отрезанное ухо мальчика.

Обращаться в полицию было бесполезно. В этом случае похищенного жестоко и безжалостно убивали. Иногда убивали даже после того, как выкуп был уже уплачен. Всю Италию всколыхнула расправа над Кристиной Маццоти — семнадцатилетней студенткой, единственной дочерью интеллигентной и небогатой семьи. Полиция нашла ее труп на свалке мусора, а потом и целое кладбище похищенных людей. Похищения не только приносили преступникам деньги. Это тоже был «вклад» в стратегию на-

пряженности, в запугивание итальянцев. Появилась даже новая специальность — «горилла» — телохранитель, их теперь стали нанимать состоятельные люди, опасающиеся оказаться похищенными.

«Монополию» на эти жестокие преступления захватило так называемое «акционерное общество похищений» — банда связанных с мафией гангстеров. В Риме этим занималась шайка выходцев из Южной Франции — получившая название «банда марсельцев» во главе с Жаком Беренгуэром и Альберто Бергамелли. Они, в частности, провели успешные «операции» по похищению сына ювелира Булгари, финансиста Ортолани, сына «короля кофе» Данези, которые принесли «акционерному обществу» более 6 миллиардов лир дохода.

Полиция боролась с гангстерами без особого успеха. Устраивались засады, следили за родственниками похищенных, подслушивали телефонные разговоры, помечали денежные купюры, которые выплачивались в качестве выкупа. Но все безрезультатно. Схваченные полицией бандиты, как правило, мелкие сошки, молчали как рыбы, опасаясь мести сообщников, а помеченные купюры внезапно появлялись в заграничных банках, находящихся вне всяких подозрений.

Постепенно у следователей возникло и окрепло убеждение в том, что «акционерное общество похищений» опирается на какие-то влиятельные и могучие силы, которые и делают его неуязвимым, и что полученные от похищений деньги используются для каких-то неясных целей, а не только для личного обогащения бандитов.

Первым на след банды «марсельцев» напал заместитель начальника мобильной полиции Рима Элио Чоппа. По рождению неаполитанец, он действовал с присущими жителям этого города энергией и темпераментом. Чоппа часами вел допросы родственников похищенных, пытаясь ухватить хотя бы какую-нибудь ниточку, которая могла бы привести к похитителям.

Наконец, кончик долгожданной ниточки был ухвачен. Несколько месяцев спустя Чоппа вместе с отрядом вооруженных до зубов полицейских врывается в квартиру к адвокату Джан Антонио Мингелли. У него есть неопровержимые доказательства того, что «адвокат» на самом деле является «кассиром» банды Беренгуэра и Бергамелли. Он занимался тем, что очищал «грязные» деньги, полученные от выкупов (полиция помечала номера купюр, которые выплачивались бандитам родственниками похищенных). Мингелли был настолько уверен в своей безнаказанности, что делал вклады «очищенных» денег в отделении банка в Римском дворце правосудия!

При обыске полицейские нашли членский билет, свидетельствовавший о том, что кассир банды являлся... «почетным мастером» масонской ложи «Лира и шпага»! Другой членский билет — что он был секретарем «Центра по изучению современной истории», под прикрытием которого действовала ложа «П-2». Черным оборотням масонства нужны были деньги. Для этого они пошли на союз с преступным миром.

Итогами расследования операций масонов занимался римский судья Витторио Оккорсио, до этого занимавшийся преступлениями неофашистов. Он установил, что члены масонской ложи участвовали в организации провалившегося в 1969 году правого путча Валерио Боргезе, а также во многих других преступлениях, которые совершили в Италии неофашисты.

Оккорсио понял, что он напал на следы сильной тайной организации, цели которой ему были еще не ясны. Судья отдал распоряжение установить за Джелли слежку и приказал подслушивать его телефонные разговоры.

9 июля 1976 года Оккорсио сделал роковую ошибку. Признался одному римскому журналисту: «Я веду расследование дела, которое может стать очень громким». И показал журналисту доклад Джелли, напомнив о загадочной фразе, которую произнес Альберто Бергамелли в момент ареста: «Теперь берегитесь, меня защищает большая семья!» На другой день он был убит. Неофашист Пьер Луиджи Конкутелли выпустил в судью очередь из автомата. В 1974 году, рассказывает еженедельник «Панорама», флорентийские судьи Пьер Луиджи Винья и Альберто Коррьери получили по почте бандероль весом в два с половиной килограмма. В графе «адрес отправителя» было указано: «Рим, инженер Франческо Синискальки». Автор, исключенный недавно из масонской организации, прислал судьям целую пачку документов и вырезок из газет о сомнительной деятельности «братьев» по ложе.

В длинном сопроводительном письме Синискальки сообщал судьям: «В Италии в течение вот уже целого ряда лет происходят странные и тревожные события, многим из которых никак не удается найти объяснение. Быть может, господам судьям будет угодно заняться более подробным изучением деятельности масонского «семейства»? Конечно, масоны всегда пользовались в такой стране, как Италия, почетом и уважением, но ведь это в прошлом. Теперь все обстоит наоборот: как объяснить, что в любое таинственное событие за последние годы непременно оказывается вовлеченным какой-либо масон?»

Судьи с интересом просмотрели документы. Увы, речь шла о подозрениях. А где доказательства, улики? Вместе с тем письмо бывшего масона произвело на судей сильное впечатление. Впервые член «масонского братства» обращался к судебным властям с просьбой тщательно изучить его деятельность, поскольку за ширмой масонских лож можно будет найти ответ на многие вопросы, оставшиеся пока без ответа. Следователи, не теряя времени, принялись за дело, но проникнуть сквозь плотную пелену тай-

ны, которая окутывала организацию Личо Джелли, им тогда не удалось.

Крах империи Синдоны

В октябре 1974 года я приехал в командировку в Милан на очередное заседание итало-советской торговой палаты. После того как информация была продиктована по телефону в Рим, вышел погулять на центральную пьяцца дель Дуомо.

Вечерело, на город опустился туман. Знаменитый миланский смог — смесь сырого тумана, выхлопных газов более миллиона автомобилей и сажи, которую выбрасывают в воздух трубы заводов и сотни тысяч работающих на мазуте домашних печек. В молочной мгле растворились не только бетонный силуэт самого высокого в Италии здания — 35-этажного небоскреба Пирелли, но даже огни светофоров.

Под сводами выходящей на площадь крытой галереи Виктора-Эммануила собралась кучка людей. Это место — своеобразный миланский Гайд-парк: сюда приходят жители соседних домов поспорить о политике или просто поболтать. По оживленным жестам и взволнованным крикам, доносившимся из толпы, я понял, что произошло какое-то важное событие.

— Невозможно! Не может быть! — раздавались возбужденные голоса.

Я подошел поближе, прислушался и скоро понял, что речь идет о новом валютном скандале. Судья Оливио Урбиши выписал ордер на арест одного из самых влиятельных банкиров Италии — Микеле Синдоны. Да, да, того самого Микеле, которого заприметил в свое время на Сицилии и «вывел в люди» гангстер Лаки Лючано. Банкира обвинили в «подделке финансовых документов, выпуске дутых облигаций и незаконном распределении дивидендов». Арестовать Синдону, как и Джелли, сразу не смогли. Масоны узнали об ордере на арест раньше полиции, и банкир сумел бежать в США.

Я уже тогда начал собирать материалы о правых заговорах, террористах, мафии, а позже и о масонах. Книги, вырезки из журналов и газет. Завел и «досье» на Синдону. Было ясно, что это имя еще не раз появится на страницах судебной хроники. И не ошибся. Выросшая, словно на дрожжах, на деньгах мафии банковская империя Синдоны была огромна. Дон Микеле оказался достойным учеником Счастливчика Лючано. Синдоне, то есть мафии, принадлежала сеть банков и других финансовых учреждений в Италии, в других странах Западной Европы и в США. За океаном содействие его финансовым махинациям оказывал знаменитый могущественный «Континентал Иллинойс бэнк». Партнерами банкира мафии были безупречный «Банк де Пари е де паи ба», солидный «Вестминстер бэнк» и влиятельный «Дрезднер банк». Суровая комиссия банкиров Уолл-стрита разрешила аферисту приобрести «Фрэнклин бэнк» — 14-е по влиянию финансовое учреждение США. Французская газета «Монд» назвала мошенника «величайшим итальянским банкиром после Лоренцо Медичи».

Но в джунглях большого бизнеса даже ученика Счастливчика Лючано поджидала западня. Гром грянул, когда лопнул принадлежавший ему «Банка Уньоне». Его вкладчикам был нанесен ущерб в размере огромной суммы в 200 миллиардов лир. Прореха, возникшая в результате финансовых спекуляций, была столь обширна, что залатать ее сразу не удалось. Разорившиеся вкладчики подняли шум. И тут махинациями дона Микеле заинтересовались судебные органы. Опытным экспертам сразу стало ясно, что они имеют дело с отъявленным аферистом.

До того как о крахе Синдоны заговорили газеты, широкая публика мало что о нем знала. «Банкир мафии» строго придерживался ее основного закона: «молчание — золото» и старательно избегал рекламы.

В Италии ни одному журналисту долгое время не удавалось не только получить у него интервью, но даже увидеть таинственного банкира. Авторы книги о Синдоне «Крах» П. Панерай и М. Де Лука пишут: «Он изо всех сил стремился стать самым крупным частным банкиром мира, хотел, чтобы по одному его телефонному звонку миллиарды перемещались по земному шару из одной страны в другую. Скорее чем к богатству он стремился к власти...»

Оказавшись в бегах, Синдона не очень горевал. Поселился в одном из самых роскошных отелей Нью-Йорка «Пьер» и стал ждать, когда скандал в Италии затихнет, а его покровители «объяснят» органам правосудия, что с такими людьми, как дон Микеле, следует считаться.

На каких покровителей рассчитывал Синдона? Прежде всего на очень влиятельных в США масонов, ибо, как мы уже говорили, дон Микеле был членом ложи «П-2» — его имя обнаружили в списке на вилле «Ванда». А особенно на своего «личного друга», как он любил его называть, президента США Ричарда Никсона (тоже масона). Кроме того, в надежном тайнике Синдона хранил «секретное оружие» — список 500 влиятельных политических деятелей Италии, которым он в свое время помогал незаконно вывозить из страны капиталы и помещать их в надежные швейцарские банки.

Но дону Микеле не повезло. Его «личному другу» Никсону пришлось уйти в отставку под ударами уотергейтского скандала. Оставалась надежда на «список 500», и Синдона начал шантажировать прежних сообщников и покровителей. «Если я заговорю,— предупреждал он в одном из интервью,— полетят многие головы».

Однако «банкир мафии» ошибся в расчетах. Прогоревший банкир уже никому не был нужен. Мафия и масоны располагают немалым числом способов заставить замолчать тех, кто начинает

распускать язык. Не успел Микеле опомниться, как американские власти сами предъявили ему обвинения в банкротстве и финансовых махинациях, мгновенно провернули процесс и засадили незадачливого банкира за решетку на 25 лет. Таким образом, были убиты сразу два зайца. Во-первых, не надо было выдавать Синдону итальянским властям — в Италии против него могли быть выдвинуты куда более серьезные обвинения, а во-вторых, ему надежно запечатали рот за толстыми стенами тюрьмы.

Фигура Микеле Синдоны нам интересна не только потому, что она весьма выпукло и убедительно свидетельствует о тесных связях, которые поддерживали между собой мафия, масоны и правые заговорщики. Изучая перипетии «масонского скандала», мы находим на этот раз прямые и бесспорные доказательства причастности к нему Центрального разведывательного управления США. Причем предоставляет нам эти доказательства... сам Синдона!

Оказавшись перед невеселой перспективой — провести за решеткой остаток своей жизни, дон Микеле потребовал от американских властей немедленного пересмотра его дела. «При моих связях с ЦРУ,— откровенно заявил он федеральному прокурору Джону Кенни,— я бы не советовал выдвигать против меня какие-либо обвинения». Не только сказал, но и официально поручил своим бостонским адвокатам Джозефу Отери и Мартину Уайнбергеру вызвать в суд в качестве свидетелей... занимавшего до недавнего времени пост госсекретаря США Александра Хейга, бывшего директора ЦРУ Стэнсфилда Тернера и высокопоставленного деятеля Пентагона адмирала Макса Кинга Морриса. Короче говоря, Синдона решил доказать, что выполнял «официальные задания» ЦРУ в расчете на то, что это поможет ему выйти на свободу.

«Мы уверены, что Синдона поддерживал связь с кругами американской разведки, и хотим это доказать,— заявил в Нью-Йорке один из адвокатов корреспонденту итальянского еженедельника «Панорама».— Мы знаем, что Синдона готовил на Сицилии сепаратистский путч и опирался при этом на поддержку политических кругов Вашингтона и Рима».

Организация сепаратистского путча на итальянском острове — одна из наиболее крупных операций, которую готовил Синдона совместно с ЦРУ. Личный врач Синдоны и его «большой друг» Джованни Мичели Крими признался корреспонденту журнала «Эуропео», что его пациент часто говорил ему о своих планах военного переворота на Сицилии и установления там режима фашистской диктатуры. Он даже показывал врачу письмо американского адмирала Макса Кинга Морриса, гарантировавшего поддержку со стороны Пентагона.

«Дорогой друг,— доверительно писал адмирал, занимавший высокий пост в объединенном комитете штабов Пентагона.— Я передал часть вашей информации директору ЦРУ адмиралу Тернеру». Он сообщал, что его люди предпримут «все необходимые шаги» и, желая удачи Синдоне, отмечал, что «ценит его усилия во имя блага Соединенных Штатов и Запада».

По словам Мичели Крими, Синдона был уверен, что путч на Сицилии поддержат не только американцы, но и мафия, все еще пользующаяся на острове большим влиянием. В итальянской столице успех заговора должны были обеспечить «братья» из ложи «П-2».

Другой подручный Синдоны — некий Бордони, оказавшийся за решеткой по обвинению в финансовых махинациях, сообщил, что переворот планировалось провести в 1975 году.

Вот как описал Бордони эти тайные планы, находясь в тюрьме в Каракасе в 1977 году: «Оборонная организация (то есть НАТО) должна участвовать в перевороте косвенно, через своих высокопоставленных офицеров. Для того чтобы эти люди могли спокойно действовать, им было необходимо добыть в свое распоряжение достаточно финансовых средств. Эту задачу и выполнял Синдона».

Финансирование, о котором идет речь, происходило на двух уровнях: сотни миллионов лир поступали в руки отдельных лиц, миллиарды лир — на тайные счета организаторов переворота. Эта история, писала газета «Республика», имеет все еще очень много неясных сторон, но ясно одно: путч готовился (и был близок к осуществлению) до тех пор, пока в кругах НАТО (не итальянских) не дали задний ход.

Преступление в Болонье

«Наша страна — это страна тайн,— писал в книге «Италия» Энцо Бьяджи.— Тайн этих много, и не заметно, чтобы кто-нибудь стремился их разгадать... Сегодня тот, кому придет в голову убить итальянца, в 79 случаях из ста останется безнаказанным. Только 16 убийц из сотни оказываются за решеткой. Представим себе, что́ происходит, когда речь идет о ворах или политических заговорах...».

Пессимизм Бьяджи вполне понятен. Известный итальянский адвокат Гвидо Кальви говорил мне: «Во многих случаях органы юстиции играют прямо противоположную роль. То есть не наказывают преступников, а помогают им уйти от наказания. Особенно когда речь идет о политических скандалах. Можно украсть булку и оказаться за решеткой, а можно красть миллиарды или организовать подрывной заговор и отделаться легким испугом...».

В последние годы положение несколько изменилось. В органы правосудия пришло на работу немало молодых энергичных людей, связанных с демократическими партиями, которые пытаются установить и наказать тех, кто подготовил и осуществил многие страшные преступления последних лет. А самое главное — в стране произошел сдвиг влево, укре-

пились позиции левых партий в парламенте, «свобода маневра» правых сил уменьшилась. Не все, конечно, тайны разгаданы, но по крайней мере появилось стремление их разгадать. Не случайно, что акции тайной масонской ложи, которая начала орудовать уже в первые послевоенные годы, были раскрыты в начале 80-х годов...

Расследование этого скандала можно уподобить снежному кому: чем дальше он катится, тем больше обрастает все новыми фактами и подробностями. Совсем недавно появились сведения о причастности ложи «П-2» к самому чудовищному террористическому акту в Италии — совершенному в 1980 году взрыву вокзала в Болонье. В результате этого варварского преступления 85 человек были убиты, более 200 получили ранения.

В ноябре 1981 года некий Элио Чолини, отбывавший наказание в тюрьме за злостное банкротство, неожиданно заявил: «Если меня выпустят из тюрьмы, я могу сообщить нечто очень важное, представить бумаги, документы о фашистах и членах масонской ложи». Чолини допросили следователи, и, должно быть, он говорил настолько убедительно, что его тут же выпустили из-за решетки. Через несколько месяцев он представил судебным органам множество разоблачительных документов.

Как пишет еженедельник «Панорама», многие из этих документов свидетельствуют о причастности к взрыву в Болонье неофашистов и тайной масонской ложи. На их основании судебные органы выдали в апреле 1982 года ордера на арест Стефано Делле Кьяйе, основателя крайне правой группировки «национальный авангард», замешанного также в целом ряде других преступлений неофашистов. К судебной ответственности по обвинению в причастности к преступлению в Болонье были привлечены и Джункилья, руководитель филиала «П-2» в Тоскане, и организатор исполкома масонской ложи, созданной в Монте-Карло, и член этой ложи Федерико Федеричи.

Выяснилось, что еще в 1979 году Личо Джелли, почувствовав, что «П-2» оказывается в затруднительном положении (после разоблачений Синискальки), решил создать новую ложу в Монте-Карло, где не было масонской организации. В состав новой ложи, которую Джелли назвал «Комитет», он ввел лиц, уже известных по ложе «П-2», а также целый ряд других, чьи имена до сих пор остаются в секрете.

Новая ложа разработала устав и программу. Вот два основных пункта ее устава, как их приводит «Панорама». Члены ложи: «Чтобы стать членами ложи «Комитет», кандидаты уже должны обладать максимально возможной властью в какой-либо области политической, экономической или культурной жизни». Цели ложи: «Необходимо завоевать власть, осуществлять, охранять и делать ее все более прочной».

Одновременно с созданием ложи в Монте-Карло Джелли разработал политический проспект организации своего рода «белого путча», основанного на захвате власти с помощью миллиардных финансовых операций и на замене ряда деятелей в главных политических партиях Италии. Кроме этого предусматривалось также установление контроля над органами правосудия, печатью, финансовыми центрами.

На рубеже 1979—1980 годов ложа «Комитет» была разделена на 33 секции с соответствующим числом руководителей и стала центром подлинной масонской «империи» в Италии. Она превратилась также в центр закулисной политической и финансовой деятельности, которую возглавлял Джелли.

Некоторые из этих совещаний, состоявшихся в отеле «Париж» и на одной из вилл в Монако, привлекли особое внимание итальянских следователей. На совещании 11 апреля 1980 года обсуждались крупные финансовые операции. Одна из них — сделка «Национальное общество жидкого топлива»-«Петромин» — о поставках в Италию нефти из Саудовской Аравии впоследствии завершилась катастрофой: 120 миллиардов лир, выплаченных в качестве взятки, были блокированы парламентским расследованием этого дела. Кроме того, на этих совещаниях обсуждались и политические проекты в духе «белого путча». В частности, вопрос о создании в Италии летом 1980 года «горячей атмосферы», чтобы отвлечь внимание от финансовых операций и действовать спокойно. С этой целью, считает «Панорама», и был совершен взрыв в Болонье, который организовали неофашисты во главе с матерым террористом Стефано Делле Кьяйе. Откормленное на деньги мафии чудовище масонства начало пожирать людей.

Месть «черных монахов»

Последний (по времени) эпизод в загадочной истории подрывных операций масонов произошел летом 1982 года в Лондоне. Утром 19 июня возле одного из мостов через Темзу прохожий заметил какой-то подвешенный на веревке темный предмет, наполовину погруженный в воду. Подойдя поближе, он разглядел очертания человеческой фигуры. Срочно вызванные полицейские установили, что этот человек давно мертв. Смерть, как они констатировали, наступила от удушья.

Вероятно, самоубийство — предположили они. Мало ли несчастных бросается по ночам с мостов в Темзу. Правда, в практике лондонской полиции еще не было случая, чтобы самоубийцы приходили под мост для того, чтобы повеситься. Смущали и десять килограммов камней «для веса» в карманах «самоубийцы», а также искусный морской узел, которым была привязана веревка.

Скоро выяснилось, что речь идет об итальянском гражданине Роберто Кальви — президенте крупнейшего в Италии частного финансового учреждения «Банко амброзиано». За несколько дней до смерти он при загадочных обстоятельст-

вах исчез из Милана, где должен был начаться апелляционный процесс по его делу. Кальви был приговорен к двум годам тюремного заключения и крупному денежному штрафу за валютные махинации. Глава «Банко амброзиано» в период с 1973 по 1978 год тайно, в обход законов, перевел в швейцарские банки около 28 миллиардов лир, что нанесло серьезный ущерб интересам государства.

Итальянские журналисты тут же напомнили и другие детали биографии банкира. Имя Кальви фигурировало в списке масонской ложи, найденном на вилле «Ванда». Он поддерживал самые тесные связи со своим «коллегой» по профессии и жульническим махинациям Микеле Синдоной. После бегства Кальви в банке обнаружилась колоссальная «недостача» в размере 1 400 миллионов долларов. Следователям еще предстоит выяснить, куда подевались эти деньги.

Прибывшие в Лондон итальянские следователи сразу обратили внимание еще на две детали, которые впопыхах не заметила лондонская полиция. В кармане Кальви был обнаружен миниатюрный циркуль. А мост, под которым был найден его труп, назывался «Блэкфрайарз» («Черные монахи»). По масонской символике циркуль на теле убитого означал, что он приговорен к смертной казни через повешение. Кроме того, оказалось, что в английской столице существует масонская ложа с точно таким же названием, как и мост,— «Черные монахи».

Следствие установило, что незадолго до смерти проворовавшийся банкир встречался с руководителями этой ложи и просил их о поддержке. Что ответили ему «братья», осталось неизвестным, но итальянская печать выдвинула вполне обоснованное предположение, что Роберто Кальви был убит английскими масонами по приказу ложи «П-2».

— Кальви,— заявил заместитель управляющего «Банко амброзиано» Роберто Розоне,— без всякого сомнения, был убит в Лондоне.

Кстати, незадолго до смерти его бывшего шефа была предпринята попытка покушения на самого Розоне, а личная секретарша Кальви при загадочных обстоятельствах «выбросилась из окна» пятого этажа. Власти поспешили объявить и этот случай «самоубийством».

Как и Синдона, Роберто Кальви откровенно проповедовал правые взгляды. Во времена Муссолини он издавал фашистский студенческий листок, а затем воевал на Восточном фронте. Как и в деле с «банкиром мафии», в скандале с главой «Банко амброзиано» тоже оказались замешанными секретные службы. Выяснилось, что именно они выдали Кальви паспорт на чужое имя, благодаря чему он смог беспрепятственно покинуть Апеннины.

Ширма для ЦРУ

Читателя, наверное, уже утомило нагромождение убийств, финансовых скандалов, заговоров и других преступлений, связанных с ложей «П-2». Что делать! Черная страница итальянской истории написана не только черными, но и кровавыми чернилами. В 1979 году «неизвестные» застрелили в Риме журналиста Мино Пекорелли — директора журнала «Оссерваторе политико». За несколько дней до смерти Пекорелли написал статью «Правда о достопочтенном мастере масонской ложи «П-2». В этой статье он утверждал, что «итальянское масонство представляет собой организацию, подчиненную ЦРУ». «Промышленники и финансисты, политические деятели, генералы и судебные чиновники,— писал он,— принося клятву в верности масонству, тем самым становятся на службу ЦРУ США, чтобы любым путем преградить ИКП доступ к власти». Мино Пекорелли обещал привести новые разоблачительные сведения об итальянских масонах и ЦРУ, но сделать этого не успел. Его остановила пуля наемных убийц.

Но это убийство уже не могло остановить поток разоблачительных сообщений о масонах. Следователям, судьям, журналистам становилось все яснее, что вовсе не случайно имена масонов появляются практически во всех делах о правых заговорах, во всех протоколах о террористических акциях неофашистов, в самых запутанных и таинственных историях связей правых террористов с мафией, гангстерами, чуть ли не во всех скандалах с финансовыми махинациями. Вывод здесь можно сделать один: ложа «П-2», созданная Личо Джелли,— это вовсе не «религиозно-этическая организация», а основанная ЦРУ тайная группировка, призванная обеспечивать на Апеннинах американские интересы.

В 1969 году, писала газета «Паэзе сера», руководители ведомства национальной безопасности США и представители итальянских правых сил приняли решение прикрыть масонской ширмой подрывную организацию, ставившую своей целью поворот вправо итальянской политики. Именно тогда эта роль была поручена ложе «П-2», уже активно действовавшей среди предпринимателей и финансистов. Вторым по влиянию (в США.— В. М.) деятелем в области национальной безопасности после Генри Киссинджера был в ту пору Александр Хейг. Будущий верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и государственный секретарь США установили тогда целый ряд контактов с итальянскими «предпринимателями». Несомненно, что еще в 1944 году в одном из документов Бюро стратегической информации (предшественник ЦРУ) от 15 сентября 1944 года за № 9 а-32199 указывалось, что правые силы в Италии хотели обеспечить масонское прикрытие «коммунистическим» террористическим группам, чтобы оказать отрицательное влияние на компартию.

По сведениям римской газеты «Республика», штаб-квартира «исполнительного масонского центра» находится в Мон-

те-Карлю. Она имеет три «исполнительные джунты» — в Париже, Женеве и Нью-Йорке. Из Нью-Йорка «братья» получают финансовую и экономическую помощь.

Ложа «П-2» буквально напичкана агентами ЦРУ. Роберто Фабиани, уже упомянутый автор книги «Масоны в Италии», считает, что агентами ЦРУ были Фрэнк Джильотти, подвизавшийся в руководстве «Великого Востока» в послевоенные годы, и «инженер» Публио Кортини, отвечающий за международные связи «вольных каменщиков». Имя Кортини фигурирует в списках агентов ЦРУ, приведенных в нашумевшей книге Роберто Фаэнцы «Американцы в Италии». Тесные связи с американской спецслужбой поддерживал и «магистр» «Великого Востока» Джордано Гамберини. Задания ЦРУ выполнял Микеле Синдона, о чем, как мы помним, он сам неоднократно заявлял на страницах печати и что подтвердили его американские адвокаты.

В июле 1981 года в римском аэропорту Фьюмичино полиция арестовала дочь Джелли — Марию Грацию. В ее сумке среди духов и помады были обнаружены четыре досье, которые беглый «магистр» хотел переправить своему другу — бывшему сенатору от неофашистской партии ИСД—НПС Марио Тедески. В том числе особо секретные документы главного командования американских вооруженных сил, предназначенные для агентов военной разведывательной службы. Многие страницы помечены грифом «совершенно секретно». Они содержат подробные инструкции — как изучать, контролировать и использовать в своих интересах террористическую деятельность в «дружественных странах», то есть каким-либо образом связанных с Соединенными Штатами.

Еженедельник «Панорама» опубликовал копию этого досье. На нем стоит регистрационный номер «ФИ—30—31», и оно разделено на две части: основной документ и дополнение к нему с оперативными инструкциями на случай «вмешательства в особых обстоятельствах». Эти документы были составлены в 1970 году генералом Уильямом Уэстморлендом, занимавшим тогда пост начальника штаба армии США.

У этих бумаг своя история, о которой стоит рассказать отдельно. Пять лет назад турецкая газета «Барыш» объявила, что собирается их опубликовать. Но дальше намерений дело не пошло, так как само досье и журналист, который его раздобыл, таинственным образом исчезли. В Италии этот документ был впервые опубликован в 1978 году еженедельником «Эспрессо». Посольство США в Риме сделало все, чтобы предотвратить публикацию. Американский консул в Милане лично посетил редакцию журнала, пытаясь помешать появлению в печати документа, полученного редакцией из Испании. Через год ЦРУ опубликовало объемистое досье, подготовленное его сотрудниками, чтобы «разъяснить», что пресловутая инструкция — это якобы «хитроумная фальсификация русских», «использовавших пишущие машинки, печати и бумаги, похищенные в правительственных учреждениях США». В этом досье объемом в 200 страниц плюс несколько приложений ЦРУ сделало еще одну неуклюжую попытку свалить все с больной головы на здоровую и обвинило СССР в «попытке дезориентировать общественность».

Разоблачили фальшивку ЦРУ сами американцы. Издаваемый в США журнал «Каверт экшн» передал документ на изучение специалистам. После тщательной проверки его лексики, стиля, техники печати эксперты пришли к выводу: это подлинный документ, составленный американскими спецслужбами.

О чем же говорится в этой «инструкции для шпиона», обнаруженной в сумке дочери главы ложи «П-2»? Вот ее содержание:

1. Операции в этой области следует считать совершенно секретными.

2. По возможности инструкции следует передавать устно.

3. Секретные службы американской армии должны рекомендовать соответствующие действия в том случае, если в «дружественной стране» возникают признаки уязвимости... и, следовательно, возникает опасность для американских интересов.

4. Соответствующие меры в этих ситуациях могут носить как официальный, так и неофициальный характер. Последние операции, требующие соблюдения тайны, относятся к компетенции секретных служб США.

5. Службы США должны придерживаться двух основных направлений в своей деятельности:

а) стараться внедрять своих агентов в окружение руководителей восстания;

б) стараться выявить несущих ответственность за внутреннюю безопасность агентов «дружественной страны», которые проникли в ряды восставших, чтобы установить тайный контроль за деятельностью этих агентов.

6. Может случиться, что правительства «дружественной страны» будут проявлять пассивность или нерешительность перед лицом подрывных действий коммунистического характера. Это происходит в тех случаях, когда участники восстания стараются добиться тактических преимуществ, временно воздерживаясь от насильственных действий. В этих случаях секретные службы США должны организовать специальные операции (читай: акты террора! — В. М.), чтобы убедить правительство и общественность «дружественной страны» в реальном характере опасности.

7. Для этого сотрудники служб США должны внедряться в ряды восставших с целью создать группы специального назначения (то есть террористические банды.— В. М.) из наиболее радикально настроенных участников восстания.

8. Операции могут быть насильственными или ненасильственными в зависимости от обстоятельств.

9. Использование ультралевых организаций может помочь достижению вышеупомянутых целей.

10. Документ предназначен для ограниченного круга лиц.

Обратите внимание на последний пункт инструкции — «для ограниченного круга лиц». Но каким образом такой документ мог попасть к магистру итальянских масонов? Уж не потому ли, что Джелли сам входил в число этих «особо доверенных» для ЦРУ лиц?

Подрывная деятельность Джелли носила поистине международный характер. Он постоянно разъезжал по странам Западной Европы, то и дело летал в США и государства Южной Америки. «Хорошие отношения» были у «почетного мастера» с руководителями неофашистского агентства «печати» «Ажинтер Пресс», которое возглавляли Герэн Серак и Робер Лерой, бывшие нацисты, легионеры из ОАС, известные своей деятельностью в фашистском «Черном интернационале». Его близким другом был небезызвестный Лопес Рега — создатель Аргентинского антикоммунистического альянса и так называемых «эскадронов смерти». Хвастался Джелли и близким знакомством с лидером крайне правых в ФРГ Францем Йозефом Штраусом. Есть свидетельства и о том, что он поддерживал связи с покойным президентом Египта Анваром Садатом.

Но самых влиятельных покровителей глава ложи «П-2» (как и его «коллега» Синдона) имел все же за океаном. Он был единственным итальянцем, получившим личное (то есть не в качестве официального лица) приглашение на церемонию инаугурации в Белый дом от президента Картера. Такое же приглашение он получил и от нынешнего хозяина Белого дома Рейгана. Некоторые считают, что подобной «чести» главарь тайной ложи «П-2» удостоился за то, что весьма активно содействовал избранию этих президентов, мобилизуя в их поддержку голоса проживающих в США многочисленных американцев итальянского происхождения, а также «авторитет» мафии, глубоко проникшей во все звенья государственного аппарата Соединенных Штатов. Не случайно на вилле «Ванда» была найдена переписка Джелли с влиятельным членом республиканской партии США, членом комитета по избранию Рейгана на пост президента Ф. Гуарино. Совсем недавно итальянские власти официально признали, что Джелли был агентом итальянской разведки.

В том факте, что ЦРУ превратило масонские организации в свои «филиалы» в Италии, нет ничего удивительного. Американские спецслужбы всегда проявляли самое пристальное внимание к тому, что происходит на Апеннинах, не брезгуя при этом никакими средствами. По сообщениям печати, на Апеннинском полуострове активно орудуют не только ЦРУ, но и агенты других шпионских организаций США: «Национального агентства безопасности», занимающегося электронным шпионажем, «Бюро разведки и исследований», подчиненного государственному департаменту и занимающегося изучением политических проблем, и «Разведывательного агентства министерства обороны США» — разведывательной службы НАТО.

Согласно данным еженедельника «Джорни — вие нуове», на территории Италии занимается шпионской деятельностью около 5 тысяч агентов секретных служб США, а число работающих на них тайных осведомителей превышает 10 тысяч человек. Оперативный центр в Италии, пишет еженедельник, расположен в здании посольства США в Риме. В нем работает около 50 агентов. Помимо этого тайные службы Вашингтона располагают в Милане, Неаполе, Турине, Триесте и других городах страны «периферийными офисами», замаскированными под торговые компании или под фальшивые «культурные» ассоциации.

Кто же за кулисами?

В истории со скандалом вокруг масонской ложи есть одна курьезная деталь. Здание гостиницы «Уотергейт» — с ним связан другой, не менее шумный, политический скандал, стоивший карьеры президенту США Ричарду Никсону, — принадлежало... Микеле Синдоне! Любопытно и другое. Закат финансовой империи «банкира мафии» начался как раз после того, как в 1973 году Никсон был вынужден уйти в позорную отставку. Ниточка от Синдоны привела к Личо Джелли. Некоторое время спустя расстался со своим креслом в Квиринальском дворце и президент Италии Джованни Леоне. Позднее был убит Роберто Кальви. Что это? Случайные совпадения? А быть может, есть все же какая-то причина, по которой с политической арены почти одновременно исчезла целая группа связанных между собой лиц?

Ответ на этот вопрос я нашел в книге «Подлинные властители мира» Луиса М. Гонсалеса-Маты, которая вышла в 1979 году в Париже.

Автор пишет: «Стечение обстоятельств», «воля рока» или «божественное провидение»... Неужели в самом деле именно они определяют ход современной международной жизни? Неужели государственные перевороты, установление кровавых диктатур, войны и интервенции — это порождение случая?»

На протяжении десятилетий, продолжает Гонсалес-Мата, нам старались внушить, что так оно и есть. Целые поколения жили такими иллюзиями, поскольку не располагали информацией о том, как в действительности обстоит дело. Но в наши дни, я убежден, вполне возможно получить подтверждение того, что в капиталистическом мире существует и действует настоящее суперправительство, вырабатывающее директивы для руководителей отдельных буржуазных стран.

Луис М. Гонсалес-Мата ранее был ответственным чиновником испанских сек-

ретных служб и в этом качестве имел доступ к материалам, которые обычно остаются за семью печатями для рядовых граждан, не посвященных в секреты буржуазной политической кухни. На основе собранного им богатого документального материала автор пришел к выводу, что политическую линию всему буржуазному миру диктуют могущественные центры невидимой власти — так называемая «трехсторонняя комиссия», Бильдербергский клуб, прикрывающиеся вывесками безобидных частных дискуссионных клубов, а также тесно связанные с ними масонские ложи.

В начале 50-х годов США решили, пишет Гонсалес-Мата, что в Европе надо заменить их открытое присутствие другим, менее бросающимся в глаза способом обеспечивать свое господство, а именно через посредство многонациональных корпораций и проамерикански настроенных политических деятелей, финансистов, агентов секретных служб.

На учредительном заседании в Париже был создан комитет с целью заложить фундамент будущей организации. Его основателями и первыми членами были, в частности, голландский принц Бернард, председатель Ассоциации за европейское единство и министр иностранных дел Бельгии Ван Зееланд, бывший руководитель Управления стратегических служб США Уильям Донновэн, бывший директор ЦРУ Уолтер Бедел Смит, президент общества «Юнилевер» Поль Рийкенс, французские политические деятели Ги Молле и Антуан Пинэ, члены португальского банкирского дома «Эшпириту Санту», брат испанского каудильо Н. Франко, бывший нацистский банкир и финансист Герман Абс, бывший министр иностранных дел Голландии, генеральный секретарь НАТО Йозеф Лунс, президент компании ИТТ С. Бен, западногерманский финансист, сын второй жены Геббельса Харальд Квандт, один из бывших директоров компании «ИГ-Фарбен индустри» Гюнтер Ф. Фале, осужденный Нюрнбергским трибуналом как военный преступник, один из руководителей компании «Локхид» и другие.

Помимо ярого антикоммунизма и проамериканских симпатий, отмечает Гонсалес-Мата, всех будущих членов клуба объединила еще одна общая черта: большинство из них были видными деятелями масонских лож шотландского ритуала, находящихся под контролем США и с 1945 года являющихся действенным орудием правых сил.

В числе их членов им названы также Аллен Даллес, директор ЦРУ с 1953 по 1961 год, Манлио Брозио, генеральный секретарь НАТО, Ла Гуардиа, мэр Нью-Йорка, Гарри Трумэн, президент США, Джеральд Форд, президент США, Личо Джелли, глава итальянской масонской ложи «П-2»...

В конце мая 1954 года в голландском городе Остербек в отеле «Бильдерберг» было проведено первое международное совещание, на котором было принято решение о создании «клуба размышлений», объединившего политических деятелей, финансистов, промышленников, военных журналистов и других высокопоставленных представителей правящей элиты стран Североатлантического блока.

Председателем Бильдербергского клуба был избран муж королевы Нидерландов принц Бернард. Был создан также руководящий комитет в составе десяти человек, который должен был действовать как своего рода «транснациональное правительство».

Этот комитет (официально именуемый генеральным секретариатом) уполномочен был заниматься делами клуба в промежутках между очередными заседаниями. (именуемыми «ежегодными конференциями»), «предпринимать инициативы в соответствии с линией клуба». Деятельность Бильдербергского клуба финансировалась за счет «добровольных вкладов его членов, сочувствующих, а также официальных организаций».

На совещании в верхах семи крупнейших капиталистических стран мира в Бонне в 1978 году были приняты в качестве программы действий рекомендации, выработанные за месяц до того в США представителями политических, промышленных, финансовых и военных кругов Запада, собравшимися под вывеской «трехсторонней комиссии» (она была создана в 1973 году по инициативе известного американского банкира Дэвида Рокфеллера с целью, как было заявлено, «стимулировать диалог между тремя полюсами развитого мира: Соединенными Штатами, Западной Европой и Японией».— В. М.). В числе ее членов фигурировали советник президента США по национальной безопасности З. Бжезинский, госсекретарь США Г. Киссинджер, министр обороны США Г. Браун, госсекретарь США С. Вэнс, министр финансов США М. Блюменталь, ряд видных представителей делового мира и представителей Франции и других стран.

Не случайно ряд влиятельных членов «трехсторонней комиссии» входили в состав официальных делегаций на встрече в Бонне. Может, это был изолированный, единичный эпизод? Ничего подобного.

В конце 1977 года, а затем в апреле 1978 года на заседании другого «частного клуба» — Бильдербергского — в числе многих проблем международного положения представители политических, финансовых, промышленных и военных кругов Запада обсуждали «целесообразность сближения с коммунистическим Китаем и использования его в качестве противовеса Советскому Союзу». В своих выводах они исходили из детального документа, подготовленного группой американских специалистов под руководством З. Бжезинского и рекомендовавшего не только использовать «коммунистический Китай как инструмент, препятствующий советскому экспансионизму», но и указывающего на «колоссальный торговый потенциал рынка страны, население которой достигнет скоро миллиарда человек». Этот документ, известный как

«Меморандум ПРМ-24», стал претворяться в жизнь сразу, как только его автор З. Бжезинский посетил Китай во главе американской делегации.

Перечисляя в своей книге имена многих высокопоставленных масонов, Гонсалес-Мата приходит к выводу, что «масоны, секретные службы и политические лидеры, мафия, фашизм, по-видимому, перемешались и слились в одну сеть антикоммунистических организаций в Западной Европе, патронируемых ЦРУ».

Когда в 1978 году «красные бригады» убили председателя христианско-демократической партии Италии Альдо Моро, выявилась весьма характерная деталь: его имя числилось в списке лиц, «безвозвратно потерянных» с точки зрения руководства «трехсторонней комиссии»... Не в этом ли списке оказались также и имена Джелли, Синдоны, Кальви? Если заговор провалился, то кому нужны те, кто его готовил?

22 января 1981 года государственный секретарь США Александр Хейг выступил на пресс-конференции с призывом «объявить войну международному терроризму», обвинив при этом Советский Союз в оказании террористам организационной и финансовой помощи. Цинизм, абсурдность этого обвинения подтверждены множеством доказательств, свидетельствующих о том, что за кулисами международного терроризма стоят Соединенные Штаты. Перипетии скандала с тайной масонской ложей «П-2» занимают в ряду этих свидетельств немалое место.

■ ■ ■

...Над Римом бушуют политические грозы, а на площади Испании все так же тихо журчит фонтан «баркачча», греются на теплых мраморных ступенях туристы, ждут ездоков старинные экипажи. Перед ювелирным магазином «Булгари» толпится кучка любопытных. Ставни окон плотно закрыты. За ними уже не собираются члены тайной ложи «П-2» — ложа эта распущена. Осенью 1982 года арестовали в Швейцарии Личо Джелли, в бессильной ярости меряет шагами тюремную камеру в Нью-Йорке Синдона, навсегда замолчал банкир Роберто Кальви. Итальянских «фармазонов» постигла печальная судьба, такая же, как и их далекого предшественника «графа Калиостро», замурованного инквизицией за толстыми стенами замка святого Ангела.

Впрочем, вряд ли здесь оправданна эта историческая параллель. Ведь спрятаны за решетку или уничтожены своими же сообщниками всего лишь простые исполнители. Те, кто дергал за ниточки, могущественные закулисные кукловоды по-прежнему остаются в тени. «Джелли потерпел поражение,— пишут авторы книги «Именем «ложи» Джанни Росси и Франческо Ломбрасса,— и на него возлагают ответственность, которую должны нести те, кто им руководил, или те, кто в течение многих лет никак не мешал его действиям. Хирург, которому поручили при помощи ланцета вырезать раковую опухоль на теле итальянского общества, ограничился только тем, что слегка надрезал кожу. Империя Джелли осталась в неприкосновенности. Она только ждет, когда ее возглавит новый император...»

Да, почти все осталось как и прежде. Отшумел скандал, закончилось парламентское расследование, но почти никто из тех, кто был разоблачен как член тайной подрывной ложи «П-2», готовившей в Италии правый переворот, так и не был наказан. Они сохранили свои посты, капиталы, положение в обществе и... возможность заниматься прежними потайными делами. Масонские организации на Западе существуют в прежнем качестве своего рода «суперправительства», образованного для защиты интересов и привилегий господствующей элиты, союза бизнеса и террора, вынашивающего мечты о правой диктатуре и мировом господстве. Для реализации этих коварных планов и откармливается страшное чудовище в черном масонском балахоне, плетется паутина новых, все более опасных заговоров.

Народы должны бдительно следить за происками реакции, быть готовыми дать им решительный отпор. От этого зависит, в какой цвет будут окрашены будущие страницы истории не только Италии, но и других стран.

◆

Дневники, воспоминания

ФАХРИ ЭРДИНЧ

НАЗЫМ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Главы из книги

Вступление и перевод с турецкого И. СТЕБЛЕВОЙ

Творчество Назыма Хикмета, восьмидесятилетие со дня рождения которого отмечалось в прошлом году, хорошо известно во всем мире, о нем написаны статьи и книги, в которых отражены разные грани самобытного и неповторимого таланта великого турецкого поэта.

Воспоминания о Хикмете, написанные его младшим современником, турецким писателем-коммунистом Фахри Эрдинчем, обращают внимание читателя еще на одну особенность необыкновенной личности Хикмета. В них показано значение его поэзии для формирования молодых прогрессивных писателей Турции, и прежде всего для самого Эрдинча. Начиная с 20-х годов для писательской молодежи было важным не только появление каждого нового произведения Хикмета, но и политическая позиция поэта — борца за свободу, проведшего 17 лет в тюрьмах Турции. Велико было обаяние самого имени поэта, который стал опорой, надеждой и примером для подражания всей прогрессивной молодежи Турции. Фахри Эрдинч, вынужденный из-за своих политических убеждений, так же как и Назым Хикмет, эмигрировать из Турции, встретился с ним лично только в 1951 году в Софии, но знал о нем с отроческих лет, с начала 30-х годов. С этого времени и на всю дальнейшую жизнь имя Хикмета стало для Фахри Эрдинча как бы символом писательского мастерства и веры в лучшее будущее своего народа.

Отношение к Хикмету остается пробным камнем этой веры и в наши дни, ибо его творчество неразрывно связано с ростом самосознания прогрессивной турецкой интеллигенции. И если прежде в Турции сажали в тюрьму Хикмета, то потом стали сажать за Хикмета. Мечта поэта, умершего вдали от родины, быть со своим народом в какой-то степени осуществилась, ибо он хорошо известен в своей стране. Поэтому безусловно прав Фахри Эрдинч, закончивший свои воспоминания о Назыме Хикмете словами: «...я не мыслю Турции без Назыма, они неотделимы друг от друга».

То, что я пишу здесь,— не исследование, не опыт творческой биографии поэта.

Я просто рассказываю о той роли, которую Назым Хикмет сыграл в моей жизни. Я пытаюсь дать ключ к пониманию истинного Назыма, стараюсь прояснить разные стороны его сложной судьбы.

Я не использую никаких иных источников сведений о нем, кроме моих собственных воспоминаний о событиях, связанных с ним, о наших с ним встречах.

«И эти железные наручники...»

...Я вышел тогда из кинотеатра «Тайяре», где смотрел какой-то фильм то ли с Дугласом Фербенксом, то ли с Эмилем Янисом, а может быть, с Гарри Пилем. Через боковую дверь кинотеатра я попал в парк, сияющий на солнце так, что я сразу же ослеп. Выбравшись из толпы, которая направлялась на улицу, я пошел в глубь парка.

Солнце уже склонялось за тополя. Я шел, и за мной тянулась длинная, больше моего роста, тень.

Я увидел, что под огромным дубом собралась группа юношей, одни расположились на скамье, другие стояли рядом. Среди них были и мои знакомые. В центре сидел Рауф. Он учился в Париже — постигал не то авиационное дело, не то картографию — и раз в год приезжал домой. Мы слушали его рассказы, словно сказки «Тысячи и одной ночи», не отличая правды от преувеличений, а он рассказывал о разных событиях жизни Запада, о Париже с его большой рекой, Лувром, Версалем, кладбищем Пер-Лашез и «Стеной коммунаров».

Другой мой знакомый, Фахреттин, как всегда, был на ногах: он избегал садиться, чтобы не помять наглаженные брюки. Его красный галстук напоминал о поле, поросшем маками. На смуглом продолговатом лице застыло мечтательное выражение, взгляд куда-то устремлен, но он не видит того, на что смотрит. Фахреттин был нашим первым товарищем, прослывшим коммунистом.

Спустя много лет, в сороковые годы, Фахреттин станет моим первым земляком-коммунистом, которого арестуют, вышлют из нашего города пешком в сопровождении жандарма, а так как поблизости не окажется тюрьмы, его заставят прошагать пятьдесят километров до города Манисы, при этом половину своей «марафонской» дистанции он будет тащить на себе утомившегося жандарма.

Я подошел к этой группе. Фахреттин, оторвав взгляд от видимой только ему цели, повернулся ко мне, а Рауф, не вставая с места, положил мне на плечо руку. Это значило, что я принят. Тринадцатилетнему мальчишке, каким я был в ту пору, невзрачному, в башмаках на два номера больше, доставшихся мне от старшего брата (он незадолго перед тем умер от туберкулеза), в коротких брюках, вытянутых на коленях,— такому мальчишке не просто было попасть в компанию людей, окружавших Рауфа. Я только что поступил в педагогическое училище на место моего умершего брата. Конечно, хорошее отношение ко мне Рауфа и его друзей было вызвано их уважением к моему отцу — одному из самых старых и заслуженных учителей нашего города. Рауф был товарищем моего брата, а Фахреттин — учеником моего отца. Поэтому меня обласкали. Но они не прервали своего разговора.

— Это из сборника «Вот и третий»? — спросил Фахреттин.

— Нет,— отвечал Рауф,— это я услышал в Париже. Есть строки и до этого, но я запомнил только две [1].

— Скажи их еще раз.

И Рауф стал повторять стихи, которые, очевидно, читал до моего прихода:

— «И эти железные наручники я носил на своих запястьях, как золотые браслеты...».

— Не может быть, чтобы это была его строка, непохоже, как-то жидковато,— перебил Фахреттин.

— Возможно, что при устной передаче...

— А что в другой строке?

— «Свой крепкий волосатый затылок я почесывал под виселицей...»

— И это искажено. Слово «виселица» должно стоять в начале строки.

Они помолчали.

— Держать себя так вызывающе не каждому храбрецу по плечу,— сказал Рауф.

— Да,— вздохнул Фахреттин,— могучий поэт. И вправду отважный человек. Жаль его...

Когда все разошлись, мы пошли с Фахреттином. По дороге он рассказал мне, кто этот «могучий поэт» и «отважный человек» и почему «его жаль». Поэта зовут Назым Хикмет, и он в тюрьме.

— Его самая последняя книга «Вот и третий». Читал?

«Вот тебе и первый...»

В те дни отец повсюду водил меня с собой. Мне казалось, я понимаю, почему он так делает. Для нас не прошла еще мрачная пора траура по моему старшему брату. Наш дом потерял уютную прелесть повседневной жизни. Большую часть времени мы с отцом молчали. Еще в августе мы ездили в город Балыкесир, отец устроил меня на место, освободившееся после смерти брата. Экзамен прошел хорошо, были выполнены необходимые формальности, и теперь мы ждали письма из училища. Как только оно придет, отец сразу же отправит меня.

Я смотрел на отца и думал: у него такой вид, словно его старший сын потерпел поражение на борцовской арене и вместо него он готов послать меня — видно, я числился у него запасным.

Мне казалось также, что для заполнения той огромной пустоты, которая возникла в нем после смерти моей матери и старшего брата, ему не хватает меня и он сам как-то пытается заполнить эту пустоту — он, мой отец, скромный учитель Халиль Яшар-эфенди со своим тщедушным телосложением, со своим маленьким мирком. Поэтому, когда он шел на базар, я шел рядом с ним, и когда вечером он был в кофейне, я был тут же.

В то время союз учителей находился в двухэтажном здании. Внизу под лестницей устроил очаг для приготовления кофе уборщик, служивший в союзе. На бетонном полу маленького помещения теснились рядом друг с другом четыре стола, стулья. Здесь, чаще всего вечерами, учителя играли в карты и в нарды. По стенам развешаны газеты, прикрепленные к специальным бамбуковым или тростниковым палочкам. Библиотека была наверху, в комнате для собраний.

В тот вечер мы с отцом тихо сидели рядом. Он не умел играть. Мне запрещено разговаривать. Я положил руки на колени, но моих рук не хватало, чтобы прикрыть заплаты. Отец, скрестив ладони на ручке своей трости, сидел, выставив вперед подбородок, и делал вид, что следит за игрой

— Джафер, сынок!— крикнул отец хозяину кофейни.— Дай мальчику какую-нибудь книжку, ему скучно.

Джафер, вытирая руки о фартук, тотчас направился к лестнице и, ступив на первую ступеньку, повернулся ко мне:

— Какую книгу желаешь, молодой человек?

Я вскочил, сделал несколько шагов по направлению к нему и, понизив голос, сказал:

— Дайте мне «Вот и третий», дядя...

Спустя несколько минут на мрамор столика шлепнулся, подняв мух с моего блюдца, сборник «Вот и третий».

— Видал, до чего дело дошло, Халиль-ходжа?!

Отец смотрел, словно очнувшись, не понимая, что произошло.

— Твой парень Назыма Хикмета читает...

— Какого Назыма Хикмета? Да простит меня аллах...

Учителя, бросив игру в карты, уставились на меня. Отец, не зная, что предпринять, широко раскрыл глаза:

— Эй, что это у тебя?

[1] Далее неточно приводятся две строки из стихотворения «Ответ», впервые опубликованного в сборнике «Вот и третий» (1930). Затем это стихотворение под названием «Ответ номер один» вошло в сборник «Портреты», вышедший в свет в 1935 г. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— «Вот и третий»,— пробормотал я.

Тогда отец занес руку и ее тыльной стороной обрушил на мсю щеку звучный удар:

— Ну, если так, то вот тебе и первый! Ах ты негодник, ах ты...

Того и гляди, он стал бы пинать меня ногами. Хорошо, что друзья удержали его. Таким способом отец уберегся от опасности, что его станут называть коммунистом, но я до самого нашего дома не мог уберечь свое ухо от его цепкой руки.

Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я живо помню боль в своем ухе, чувствую, как оно постепенно отрывается и кровоточит.

Следовало бы запомнить день и час такого события, как эта крепкая пощечина, но я не могу вспомнить ни того, ни другого. Помню только месяц — сентябрь и год— 1931-й.

Его стихи я слушал, читал, декламировал другим

Все время моего пребывания в педагогическом училище, до 1936 года, я шел к поэзии Назыма.

Сначала о Назыме время от времени заводил речь Эсат Адиль, преподававший у нас до седьмого класса турецкий язык. Происходило это или на его уроках, или в наших беседах о газете «Тюрк дили» («Турецкий язык»), редактором которой он был. В восьмом классе на место Эсата Адиля пришел Гаффар-бей, родом с Кавказа. Он был трусоват и старался держаться в стороне от разговоров о Назыме. Зато при каждом удобном случае он читал нам свои переводы русских классиков и помог нам почувствовать прелесть этих рассказов.

Главным человеком, кто вел меня за руку в моем продвижении к поэзии Назыма, стал Рамазан Гёкалп, с которым мы тесно сдружились после девятого класса.

В те времена Рамазан Гёкалп писал пьесы для студентов, основанные на своем собственном понимании патриотизма, и успешно скрывал левые убеждения. Но постепенно, по мере того как в нем росло желание сделать карьеру на улице Бабыали [1], он понял, что нужно избегать препятствий, которые могли бы этому помешать. В конце концов, по истечении 30-х годов, Рамазан Гёкалп Аркын оставил должность инспектора начальных школ и, открыв издательство на Бабыали, перешел на положение работодателя, я же открыто перешел влево, на положение трудящегося.

О Назыме в пору его работы в журнале «Ресимли ай» [2] мне рассказывал все тот же Рамазан Гёкалп, который тогда был для Зекерии Сертеля и его жены словно приемный сын. Он ходил в начальную школу при Доме сирот, а во внешкольное время работал на подсобных работах в журнале.

Назым в это время — один из самых любимых сотрудников в редакции журнала. По словам Рамазана, «над его головой веют новые, необыкновенные ветры», «он неожидан». «он страшно эмоционален, вспыльчив и дерзок», «он опрокидывает кумиров».

Стихотворения Назыма «Пленник сорока разбойников» и «Раненый призрак» я впервые услышал от Рамазана. По его совету я завел особую тетрадь для лучших произведений и первым делом переписал в нее эти два стихотворения Назыма.

Однажды эту тетрадь увидел у меня Гаффар-бей. Он перелистал ее своими мохнатыми, как гусеницы, пальцами и сказал: «Хорошо. Перепиши еще и Чехова». Я послушался его и стал переписывать те вещи Чехова, которые он нам читал.

В Стамбуле играли «Череп» Назыма. Рамазану удалось поехать в Стамбул, он видел пьесу и тайком привез ее текст. Дал прочитать ее и мне. Это доброе дело, совершенное им, я тоже не могу забыть.

Впоследствии я был свидетелем и других его добрых дел. В 1950 году после амнистии вышел на свободу Назым. Понятно, в каком состоянии бывает тот, кто вышел из тюрьмы он не может свести концы с концами. Однажды он обратился за помощью к Рамазану, и тот попросил его написать какие-нибудь детские рассказы, пьесы со стихами. Назыму такую просьбу повторять не надо. Он тут же написал несколько вещиц, и Рамазан их опубликовал, скрыв авторство Назыма под своим именем. При первом же удобном случае Рамазан, как рассказывал Зекерия Сертель, помчался в Анкару в соответствующий отдел министерства народного образования, чтобы добиться рассмотрения этих рассказов со стихами для рекомендации их школам и для новых изданий. И он добился чего хотел, осуществил новые публикации. Дошло до того, что в этом отделе министерства Рамазана поздравили с огромным успехом и стали советовать: «Бросай-ка ты свои издательские дела, пиши только такие рассказы!»

Своим продвижением к поэзии Назыма в годы моей учебы в педагогическом училище я обязан и Мустафе Сейиту Сутювену. Мы познакомились с ним в небольшом городке Эдремите во время каникул между двумя семестрами, когда я отправился повидаться со своим дядей, учителем в деревне Кызылкечили. Мустафа Сутювен только и говорил что о Назыме и Сабахаттине Али.

Много позже, во второй половине 40-х годов, предметом наших бесед стал также и художник Абидин Дино. Так мое знакомство с Мустафой Сутювеном и мое увлечение Назымом скрепили нашу дружбу с Дино

В те дни с помощью Мустафы Сутювена количество стихотворений Назыма в моей тетради литературных шедевров значи-

[1] Старая улица в Стамбуле, где помещались редакции газет и журналов.

[2] Турецкий прогрессивный журнал, в котором в 1929—1930 гг. сотрудничали Назым Хикмет и многие представители передовой интеллигенции. Супруги Сертель (Зекерия и Сабиха) — издатели журнала.

тельно возросло. В тетрадь вошли стихи «Как Керем», «Наши песни», «Письмо к жене».

Стихи из консервной банки

В 1938 году я выдержал вступительный экзамен в Анкарскую государственную консерваторию. Не хочу хвастать, но это произошло отчасти потому, что я хорошо декламировал стихи Назыма.

В тот год Назыму был вынесен приговор с такой же роковой несправедливостью, что и в деле Дрейфуса, и когда на вступительном экзамене незаметный деревенский учитель в ответ на просьбу что-нибудь прочитать выбрал стихотворение Назыма, это вызвало в отборочной комиссии известное беспокойство, а затем и протест. Сабахаттин Али и известный театральный деятель Мухсин Эртугрул потушили это беспокойство и повлияли на то, что я получил хороший балл за искусство декламации.

Прошло лет двадцать, а может быть и больше. Во время одной из наших встреч с Назымом я работал над созданием получасовой программы из его «Дестана о войне за независимость». Я выбрал оттуда «Рассказ о Черной змее», «Рассказ об Исмаиле из Архави», затем отрывок из части ближе к финалу «Некоторые из них...», потом «Великое наступление». Я читал каждый отрывок так, будто выступал перед зрителями. Назым в это время по моей просьбе смотрел на часы, и мы подсчитывали, сколько времени займет все чтение. Когда я закончил «Великое наступление» словами: «...и началось с рассветом огнем артиллеристов Великое наступление», я поднял голову, чтобы посмотреть на Назыма. И что же я вижу! Назым плачет. Я заглянул ему в глаза, как бы спрашивая, в чем дело. Он ответил: «Ну, как я тебе объясню, что в первый раз слышу такие прекрасные стихи? Ведь ты скажешь, что я хвастаюсь, не так ли?» Я не знал, что ему сказать, а он продолжал: «Я в первый раз слышу, чтобы мои стихи читали так прекрасно».— «Помилуй, маэстро, ты мне льстишь»,— ответил я. И, оправдывая себя его похвалой, похвастался сам, как получил некогда хорошую отметку на экзамене в консерватории. «Читать стихи— такое же искусство, как и писать их»,— сказал Назым и спросил, нравится ли мне, как он читает свои стихи. Это был трудный вопрос для человека, преклонявшегося перед ним, может быть даже несколько подавленного его величием. Поэтому я начал издалека: «Покойный Джахид Сыткы не умел читать... Ведь говорят, что это — дар божий. У него этого дара не было. Никто его стихи не читал хуже его самого». Назым не выдержал: «Ты про меня скажи».— «Я не слышал Фазыла Хюсню, но говорят, что и он не умел читать свои стихи, заикался».— «Значит, я плохо читаю свои стихи?» — «Нет, этого я не говорю. Но...»— «Ну что — «но»?..» — «Я слышал с магнитофонной записи, с пластинки, как ты читаешь «Керема», «Турецкого крестьянина», «Каспийское море»...» — «Ну и в чем же мой недостаток?» — «Я ничего такого сказать не могу, но в некоторых местах мы с тобой расходимся в смысловых акцентах, в интонациях — то есть читаем по-разному». Он вскочил, словно у него внезапно выросли крылья, и воскликнул: «Дай твою руку! Мне этого еще никто не говорил. Я понимаю и принимаю. Если бы я не слышал, как ты только что прочел «Великое наступление», то я, возможно, не поверил бы. Но сейчас мне нечего возразить, король всегда прав».— «Давай лучше заключим договор о соревновании, маэстро,— предложил я,— и узнаем, кто лучше читает твои стихи: ты или я». Скажу сразу: ни он не проиграл этого соревнования, ни я не выиграл.

Во время учебы в консерватории сблизиться с поэзией Назыма мне помогли и Сабахаттин Али, и Эмин Тюрк, и Джевдет Кудрет, позднее читавший у нас курс литературы. Я не испытывал недостатка в Назыме, я мог дышать его стихами, мог плавать в аквариуме его поэзии.

Как бы это лучше объяснить? Мы размножились в аквариуме поэзии Назыма сами по себе, как рыбы. Не сговариваясь, не давая этому никакого названия, мы внезапно организовались в тайную группу. В ней — мои однокурсники и студенты следующих курсов вплоть до последнего. Мы без лишних слов встречались по знаку Хайдара то в уголке коридора, то под деревом во дворе или — в конце недели — в кофейне, которая находилась в Ташхане, немного в глубине от входа в Парк молодежи. Хайдар — это наш «баночник». Вы спросите, что это значит? «Банка» — это обыкновенная жестянка из-под оливкового масла или сыра. В тюрьме, раздобыв такую банку, ее как следует очищали, закладывали в нее новое стихотворение Назыма, запаивали крышку, затем выносили за железные ворота тюрьмы, доставляли на место, где вскрывали крышку, размножали стихотворение, и одна из его копий, пройдя множество рук, попадала к нашему Хайдару, а он собирал нас... Говорить ничего не требовалось. Мы шли к нему, заранее приготовив бумагу и карандаши. Таким вот образом мы записали «На вокзале Хайдарпаша...», «Шофер Ахмет» и еще немало отрывков из «Дестана о войне за независимость».

С ним и в тюрьме сидеть стоит

В июне 1947 года я сидел в тюрьме в Анкаре. Под тюремной башней помещались трое коммунистов. Все трое добавляли в те времена как приправу к своему пропитанию поэзию Назыма. Они быстро распознали, что и мне знаком вкус этой приправы, и стали разделять ее со мной. Один из них, Нихат Бальоз, читал наизусть стихотворения «Пятнадцать», «Ночью идет снег» («У ворот Мадрида»), «Турецкий крестьянин». Читал стихи и другой коммунист, Зихни Анадол. Он и сам писал. Главными авторитетами для него были Маяковский и Назым Хикмет.

Однажды, после долгих рассказов о

тюрьме в городе Бурсе, о писателе Орхане Кемале и художнике Балабане, сидевших там, Зихни заговорил о том счастье, которое доставляет общество Назыма. «Ты знаешь,— сказал он,— в нашей народной песне говорится: «С некрасивой и мед в рот не идет, с красивой — хоть камни таскай». Так и с Назымом: можно и камни таскать, и в тюрьме сидеть».

Сегодня я горюю о тех днях. Не потому, что я сидел в тюрьме, а потому, что не попал в тюрьму Бурсы. Если бы я находился в тамошней тюрьме, может быть, и для меня, как для Орхана Кемаля, три с половиной года промелькнули бы, как три с половиной дня. Если бы Назым, который с первого дня заключения приобщил Орхана Кемаля к политэкономии, философии, французскому языку, который стал учителем и для писателя Кемаля Тахира, позволил бы мне просто находиться рядом с собой, то, возможно, эти три с половиной дня своевременно определили бы мою дальнейшую судьбу.

Но этого не случилось.

«Самый отважный сын своей страны...»

Летом 1947 года я вышел из тюрьмы. Мы, друзья и коллеги, стали частенько встречаться в Анкаре в «Кабачке у курда». Раз в месяц, в те вечера, когда Джахид Сыткы, получив деньги, платил по счету, мы собирались за его столиком в ресторане Шюкрана. Мы не могли насытиться своими разговорами, они превращались для нас в пиршество поэзии.

Однажды я снова встретился со своим товарищем Зией Ямачем. У нас были общие судьбы. Я говорю «снова», потому что наше знакомство восходит к тем годам, когда мы были деревенскими учителями. И вот мы встретились в обеденный час у парка, обменялись приветствиями. «Зайдем на минуту»,— предложил он. Мы вошли в парк. Над головой сияло солнце. Слева — зеленая лужайка, сосны, хотя и совсем молоденькие, но выше человеческого роста. Мы уселись под одной из них. В толстых пальцах Зии зашуршала бумага. Он развернул ее. Мелькнуло название стихотворения. Он стал читать. Первое четверостишие, второе. Конец такой: «О, проклятая судьба, что за игру ты ведешь? Самый отважный сын своей страны, старший брат Назым, гниет в тюрьме». Я спросил, чье это стихотворение. В медового цвета глазах Зии мелькнула горькая усмешка. Это было стихотворение Джахида Сыткы. Мне показалось, что солнце, светившее над нашими головами, переместилось и засияло из рукописи Джахида. В этом стихотворении, написанном в стиле ашугской поэзии, говорилось о большой несправедливости, совершенной по отношению к Назыму, стихотворение рождало щемящее чувство, и хотя протест, выраженный в нем, был пассивным, он производил сильное впечатление. Меня словно обожгло внутри. Могу сказать, что от этой боли началось мое осознание судьбы Назыма, мое самоотождествление с ней.

Вот вкратце то, что я могу рассказать о моем знакомстве с Назымом в его отсутствие: как я встретился с его поэзией и соединил с ней свой путь, как я словно бы прошел через назымовский фокус. Все это было еще до того, как я уехал из своей страны, как я «узнал разлуку с родиной». Когда я покидал свой край, Назым составлял большую часть моего внутреннего багажа. Он определил мои мысли, чувства — сострадание, протест, негодование. Тогда я еще не ощутил тепла руки Назыма. Мне предстояло его ощутить многие годы спустя, когда я увидел над подписью Балабана, приславшего мне картину, его слова: «Ф. Эрдинчу, первые рассказы которого мне дал прочесть Назым»; когда я узнал, что и Орхан Кемаль сказал: «И я читал Фахри в тюрьме»; когда мне стало известно, что Назым отметил в моей первой, вышедшей в сороковые годы поэтической книжке две строки: «Иногда люди живут в том месте, где родились, иногда умирают там, где не родились»,— и сказал: «Вот и я умру, возможно, не там, где родился...»

Я должен особо подчеркнуть, что для поэта страх перед забвением — это святой страх. Быть непонятым, непризнанным, забытым — такое несчастье означает для поэта как бы предварительную смерть. И когда на двадцатом году моего изгнания я снова появился на белый свет благодаря изданию моей книжки в Стамбуле, когда из писем некоторых своих друзей узнал, что я дошел до своих читателей и не забыт ими, я очень обрадовался, да что там — не то слово: в буквальном смысле ожил.

Когда в сентябре 1951 года в Софии мы в первый раз встретились с Назымом, он, не выпуская моей руки, сказал: «Я знаю вас еще с родины». Не скрою, мои колени дрожали, я был словно мальчишка в коротких штанах, как в те дни, когда я впервые услышал его имя.

Комета

В марте 1958 года, когда я вступил в партию, первую телеграмму я получил от Назыма. Он поздравил меня. Я был счастлив. Теперь я стоял с ним в одном строю.

Я выехал из Болгарии по служебному делу. Мы собрались в стране, которую я тогда увидел впервые, в городке А., где нас никто не знал.

С нетерпением ждали приезда Назыма. Мы надеялись, что, если ему позволит состояние здоровья, он приведет в порядок свои дела и непременно приедет. Путешествие в то время было для него делом нелегким. Он должен был соблюдать режим, не мог налолго оставаться без врача, ему нельзя было подниматься по лестнице, не рекомендовалось летать самолетом. Но нужно сказать, что начиная с этого времени на протяжении пяти лет, до самой смерти, он приезжал по нескольку раз в году.

Назым никогда не извещал заранее о своем приезде. Приезжал он на три дня или на три недели — на сколько хотел,— в последний вечер кому-нибудь случайно говорил о своем отъезде и уезжал на следующее утро. Мы не знали ни откуда он приедет, ни куда уедет, расставшись с нами. В точности как комета. Одно лишь зна-

ли хорошо: по кратчайшей дороге, как по прямой между двумя точками, он вернется в Москву, к Вере [1].

Он сваливался к нам в разгар работы, как горящий уголь,— он согревал, воспламенял, воодушевлял нас, придавал нам энергии, рождал в нас веселье и оптимизм. Тепло этого угля грело наши сердца.

В тот год он внезапно появился в конце мая, а может быть уже в июне — заехал, возвращаясь из Парижа. Сказал, что на три дня. Даже не отряхнув пыль с ног, позвонил в Москву. Только после этого стал здороваться с нами.

У нас не было времени для продолжительных бесед, каждый наш день был полностью отдан работе. В нашей программе борьбы и минимальных экономических требований был вопрос о восьмичасовом рабочем дне, но сами мы работали по шестнадцать часов в сутки.

Назым тотчас же занял место за большим столом. Мы оказались друг против друга. Он смотрел перед собой, со вниманием слушал выступающих, но при этом время от времени рисовал в своем блокноте или на клочках бумаги портреты. Это были не просто незатейливые наброски, а зорко схваченные и вырисованные типажи. Он не подписывал имен, не делал примечаний, но, несмотря на это, я с первого взгляда узнавал, кто нарисован: вот рабочий в кепке, которого он, наверное, видел в тюрьме, вот охранник, возможно, начальник тюрьмы, вот мелкий буржуа-компрадор. Этот лысый человек с маленькими усами и добродушным носом — наш Кельоглан. Этот...

Всех не перечислить. В конце собрания, встав после деловой части, он бросал свои рисунки на столе. Их расхватывали. Многие мои товарищи сохранили рисунки Назыма. Несколько рисунков есть и у меня.

Хотя наша встреча с Назымом носила характер делового сотрудничества, в ней было своеобразие, необычайно приятное для моей души. Исчезла прежняя полуофициальность, невозможность встречи без предварительной договоренности и тому подобные преграды. Назым был гигантом, он быстро устранял расстояние, отделявшее его от каждого, делал далекое близким. Начинался разговор на «ты», задушевная дружба, близость в повседневной работе, в быту. Теперь мы могли входить к нему запросто, могли разделить с ним одну сигарету на двоих. Мы могли спорить с ним, противоречить ему, соглашаться или не соглашаться, но когда работа, заканчивалась, все снова приходило в норму. Я знал об этом его качестве и раньше, но теперь увидел все это собственными глазами.

Если нам удавалось выкроить свободные полчаса, Назым выходил с нами на прогулку в лес. Когда мы играли в волейбол, он хватал свисток и становился судьей. Если Назым был в хорошем настроении, он надевал фартук и отправлялся на кухню. Но в любом случае: в лесу или на кухне — бывало, что он вдруг, погрузившись в себя, усаживался под деревом или на камень или хватался тут же на кухне за ручку и бумагу. В такие моменты, когда очки его опускались на кончик носа, когда он вгрызался в свой ноготь, его нельзя было ни окликать, ни о чем-нибудь спрашивать, ни вообще приближаться к нему.

В эти дни он впервые прочитал нам свои стихи о Париже. Мы услышали: «Париж без тебя», «Версаль в берете», «В Париже 28 мая 1958».

Никогда не забуду наш последний вечер с Назымом. Мы снова собрались в доме у Зекерия-бея. Ужинаем, смакуем водку, которую хозяин настоял на лимонных корочках. Смотрим телевизор, говорим о родине.

Перед тем как нам расстаться, Назым надписал кому-то из нас свою книгу, кому-то — фотографию...

На прощание мы расцеловались с Назымом. Не закрывая дверцы машины, он спросил:

— Ну как, ты пишешь стихи, рассказы?..

— Еще более того, пишу повести,— ответил я.— На будущий год в Софии запланирована моя книга, сейчас занимаюсь ею.

— Я хотел бы поглядеть. Кое-кто говорит, что в твоих рассказах слишком много политики.

— Хорошо. Я дам тебе их в рукописи при нашей следующей встрече.

— Прочту. Если хочешь, то и предисловие напишу.

Я поблагодарил. Он отобрал у меня четки местной работы. Захлопнул дверцу. Я увидел сквозь стекло его руку, делающую прощальный жест. Машина тронулась.

Я повел Назыма в цирк

В 1959 году мы напрасно ждали Назыма. Он не приехал. Вместо себя он присылал нам послания и забрасывал нас стихами: «Поношение Аднан-бея» [1], «Страх», «Начальник управления безопасности», «Как погубили эту родину?».

Летом этого года нам с Йорданкой довелось отдыхать в Советском Союзе. В конце июня мы прилетели в Москву. Отсюда мы должны были ехать на Кавказ. Опять на два-три дня мы стали москвичами.

Назым пригласил нас, и мы с охапкой цветов отправились в последнее пристанище маэстро. Он и его жена были очень гостеприимны, а потом довезли нас до гостиницы в своей машине, которую вела Вера. Снова приглашали нас к себе. Но на следующий день наша программа отчего-то немного изменилась, и после обеда мы улетели в Сочи.

Через двадцать дней, в тот же вечер, как мы вернулись в Москву, Назым вновь пригласил нас в гости. Я извинился и сказал, что опять должен подчиниться программе: мы идем в цирк.

— Ну что это? — сказал он.— Разве некуда больше пойти?

— Есть, маэстро, но у нас свои причуды. Предложили мне в Большой — я не захотел; сказали: «в музей» — тоже отказался; «на завод» — говорю: «В другой раз». Только две вещи меня заинтересовали: за-

[1] Имеется в виду жена Назыма Хикмета В. Тулякова-Хикмет.

[1] Имеется в виду стихотворение «Письмо турецкого сержанта, погибшего в Корее, Аднану Мендересу».

хотелось посмотреть, как роют метро, и еще попросил, чтобы повели в цирк...

— Ну, ладно...

— Нет, маэстро, цирк — это не пустяк. По-моему, цирк выше, чем искусство рассказа. Больше всего мне нравится в цирке то, что там дело не потоплено в болтовне. Клоун — это величайший артист, использующий минимум речи...

Замечаю, маэстро стал серьезным и внимательно меня слушает, и я продолжаю свою лекцию:

— Возьмем, например, ребенка: если он хочет понравиться, то либо читает выученные стихи перед родителями и гостями, либо, чтобы показать свою ловкость, гоняет по земле мяч или выделывает прыжки, словом, выкидывает какие-нибудь фокусы. И ведь не секрет, что в основе у нас есть обезьянье начало. Когда-то мы перепрыгивали с ветки на ветку, отыскивая плоды или спасаясь бегством, потом потребовалось умело попадать стрелой в добычу, и вот все эти способности, которые со временем по велению нашего разума, благодаря нашим рукам и зрению, мы развили в себе, концентрируются на цирковой арене. Меня больше всего поражает в человеке одно: ловкость его рук...

— Хватит,— сказал Назым,— тебя слегка занесло, но клянусь, я поверил. Я ведь уже много лет не ходил в цирк. Возьмите сегодня вечером меня с собой.

В этот вечер мы с Назымом дивились искусству людей и зверей: клоуна Олега Попова, знаменитых акробатов, канатоходцев и жонглеров, собачки Олега Попова, индийских слонов и африканских львов. Мы хохотали так, что у нас чуть не лопались животы. Еще важнее, что мы опять убедились: удивляться и смеяться — это прекрасно.

Последняя встреча

12 апреля 1963 года, под вечер. Мы вдвоем с Назымом едем в автомашине в столицу. Он сидит рядом с водителем. Я — позади него.

Прямо передо мной его затылок. Мое лицо настолько близко к нему, что я вижу, словно в увеличительное стекло, проступающие веснушки, неглубокие квадраты морщин на шее, посеребренные волосы...

Некоторое время Назым возился с радиоприемником, но ничего путного не смог поймать.

— Эти ненормальные аппараты не принимают даже того, что за соседним углом...

— А что ты хочешь? Стамбул или Анкару? Музыку для саза или пьесу, классическое пение или народные песни? — спросил я.

— А, знать бы самому,— ответил он и щелкнул выключателем.— Спой, пожалуйста, какую-нибудь песню.

Я начал петь классическую песню, нещадно перевирая ее, не зная толком мелодии.

— Браво-о-о! — сказал он.

Я замолчал. Автомобиль и мы снова наполнились шорохом шин, который вырастал до гула.

Он должен был улетать в Москву на следующий день рано утром. Поэтому мы выехали из дома с вечера. Я случайно оказался его попутчиком. У меня были в городе свои дела, закончив которые я должен был вернуться.

Назым поднял руку и почесал затылок. И сами собой пришли на память строки: «Я, который на своих запястьях железные наручники /носил, словно золотые браслеты/, я, который, глядя на веревки с намыленными петлями,/ почесывал свой крепкий волосатый затылок...»

— Хорошо,— сказал он,— когда чувствуешь, как тебе в затылок дышит друг, и вместе с его дыханием слышишь самого себя...

Назым снова протянул руку к радиоприемнику. Послышалась легкая музыка. Бодрый мужской голос повторял, делая ударение на первом слоге: «Ка́питан, ка́питан!..»

— Это что,— сказал Назым,— слышал бы ты, как я орал во всю глотку: «Капита-а-ан, капита-а-ан!»

— Когда, маэстро?

— Когда я бежал... в Черном море...

Я знал, что он вообще избегает разговаривать на эту тему, и, навострив уши, молча ждал продолжения.

— Мы вышли в море, оставив слева Кильос. Ладно. Плывем час, еще какое-то время. Идем хорошо. Находимся уже на полпути между Кильосом и Варной. Вдруг: тах-тах-тах — замолчал наш мотор! Ах ты, дьявол... Неужели кончилось горючее? Нет, еще есть. Значит, что-то с мотором. Запустили его раз, другой, и-и-и — не работает! Неужели застрянем посреди моря? Как щепка — на волю волн...

— В точности как было с твоим героем из «Дестана о войне за независимость». Помнишь, как ты писал: «Ветер внезапно рванул со стократной силой, вмиг все канаты упали, как перерезанные ножом...»

— Да, положение такое же. Волны тащат нашу лоханку в открытое море, и ничего нельзя сделать.

— Страшно.

— Выбываем из игры... Вдруг справа вдалеке — о чудо! — на горизонте пароходный дым! Подождали немного, дымящая посудина постепенно приближается, вырастает, и мы наконец понимаем, что перед нами румынское грузовое судно. Встал я, еле-еле утвердился дрожащими ногами посреди моторки, размахиваю пиджаком. Судно вроде бы идет по направлению к нам. Ору: «Капитан! Капитан!» У фальшборта появился человек. Никакого внимания. Как будто мы не барахтаемся тут, не надрываемся в крике, а играем на свирели, и он равнодушно слушает. «Эй, на помощь! Капитан! Я Назым Хикмет!» — кричу. А он: «Кто?» Ну, не рассказывать же ему свою родословную. Кричать, что ты турецкий поэт, поэт-коммунист, известный поэт и тому подобное — для румынского матроса ты всего лишь шишка на ровном месте. Делать нечего, кричу по-турецки, по-русски все, что в голову приходит: «Зови капитана, парень! Капита-а-н! На помоо-щь!» Наконец понял. Отошел от фальшборта. Через несколько минут вернулся с кем-то в белой фуражке. Судно сбавило ход. Человек спросил в мегафон: «Кто вы?» Я тотчас

приложил руки рупором ко рту и загремел: «Я Назым Хикме-е-ет...» Человек не отреагировал, того и гляди, опять спросит «кто?». Эх, подумал я, и капитан меня не знает. Сейчас уйдет и прикажет дать полный ход. Ей-богу, уйдет. Что же, значит, пропадать? Я в порыве отчаяния простер руки: «Я коммунист Назым Хикме-е-ет, поэ-э-эт, турецкий поэ-э-эт!..» Он сделал знак рукой. «Ох, видно, понял,— подумал я.— Слава богу!» У фальшборта быстро собрались люди. Судно еще замедлило ход. Потом спустили трап, и два матроса свесились, чтобы помочь нам. Бросили канат, мы не смогли его поймать. Поймали только на второй раз. Подняли нас наверх, а потом с помощью канатов и крючьев подняли и нашу моторку... Хорошим человеком оказался капитан, мы быстро с ним сошлись...

— А потом?

— Потом я был в каюте, меня закутали, но до самой Констанцы, несмотря на июньскую жару, у меня стучали зубы.

Наша автомашина остановилась у отеля. Назым не любил отелей, даже самых комфортабельных, называл их «враждебной страной». Но этот почему-то располагал его к себе. Там было спокойно, чисто, и о кухне нельзя было сказать ничего плохого.

Я помог ему устроиться. Он пригласил меня поужинать, и мы вместе спустились в ресторан.

После ужина мы вышли прогуляться по маленькому луна-парку, устроенному напротив отеля на площади, образовавшейся после расчистки военных развалин. Мы увидели «кетенхалву» и обрадовались, как дети. Возвращаясь с огромными комьями «сахарной ваты» в руках, мы разговорились о ночах рамазана [1], во время которых у нас выходят на улицу с фонарями, и тому подобном. Было уже больше одиннадцати вечера. Мы расстались у отеля, поцеловались, причем на наших усах еще оставались нити халвы. Я не знал тогда, что это была наша последняя встреча, наш последний поцелуй.

Могила Назыма

Кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. Здесь все является живым свидетельством старания воздать должное мертвым, которое дополнило бы почтение к ним как к живым.

С первого же взгляда сразу обращают на себя внимание три вещи: монументальный и необыкновенно прекрасный, приковывающий взор своей архитектурой в православном стиле и позолоченными куполами, кружевной и разноцветный монастырь; ухоженный парк; и могилы — одна другой красивее, с белым мрамором, отделанные, украшенные великолепными находками — знаками и данью памяти. Тому, кто говорит «могила не бывает красива», советую посмотреть это место.

[1] Мусульманский месяц поста, когда постятся весь день, а после захода солнца едят и веселятся.

Назым спрашивал: «Сын Хикмета, в каком городе ты хотел бы умереть?» И отвечал так: «В Стамбуле, в Москве, да еще в Париже».

Кладбище — не место для Назыма, но прекрасно то, что он умер в Москве, как и сам того желал, и обрел место на этом кладбище.

Поэтому и могила Назыма прекрасна. Она в длину и в ширину заключена в гранитную оправу. В середине — зеленый газон. В головах — серебристая ель. На могиле установлен гранитный камень вдвое выше человеческого роста. Ровная, отполированная, блестящая темная поверхность камня обращена не к могиле, а вправо от нее. На этом каменном зеркале изображена фигура Назыма Хикмета во весь рост, словно он идет против ветра, слегка нагнувшись, устремленный вперед. И сверху — его характерная подпись. Да, это он. В точности он. И есть еще те, кто вытесали этот могильный камень, нанесли на его зеркальный бок изображение Назыма, вырезали его подпись, принесли Назыма сюда на плечах, похоронили, посадили дерево, поливают газон и цветы, приходят сюда и стоят, скрестив руки, у его могилы..

Да, это Новодевичье кладбище в Москве. Это не деревенское кладбище в Анатолии. Слева от Назыма лежит советский генерал, герой гражданской, может быть, второй мировой войны, а не соседка «Айше, родившая прямо на земле, во ржи, и умершая в муках». Место справа пока пустует. Другой сосед, «поденщик Осман, убитый по приказу Хасан-бея», еще долго будет ждать на деревенском кладбище в Анатолии своего соседа Назыма...[1]

Я прижал ладонь к гранитному камню, словно приложил руку ко лбу Назыма. Нагнувшись, поцеловал камень, потом стал на колени и начал про себя складывать первые строки своего стихотворения «У его могилы».

Назым Хикмет ушел из жизни, так и не получив возможности встретиться лицом к лицу со своим народом. Он так мечтал, так тосковал об этом. В 1962 году, когда приближалось 60-летие со дня его рождения, в интервью на вопрос о том, чего бы он пожелал в свой юбилей, Назым ответил: «Я хотел бы быть там, у нас, среди моего народа, рядом с ним, лицом к лицу, хотел бы говорить с ним, с тем, кто всего сильнее, с тем, кто что бы ни совершил — все прекрасно. Пока этого не произошло. Не может произойти. Но я ни на миг не переставал думать о своем народе. Его боль — моя боль, его нужды — мои нужды, его стремление — мои стремления, его борьба — моя борьба».

Поэтому я не мыслю Турции без Назыма, они неотделимы друг от друга.

Февраль 1981 г.
София

[1] В стихотворении «Завещание» (1953) Назым Хикмет просит похоронить его на деревенском кладбище в Анатолии между поденщиком Османом, убитым по приказу Хасан-бея, и Айше, родившей во ржи и умершей в муках.

Антирубрика

Старейшина австралийской литературы. Портрет художника Ноэла Куниxан.

АЛАН МАРШАЛЛ

РАССКАЗЫ

Перевод с английского ЛИИ ЗАВЬЯЛОВОЙ

Австралийские чудаки

В буше встречается много чудаков обоего пола, которые поступают вразрез с общепринятыми понятиями. Но опыт подсказывает мне, что за странными поступками всегда скрывается какой-либо смысл.

В прежние дни я знавал фермера, который всегда покупал норовистых лошадей. Его послушать, норовистая лошадь не отбрыкивается от тяжелой работы, а поэтому ее приобретение вполне оправдывает себя, поскольку стоит она дешевле. Соседи считали его придурком, однако я весьма сомневаюсь в этом.

Мой давний знакомый — пожилой человек, держал корову, которую доил когда вздумается, а не по часам. При этом он не знал никаких хлопот — ни с коровой, ни с молоком. Оказывается, у него не было холодильника и раньше молоко всегда скисало. Как же избежать такой напасти? Хранить молоко в корове — лучше этого ничего не придумаешь. Что вы могли бы тут предложить? Ну, какой смысл доить корову впрок, если это можно сделать в тот момент, когда вам потребовалось свежее молоко. Главное, доить корову ежедневно. Может, у него и были не все дома, но у коровы от такого доения молоко не пропадало.

Я знаю парня, который однажды положил куриное яйцо в сумку, предназначенную для кенгуренка, чтобы оно там «вылежалось». Он извлек его день в день, когда цыпленку пришла пора вылупиться, разбил скорлупу, и, по его словам, опыт удался. Он решил продолжить эксперимент и получить целый выводок цыплят. С этой целью он положил в сумку уже соответствующее число яиц, завернув их во фланельку — для предосторожности. Вот уж чем это дело кончилось, право, не скажу — не знаю.

Несколько месяцев назад в газете упоминался случай, происшедший в больнице. Пациент, вынужденный лежать на спине в гипсе, «вылежал» цыпленка, закрепив яйцо на себе бинтом. Чего доброго, скоро инкубаторы уйдут в прошлое, а в больницах начнут не только людей лечить, но и попутно цыплят разводить.

Однажды фермер рассказал мне, что гоана проглотила яйца, которые он положил под несушку в стоге сена. Два дня спустя он отыскал эту гоану, вспорол ей живот, извлек яйца, положил их обратно под курицу и получил выводок прекрасных цыплят.

Вполне возможно, что этот человек и морочил мне голову, однако на него все это весьма похоже.

В Пентон-Хилле, штат Виктория, жил старикан, который примерно раз в полгода залезал со стулом на печную трубу и просиживал там целый день, не обращая никакого внимания на заклинания соседей сойти вниз. Он никогда не мог объяснить, почему его тянуло на трубу. Просто нравилось сидеть наверху — и весь сказ.

В Мельбурне есть мужчины, которые регулярно плавают в море до завтрака, каким бы утро ни было холодным. Они ут-

© Alan Marshall, 1981.

верждают, что получают от этого большое удовольствие, да еще подбивают других следовать такому примеру.

По мне, так уж лучше отсиживаться на печной трубе.

Мои встречи с любителями приврать

Хорошо соврать умеет далеко не каждый. Хороший врун отличается от плохого, как вино из отборного винограда от вина из бросового. Хорошее вино и хороший врун бодрят и воодушевляют. Плохое вино и плохой врун наводят уныние. Хороший врун не пытается вас одурачить. Плохие же способны на все, лишь бы заморочить вам голову, принизить, вывести из себя.

Хороший врун, какие нередко встречаются в буше, рассказывая вам небылицу, оказывает любезность, так как считает, что вы можете оценить его мастерство. Он не ждет, что вы ему поверите, но надеется, что вы воздадите ему должное.

Впрочем, как бы там ни было, враля стоит послушать, если он врет интересно. Если вы его слушаете открыв рот, значит, он добился успеха, а если зеваете, значит, он бездарь и вы не обязаны ставить ему выпивку.

Есть враны, которые сочиняют в расчете на угощение. Однажды в пивной в Бруме коренастый парень в подпитии, положив руку мне на плечо и засматривая в лицо, заявил:

— А знаешь, я говорю по-испански. Приведи любого австралийца и убедишься. А все почему? Я образованный. Трижды объехал земной шар. Посмотри на меня. Где только я не бывал! Хочешь стать образованным — разъезжай по белу свету Слушай. Мое время вышло. Стоит мне прилечь — и я уже не проснусь. Но у тебя все впереди. А деньжата у тебя есть?

— Мало,— ответил я, выглядывая через открытую дверь на улицу, где от раскаленной земли струился горячий воздух.

— Плохи твои дела,— покачал он головой. — Тогда не жди в жизни удачи.

Чуточку протрезвев, он ткнул мне пальцем в грудь:

— Я знаю, где есть золото,— нагнись и подними. Будь у тебя деньги, ты мог бы это сделать. Оно торчит в скале, как изюм в пудинге. Но у тебя нет денег. Жаль. Значит, ты не сможешь путешествовать, получить образование и выучить испанский.

— Что правда, то правда,— мрачно подтвердил я, купил ему выпивку и спросил: — Где же эта золотая жила?

— А-а! — воодушевился он. — Сейчас мы с тобой туда отправимся. Дай десять монет и ты сможешь путешествовать и говорить по-испански, как я. За десять долларов тебя ждет богатство.

— Нет у меня таких денег.

Парень сник.

— Ты никогда не заговоришь по-испански.

— Никогда,— поддакнул я, заказал еще две порции, и мы с ним молча выпили.

Случается встретить врунов, у которых не все дома, но их я врунами не считаю — они верят, что говорят правду.

Как-то солнечным утром в Таунсвилле я разлегся перед своей хижиной и тут увидел, как ко мне с дороги направляется непричесанный мужчина лет тридцати пяти с заплечным мешком, где, судя по тому, как он оттопыривался, лежали бутылки.

На его лице играла счастливая улыбка, и, подойдя ближе, он сказал:

— Извините, сэр. Я беглый преступник.

— Откуда же ты убежал?

— Я убежал из ада и из тюряги — вчера вечером меня отпустили.

— Отпустили — не значит бежал!

— Значит. Меня отпустили, потому что я психованный.

— Это интересно. И как ты себя чувствуешь?

— Превосходно. Теперь я могу все. У меня справка, что я псих.

— Вот как? Это, должно быть, очень удобно.

— Еще бы. Видите ли, в тюрьме становятся психами оттого, что спиваются. А я психую, когда не пью. Человек — сложная штука. С виду я вроде спокойный, а внутри у меня частенько все бушует.

— Ты пьешь самогон?

— Каждый божий день. Замечательная вещь. А если подлить красных чернил, то, я бы сказал, лучше не бывает. Не собираюсь вас совращать, но сам я перепробовал все.

— Боюсь, что у тебя слабый характер.

— Слабости человеку не вредят. Сильному недоступны радости жизни — их может оценить только слабый, не способный им противостоять. А сильный растрачивает себя на борьбу с ними. Я твердо верую в слабость.

Я готов был ему сказать: «Верни справку — зря тебе ее выдали». Но его уже и след простыл.

Самые занятные враны — мастера по части небылиц. Они расскажут вам и про места, где такое засилье ворон, что, взлетая, они застилают все небо, и наступает тьма — в пору зажигать свечи; и про горы — такие крутые, что, когда на их склонах пасутся лошади, похоже, будто они стоят на задних ногах; и про деревья — такие высокие, что макушку разглядишь лишь на третий день...

Жаль, что я не дослушал байку, которую рассказывал один парень в пятнадцати милях севернее Балраналда. Там в пивную набились стригали. Ума не приложу, как меня втянули в состязание на лучшую историю против тощего, подслеповатого парня с моржовыми усами и с недельной щетиной на лице. Проигравший ставил угощение. Я был уверен, что побью соперника, так как многие годы коллекционировал небылицы, но двадцать минут спустя засомневался в себе.

Мы с ним попеременно рассказывали байки, и каждая следующая была бесподобнее предыдущей. Собственно, эта борьба за совершенство и увлекала меня. Пришла его очередь, и он самоуверенно начал:

— Много лет назад я повез на тачке с волами через Джампинг Сендхилл, возле Уилканния, пять тонн свистулек...

— Все! — сказал я. — Твоя взяла. Я угощаю.

Лишь назавтра я вспомнил, что не дослушал эту историю.

Опыт подсказывает мне, что вруны Квинсленда — лучшие в Австралии. Чтобы настроиться на сочинение действительно непревзойденных небылиц, нужны именно такие просторы, какими располагает этот штат.

В Баркли Тейблленде, что в Северной территории, где насколько хватает глаз, до самого горизонта, растет трава, а скот пасется на холмах, не зная изгородей, воду можно получить только из артезианских колодцев.

Там работают так называемые качальщики. Каждый обслуживает свой колодец. Они ведут одинокий образ жизни — ни единой живой души вокруг, не считая птиц, коров да овец. А людей видят только тогда, когда повозка с продуктами приезжает пополнить их запасы.

Один старик качальщик сказывал мне:

— Вся моя компания — собака и губная гармоника, но я не могу играть на ней, потому что моя собака этого не переносит.

Другой качальщик, какого я встречал, был фанатичный любитель радио. В его лачуге стояли два приемника — на случай, если один выйдет из строя. Однажды я приехал к нему на повозке с провизией. Он не видел человека несколько недель. Когда же повозка остановилась у двери, он только приоткрыл ее и крикнул:

— Оставьте продукты на земле. Я слушаю радио,— и закрыл за собой дверь — так мы с ним и не познакомились.

За отсутствием слушателей эти люди не научились сочинять небылицы, но, случается, умеют несколькими фразами передать целую картину.

Корелы — белые какаду с синими ободками вокруг глаз — пьют из этих же колодцев. Один качальщик рассказал мне, что они стайками садятся на антенну, так что она даже прогибается, а он часами наблюдает за птицами.

Они захватывают клювами проволоку между лапок и качаются вниз — кругом, вверх — кругом, вниз — кругом, вверх — кругом...

Он бесконечно повторял одно и то же, заглядывая мне в глаза. Я отвернулся. А он твердил свое.

— Прощай,— сказал я.

— Просто с ума сойти,— заключил он.

Я вполне мог его понять.

Как-то я разбил палатку в Мурумбиджи. Какой-то рыжий парень расположился со своей рядом. Я видел, как он глотнул из фляги, но, когда он присел со мной поболтать, он не был пьян. Мы говорили о любителях присочинить, потом перешли на болезни.

Он рассказал, что ему привелось лежать в больнице в Уилканния, где сосед по койке страдал от дизентерии. Койку этого бедняги ширмой отделяла простыня, и он, не умолкая, громко разговаривал сам с собой, глядя в потолок:

— Там, наверху, две свиньи — белая и черная. Они подрались. Черная наседает, черная наседает! Теперь белая берет верх. Она атакует. Свиньи расшатывают потолок. Берегись! Он поддается. Вот-вот обрушится. Берегись!!!

И он в страхе перед неизбежным укрывался с головой.

— Этот человек, должно быть, сильно болел. Ему казалось, что все это происходит на самом деле. Страшно подумать.

— Самое смешное, что потолок таки обвалился,— сказал рыжий.

— Что?

— Потолок, говорю, обвалился.

— С чего бы это? — удивился я.

— Неизвестно,— угрюмо сказал он.— Неизвестно. Взял и обвалился — вместе со свиньями и всеми делами.

— Пойду-ка прилягу,— бросил я рыжему.— Увидимся утром.

Как ополаскивать чайник

Я всегда ополаскивал чайник для заварки, выплескивая содержимое прямо из двери фургона. Потом заглядывал в него с недовольной миной, заведомо зная, что увижу на стенках налипшие чаинки.

Раздражаться тут, разумеется, было нечего. Чтобы избавиться от них, достаточно еще раз налить в чайник немного воды, ополоснуть его круговым движением и снова вылить воду. Теперь останется всего одна-две чаинки, а это уже не беда.

Но я почему-то терпеть не могу повторно ополаскивать чайник. Это моя причуда — вряд ли ее разделяет кто-либо другой.

И вот я встретил старого чудака, которого это бесит, вернее сказать, бесило, как и меня.

Он заварил очень крепкий чай, и мы с ним пили в охотку, а когда заварка кончилась, встал, налил чайник наполовину водой и выплеснул содержимое. После чего он заглянул в него с удовлетворенным, ну просто счастливым выражением лица.

Я ожидал, что он ополоснет чайник вторично. Но ничего подобного. Тогда я взял его и заглянул внутрь. Там не осталось ни чаинки. Ни единой.

Но ведь каждый знает, что это невозможно: никому не удается вылить из чайника воду так, чтобы в нем совсем не осталось чаинок.

Я отметил этот необыкновенный рекорд, и он объяснил мне:

— Я всегда подозревал, что существует способ выплеснуть из чайника все чаинки за один раз, если хорошо приноровиться. Я стал пробовать и так и эдак: и выплескивал, и ополаскивал, и расплескивал. Однако сколько-нибудь чаинок да оставалось. Пускай всего штук восемь, мне ж хотелось сделать так, чтобы избавляться от всех разом. И я нашел такой прием. Так что теперь я умею опорожнять чайник до последней чаинки за один раз. Только я — и никто другой.

Он показал мне свой прием, и теперь я тоже умею это не хуже его: когда заварка кончилась и в чайнике остались разбухшие листочки чая, налейте его наполовину водой, сделайте несколько круговых движений, пока все чаинки не всплывут, а потом, держа чайник в вытянутой руке, медленно наклоняйте его влево, пока вода

чуть ли не перельется за край, и тут резко наклоните его вправо и выплесните воду. Все чаинки уплывут вместе с ней. Попробуйте и убедитесь сами.

Деревья

Как-то раз пошли мы с маленьким мальчиком гулять по бушу. Он сказал, что любит деревья. Что я думаю о деревьях? Я тоже их люблю, ответил я. В самом деле, я много размышлял о деревьях. Скажем, вон тот эвкалипт напоминает добрую пожилую леди. Ему не хватает только вязанья. А этот самшит — ленивец, я уверен. Стоит себе здесь на солнышке и дремлет. Это дерево, по-моему, могло бы рассказать интересную историю. Вот бы посидеть с ним у бивачного костра да послушать его рассказы. А это хинное дерево — ну, сущий бродяга, вся кора у него в лохмотьях.

Я говорил, а мальчонка задумчиво слушал, не произнося ни слова. Потом мы подошли к могучему дубу «Ах! — воскликнул я, опять собираясь пуститься в рассуждения. — Какое унылое дерево!..»

— И вовсе даже оно не унылое,— оборвал он меня. — Сам ты унылый.

Домой мы возвращались молча.

История с ромом

Мне рассказали про старика на Тасмании, который однажды вечером явился домой вдребезги пьяный да еще принес с собой в карманах три бутылки рому. Жена с отвращением схватила бутылки и вылила ром в бадью у дверей. Наутро она расталкивает мужа и объявляет, что, мол, все их гуси подохли. Выходит он с мутными глазами и видит: его сокровище — гуси лежат себе на земле лапками вверх. Старик был просто потрясен. «Какой-то паразит их отравил!» — говорит он жене. Пощупав гусей, он убедился, что они еще теплые. «Нечего добру зря пропадать. Ощиплю-ка я их, и будем целый месяц есть гусятину». Так он и сделал и, все еще не придя в себя после вчерашнего, пошел снова прилечь. А час спустя жена подняла его с кровати с криком: «Скорей!» По двору вразвалку ходили его ощипанные гуси, еще не совсем отрезвев от рома, выпитого из бадьи.

Идеальный спутник

Стоял я однажды на платформе в Брисбене, когда туда прибывал поезд из Сиднея. Пассажиры торопились выгрузить багаж и встретиться с друзьями и близкими. Никто кроме меня не обратил внимания на мужчину со светлым чемоданом. Вначале он посмотрел налево, потом направо, желая удостовериться, что за ним никто не наблюдает. И лишь после этого, приоткрыв чемодан, выпустил собачку. Та как ни в чем не бывало встряхнулась и, бросив осмысленный взгляд на хозяина, побежала по платформе в толпе пассажиров. Очень скоро она вернулась, но не подала виду, что ищет своего хозяина. И так повторялось все время, пока мужчина шел по платформе. А тот в свою очередь делал вид, что собачка не имеет к нему ни малейшего отношения. Когда же они вышли на улицу, собачка стала тереться о ноги хозяина в знак привязанности, а он нежно похлопывал ее, словно радуясь встрече.

Заинтересовавшись, я спросил мужчину, что все это значит, и выяснил: собака сопровождает этого человека в его частых поездках, сидя в чемодане под лавкой. И он приучил ее не признавать своего хозяина до тех пор, пока он не спустится с платформы. Таким образом у него есть идеальный дорожный спутник, провоз которого ему ровно ничего не стоит.

Покинутый муж

Один бакалейщик в сельской местности рассказал мне, что на этой улице, чуть подальше, стоит новый оштукатуренный дом с дырами в стенах и разбитыми окнами, через которые дождь поливает мебель. У этого дома интересная история. Его недавно достроил один тип уже в годах и переехал туда с женой. А три недели спустя, вернувшись вечером домой, он обнаружил, что его жена сбежала с другим.

Сначала он сел и молча сидел, подавленный, приходя в себя от обрушившегося на него несчастья. А потом схватил топор и давай пробивать в стенах дыры да бить стекла. Трудно в точности представить себе, какое удовлетворение принесло ему такое буйство, но, поостыв, он вошел в дом и с тех пор живет там как ни в чем не бывало. Правда, теперь в его доме гуляет ветер, зато стало больше входов и выходов — удобство, которое старик явно оценил, поскольку он всегда входит и выходит через дыру в кухонной стене.

Закончив рассказ, лавочник сунул мне чек прямо в глаза, напоминая, что я с ним еще не расплатился, чем испортил все впечатление от истории. Тем не менее, отдав ему деньги, я вышел со своей покупкой и прошел по улице до этого дома с продырявленными стенами. Прислонившись к изгороди, я стал его разглядывать. Вскоре ко мне присоединился бородатый дядечка, и мы, оба прислонившись к загородке, заговорили о доме.

— По-моему, у старого хрена мозги набекрень,— убежденно заявил я.— Оттого, что он загубил свой дом, никому не полегчало.

— Почем знать,— ответил бородач, ковыряя спичкой в зубе. А может, дом принадлежал его жене.

— И все-таки я думаю, что он чокнутый,— настаивал я на своем и добавил: — А как поступили бы вы сами, вернувшись домой и обнаружив, что ваша жена сбежала с другим?

— Вот точно так бы и поступил,— ответил бородач, смерив меня суровым взглядом. — Спокойной ночи.

Пройдя ворота, он полез в дом через дыру в кухонной стене. А я поспешил уйти.

Повара, обслуживающие стригалей

У стригалей существует неписаное правило: с хорошим поваром лучше не связываться, а с плохим — в зависимости от его комплекции.

Недавно один мой знакомый, стригаль, рассказал мне о плохом поваре на овцеводческой ферме в Новом Южном Уэльсе, где он работает: более шести футов ростом, волосы на груди густые, как ворс ковра, не руки, а сваи.

— Один удар — и тебе крышка,— добавил он.

Этот повар считал, что холодного мяса на завтрак мужчине вполне достаточно. Утро за утром стригалям подавали на завтрак остатки вчерашнего ростбифа. В конце концов им это поднадоело, и в одно прекрасное утро, увидев на столе дежурное блюдо, какой-то стригаль ударил кулаком по столу и крикнул:

— Холодным мясом я сыт по горло!

Услышав протестующий глас, повар выскочил пулей из кухни с половником в одной руке и большим разделочным ножом для мяса — в другой:

— Холодное мясо вам не по вкусу? — зарычал он, обращаясь к сидящим, и хлопнул себя по волосатой груди. — Желаете горячёнького? Ну что ж! Подходи!

По словам моего собеседника, ни один стригаль не встал с места.

Чтобы стригали не придумали своему повару прозвище — такого случая почти не бывает.

Так, когда-то в Риверайне одного повара прозвали Синяя Подлива. Он отличался тем, что давал одну и ту же подливу практически к каждому блюду. Это бы еще куда ни шло. Но вдобавок кастрюля, в которой он готовил свою подливу, никогда не мылась, и он превратил ее в посудину, куда ежедневно сливал остатки еды. А в результате, случалось, выуживал поварешкой заблудившиеся куски мяса от прошлых дней. Поговаривали даже, что на дне ее лежали бараньи отбивные трехмесячной давности.

Может, это и преувеличение. Так или иначе, но один из стригалей, возмутившись, на успение бросил в эту кастрюлю таблетку синьки, чтобы вынудить повара вылить все ее содержимое.

Как бы не так!

Вечером перед каждым стригалем стояло блюдо под синей подливой. Пока они с выпученными глазами смотрели на эту непотребную пищу, повар, просунув голову в дверь кухни, выкрикнул:

— Сегодня на ужин синяя подлива! — И снова захлопнул дверь.

Вот как за ним закрепилось такое прозвище.

Самоубийцы в буше

Условия или обстоятельства, толкающие человека на то, чтобы покончить с собой, такие же разные, как и сами люди. Но после трагедий на любовной почве одиночество — одна из самых распространенных причин, приводящих к самоубийству.

Когда бродишь по бушу, случается набрести на заброшенную хижину или на скрытую от глаз заводь, где, судя по слухам, повесился или утопился какой-то старик. Большинство этих бедолаг одиночки, в прошлом старатели или пенсионеры, которые просто-напросто устали жить. Хотя их и считали психами, но они, как правило, были вполне в здравом уме.

— Видишь во-он то стропило, под крышей? — однажды спросил меня фермер, указывая пальцем на старый сарай. — Лет двадцать назад на нем повесился один тип по прозвищу Жердь. Он пришел сюда со всеми своими пожитками. Мой старик дал ему поесть. А он нажрался до отвала да и повесился. Ума не приложу, зачем это ему понадобилось сначала есть. Что проку от этой еды?

— Наверное, он был голоден,— предположил я.

— Наверное. Но если человек собрался вешаться, какая разница голоден он или сыт? Я еще могу понять типа, который повесился с голодухи, но вот чтобы на сытый желудок...

Фермер уставился в пол и, помолчав, добавил:

— Отец предполагал, что его мучило одиночество. Но ведь и это не объясняет, почему он сначала наелся.

Как-то раз, находясь в Квинсленде, я услышал рассказ о старике, который жил в лачуге вдвоем с собакой. Раз в неделю он отправлялся в соседний городишко за продуктами.

Однажды он явился в город со своей собакой и принес все, что имел, в котомке за спиной. Он отдал собаку мяснику, жестяной походный котелок еще кому-то, рубашку третьему и так шел, пока не раздал все имущество. Тогда он возвратился в свою хижину, обвесился железяками, привязав их на себе проволокой для изгороди. А потом, гремя на каждом шагу, пошел к заводи и утопился.

Мясник, которому он подарил собаку, сказал мне, что старикан как-то поделился с ним:

— В молодости не иметь детей еще куда ни шло, но в старости становится ясно, что дети нужны человеку больше всего на свете...

Однажды полицейский сказал мне, что люди, решившие утопиться, сначала снимают сапоги или ботинки. Одежду они не снимают, но что-то толкает их разуться.

Как-то я упомянул об этом в разговоре с одним таким бедолагой и тот подтвердил:

— Совершенно верно. Нет ничего противнее, чем мокрые ноги, когда ты в обуви. Когда ты босиком, это еще терпимо.

Один парень сказал мне: «Я не вижу смысла в самоубийстве».

Он работал геологом. Его участок был на склоне горы, и каждое утро, когда он выходил из своей хижины, перед ним открывалась долина с высохшими деревьями — сплошь белые стволы без коры. Скелеты да и только.

— Я терпел с год, а потом нервы начали сдавать. Кругом смерть. Надо смываться. Останься я там еще на месяц и, чего доброго, перерезал бы себе глотку.

Я не раз слышал историю о парне с простреленным ухом. По его словам, он хотел застрелиться, но промазал.

— Да это же просто невозможно! — возразил ему кто-то, кому он морочил голову. — Как же ты умудрился промазать?

— А я всегда был плохим стрелком,— объяснил врун.— Не мог попасть ни в одну цель. К тому же я стрелял в себя на бегу.

Любители приврать и сочинители небылиц

Мы разговорились с приятелем о нашем общем знакомом.

— Я не встречал человека, который сочинял бы небылицы лучше его,— сказал он.

Я согласился с ним и задумался, на чем держится такое умение.

— Заметь,— продолжал мой приятель,— он никогда не рассказывает о себе, всегда о других. Сам он — просто наблюдатель. А главное, всегда предоставляет слушателю возможность попытать удачу самому.

Как это верно! Каждая хорошая история подбивает слушателя рассказать свою. Хотелось бы мне, чтобы это произошло и с моими читателями, когда у них найдется свободная минутка. В австралиане есть место всем — и выдумщикам, и тем, кто оперирует фактами и цифрами.

На днях мне рассказали про человека, снискавшего себе славу самого большого вруна, какого только видел свет. Говорили, что после того, как он сказал «хэлло», уже ни единому его слову верить нельзя.

Мой друг, писатель, проехал сорок миль, чтобы поболтать с ним. Но это закончилось ничем.

— Знаешь,— рассказал мой друг,— за всю свою жизнь я не встречал человека правдивее. Я потратил целую ночь впустую. Я сам устал врать, чтобы хоть как-то его завести, но правда-матка была ему дороже всего. Ни разу он даже не попытался напрячь воображение, чтобы приукрасить свои истории.

Часто и, думаю, справедливо говорят, что человека, у которого хорошо подвешен язык, никогда не смущает недостаток фактов, если он рассказывает о чем-то интересном. История держится не на фактах, а на их подаче. Рассказчик добивается успеха больше своими преувеличениями или преуменьшениями, нежели тем, что придерживается правды.

— Да,— якобы сказал один рыбак моему другу,— прошлой ночью я выловил в Муррейе треску на девяносто девять фунтов пятнадцать унций.

— Почему бы тебе не округлить до ста? — издевательски подсказал ему друг, который и без того ему не поверил.

— Больно мне надо прослыть лгуном из-за какой-то там унции,— возмутился рыбак.

Сочинитель небылиц всегда старается вначале завоевать доверие слушателей.

Однажды в Квинсленде, заглянув в лачугу, я наткнулся на загорелого тощего мужчину с темными усами. У его ног лежала паршивая дворняга и виляла хвостом, а когда на нее наступали или ее отпихивали, она перекатывалась на спину в знак полного раболепия.

По ходу разговора я спросил, зачем ему нужна такая собака. Тот задумчиво посмотрел на своего пса, сжимая в руке полупустую кружку с пивом, и ответил:

— Моя дрессировка! Теперь она соображает, что, если будет огрызаться, ее прогонят.

Я сомневался в правоте его слов, но, заподозрив в нем хорошего сочинителя небылиц, спросил:

— А не знаете ли вы каких-нибудь невероятных историй про собак?

— Нет,— строго ответил он,— все, что я говорю, всегда правда.

И как бы в подтверждение этих слов он поспешил допить пиво. Обескураженный таким ответом, я поставил ему еще пару пива.

— Знаете,— возобновил он разговор, когда кружки были наполнены.— Я всегда не любил вранья и всяких там небылиц. Да, у меня перебывали собаки всех пород. У меня даже была самая злющая собака во всем Квинсленде.

— Как интересно,— отреагировал я.

— Эта собака была до того злющая,— продолжал он,— что у нее начинала течь слюна, стоило человеку подойти к ней на расстояние двадцати ярдов. Я был вынужден привязать ее на цепь к эвкалипту и кормить из лопаты с длинной ручкой. Ближе она к себе никого не подпускала.

— Ну и что с ней сталось?

— Какой-то мерзавец украл ее однажды ночью вместе с цепью и всеми причиндалами,— последовал ответ.

Как видите, некоторые сочинители небылиц всегда заверяют, что каждое их слово — сущая правда.

Не думают ли они, что тем самым усиливают эффект и комизм своего рассказа?

Способность австралийцев к устным рассказам порождена широкими просторами, редкой возможностью заполучить книгу, потребностью поделиться трудным жизненным опытом. Наверное, поэтому почти в каждой местности живет покладистый тип с юморком, слывущий прирожденным рассказчиком.

«Вот послушал бы ты старика Джека»,— скажут тебе и давай рассказывать истории, связанные с именем этого человека, прославившегося своим юмором. Зачастую они лишены особой оригинальности и бытуют по всей Австралии. Их герои — австралийские старики, про которых сложены целые легенды.

Рассказчиков становится все меньше — современный образ жизни их не вдохновляет. О них написано в книгах, которые нынче читают, усевшись в кресло. Но эти книги не передают улыбки простых австралийцев-рассказчиков.

Болтуны

«Он заговорит вас до полусмерти»,— так отзываются у нас о некоторых любителях поговорить, создавая точное представление, чем это вам грозит.

Несколько недель тому назад, когда я был в Бурке, один гуртовщик описал мне своего знакомого, который «не любит поговорить». «Он будет долдонить два часа, да так ничего и не скажет».

Уметь рассказывать — редкий дар. Для одного и стриженая овца — интереснейшая тема, а другой, выжив после атомного взрыва, не сумеет его описать. Все дело в том, как владеешь словами, мимикой, языком жестов.

В буше болтун — это человек, который истосковался по слушателям. Дело не в собеседнике, ему интересен только он сам. Говоря о себе, о самом важном событии в своей жизни, он возвышается в собственных глазах.

Мужчины за шестьдесят редко говорят о будущем, их волнует прошлое. Если в свои двадцать они мотались по свету, этот период жизни и становится для них важнейшим. Они постоянно к нему возвращаются. Не важно, что делают они теперь,— важно, что делали тогда. Мой знакомый восьмидесяти двух лет был шесть лет гуртовщиком. Все байки, какие я от него слышал, связаны именно с этим периодом.

По части небылиц горожанин в подметки не годится сельскому жителю. Суматоха городской жизни не дает развиваться дару сочинять небылицы. К тому же городская жизнь кажется мне далеко не такой интересной, как сельская, где человек ближе к природе.

Один фермер как-то рассказал мне о знакомом, который прославился на всю округу болтливостью. Вроде бы если он зацепится за вас языком, то вам уже не отцепиться. Буквально так, поскольку у него была привычка схватить собеседника за пуговицу и время от времени трясти, подчеркивая какой-нибудь важный момент.

Мой друг фермер, к слову сказать, сам большой мастер по части небылиц, утверждал, что однажды, когда он пошел за коровами, этот парень схватил его за пуговицу пальто и давай рассказывать нескончаемую историю тяжбы с соседом. Фермер слушал полчаса и решил, что с него предостаточно. Он вынул из кармана нож, отрезал им пуговицу и пошел по своим делам.

По его словам, когда на следующее утро он спустился в загон, вчерашний парень все еще говорил и тряс его пуговицу.

Да, скажу я вам, этот болтун заткнул за пояс всех болтунов.

Глупее не придумаешь

Мне рассказывали про указатель на перекрестке, где было написано: «На Тимбукту. А если сам не умеешь читать, попроси кузнеца через дорогу».

Может, это и враки, но я своими глазами видел дорожные указатели не менее глупого содержания. Например, на вершине горы Биг-Джекки, на южном побережье штата Новый Южный Уэльс, у перехода через речку можно было прочесть: «Если этот указатель затопило, переходить опасно».

◆

Среди книг

Издано в СССР

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА США

Проблемы становления американской литературы. Ответственный редактор Я. Н. Засурский. Москва, «Наука», 1981.

А. Мулярчик. Послевоенные американские романисты. Москва, «Художественная литература», 1980.

Мы постоянно знакомимся с новыми для нас явлениями американской литературы. Иногда это классики, как Генри Джеймс, в свое время мало у нас замеченный, большей частью — современные имена, только завоевывающие признание и у себя на родине. Эти две книги подтверждают, как много нам еще предстоит узнать о литературе США, в том числе о писателях, нам уже хорошо известных. Новизну придает прежде всего угол зрения, книги эти, одна из которых написана группой сотрудников Института мировой литературы, а другая — сотрудником Института США и Канады, отличаются особой позицией, можно назвать эту позицию взглядом изнутри. Выявить особенности такого взгляда нам поможет сравнение. Обратимся еще к одной книге, постоянно, как отправной пункт, упоминаемой нашими авторами,— «Проблемы литературы США XX века» (1970). Для своего времени она была также новым словом — о неизвестных нам дотоле литературных явлениях. Но когда ту же книгу читали американцы, они, отдавая должное большой начитанности авторов, все же несколько удивлялись, не вполне узнавая по ней свою собственную литературу. В той книге не было статьи о Фолкнере! Какой же это, простите, «XX век»? А вот в данных книгах американцы, надо полагать, свою литературу узнают. Правда, мы со своей стороны можем оказаться в некоторой растерянности. Где тут наш любимый Джек Лондон? Два-три упоминания между прочим — и все. О. Генри назван всего лишь однажды... Что ж, будем осматриваться, привыкая к новой позиции и памятуя, в порядке поучительного сравнения, о том, что именно в горах вершины становятся видны не сразу. Исследователи-литературоведы переносят нас непосредственно в пространства американской литературы, и мы теряемся, не видя привычных ориентиров. Уж Фенимор Купер, кажется, должен был бы нам встретиться в первую очередь, как только мы открываем первую из названных книг, а он где-то на сотой странице, в середине, на «фронтире», там, где идет речь о продвижении литературы вместе с пионерами-переселенцами все дальше в глубь континента.

Впервые у нас так развернуто представлена литература США — многоликой, многосложной, многонациональной. С первых страниц нас предупреждают, что само понятие «американская литература» нуждается в общих уточнениях и внутренних разграничениях. Мы привыкли говорить: Америка, Соединенные Штаты, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что это и Новая Англия, и Юг, и Средний Запад, и, соответственно, неоднородностью отличается литература — даже литературы, развивающиеся в разных частях страны. Всюду сказывается свой особый «акцент», имеется своя проблематика, проступает своя почва. В то же время нам показывают, что каждая из литературных областей не развивалась обособленно. Это интереснейший процесс. Со времен Войны за независимость в борьбе за культурную автономию американские писатели совершают паломничества к «старому очагу», как сказал Готорн, в Европу. Внутри страны каждая из областей, отстаивая свою самобытность, проявляет эту самобытность наиболее успешно в ходе взаимообмена. Даже те процессы, в основе которых — жестокие расовые конфликты, с литературной стороны обнаруживают взаимодействие, а не только отталкивание. «Для того чтобы стать национальным, тем более — мировым писателем, надо в своем, знакомом, близком, ощутить и выявить общечеловеческий смысл»,— подчеркивается в качестве вывода из наблюдений над творчеством одного из сугубо американских писателей, Фолкнера. Однако общечеловеческий смысл не есть какая-то тайна, хранимая где-то за семью печатями. Это — общечеловеческий опыт, развитый, оформленный и продолжающий развиваться, пополняться. Выявить — значит приобщиться к этому опыту. Определяя место негров в общеамериканской культуре, авторы коллективной книги говорят:

«Негры дали американской литературе тему, освоение которой было для нее одним из путей обретения зрелости». Но дать тему в творческом отношении — это еще пассивная роль. Со времен романтиков, которые первыми в теории и на практике разработали идею «народного» как национального, мы знаем: ни один местный мотив сам по себе, в первозданном виде, не запечатлелся на страницах книг, которые сделали этот мотив общечеловеческим достоянием. Мир отозвался на шотландские баллады лишь после того, как они благодаря искусной обработке оказались включены в систему европейской поэзии. А на страницах этого коллективного труда мы читаем, что негритянские гимны «спиричуэлс» возникли под воздействием «белых» евангелических песнопений — взаимообмен постоянный. Американские негры дали не только тему, а сами стали силой в американской литературе после того, как ценой жестокой борьбы освоили опыт этой литературы: это мы, в свою очередь, находим показанным на страницах труда.

Как показывают авторы, одна из величайших иллюзий, вошедших в «американскую мечту», заключалась в мысли о том, будто, переправившись за океан, историю можно начать «заново» и «на пустом месте». Расплата за эту историческую наивность стала, и в значительной мере остается, сквозным мотивом американской литературы, в какой бы части страны она ни формировалась. Авторы труда напоминают нам, как «первого американского гражданина» Томаса Пейна поспешили объявить «неамериканцем». Это после того, как он, обогащенный опытом еще одной буржуазной революции — французской, вернулся в Америку и попробовал просветить своих сограждан на тот счет, что получается у них не «царство божие» на земле, а царство чистогана и лицемерия. Напоминают нам и о том, в каких тисках противоречий оказался Фенимор Купер: перед консерваторами Европы он отстаивал демократические установления своей родины, а вернувшись домой, столкнулся с тем же, что и Пейн,— агрессивным предпринимательством, не знавшим другой мечты, кроме материального обогащения. Авторы указывают также, что центрально-итоговым произведением американской литературы прошлого века считаются «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. В книге так именно и говорится —«считаются», словно это еще дискуссионный вопрос и нельзя сказать прямо: «являются». Действительно, сами американцы, исправляя прошедшее, стараются сейчас уделить особое внимание некогда недооцененным писателям, прежде всего Герману Мелвиллу и его «Моби Дику», и в ходе такой переоценки давно признанные американские писатели оказываются в тени. Здесь у нас не найдется места обсуждать подобные оценочные оттенки. Мы посмотрим на «Приключения Гекльберри Финна», пользуясь критерием, который сами авторы предлагают: общечеловеческое, выявленное в своем, близком... Именно это, конечно, и поставило книгу Марка Твена на особое место. Нет надобности уточнять степень выявленности: совершенно живые характеры, трехмерные фигуры сошли со страниц твеновского повествования. И вот мы видим, что́ замечательно удалось создателю этой американской одиссеи. Он рассказывает вроде бы местную, даже детскую историю, которая человечески-естественно, без какой бы то ни было умозрительной символики, соединяется с историей человечества. Плот, словно корабль отцов-пилигримов, вмещает целый мир, первонаселение нового мира, но мир этот уже не так нов, имеет свои специфические конфликты и предрассудки, в данном случае расовые, пусть смягченные, но все же не стертые дружбой Гека и Джима. Мало этого, здесь же по воле случая умещаются и предрассудки Старого Света — в лице «короля» и «герцога». Положим, они проходимцы, но с точки зрения того общеамериканского идеала, который разделяют Гек и Джим, все эти застарелые предрассудки — проходимство, а между тем их собственные отношения, как выше сказано, уже подточены новыми предрассудками. Общеизвестно, что оптимизм Твена был выражен выбором героя — маленького, юного, которому еще предстояло вырасти, созреть. История не оправдала этого оптимизма, что со временем осознал и сам Марк Твен. В американской же литературе, иногда со ссылками на него, выявилась тема «инфантилизма», недостаточности исторического самосознания, о чем в разных вариантах рассказывается в коллективном труде. Это и Генри Адамс с его самокритической автобиографией, своеобразно написанной — в третьем лице и поэтому названной «Воспитание Генри Адамса»; это и Генри Джеймс, который последнее время все лучше становится известен нашим читателям: он тщательно сравнивал американцев с европейцами. Это, наконец, наш выдающийся современник Эрнест Хемингуэй с его горькой фразой о неисправимости «американских мужчин-мальчиков». В представлениях этих писателей об «американском» не было ничего метафизического или мистического. Напротив, они подходили к проблеме национального сознания аналитически, рассматривая условия, выискивая источники формирования своих соотечественников. Они видели ханжески-иссушающее воздействие пуританства (о чем развернуто говорят наши авторы), обличали пресловутую «деловитость», когда она претендовала на философию жизни. Пространственный принцип, которого переходя от одного американского региона к другому, придерживаются авторы, позволяет увидеть, что одинокому везде пустыня, что ни каменные мешки Манхэттена или Чикаго, ни просторы Дикого Запада от все тех же проблем не свободны. Любые перемещения еще только подчеркивают неизбежность одиночества в толпе, бездуховности, жестокости, расовой ненависти в мире «желтого дьявола».

Вторая из рассматриваемых книг, написанная одним автором, погружает нас в поток текущей американской литературы и — в круг тех же по существу проблем, только еще более ужесточившихся. Но вот отличительная черта между разными эпохами, проступающая явственно, когда мы читаем одну за другой эти две книги. Не только традиционные «отрицательные» персо-

нажи, но и конкретный противник как бы исчезает, размывается в книгах новейших писателей. Характерно истолкование, предлагаемое автором на материале широко известной повести Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Это как бы вторичное, более зрелое прочтение повести, которая не так давно воспринималась в прямой преемственности с теми же юными героями Марка Твена. Читая эту повесть теперь, автор видит, что герой повести Холден Колфилд, условно говоря, современный Гек или Том, уже не представляет наивно-нормального восприятия, как это было с мальчишками у Твена. «Холден жалуется, что ему «грустно и одиноко»... но нет ли в этом, по крайней мере отчасти, его собственной вины?»— такой вопрос ставит автор, а когда он переходит к произведению другого писателя, более чем «взрослому» по своей проблематике,— «Фальконеру» Джона Чивера, то делает вывод, что герой этого произведения, братоубийца и наркоман, уж совсем не судья другим. А все-таки эти герои сердятся и даже злятся, критикуют и оспаривают, пытаются вести борьбу... С кем? Природа общества оказывается их вездесущим противником, настолько вездесущим, что они обнаруживают этого «противника» прежде всего в самих себе. В этом пункте многие, пожалуй, не устояли бы против искушения сослаться на Достоевского, его униженных, оскорбленных и попросту пропащих, несомненно нарушающих нормы общепринятой нравственности... Но автор не поддался подобному искушению и поступил правильно: сравнение неправомерно. Погибшие, пропащие персонажи Достоевского, если только это не люди «подполья» (нравственно полностью разрушенные), не нарушают, по мысли Достоевского, высшего христианского закона — сострадания — и потому сами сострадания заслуживают. А персонажи новейших американских писателей, о которых говорит наш соотечественник и современник, и этой опоры лишены. Поэтому попытка того же Чивера все-таки добиться нашего сочувствия к такому герою хотя бы «под занавес» не увенчивается успехом.

Свой аналитический обзор современного американского романа автор завершает, обратившись к произведению, которое действительно достойно внимания и которое уже известно нашим читателям. Это роман Джона Гарднера «Октябрьский свет», книга в книге, двуплановое повествование об Америке простых американцев, сохраняющих человечность, и об Америке, уже совершенно выморочной, оглушенной и оглушающей себя наркотиками, всевозможными материальными и духовными суррогатами. Справедливо выделив это произведение, автор в то же время осторожен в его оценке, что в свою очередь справедливо. Творчество Гарднера вообще исполнено добрых намерений которые, однако, не всегда реализуются. Своими центральными героями он сделал пожилых, исконных, истинно простых американцев, брата и сестру, но удалось ли ему осветить эти фигуры светом подлинной человечности? Наш критик отмечает некоторую статичность повествования. Отчего же она возникла? Сколько всевозможных источников для повествовательного движения нашли бы, вероятно, в той же ситуации Марк Твен или О. Генри! Почему же эти два персонажа как бы застывают перед нами, словно на полотнах американских живописцев, представителей так называемой новой вещественности: все вещественно, подробно выписано, однако с какой-то безжизненностью, отстраненностью. Так, словно самому же художнику не очень близки и не очень-то дороги лица, которые он тщательно выписывает. Например, меня, как читателя, это чувство не покидало от первой до последней страницы «Октябрьского света». А роман, безусловно, значителен, в том числе и как творческий документ, демонстрирующий борьбу писателя за настоящую человечность и жизнеспособный идеал.

Рассмотренные книги принадлежат в основном специалистам одного поколения, и, вероятно, поэтому у них есть общие достоинства и, уж как водится, недостатки тоже общие. О главном достоинстве уже было сказано сразу — мы погружены в материал. А из недостатков в глаза бросается некоторое невнимание к предшественникам, отечественным и зарубежным. Скажем, я все искал сноски на труды Нэша, Смита и Льюиса, положивших начало вот такому историко-пространственному рассмотрению американской литературы, искал и — обнаружил Льюиса бегло упомянутым в тексте, а двух других вовсе не нашел. Подобные сноски нужны не только ради научной этики, они отмечают определенные рубежи в разработке тех же проблем, они делают ненужным «открытие Америки» в дурном смысле. После соответствующих сносок не придется всего лишь «намечать путь» (как однажды говорят авторы сборника) там, где давно проложена торная дорога. Однако, как было сказано, без скидки, хотя и не без оговорок, следует признать, что в наш литературно-критический оборот вошли две содержательные книги.

Д. УРНОВ

ПОЭЗИЯ ВСЕНАРОДНОГО БРАТСТВА

Собратья. Стихи зарубежных поэтов в переводе Евгения Винокурова. М., «Прогресс», 1980. (Серия «Мастера поэтического перевода», Вып. 30).

Евг. Винокуров. Из поэзии Востока. Избранные переводы. М., «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1980.

Евг. Винокуров. Многоголосье. Книга переводов. М., «Советская Россия», 1981 (Серия «Мастера художественного перевода»).

Имя Евгения Винокурова как переводчика зарубежной поэзии хорошо известно. Однако почти одновременный выход в свет трех книг его переводов в полной мере обнаружил масштаб деятельности поэта в этой области. Способствует этому пониманию обстоятельная, широко аргументированная статья одного из крупнейших мастеров художественного

перевода В. Левика, чья кончина стала нашей общей тяжелой утратой.

В отличие от авторов других статей, посвященных поэтам-переводчикам, В. Левик рассматривает переводы Е. Винокурова на широком фоне его оригинального поэтического творчества. В статье, однако, содержится утверждение, что для поэта-переводчика «отказ от своей индивидуальности, в какой-то мере самопожертвование... необходимы. И если индивидуальность поэта переводящего слишком дает себя знать, перевод ощущается нами как недостоверный». С этим положением, мне кажется, можно поспорить. Конечно, бывают случаи чрезмерно активного «наложения» личности переводящего на манеру поэта переводимого. Оттого, например, А. Тарковский, чьи заслуги в сфере поэтического перевода неоспоримы, ставит под сомнение переводы Б. Пастернака из Шекспира. Но, видимо, не случайно театр обращается главным образом к пастернаковскому Шекспиру.

Один из крупнейших представителей поэтического поколения Отечественной войны Винокуров, талант которого раскрылся в послевоенные годы, не претендует на то, чтобы «подмять» под себя переводимого собрата по перу. Сам поэт серьезный, вдумчивый, он дорожит всеми возможностями передачи особенностей полюбившегося ему поэта. Но в том-то и вся суть — полюбившегося. А я бы еще добавил: поэта, с которым Винокуров духовно и творчески породнился.

Ни о каком отказе от собственной индивидуальности, ни о каком самопожертвовании здесь и речи быть не может. Начнем с того, что подобно таким мастерам поэтического перевода, как упомянутые уже В. Левик и А. Тарковский, как А. Ахматова, М. Цветаева, И. Эренбург, Л. Мартынов, М. Петровых, А. Штейнберг, Л. Гинзбург, А. Межиров, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, А. Ревич, Е. Винокуров не просто переводит стихи. Перевод для него — одна из форм проявления своей творческой личности. Именно поэтому, хотя Винокуров-переводчик достаточно строг и ответственен, он не жертвует собой, а, напротив, воплощает себя.

Сопоставим вслед за Левиком переводческое творчество Винокурова с оригинальными его стихотворениями. Уже в первой книге «Стихи о долге» он придал повседневной армейской теме широкое звучание. Поэт опирался на быт, но быт возводил в бытие. Сочетание философского осмысления современной жизни и мира человеческой души с житейскими, конкретными реалиями — характерная особенность поэзии Винокурова. Но не таковы ли и его переводы? Это — возможно точное воссоздание подлинника на русском языке, но притом и проявление главного, существенного в миропонимании поэта-переводчика.

Давным-давно родилось сравнение работы поэта-переводчика с трудом артиста. Сколько бы ни было больших актеров, исполнявших роль Гамлета или короля Лира, каждый из них — особенный Гамлет и особенный король Лир. То же и с большими музыкантами. Они не просто доносят произведения любимого композитора до современников, но выражают и себя, свою творческую сущность. Вне слияния личности переводящего и переводимого не может возникнуть полноценный поэтический образ.

Евгений Винокуров как поэт оригинальный озабочен судьбами мира, преломленными через судьбы наших современников. Пристрастие к подробностям лишь подчеркивает глобальность его мышления. На этом же качестве основаны и его переводы. Современность — мир — человек — вот винокуровская триада, понимаемая только в своем триединстве. Интимная лирика поэта тоже уносит нас за пределы интимного — во всеобщее, всечеловеческое. Таков и Винокуров-переводчик.

Самый выбор объектов для перевода принципиально важен для него. Возьмем, например, Т. С. Элиота. Казалось бы, и по возрасту, и по способу мышления советский поэт далек от старейшины английской поэзии. Но винокуровский Элиот — это и грань творческой личности нашего поэта. Темы, раздумья, проблемы в чем-то близки, а решения разные.

Ему не чужды метания, смятение, неразрешенные жизненные задачи в творчестве Элиота. Вот пример. Вариант библейского «Екклесиаста»: «Время рождаться и время умирать... время разбрасывать камни и время собирать камни». Это для Элиота — как бы толчок к осмыслению противоречий современного мира. Поэт сознает свою перед ним ответственность, но не знает, как решиться принять на себя всю полноту этой ответственности. Послушаем:

Есть время, есть время выражение
придать лицу
Для встречи с иными лицами.
Есть время убивать и создавать
И время для того, чтобы вопрос
На блюдце к вам внесли однажды
на тарелке.
Есть время для тебя и время для меня.
И время перед чашкой и бисквитом
Для ста решений, для ста отмен
решений,
Ста постижений.

(«Романс Дж. Альфреда Пруфрока»)

Сто решений и сто отмен решений — вот она, невероятная сложность сегодняшнего мира! Оттого так и возрастает мера личной ответственности поэта.

Есть время пытать себя:
«Осмелюсь ли? Осмелюсь?»

Но вот время для решения как будто наступило:

Может быть, решиться мне?
Но с чего начать, с чего?

(«Романс Дж. Альфреда Пруфрока»)

Вопрос — а не ответ — такова здесь форма мышления Элиота. Но это не пассивная рефлексия — это активные поиски решения, вопрос, решительно поставленный перед собой человеком с ранимой совестью. А вместе с тем — и перед миром, в котором он живет.

Выше говорилось о пристрастии Винокурова-поэта к реалиям быта. То же мы видим и в его переводах:

Мимо закусочных с ковром опилок
и столешницами в елочку...

Если бы не это точное наблюдение, мы могли бы не воспринять как достоверное и глобальность мышления переводимого поэта.

А вот — поэт арабского средневековья Ибн аль-Мутазз:

Вино старо? Но новых сил полно!
В земле хранилось много лет оно.

Его лишь чище делали года,
В нем тонок вкус, в нем сила молода.

Сейчас в кувшине только чистый свет!
Осела муть, и ни соринки нет.

Вечная тема. Традиционный образ. Но если бы не волевое решение советского поэта, разве мог бы с такой силой прозвучать акцент, соединяющий в себе традиции арабского Востока с одним из главных мотивов русской — да и не только русской — народной поэзии:

...Но новых сил полно!
В земле хранилось много лет оно.

Тут вся суть именно в определении: в земле хранилось. Земля — мать, прародительница...

Еще одна грань переводческого искусства Е. Винокурова — славянская поэзия. Сколько веков испытаний и стойкости встает за строками Георгия Джагарова:

Палачей пятеро,
а я — один.
Связан,
распростерт на полу.
И по мне тяжкие плети хлещут.
Уже в который раз
сквозь зубы шепчу:
— Не знаю!

А я-то знаю.

(«Допрос»)

Несколько стилизованное в переводе стихотворение Джагарова («Не погибну я») очень выигрывает от энергичной концовки, обращенной к ребенку:

Песнь мою запой смелей.
Не погибну я.

. . . . . .

Ты стреляй моей рукой.
Не погибну я.

Венгр Имре Чанади, и поэты из ГДР Вальтер Демель и Куба, и грек Яннис Ритос, великий поэт Индии Рабиндранат Тагор и итальянец Витторио Серени, монгол Сухийн Доржпалам и поляк Анатоль Стерн, турок Назым Хикмет и поэты из Чехословакии Константин Библ и Витезслав Незвал, поэт из Югославии Мило Краль и поэты из Японии Мицухару Канэко и Сумако Фукао (в переводе их стихов мы узнаем и характерные черты японской живописи) — так широк диапазон поэтической географии «Собратьев» и «Многоголосья» Евгения Винокурова. К этому можно добавить немало имен поэтов Востока (сборник «Из поэзии Востока»).

Советская поэзия всегда жила судьбами человечества. Интернационализм — щит ее и меч.

По мнению многих литераторов — практиков перевода и теоретиков,— знание языка оригинала считается непременным условием высокопрофессионального перевода. Конечно, знание языка оригинала помогает переводчику глубже проникнуть в смысл подлинника, передать его художественные особенности и предоставляет возможность свободно распоряжаться своими творческими силами в процессе художественного перевода. Однако в бытующей практике положение это, как правило, обязательно в случае перевода с европейских языков; что же до перевода с языков народов Востока — крупнейшие наши мастера, не обладая знанием языка оригинала, переводят в основном по подстрочникам, стараясь располагать хотя бы транскрипцией подлинника и таким образом принимать во внимание по крайней мере звучание стихотворения в оригинале. Вместе с тем добросовестный поэт-переводчик восполняет незнание языка знакомством с бытом и историей народа, природой и национальным колоритом края.

Недавно вышел из печати в новом, дополненном, издании осуществленный Арсением Тарковским перевод книги стихов поэта сирийского средневековья Абу ибн аль-Маари. А. Тарковский переводил, не зная арабского языка, тем более средневекового периода, но он воспользовался консультацией специалиста (и благодаря ему — высококвалифицированными подстрочниками), и очень хорошо, что имя этого специалиста названо в книге переводов.

Анна Ахматова и Вера Потапова создали замечательную книгу переводов «Лирика Древнего Египта». Ни одна, ни другая не знали языка оригинала. Но высокая культура стиха, глубокое проникновение в дух оригинала позволили им (посредством подстрочников) создать шедевр переводческого искусства.

Вера Потапова опубликовала в «Библиотеке всемирной литературы» перевод великого народного эпоса Индии «Шакунтала». Она не знала санскрита, но в ее распоряжении был первоклассный английский перевод, на основании которого она сумела воссоздать особенности этого памятника мировой культуры. Кстати, общеизвестно, что Жуковский переводил «Одиссею» Гомера с немецкого перевода, а не с древнегреческого оригинала. «Песни западных славян» Пушкин — что также общеизвестно,— не распознав литературной мистификации, переводил с французского подлинника Проспера Мериме.

Считается, что точность воссоздания размера и эквилинеарность — необходимое условие добросовестного перевода. Но тот же Пушкин, переводя баллады Мицкевича «Будрыс и его сыновья» и «Чаты» («Воевода»), в первом случае сохранил размер подлинника, а во втором счел необходимым совершенно изменить его. А в результате появилось два прекрасных перевода на русский язык великого польского поэта. Б. Пастернак с основных европейских языков переводил со знанием языка подлинника. Но Шандора Петефи он переводил, не зная венгерского. Константин Симонов предпослал своим замечательным переводам из Киплинга определение «вольные переводы»; он, кстати (по крайней мере, в период работы над Киплингом), не владел английским, как не знал и турецкого, переводя Назыма Хикмета. Э. Багрицкий создавал свои знаменитые переводы из Роберта Бернса, Вальтера Скотта и Томаса Гуда, пользуясь книгой Н. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образцах». И хотя на переводах Багрицкого (так же как и Пастернака) лежит печать творческой индивидуальности их автора, они стали, однако, фактом русской поэзии. С. Маршак, превосход-

но владея русским языком и будучи большим мастером перевода, воссоздал «Джона— Ячменное зерно» точнее Багрицкого и соблюдая эквилинеарность, но своеобразная поэзия Багрицкого придала этому произведению особый колорит, благодаря чему перевод Багрицкого, несмотря на некоторые вольности, остался в русской поэзии наряду с переводом Маршака.

Все это длинное отступление понадобилось для того, чтобы напомнить, как разнообразны переводческие манеры в зависимости от знания языка подлинника, источников перевода. Относительно пресловутой эквилинеарности: напомним, что Багрицкий в своем переводе «Песни о рубашке» Томаса Гуда значительно сократил это стихотворение и даже изменил размер. И это— не единственный случай.

Литература не терпит однообразия. Жуковский удивительно верно сказал, что переводчик в прозе — раб, в поэзии — соперник. А нынче, имея в виду многие образцовые переводы прозы (например, такого мастера перевода, как Н. М. Любимов), можно внести поправку и в формулу Жуковского, потому что в этом случае переводчик в прозе тоже не раб, а соперник. Можно ли сравнить любимовского «Дон Кихота», или «Уленшпигеля», или «Гаргантюа» с прежними переводами, хотя бы по необыкновенному богатству словаря, так щедро нам подаренному переводами Любимова?

Возвращаясь к предмету статьи — переводам Евгения Винокурова,— надо признать, что подходить к ним надо не с точки зрения буквалистски понятой точности и независимо от знания или незнания языка оригинала. Конечно, хорошо было бы, чтобы поэт знал все языки, с которых он переводит, и добивался предельной точности; но это — идеал будущего. По отношению же к такому мастеру поэзии, как Винокуров, нужно применять иные критерии. Для него перевод, как уже говорилось выше, является частью его большого и разнообразного поэтического мира. Мастерство Винокурова-переводчика состоит в том, что внимательное чтение подстрочника дополняется у него творческим прозрением, умением внутренним чутьем угадать то, что подстрочник сам по себе передать не может.

И. Сельвинский как-то сказал, что у поэта лирического может быть одна манера, но у поэта эпического их может быть и должно быть много. Это в известной мере можно отнести и к поэту-переводчику, в данном случае — к Винокурову. По характеру своего дарования он владеет, я бы сказал, многими интонациями и жанрами — от проникновенной лирики и героико-романтического пафоса до бытовой достоверности, различных оттенков юмора, иронии, уничтожающего сарказма.

Книги переводов Евгения Винокурова — свидетельство его высокого артистизма, умения проникнуть во внутренний мир поэтов разных народов и времен, его чувства душевной солидарности со всем тем в зарубежной поэзии, что кровно родственно и близко русскому, советскому поэту и что нашло отражение в самих заглавиях его книг — «Собратья» и «Многоголосье».

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН

Издано за рубежом

КТО ЖЕ ТАКОЙ А. Н. УИЛСОН?

A. N. Wilson. Who was Oswald Fish? London, Secker & Warburg, 1981.
А. Н. Уилсон. Кто же такой был Освальд Фиш? 1981.

Заглавие романа — это пятая книга молодого английского автора, получившего начиная с 1978 года ряд литературных премий и множество комплиментарных рецензий — наводит на мысль о детективном жанре, во всяком случае о наличии в сюжете какой-то тайны. А фраза, открывающая повествование,— о намерении писателя вести его в отстраненном, ироническом ключе: «Фанни Уильямс пришлась бы куда более к месту в опере, нежели в романе. Уж очень она была громогласна и шумна и слишком близка к сорока годам, чтобы претендовать на обычные привлекательные свойства литературной героини (даже сугубо современной)».

Оба предположения не обманут читателя, но этим дело не ограничится. Хотя роман «Кто же такой был Освальд Фиш?» читается легко, а чувство комического присуще автору в высшей степени, нельзя назвать эту книгу легким, а тем более веселым чтением. Разве только если читателя веселят вещи, у нормального человека вызывающие совсем иную реакцию.

Действие происходит в Англии наших дней — начинается весной 1979, а завершается в день общепарламентских выборов, приведших к власти консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер. Но благодаря дневникам, найденным одной из героинь, линия современности пересечена прошлым — эрой поздневикторианской. Шекспировский эпиграф, предпосланный роману, соединяет оба времени и заранее выводит мораль из последующих событий: «Так времени водоворот несет в себе возмездие» («Двенадцатая ночь»). Эта моралистическая заявка своеобразно сочетается с атмосферой изрядной сексуальной раскованности, царящей на страницах книги.

События нынешнего дня начинаются в Лондоне, в сугубо старомодном интерьере особнячка в Челси, где обитает семейство Фанни Уильямс — бывшей поп-певички, разведенной супруги члена парламента от консерваторов, преуспевающей владелицы ряда лавок, торгующих аксессуарами викторианского быта, от мебели и одежды до безделушек и порнографических открыток. Вместе с Фанни живут ее дети — девятилетние, не по годам продвинутые в некоторых отношениях близнецы, экзотически названные Мармадьюк и Пандора, Трейси — ее младшая сестра, Джессика Оуэн — их бабушка, приехавшая в гости из Уэльса, и Чарльз Булловево — негр-юрист, очередной «друг» Фанни. К ее величайшему сожалению, он оказался любителем не толь-

ко женского пола, тем не менее он занял прочное место в доме благодаря своим безукоризненным манерам и хозяйственности. Довершают ансамбль две собачонки, повсюду сопровождающие Фанни в ее большой зеленой машине... В следующей главе мы попадаем в Бирмингем, где вскоре должна открыться еще одна лавка фирмы «Фанни», со складом, под который она купила здание пустующей церкви св. Эдера. Этот скромный памятник викторианской готики, расположенный в мрачном рабочем квартале, оказывается предметом спора между миссис Уильямс и районными муниципальными властями Бирмингема, которые решили снести церковь — она мешает создать здесь зону отдыха для местных жителей. Главным — пока заочным — противником Фанни Уильямс выступает сотрудник муниципалитета Фред Джаблинг. Он живет в фамильном старом доме с женой Джин, двумя детьми, вдовым отцом и девяностолетней бабушкой Эгнес Джаблинг. Если в пестрой семейке Фанни господствует шумная вульгарность и благодушная вседозволенность (близнецы, например, читают порнографические журналы, мама этому не препятствует), то в доме Джаблингов, внешне более упорядоченном, кипят подспудные страсти, накопившиеся за годы не слишком удавшегося брака. Так, Фред, просыпаясь поутру, предается мечтаниям о безнаказанном убийстве жены — хотя он и признает в ней изредка проявляющиеся человеческие достоинства. Что же касается жены, то она ощущает себя домашней рабыней и давно уже не может понять, что могло привлечь ее в свое время к Фреду Джаблингу. Такова экспозиция событий настоящего времени. Прошлое, как было уже сказано, вторгается в него через дневники Освальда Фиша, нечаянно обнаруженные Джессикой Оуэн на чердаке своего дома в Уэльсе. Собравшись к внучкам в Лондон, она берет в дорогу несколько записных книжечек, которые, как выясняется, заполнялись Освальдом Фишем (ее отцом) на протяжении полувека — с начала 1870-х до 1920-х годов. Из дневников этих она узнает многое, в частности, что родители ее не состояли в законном браке. В конце 90-х годов молодой Освальд Фиш увез из Бирмингема в Лондон Фрэнсис Фиш — жену своего старшего брата Эдмунда. Оставленный муж покончил с собой — бросился под поезд, дочь их Эгнес выросла в семье деда Томаса Фиша, главы крупной бирмингемской фирмы, производившей различные изделия из стали. Забегая вперед, сообщим читателям то, что персонажам романа еще неизвестно: девяностолетняя бабка Фреда Джаблинга — это и есть Эгнес, в девичестве Фиш, и семья муниципального деятеля из Бирмингема находится в кровном родстве с лондонским семейством Фанни Уильямс; одни ведут свой род от законного брака старшего брата, другие — от греховного союза сбежавшей жены и младшего брата. Союз этот оказался для Фрэнсис несчастливым: Освальд Фиш, и в юности весьма женолюбивый — уже в 19 лет он приобрел побочного сына Тоби от дочери своей квартирной хозяйки Энни Шекспир (!), постепенно становится распутником самого низкого пошиба, шатается по лондонским трущобам в поисках «развлечений» и, пережив Фрэнсис на десяток лет, кончает свои дни в психиатрической лечебнице для хроников — результат подхваченного где-то сифилиса. Дальше — больше: заинтересовавшись Освальдом Фишем, так как именно он, малоизвестный архитектор конца XIX века, и оказался строителем церкви св. Эдера, Фанни Уильямс раскапывает в архивной пыли сенсационные сведения: мало того, что она в родстве со своим бирмингемским противником Джаблингом; оказывается, что чернокожий Чарльз Булловево — нечто вроде кузена, так как его папа появился на свет после мимолетного «романа» Освальда Фиша с африканкой, встреченной им в Бельгии... Под занавес находятся и следы Тоби Шекспира — первого из потомков, порожденных плодовитым архитектором: он является родным отцом пожилой уборщицы Айви, работающей в муниципалитете Бирмингема. В красочных, хотя и маловразумительных монологах, обращенных к Фреду Джаблингу этой особой, часто фигурировал долгожитель-папа, обитающий в доме для престарелых; в день своего столетия мистер Тоби Шекспир, бывший кочегар, получил телеграмму от королевы, что было отражено в бирмингемской прессе... Так, на глазах у изумленной публики завязываются и развязываются сложные узлы семейно-родственных отношений, охвативших на протяжении ста с лишним лет представителей самых разных социальных групп двух городов Англии. А в центре всех этих хитросплетений — стремительный, бурный роман между двумя действующими лицами, стоящими по разные стороны баррикады, то бишь бывшей церкви св. Эдера — Фанни Уильямс и Фредом Джаблингом. Добропорядочный Фред потерял голову от первой же встречи с обольстительно агрессивной Фанни, она же в свою очередь увидела в этом тучноватом джентльмене в роговых очках идеал надежного супруга, некий вариант «принца-консорта» (брак королевы Виктории и Альберта всегда вызывал у хозяйки «викторианских» лавок самые пылкие эмоции).

Все это оставалось бы в рамках забавной, хотя и грубоватой комедии нравов, если угодно — фарсом, с хогартовской выразительностью запечатлевшим какие-то аспекты современного английского быта, и частного и социального, если бы не две насильственные смерти в финале: самоубийство и убийство. Покончил с собой (бросился под поезд метро) молодой человек, случайный «друг» Чарльза,— так как его жене, очень ему дорогой, сообщили о тайной жизни мужа. Убила Фреда Джаблинга, в разгаре безобразной ссоры слишком прицельно запустив в него кочергу, его жена Джин, получившая по почте несколько непотребных фотографий мужа. И та и другая «операции» были с истинно дьявольским хитроумием задуманы и осуществлены очаровательными близнецами Фанни Уильямс — Мармадьюком и Пандорой, отчасти из желания удалить из дома раздражавших их новых людей, отчасти просто ради развлечения.

...«Так времени водоворот несет в себе возмездие». Грехи отцов и дедов и даже

прадедов отзываются в разных вариантах вплоть до пятого колена. Если именно в этой немудрящей, да и сомнительной морали заключена суть замысла романа, то стоило ли о нем говорить? Но все складывается сложнее, потому что рядом с прихотливым, но в общем предсказуемым переплетением интриг и обстоятельств, рядом со сценами, отдающими «клубничкой» (комические акценты ничего в этом не меняют), возникают типы, очерченные пером острым, резко насмешливым и — в неожиданных поворотах угла зрения — по-настоящему серьезным. Особое место занимает в повествовании Джессика Оуэн, в свои 83 года сохранившая не только ясность ума, но и твердую шкалу нравственных ценностей— хотя именно это ее качество все время борется с присущей миссис Оуэн терпимостью и горячей привязанностью к внучкам. Тот факт, что еще в начале 30-х годов эта вдова уэльского школьного учителя, а затем почтмейстерша в маленьком городке стала членом компартии и взглядов своих не меняла,— для автора лишь одна из красок; в день общепарламентских выборов, завершающих роман, все персонажи голосуют в соответствии со своими убеждениями или предубеждениями. Но так или иначе, Джессика Оуэн предстает на этих страницах, пожалуй, единственным симпатичным человеком. Однако дело не в распределении пороков и достоинств. Автор умеет не только мастерски лепить шаржированные, но и жизнеподобные фигурки — в какие-то моменты они обретают глубину. Это прежде всего относится и к заглавному герою — Освальду Фишу. Из записей, сделанных в черных записных книжечках, выпавших из старого чемодана, постепенно предстает человек, характер, уловленный на разных временных точках своего развития. Прежде всего — благодаря искусной стилистической имитации: поначалу это истый молодой викторианец, богобоязненный, привычно лицемерный, напичканный трюизмами; однако подлинная натура его — чувственная, самолюбивая, ироническая — пробивается сквозь клишированную фразеологию. Затем происходит «раскрепощение» Освальда Фиша от всех табу — социальных, религиозных, моральных, откровенный гедонизм становится движущей силой всех его поступков. И одновременно все отчетливее проявляется смысл его жизненной драмы — драмы несостоявшегося призвания. В юности он отказался вступить в отцовскую фирму, потому что хотел стать архитектором. За это отступничество от традиции он был изгнан из семейного лона, а «скандал» с Энни Шекспир окончательно превратил его в черную овцу. Но самостоятельно работающим архитектором Освальд Фиш так и не стал, всю жизнь служил у кого-то, проектировал полицейские участки, а позже — заправочные станции, работал в малых архитектурных формах и добывал для отцовской фирмы заказы на металлические детали и орнаменты. Церковь в Бирмингеме оказалась его единственным авторским созданием. И это скромное творение не избежало гибели: здание рухнуло, когда рабочие пытались выломать из интерьера чугунный экран для выставки работ Освальда Фиша, который, стараниями Фанни и ее приятелей, на краткий срок был извлечен из безвестности...

Роман на поверхностный взгляд основательно «прошекспирен»: и эпиграф, и мистер Шекспир, которого зовут Тоби (снова «Двенадцатая ночь»), и Эдмунд с Освальдом, да и сам мотив «неузнавания», родственной путаницы, разъясняющейся к финалу,— все это вполне очевидно. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что великий бард и его герои тут, право же, решительно ни при чем. Здесь это не более чем игра, литературное озорство. И если уж говорить о классической традиции, то скорее — о воздействии творчества знаменитых комедиографов эпохи Реставрации: Этериджа, Уичерли, Конгрива, блистательных мастеров диалога, умевших строить интригу, нравоописателей, которые, «срывая покровы» с внешней благопристойности, не боялись грубости, в частности эротической. Если же искать родственные черты в современном литературном окружении, то следует вспомнить и Айрис Мердок, которая тоже любит завязывать замысловатые сюжетные узлы и разрубать их с помощью маловероятных совпадений, Мюриэл Спарк с ее холодным острым лаконизмом, Джона Фаулза — мастера литературной стилизации... Разумеется, все эти писатели совершенно несхожи между собой в самой сути творчества, речь идет о тех или иных элементах повествовательной манеры, которые можно распознать в прозе А. Н. Уилсона — вовсе не вторичной, отмеченной резким своеобразием. Читать роман интересно, и все же, следуя за автором по извилистой, ухабистой дороге его повествования, так до конца и не можешь решить вопроса: а кто же он такой, А. Н. Уилсон (даже полное имя его не указано ни на титуле, ни в издательской аннотации),— циник, шутник, моралист-сатирик, писатель, пробующий силы в жанре психологического портрета, наблюдатель современной жизни, с бесстрастной иронией регистрирующий ее уродства и нелепости?

Похоже, что всего понемногу и что все эти позиции сосуществуют в каком-то внешне сбалансированном, но внутренне дисгармоничном единстве. Быть может, и читать роман поэтому интересно. И, вероятно, именно поэтому он не оставляет глубокой зарубки в читательской памяти.

И. ЛЕВИДОВА

НОВАЯ ВСТРЕЧА СО СТЕФАНОМ ЦВЕЙГОМ

Stefan Zweig. Rausch der Verwandlung. Roman aus dem Nachlaß. Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 1982.

Стефан Цвейг. Угар перевоплощения. Роман из наследия. 1982.

Знак охраны авторского права на этой книге датирован 1982-м годом. Это и в самом деле первая публикация неизвестного прежде романа

Стефана Цвейга, над которым писатель работал с перерывами в течение нескольких лет, начиная с 1931 года. Выходит, это роман, задуманный писателем еще до «Нетерпения сердца», считавшегося до сих пор единственным романом Стефана Цвейга. Роман, писавшийся в то время, когда писатель работал над своими знаменитыми книгами о Марии Стюарт и Магеллане, удивившими его в область столь горячо любимых им исторических изысканий. Роман о... современности. Да, да, именно к современности обращена эта так и не сданная писателем в печать и не озаглавленная им рукопись, увидевшая свет через сорок лет после смерти автора.

К чтению подобных книг приступаешь всегда с жадным нетерпением и одновременно с некоторой опаской — достойной ли окажется неожиданная находка пера своего знаменитого создателя, не разочарует ли она, не покажется ли в конце концов излишней, своего рода нескромным вторжением в творческую лабораторию писателя? Однозначно и определенно ответить на все эти вопросы, прочитав нового Цвейга, трудно. Трудно не из-за необходимости давать оценку — перед нами действительно настоящий Цвейг с его блестящим владением словом, с собственно цвейговской повествовательной интонацией, передачей тончайших психологических оттенков, высоким мастерством. Трудно же потому, что перед нами слишком уж неожиданный Цвейг, Цвейг и в самом деле новый, с неведомой прежде решительностью вторгающийся в область социального и стремящийся привести своих неустроенных героев именно к социальным решениям. И вот здесь, в освоении этого нового повествовательного пласта, есть у писателя и свои поразительные открытия, и, наверное, свои издержки, помешавшие ему в свое время сдать роман в печать.

Итак, 1926 год, первое послевоенное десятилетие в побежденной, усталой и раздраженной Австрии. Развалилась «лоскутная империя» престарелого Франца Иосифа, в стране остро сказываются последствия инфляции. Война, как всегда, со всей жестокостью ударила прежде всего по «маленьким» людям, миллионы поставив на грань нищеты и лишив всяких перспектив на будущее. Именно такое вот жалкое существование влачит героиня романа Кристина Хофленер, служащая маленького почтового отделения, затерявшегося на одной из захолустных станций где-то недалеко от Вены. В сущности, она еще неплохо устроена и должна за это благодарить судьбу, ведь у нее есть «место», полученное благодаря протекции преуспевающего родственника, и она не должна убиваться каждодневной мыслью, где найти работу. Заработка, правда, едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами, и по внешнему виду Кристины, по обстановке у нее в доме сразу можно догадаться, что принадлежит она именно к беднейшим слоям населения, но она искренне рада и этому, а в своей каждодневной, отупляющей и однообразной работе находит даже какое-то особое удовлетворение. Впрочем, до поры, до времени. Неожиданно судьба делает утратившей всякие надежды Кристине щедрый подарок. Богатая тетка, жена крупного голландского коммерсанта ван Боолена, приглашает ее провести месяц вместе с нею в Швейцарии.

Вот так Кристина из своего маленького и унылого почтового отделения попадает в Энгадин, один из самых фешенебельных высокогорных курортов. Начинается «перевоплощение», вынесенное издателем в заголовок романа: мелкая почтовая служащая, двадцативосьмилетняя старая дева Кристина Хофленер на короткий срок превращается в Кристиану фон Боолен, богатую наследницу торгового дома ван Боолен. Она пользуется вниманием окружающих, за ней настойчиво ухаживают мужчины, легко и быстро привыкает она как к изысканной ресторанной кухне, так и к роскошным теткиным платьям, купленным не где-нибудь, а в Париже. Порой сказка о Золушке, случайно попавшей на бал, приобретает у Цвейга — и надо думать, писатель делает это намеренно,— некоторые черты дешевого и сентиментального дамского чтива. Обычно подобный литературный китч заканчивается одинаково: скромная Золушка, попавшая в великосветское общество, находит здесь — благодаря своим незаурядным внешним и внутренним данным — счастливую судьбу в лице какого-нибудь богатого наследника, полюбившего ее «любовью до гроба» и сумевшего преодолеть сопротивление своих родных. Ничего подобного с Кристиной Хофленер не происходит. Богатая тетка попросту вышвыривает ее в конце концов из отеля, испугавшись, что наивная и доверчивая Кристина неосторожно раскроет тайну и ее собственного более чем скромного происхождения. И снова Кристина на почте, и снова так же уныло текут дни, только теперь уж серость их и скудость стали вовсе невыносимы.

Немножко радости дарит ей знакомство с человеком, «заряженным духом мятежа», который начинает занимать все больше места в ее мыслях. Фердинанд влачит еще более жалкое существование, чем Кристина, у него нет постоянного места, он то и дело оказывается на улице и вынужден снова приниматься за изнурительные поиски работы. Рассчитывая поначалу хоть как-то помогать друг другу и вместе противостоять жестокости жизни, Кристина и Фердинанд вскоре понимают, что и это невозможно: у них нет пристанища, а долгое блуждание по улицам под осенним дождем способно в конце концов повергнуть в отчаяние. Так и происходит. Безнадежность побеждает, и молодые люди принимают решение добровольно уйти из жизни. Они бы и осуществили это намерение, если бы у них вдруг не созрел другой план — разбогатеть с помощью ограбления, на которое в конце концов после недолгих колебаний дает свое согласие Кристина. Решение принято, и герои надеются на успех задуманного предприятия — на этой неопределенной ноте и заканчивается роман.

Прочитывается он легко и увлекательно, читателя захватывают жизненные перипетии цвейговских героев, и только закрыв роман и отложив его в сторону, он обязательно задумается над некоторыми вопросами. Как относиться к героям Цвейга?

Кто они — несчастные жертвы жестокого и бесчеловечного общества или же его своеобразный продукт, несущий на себе товарное клеймо того же самого общества? Какие этические параметры определяют их поведение? И входило ли в авторское намерение сделать их столь одномерными, какими предстают они на страницах книги, вынеся «за скобки» все нравственные сомнения и терзания? А может, просто стремление писателя перевести свой роман в явно социальную плоскость заставляло его отбрасывать все, что казалось в данном случае излишним, ужимая как только возможно повествование и делая его более целеустремленным? На все эти вопросы можно найти ответ в самом романе. Блестящий человеческий психолог, Стефан Цвейг сказал о своих героях все что нужно, рассеяв по всему роману целый ряд мелких, но весьма «играющих» деталей. И если герои его, несмотря на все их бедственное положение, становятся к концу романа чем-то неприятны читателю, то и это входило в замысел писателя, и именно такой реакции он и добивался.

Герои Цвейга не размышляют по поводу общего порядка вещей; единственное, что занимает их мысли,— это то, что каждый день, каждый час те, другие, живут в сто раз лучше, чем они, и живут именно той жизнью, какой хотелось бы жить им самим. Вопрос о том, как сделать жизнь более сносной для всех, не волнует Кристину и Фердинанда, они думают лишь о том, как сделать эту жизнь более сносной для себя, и притом немедленно. Только на это и хватает «бунтарского духа» Фердинанда, только в этом плане он и осмысляет свои отношения с государством, которое, по его словам, «ничего ему не дало». Индивидуализм в чистом виде, лишь рядящийся в социальные одежды и истолковывающий социальные несправедливости, которыми полон мир, лишь в плане самооправдания, как железное обоснование своих собственных прав на «кусок пирога» и на положение над обществом — что-то удивительно знакомое просматривается вдруг в героях Цвейга, когда, уже оторвавшись от книги, начинаешь размышлять над прочитанным. И как-то очень современно начинают звучать вдруг отдельные монологи Фердинанда, доказывающие его право на любые поступки — да ведь это сегодняшняя философия, философия тех, кто, вооруженный уже самым новейшим оружием, грабит банки, в упор расстреливая прохожих, прикрываясь демагогическими фразами об извечной социальной несправедливости и о необходимости немедленного и самого срочного изменения мира — по крайней мере для себя. Мелкобуржуазный индивидуализм, прямо впадающий в терроризм, одна из наиболее больных проблем современности, вдруг поразительнейшим образом оказывается «высвеченным» в произведении, написанном полвека назад и опубликованном в наши уже дни удивительно ко времени, удивительно в срок.

Великий соотечественник Стефана Цвейга поэт Райнер Мария Рильке видел в бедности идеал, приближающий к святости. В своем «Часослове», написанном на рубеже веков, Рильке посвящает вдохновенные строки святому Франциску Ассизскому, «беднейшему из бедных», но богатому душой, заключающей в себе все сокровища бытия. Цвейг, переживший первую мировую войну и распад империи Габсбургов, уже не может питать подобных романтических иллюзий. Для его героев, выросших в трезвом и расчетливом мире, бедность—всего лишь нечто постыдное, отвратительное, с чем надо бороться любыми средствами. Дети разорившихся когда-то на войне мелких торговцев, они и в самом деле готовы любыми средствами, любой ценой бороться за свою долю, за то, чтобы вырвать у несправедливого мира что-то и для себя. Большой поклонник Достоевского, Цвейг как бы создает свой вариант первой части «Преступления и наказания»— применительно к жестокому послевоенному миру и без каких-либо надежд на будущее нравственное возрождение своих героев, которого, как это очевидно из написанного, не будет.

Мы можем только гадать, что произойдет с героями Цвейга в дальнейшем. Думается, писатель все же сознательно поставил точку «на самом интересном месте». Ибо практически все, что случится дальше, уже так или иначе намечено в романе. Фердинанд, предлагая Кристине свой тщательно продуманный план ограбления почты, пытается определить и их будущие взаимоотношения: никаких обязательств друг перед другом на долгий срок, ответственность пополам, все рассчитано строго и по-деловому. Это маленькое предприятие основывается на тех же законах, что и крупные сделки «сильных мира сего». Кристина и Фердинанд уже заранее целиком принимают условия игры этого мира.

Ограбление может удаться, а может и не удаться — для Цвейга-писателя это не столь уж важно. Главное, что не удадутся построенные на сухом деловом расчете взаимоотношения Кристины и Фердинанда и не принесут им деньги ни желаемой свободы, ни желаемой радости жизни. Принесут они только страх и еще большее одиночество, еще большую отчужденность друг от друга. Что и естественно для тех, кто стремится обрести «все блага мира», но только для себя одного.

Новый роман Стефана Цвейга — глубокая, искренняя, хотя и, как уже отмечалось, довольно неожиданная для писателя книга. Открыта новая грань его таланта, новый пласт творческих исканий, и хочется верить, что все это языковое, стилистическое и художественно-философское богатство станет вскоре достоянием и советского читателя.

Н. ЛИТВИНЕЦ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

НОВЫЙ РОМАН ТОМАСА БЕРНГАРДА

Много лет Томас Бернгард работал над циклом своих автобиографических романов. Новое его произведение, роман «Бетон», выпущенный издательством «Зуркамп», не принадлежит к этому циклу; тем не менее, как пишет в еженедельнике «Вельтвохе» критик Алиса Виллон-Лехнер, здесь узнаются знакомые темы и мотивы.

Знакомым кажется и главный герой — Рудольф, писатель и музыковед, задумавший монографию о знаменитом композиторе эпохи романтизма Мендельсоне-Бартольди.

Тема музыки всегда занимала Бернгарда. Для его героя музыка — воплощение чистой гармонии, соответствующей упорядоченной структуре самого мироздания. Рудольф пытается отобразить эту гармонию, но у него ничего не получается: абстрактное понимание задачи уводит его от жизни. В поисках выхода из тупика Рудольф покидает свой уединенный дом и уезжает на Мальорку. Ему кажется, там он сумеет сдвинуться с мертвой точки. Но неожиданно им завладевают воспоминания. Дело в том, что во время прошлого своего приезда сюда Рудольф познакомился с молодой немкой. Она рассказала ему драматическую историю своей жизни: уход из родительского дома, неприкаянное бродячее существование, наконец, гибель мужа, который, упав с балкона, разбился насмерть о бетонную мостовую. Больше Рудольф эту женщину не встречал. Лишь сейчас, вспомнив о ней, он идет на кладбище, где похоронен ее муж, и рядом с мужским именем находит на могильном камне имя молодой немки. «Самоубийство», — поясняет сторож.

«Я закрыл занавески в своей комнате, — пишет Рудольф, — принял несколько таблеток снотворного и проснулся только через двадцать шесть часов, объятый неимоверным страхом».

Все это знакомые для Бернгарда мотивы, замечает критик, их повторение грозит стать банальным. «Сизифа», который вновь и вновь вкатывает на гору словесный ком, перестаешь воспринимать всерьез... Изображение страданий и страха начинает терять остроту и горечь, в них появляется что-то от неестественной позы». Рецензент напоминает слова Бернгарда, сказанные им в одном интервью: «Я говорю о смерти, как другие говорят о булочках». «Не повторяется ли Бернгард, не затвердела ли его проза, как смертоносный бетон? — продолжает Виллон-Лехнер и отвечает на собственный вопрос: — Нет, постепенно читатель начинает чувствовать, что автор достиг в этой книге нового уровня».

Рудольф все-таки принимается писать — нет, не о жизни и смерти далекого гения, а о пережитом, о недавней обыденной трагедии. Он называет это «бегством от себя к себе». Ему удалось прикоснуться к настоящей жизни и к настоящей смерти, «и это помогает ему осознать самого себя, дорасти до подлинных чувств», — отмечает рецензент.

На снимке: австрийская актриса Мария Билл в роли Эдит Пиаф в моноспектакле «Пиаф», с которым она гастролировала в Швейцарии. Выпускница венской театральной студии и школы мимов в Париже, Мария Билл долгим путем шла к постижению образа и творчества Эдит Пиаф. В этих поисках, говорит актриса, она руководствовалась словами самой Пиаф: «Когда я пою, моя песня — это я сама».

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФИЛЬМ БРЕХТА С УЧАСТИЕМ ЭРНСТА БУША В ЛОНДОНЕ

По сообщению газеты «Морнинг стар» в Лондоне в одном из крупных кинотеатров Великобритании «Академия» состоялась премьера немецкого фильма «Куле Вампе», созданного более полувека тому назад, накануне прихода к власти нацистов в Германии. Автор сценария — Бертольт Брехт, в главной роли снялся «менестрель немецкой революции» Эрнст Буш.

Кинофильм в свое время был подвергнут жесткой цензуре, изъявшей многие его кадры. После премьеры в Берлине в 1932 году, когда фильм получил широкий общественный резонанс, реакционные круги Германии сделали все возможное для того, чтобы похоронить его. Вслед за приходом к власти

Гитлера в мае 1933 года фильм был запрещен, его создатели занесены в черные списки, и все, кто имел отношение к фильму, были принуждены покинуть Германию.

«Куле Вампе», или «Кому принадлежит мир?» (под последним названием фильм демонстрировался в Великобритании) повествует об одной из страшнейших социально-экономических язв буржуазного общества — проблеме массовой безработицы. Перед зрителем проходят кадры с кричащими заголовками газет о трагической ситуации на рынке рабочей силы, закрытые фабричные ворота, бездымные фабричные трубы. В фильме рассказывается о судьбе молодого человека, отчаявшегося найти работу. Раздавленный сознанием того, что новое законодательство лишает его надежды на какое-либо пособие по безработице, не желая быть бременем для своей семьи, он кончает жизнь самоубийством.

В фильме дается история жизни Анны — сестры самоубийцы, ее любви к Фрицу (его играет Эрнст Буш), история их социально-политического пробуждения, сознания того, что лишь на основе единения рабочего класса возможно покончить с неравенством и несправедливостью, господствующими в мире. Именно эту центральную идею фильма немецкие власти сочли совершенно недопустимой, а сам фильм — подрывным и опасным. В своем стремлении подвергнуть критическому анализу капиталистическое общество, в своих прямых призывах к активным политическим действиям создатели фильма, по их мнению, зашли слишком далеко. «Этот фильм,— указывается в отчете цензора,— создает у зрителя впечатление, что государство в его существующей форме не склонно и не способно избавить массы населения от нищеты и страданий и что исправить эту ситуацию возможно лишь руками самих масс на путях мировой коммунистической революции».

Фильм о безработице демонстрируется в Лондоне именно в тот момент, когда эта проблема более чем актуальна для сегодняшней Англии.

ДЕРЗНОВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Радиопостановка «Танец под музыку времени» по одноименной двенадцатитомной эпопее Энтони Пауэлла привлекла внимание многих слушателей, сообщает обозреватель журнала «Лиснер». Перед слушателями возникла жизнь английского общества на протяжении пяти десятилетий, общее число действующих лиц — более двухсот, а весь роман растянулся на двадцать шесть радиопередач.

Радиоадаптация была сделана известным сценаристом Брэднамом. Он задумал драматизировать эпопею Пауэлла, пишет рецензент, еще в 1974 году, но потребовалось пять лет, в течение которых Брэднам обивал пороги Би-Би-Си, убеждая руководство компании, что столь грандиозный замысел — не утопия и может быть с успехом реализован.

Первые эпизоды романа, прозвучавшие в эфире летом 1979 года, вызвали поток восторженных писем радиослушателей, которые жаждали продолжения. Сейчас трансляция эпопеи по британскому радио завершена, и, как полагает обозреватель журнала «Лиснер», настало время подвести некоторые итоги.

Брэднам и его помощник Грэхем Гоулд, с которым он работал над последними романами эпопеи, разбили произведение Пауэлла на четыре самостоятельных трилогии. Как показал опыт, такая подача материала была оправданной. Ведь нередко и критики и читатели Энтони Пауэлла сетовали на то, что некоторые отдельные романы трилогии трудно воспринимать самостоятельно, вне связи с другими частями. Объединив же романы по группам, Брэднам и Гоулд сделали замысел Пауэлла более доступным. И конечно, тот факт, что главный герой эпопеи, писатель Николас Дженкинз, стал рассказчиком в радиопостановке, также способствовал созданию еще большего драматического эффекта.

Свой творческий путь Пауэлл начал в начале 50-х годов. Тогда он был молодым писателем, учеником известного сатирика Ивлина Во. К моменту завершения своей двенадцатитомной эпопеи он выдвинулся в число самых известных прозаиков, а «Танец под музыку времени» по праву считается одним из крупнейших достижений английской послевоенной прозы.

И все же, как показывают данные читательского опроса, Пауэлла мало читали. Не всем по плечу его изощренная, богатая многими литературными аллюзиями проза. В своей радиопостановке Брэднаму удалось снять с прозы Пауэлла налет изыска и показать широкому кругу слушателей, как близок этот писатель к традиции Диккенса. В своем «облегчении и высветлении» прозы, пишет рецензент, Брэднам следовал не столько собственному желанию, сколько закономерностям развития Пауэлла как художника.

ВЕНГРИЯ

ДЮЛА ЮХАС — ИСКУССТВОВЕД

В этом году в Венгрии широко отмечается столетие со дня рождения замечательного поэта, классика венгерской литературы Дюлы Юхаса.

Творчество Дюлы Юхаса хорошо известно у нас в стране. В 1961 году в издательстве «Художественная литература» вышел в свет сборник его стихов «У Тисы». Произведения Дюлы Юхаса включались в различные поэтические антологии, в частности, в недавно изданную антологию «Венгерская поэзия. XX век». Стихотворения Дюлы Юхаса печатались также и на страницах советских журналов.

Венгерский журнал «Мювесет» («Искусство») опубликовал недавно статью искусствоведа Золтана Селеши, в которой тот поведал о еще одной, доселе неизвестной советским читателям стороне деятельности Дюлы Юхаса — искусствоведческой.

Горячий патриот родины, гуманист, «верный бард венгерской бедноты», как он писал о себе, Юхас стремился раскрыть своему народу все очарование отчего края, показать, что умение видеть прекрасное всегда приносит человеку ощущение счастья, помогает ему ценить красоту бытия.

Именно эти мысли стали лейтмотивом его работ, посвященных скульпторам, художникам и их творениям.

Просто, доходчиво и глубоко профессионально писал он о «тайнах» магической притягательности произведений античного искусства, полотен Леонардо да Винчи, Веласкеса, Рембрандта, Ватто, Гогена и многих других великих мастеров. В этих своих работах Юхас выступал и как искусствовед и как просветитель, «несущий в народ» непреходящие ценности мировой культуры.

В центре его интересов была и окружающая действительность, запечатленная венгерскими художниками - современниками Адольфом Феньешем, Михаем Рипль-Ронаем, Лайошем Гулачи, Лайошем Каройи, Белой Эндре, Габором Паппой.

Просветительская, пропагандистская деятельность Дюлы Юхаса, подчеркивается в статье Золтана Селеши, особенно ярко проявилась в дни провозглашения Венгерской советской республики. В этот период он стал настоящим трибуном, глашатаем революционных преобразований. Юхас выступал с докладами и лекциями для рабочих, писал статьи, одна из которых называлась «Искусство народу». Один из основателей «Свободной школы искусств» в городе Сегеде, где он жил, Юхас преподавал здесь впоследствии литературу и философию.

Свою просветительскую деятельность поэт по мере возможности продолжал и в условиях жестокой реакции, наступившей после поражения революции 1919 года, ему запретили учи-

тельствовать, лишили пенсии. Но именно в эти годы Юхас был в числе учредителей «Товарищества художников» в г. Мако. Не без его участия появилось в 1928 году «Альфёльдское объединение художников», и поэт стал одним из его вице-председателей.

В искусстве продолжал он черпать силы и, не теряя веры в будущее, писал, обращаясь к потомкам: «Приветствую вас, храбрецов, счастливых, весело идущих на зов небес, на мощный зов загадок древних, тайн грядущих».

ВЕНЕСУЭЛА

ЖЕНЩИНЫ-КОМПОЗИТОРЫ

Пианистка Росарио Марсиано создала поистине удивительную коллекцию. За восемнадцать лет поисков ей удалось обнаружить более трех тысяч шестисот женщин-композиторов, творивших начиная с 2500 года до н. э. и по наши дни. Одна из ее находок — 60 табличек с нотными записями музыки монахини из Месопотамии по имени Энхедуанна. Свои находки Марсиано представила серией долгоиграющих пластинок, запись которых началась в конце минувшего и завершится в 1984 году.

Вся коллекция составит четыре альбома по три пластинки в каждом, к ним будут приложены буклеты со сведениями об авторах и их произведениях. Эти книжки войдут затем в однотомную энциклопедию, которая помимо данных о женщинах-композиторах будет содержать и суждения об их творчестве композиторов-мужчин. Например, мнение Ф. Мендельсона о творчестве его сестры Фанни Мендельсон.

Росарио Марсиано дебютировала в качестве исполнительницы шестилетней девочкой, а в десять стала давать сольные концерты. Она сообщила корреспонденту американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн», что не является феминисткой, и ее интерес к музыке, написанной женщинами, возник случайно. Будучи поклонницей жившей в XIX веке знаменитой своей соотечественницы Тересы Карреньо — композитора, оперной певицы, автора национального гимна,— Марсиано заинтересовалась, почему так редко исполняются ее произведения, что, в свою очередь, навело ее на размышления о судьбе музыки, написанной женщинами вообще. Она обратила внимание на то, что немногие знают больше пяти имен женщин-композиторов, например, Клару Шуман, Фанни Мендельсон, Альму Малер, и то лишь в связи с тем, что их жизнь была связана с

На снимке: Росарио Марсиано.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

жизнью прославленных композиторов.

Ярким примером пренебрежения заслугами женщин-композиторов представляется ей творчество польки Марии Шимановской (1789—1831). Слушая ее музыку, говорит Марсиано, вы сразу же замечаете необыкновенное сходство с музыкой Шопена, но ведь Шимановская была предшественницей Шопена. Именно она оказала на него весьма ощутимое влияние.

Среди самых ценных находок — песня Анны Болейн (1536 г.), опера XVII века, произведения первой жены Россини, прекрасной певицы Изабеллы Колбран, произведения знатных дам XII века и, наконец, музыка жительниц греческого острова Лесбос (VI в. до н. э.).

Марсиано сожалеет о том, что ей никак не удается заставить своих импресарио разрешить исполнение программы, целиком составленной из произведений женщин-композиторов, хотя публика встречает эту музыку восторженно.

ГАНА

О ТВОРЧЕСТВЕ КВЕИ АРМЫ

Журнал «Презанс африкэн», выходящий в Париже, опубликовал рецензию Юнги Теена на книгу Роберта Фрейзера «Романы Квеи Армы» (издательство Хейнеманн, 1980).

Читателям «Иностранной литературы» Квеи Арма известен романами «Осколки» и «Целители».

Признавая некоторые достоинства этого труда (информативность, попытка объективно осветить социально-политическую сторону жизни африканского общества), Юнга Теен отмечает спорность ряда его положений. В частности, он считает неверным утверждение Фрейзера о том, что Арма является приверженцем «французской литературной школы»; в действительности же, указывает Теен, творчество Армы, ныне известного писателя, развивалось под влиянием таких выдающихся мастеров африканской прозы, как Чинуа Ачебе.

ГДР

«ПОРТРЕТ ОТЦА»

В издательстве «Нойес лебен» вышел роман Юрия Брезана «Портрет отца» (о Брезане см. «ИЛ», 1968, № 6; 1977, № 4, 9; 1979, № 4). Еще несколько лет назад писатель говорил о желании создать книгу о своем отце — человеке, которого он уважал, как никого на свете. В романе Брезан рассказывает о десяти последних днях отца. В эти дни старый каменотес Тобиас Хавк (такое имя в романе дал своему отцу писатель), зная, что умирает, подводит итоги своей долгой жизни, вспоминает все, что он пережил, вспоминает людей, с которыми встречался.

Большую статью, посвященную новому роману, поместил в газете «Нойес Дойчланд» известный критик Ганс Кох. Он называет книгу «раздумьями о жизни». «Брезан поведал историю одной судьбы — судьбы человека, для которого главным всегда оставались честный труд, самостоятельность, чувство долга, ответственность за себя и за других».

Литография Арно Мора «Ребенку нужен мир». Она демонстрировалась на выставке, посвященной теме мира, в Музее изобразительных искусств в Лейпциге.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Другой критик, Аннелиза Лёфлер, пишет в газете «Берлинер цайтунг»: «Юрий Брезан написал прекрасную книгу, которая по-новому раскрывает читателю простого человека. В книге много юмора, и прежде всего им обладает сам Тобиас Хавк, сохранивший это чувство до конца жизни. Поэтичность в описании природы, деревни, которую так любит Тобиас Хавк, многочисленные истории, вкрапленные в повествование, обращение к мифологии и сказаниям далекого прошлого — все это продолжает основные традиции литературы сорбов — славянской народности, к которой принадлежит Юрий Брезан».

ПОКАЗЫВАЕТ ЛЕЙПЦИГ

В 1983 году издательства Германской Демократической Республики планируют выпустить около 6000 книг. Тираж их достигнет 140 миллионов. На книжной весенней ярмарке в Лейпциге, в которой участвовал и целый ряд социалистических и капиталистических стран, 78 издательств ГДР показали свою продукцию.

Книжная ярмарка проходила под знаком года Карла Маркса в связи со 165-летием со дня его рождения и 100-летием со дня смерти. Были представлены издания произведений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, книги о Марксе, в том числе юбилейные сборники.

Пятьдесят лет назад в нацистской Германии были сожжены книги крупнейших писателей. В связи с этим издательство «Киппенхойер» выпустило сборник «В те дни...» с предисловием Юргена Кучинского, в котором наряду с документальными материалами содержатся отрывки из книг писателей, преследовавшихся при фашизме.

Большой интерес вызвали новинки художественной литературы. Среди них — новый роман Юрия Брезана «Портрет отца», «Избранное» Германа Канта, рассказы Курта Давида, новые книги Гюнтера Гёрлиха и Эдуарда Кляйна, рассказы Маргареты Нойман, сборники стихов Эвы Штриттматтер, Гельмута Прайслера, Армина Мюллера. С чтением своих произведений выступил ряд писателей. Так, Стефан Хермлин прочел отрывки из новой книги публицистики, Криста Вольф — из повести «Кассандра».

Издательства отметили и 500-летие со дня рождения Мартина Лютера. На стендах выставки помещены его книги и повесть писательницы Хельги Шюц, посвященная Лютеру.

На выставке демонстрировались и книги писателей других стран. Много книг было представлено издательствами Советского Союза.

ЕГИПЕТ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издающаяся в Дамаске газета «Тишрин» поместила статью критика Хассана Иззата «Бурлящий сосуд», в которой рассказывается о некоторых новых явлениях в культурной и литературной жизни Египта после смерти Садата. Эти явления, по мнению критика, отражают стремление египетской общественности к изменению культурного климата страны, к избавлению от застоя, в который культура и литература Египта были погружены в годы правления прежнего президента. Среди мер нового правительства, встреченных с одобрением прогрессивной египетской интеллигенцией, было создание нового журнала «Ибда» («Творчество»). Главным редактором журнала «Ибда» назначен известный поэт и критик, доктор Абд аль-Кадер аль-Котт. В состав редколлегии вошли писатель Сулейман Файяд и критик Сами Хашаба. Журнал предоставляет свои страницы писателям и поэтам различных литературных направлений.

ИНДИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

В Дели состоялось заседание Сахитья Акадми (Литературной академии) Индии, на котором были оглашены имена лауреатов за 1982 год.

Литературная академия — правительственная организация, основана в 1953 году с целью сближения литератур Индии, создаваемых на различных языках. Первым президентом литературной академии был Джавахарлал Неру. В настоящее время этот высокий пост занимает видный индийский писатель Умашанкар Джоши.

За прошедшие годы лауреатами Литературной академии стала большая группа писателей, поэтов, драматургов и литературоведов, представляющих не только основные, официально признанные, но и формирующиеся литературы Индии.

Среди лауреатов Литературной академии 1982 года — многие популярные писатели Индии. Органы печати особо подчеркивают тот факт, что премии Литературной академии удостоен выдающийся писатель-сатирик литературы хинди Харишанкар Парсаи, бессменный председатель одной из наиболее активных творческих организаций Индии — Ассоциации прогрессивных писателей штата Мадхья-Прадеш. Премия Харишанкару Парсаи присуждена за книгу сатирических рассказов «Царство растерянной веры», вышедшей в 1981 году.

Звания лауреатов Литературной академии за 1982 год удостоены известный писатель-романист Арун Джоши, создающий свои произведения на английском языке,— за роман «Последняя ошибка», и малаяламский писатель-новеллист Нарайн Кутти — за рассказы, опубликованные в период с января 1979 по декабрь 1981 года.

В числе новых лауреатов Литературной академии — Нарайн Пилле, пишущий на санскрите, пенджабский писатель Гульзар Синх Сандху, Мульчанд Пранеш, пишущий на раджастхани,

и Дешбандху Нутан — на догри.

Присуждение премий Литературной академии Индии расценивается как свидетельство роста прогрессивной индийской литературы и является знаменательным событием в культурной жизни страны.

ТАМИЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ «ПОДВЕТРЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ»

Второй по численности народ Южной Индии — тамилы — уже в первые века нашей эры завязали тесные отношения с «подветренными землями», как называли в Индии Юго-Восточную Азию. Сегодня тамилы составляют второе по величине после китайцев национальное меньшинство в Федерации Малайзия, немало их и в соседней островной республике — Сингапуре.

Небольшая антология тамильской поэзии Малайзии и Сингапура под названием «Ландшафт в глубине сердца» вышла недавно в Калькутте в издательстве «Райтерс уоркшоп». В антологии представлены и поэты старшего поколения, такие, как Сомачанма и Н. Пажанивелю, и представители «молодых» — К. Перумаль, И. Уляхандан, Кару Тирувасу и другие. Как отмечается в предисловии к антологии, широко распространенные прежде стихи о природе и поэтические признания в любви к тамильскому языку и тамильской культуре в творчестве молодых поэтов, публикуемых в сборнике, сменяются язвительным обличением социальных пороков, распространенных в обществе. Чтобы стихи стали доступны широкому читателю, они представлены в антологии в английских переводах.

ИТАЛИЯ

ДЗЕФФИРЕЛЛИ СТАВИТ ШИЛЛЕРА

Итальянский режиссер, сценарист, художник Франко Дзеффирелли известен постановками в лучших театрах мира таких шедевров классики, как «Гамлет», «Отелло», «Паяцы» и фильмами «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», только что снятым фильмом-оперой «Травиата».

Недавно в флорентийском театре «Пергола» состоялась премьера новой театральной работы Ф. Дзеффирелли — спектакля по трагедии Шиллера «Мария Стюарт». Мысль об этой постановке давно привлекала итальянского режиссера. «Мой Шиллер,— уточняет Дзеффирелли,— далек от романтизма. Герои, которых я предлагаю зрителям, — великие исторические личности — предельно реалистичны».

На снимке: Валентина Кортезе и Франко Дзеффирелли.

(Газета «Паэзе сера»)

Подбирая актеров, Дзеффирелли учитывает творческую индивидуальность. Впервые на одной сцене выступают вместе две известные актрисы — Валентина Кортезе в роли Марии Стюарт и Росселла Фалк в роли Елизаветы. Это, конечно, имеет немаловажное значение для успеха спектакля у широкой публики. «Мои героини, — говорит Дзеффирелли, — пленницы власти и страха, не могут выйти из игры-ловушки, которая связала их друг с другом». В трагедии Марии и Елизаветы, двух женщин, вынужденных идти на «самые жестокие компромиссы с их собственными чувствами», Дзеффирелли подчеркнул не только человеческую сущность их характеров, на первый план режиссер выдвинул идею значимости политической борьбы того времени для всей Европы.

Интересно сценическое решение спектакля. Впервые в пьесу введена сцена казни королевы, хотя в тексте Шиллера ее нет. О ней зрители узнавали из восклицаний Лейстера и его обморока. Дзеффирелли прочитал подробное описание сцены казни в книге «Биография Марии Стюарт», написанной Антонией Фрезер, и воплотил ее в своем спектакле.

Валентина Кортезе, отвечая в интервью газете «Стампа» на вопрос, как она оценивает работу Франко Дзеффирелли, заявила: «Мне очень понравилось работать с ним. У него всегда уйма новых идей. Дзеффирелли — крупный режиссер как в кино, так и в театре».

КУБА

МИГЕЛЬ БАРНЕТ О СВОЕЙ ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ

Издательство УНЭАК выпустило в свет новую поэтическую книгу известного кубинского поэта и прозаика М. Барнета «Ночное письмо».

«Появление книжной новинки этого писателя, который целиком отдал свой многогранный талант служению делу кубинской революции,— отмечает литературный обозреватель газеты «Хувентуд ребельде» Басилиа Папастаматиу, — ныне воспринимается как событие литературной жизни. Опубликованные ранее такие его произведения, как документальный роман «Биография невольника» и поэтическая книга «Святое семейство», снискали ему широкую популярность среди кубинских и латиноамериканских читателей и критики, а роман «Галисиец» был издан не только на родине писателя, но и далеко за ее пределами — в Испании, ГДР и ФРГ».

Отвечая на вопрос рецензента газеты о том, какому жанру — прозе или поэзии — он отдает предпочтение, М. Барнет сказал: «Наверное, мои прозаические произведения в какой-то ме-

ре поглощают возникающие у меня поэтические замыслы, однако я не сожалею об этом, ибо ко всем созданным мной книгам испытываю нежность многодетного отца. И верю, что читатель, увлекшийся моими романами, не останется равнодушным к моим поэмам и лирике».

Говоря о своих творческих исканиях в этих жанрах, он отметил, что они органически связаны, дополняя друг друга. «Лучшие из моих документальных романов, созданные, как правило, на основе скрупулезных исследований — и прежде всего в области национальной культуры,— как это ни парадоксально на первый взгляд, по своему настроению близки поэзии. Я глубоко убежден, что поэт не должен замыкаться в кругу сугубо интимных переживаний — погружение в них чревато опасностью самообожания. Долг поэта — быть выразителем чаяний, тревог и надежд народа, сопрягая самые дорогие его сердцу чувства и сокровенные мысли с актуальными социально-политическими проблемами».

НИКАРАГУА

ПАМЯТИ РУБЕНА ДАРИО

В связи со 116-й годовщиной со дня рождения и 67-й — со дня смерти великого никарагуанского поэта Рубена Дарио на его родине были проведены торжества, продолжавшиеся более двух недель.

В день его рождения, объявленный еще в прошлом году «Днем культурной независимости», начался «марафон поэзии», в котором, как сообщает газета «Барикада», участвовало более сорока поэтов Никарагуа, в том числе и такие известные поэты, как министр культуры Эрнесто Карденаль, Фернандо Сильва, Луис Роча, Франсиско де Асис Фернандес, Хорхе Эдуардо Арельяно.

Хулио Валье Кастильо, видный исследователь творчества национального поэта, руководитель отдела литературы министерства культуры республики, заявил на открытии торжеств: «В течение многих лет Рубена Дарио тенденциозно представляли как аполитичного писателя, эстета, не имевшего корней в родной почве. Его признавали великим поэтом, но поэтом, витающим в облаках. Однако Рубен Дарио не был аполитичным, не был апатридом, не стоял в стороне от жизни. Он был способен дать ответ на политические события своего времени, и мы обязаны восстановить его подлинное лицо как никарагуанца, антиимпериалиста, большого, всемирного значения, поэта. Дарио был глашатаем индейской Латинской Америки, он находился в авангарде первого независимого литературного движения на нашем континенте». Дарио, по словам оратора, понимал, что «врагами Латинской Америки были и продолжают оставаться Соединенные Штаты». Его антиимпериалистические настроения отражены в стихах и прозе, поэт до конца был верен этим идеям. «Сегодня Дарио с нами. Он стал для латиноамериканцев рупором их чаяний и их борьбы»,— подчеркнул Хулио Валье Кастильо.

ПОЛЬША

150-ЛЕТИЕ ВАРШАВСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА

«Золотыми буквами в историю польской культуры, — пишет газета «Трибуна люду»,— вписан день 24 января 1833 года, когда впервые открыл свои двери Варшавский оперный театр».

Открытие оперного театра положило начало новому этапу не только в польской культуре — он вошел в ряд лучших оперных театров Европы.

«Золотой век» театра пришелся на время, когда им руководил Кароль Курпиньский, композитор и дирижер, автор музыки знаменитой «Варшавянки», один из создателей национальной оперы. Репертуар при нем был очень широк и разнообразен и исполнительское мастерство было на очень высоком уровне.

Но истинным днем рождения Национальной оперы стал день 1 января 1858 года, когда скромный виленский композитор Станислав Монюшко представил слушателям свою оперу «Галька». За ней последовала опера «Страшный двор», вошедшая в золотой фонд не только польской, но и мировой оперной музыки.

Второй «золотой век» оперного театра наступил, когда во главе его стал Эмиль Млынарский. Лучшие оперы зарубежных композиторов ставятся на сцене театра, но большое внимание уделяется произведениям национальных композиторов: Станислава Монюшко, Людомира Ружицкого, Кароля Шимановского. Выступает плеяда таких прославленных исполнителей, как Хелена Збоиньска-Рушковска, Матильда Полиньска-Левицка, Марья Моншыцка, Ванда Верминьска, Игнацы Дыгас, молодой Ян Кепура и многие другие мастера, искусство которых привлекало любителей оперы не только польских, но и зарубежных и вошло в историю исполнительского мастерства.

Затем были тяжелые годы мирового экономического кризиса, а потом настал черный год для Большого Варшавского театра, уничтоженного во время войны. Сгорело прекрасное здание театра, великолепные декорации, выполненные лучшими художниками, сгорела бесценная музыкальная библиотека, хранившая уникальные партитуры оперных и балетных произведений. Но коллектив театра не сдался. Сразу же по окончании войны, в 1945 году, он возобновляет свои выступления в маленьком театрике на улице Маршалковской. Около двадцати лет оперный театр, несмотря на трудные условия, продолжал свою деятельность и представил благодарным зрителям немало запоминающихся спектаклей.

В 1965 году театр, отмечает газета «Трибуна люду», снова обосновался в своем восставшем, как Феникс из пепла, здании, построенном по последнему слову техники.

Свой 150-летний юбилей театр ознаменовал постановкой оперы выдающегося композитора Кароля Шимановского «Король Рогер».

Польская общественность широко отметила славный юбилей, выразив этим горячую любовь и уважение к выдающимся старейшим мастерам польского оперного и балетного искусства, таким, как Ванда Верминьска, Ежи Чаплицкий, Марья Будзишевска и Барбара Карчмаревич, которая полвека назад выступала на 100-летнем юбилее театра как самая юная балерина, и к новому поколению исполнителей, ставших гордостью национального искусства.

США

«ПОРУГАНИЕ АКТРИСЫ»

Под таким заголовком американский журнал «Тайм» сообщает, что к 1983 году — спустя 20 лет после смерти Мэрилин Монро — Америку охватила лихорадка, мания почитания великого символа женственности, изготовленного фабрикой грез — Голливудом. Все эти годы выходили книги об актрисе, и сегодня продолжают появляться пьесы, стихи, но нарастает и поток безвкусного ширпотреба. На улицах можно встретить щиты в человеческий рост с изображением Монро, календари, простыни, хозяйственные сумки, маски, термосы и грелки с надписью: «Возьми меня в постель, я тебя согрею», подносы, упаковки для пилюль, занавески, нижнее белье с изображением актрисы.

Во Франции, сообщает журнал, подростки, которые не могли видеть Монро на

На снимке: производство массовой продукции с этикеткой «Мэрилин» — керамическая маска, мельница для кофе и соли, статуэтка, переводная картинка и электрическая лампа.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

экране, осаждают палатки с подобными сувенирами, девочки подражают прическе и одежде «в стиле Мэрилин».

В Нью-Йорке объявлено о продаже фарфоровой куклы, одетой в меховую шубу, с бриллиантовыми серьгами стоимостью в 6 миллионов долларов. Предварительно она будет экспонироваться на выставке игрушек. В сети магазинов «Блумингдейл» во время недели Монро продавались блузки, свитера и брюки в обтяжку «в стиле Монро».

В связи с этой кампанией возникают финансовые проблемы, которыми в настоящее время занялся адвокат из Лос-Анджелеса Роже Рихман. Он добился шестипроцентных отчислений с производства любых сувениров и всякого иного использования имени Монро.

Однако дельцы уже успели заключить сепаратные договоры, например с голливудской студией «XX век», об использовании костюмов, в которых снималась Мэрилин Монро.

В пьесе Артура Миллера, третьего мужа актрисы, «После грехопадения» герой предупреждает актрису (эта пьеса о самой Монро): «Дело не в том, что они крадут деньги, они разрушают человеческое достоинство». Это замечание, заканчивает журнал, справедливо и ныне, двадцать лет спустя.

ТУНИС

ПРЕМИИ ЗА КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Как сообщает журнал «Афак арабийя», Арабская организация по вопросам образования, культуры и науки провела конкурс на лучшие книги для детей. В конкурсе принял участие 31 писатель; всего на нем было представлено 57 произведений.

Первую премию (2500 долларов) жюри конкурса присудило иракскому писателю Мухаммеду Шамси за повесть «Морские разбойники».

Второй премии удостоен египетский прозаик Саанала Ибрахим за книгу для детей «Когда возвращается древняя царица».

Третья премия поделена между иорданской писательницей Раудой аль-Фарх аль-Худхуд — автором повести «Караван искупления» и тунисским прозаиком Мухаммедом Лахбибом Бен Салемом за рассказ «Орден».

ФРАНЦИЯ

200-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СТЕНДАЛЯ В ГРЕНОБЛЕ

Известно, как неохотно Стендаль вспоминал город, где родился. Писатель бывал там редко, а на своей могиле велел написать, что он — миланец. Однако неприязнь автора «Красного и черного» относилась прежде всего к Гренобль ханжей и реакционеров, олицетворявших «унылый XIX век», а не к городу, с которым у писателя были связаны чистые воспоминания детства, где Стендаль — тогда еще Анри Бейль — впервые открыл для себя мир литературы и искусства. При жизни не пользовавшийся признанием, Стендаль мечтал о славе после смерти и даже назначил себе «срок» — 1935 год. Признание пришло значительно раньше, а теперь в родном городе писателя французы широко отмечали 200-летие со дня рождения своего великого соотечественника.

В Гренобле состоялось девять выставок, посвященных жизни и творчеству Стендаля, обновлена экспозиция музея писателя. А совсем недавно в городе на площади Гренель появился новый музей: муниципальные власти купили и отреставрировали дом деда Стендаля Анри Ганьона, известного врача, почитателя Вольтера, дом, где, рано лишившийся матери, жил будущий писатель.

Событием в театральной жизни Гренобля стала постановка специально написанной к юбилею пьесы А.-А. Батча «Снег и голубизна». Пьеса, где роль Стендаля исполняют два актера, охватывает всю жизнь писателя, прошедшую «под знаком Наполеона в политике и Шекспира в литературе». Стендаль был горячим поклонником итальянской оперы, и в дни юбилейных торжеств в родном городе звучит музыка его любимого композитора — Россини.

В Гренобль для участия в организованном университетом города международном коллоквиуме на тему «Писатель, общество и власть» съехались многочисленные гости: писатели, журналисты, общественные деятели. По признанию французских газет, юбилей французского писателя стал «делом общегосударственного значения».

На французском телевидении прошел трехсерийный документальный фильм «Брижит Бардо — такая, какая есть».

Это своеобразная мозаика, составленная из фрагментов старых и в большинстве своем забытых кинолент с участием Бардо. В центре внимания фильма — история жизненного и творческого пути актрисы, рассказанная ею самой. Комментируя тот чрезмерный ажиотаж, тот нездоровый интерес к ее личной жизни, который все еще питает падкая на сенсации буржуазная пресса, Брижит Бардо с горечью говорит: «Я понимаю, что значит чувствовать себя диким зверем, которого преследуют охотники... камеры подобны двустволкам».

Это ощущение постоянного преследования, а также размышления о трагической судьбе Мэрилин Монро, по словам Бардо, побудили ее оставить кино и заняться делом спасения животных от человеческой жестокости.

На снимке: Брижит Бардо.

(Газета «Юманите»)

Авторы этого номера

ИВАН ДАВИДКОВ (род. в 1926 г.).

Болгарский писатель — поэт и прозаик, лауреат Димитровской премии. Его первая книга стихов была издана в 1949 г. С тех пор поэт выпустил много поэтических сборников, в том числе «Блеск инея» («Светлина от скрежа», 1957), «Холмы под вечерней звездой» («Хълмове под вечерницата», 1966), «Озарение» (1970), «Танец кипарисов» («Танц на кипариси», 1975) и др. Автор повестей «Далекие броды» («Далечните бродове», 1967), «Ломоть хлеба для путника» («Къшей хляб за пътника», 1971), «Баллада об одиноких мореплавателях» («Балада за самотните мореплаватели», 1979).
В русском переводе издан сборник его повестей, куда вошли «Вечерний разговор с дождем», «Белый конь у окна» и «Прощай, Акрополь» (М., «Прогресс», 1978). Стихи И. Давидкова печатались в советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе».
Роман «Рифы далеких звезд» («Рифовете на далечните звезди», 1981), вышедший в издательстве «Болгарский писатель», печатается в журнальном варианте.

МИХЕЛЕВИЧ МАРИЯ ЕФИМОВНА

Советский переводчик с болгарского. В ее переводе печатались рассказы Н. Хайтова («ИЛ», 1969, № 2), повести Э. Станева «Легенда о Сибине, князе преславском» («ИЛ», 1970, № 5), «Тихик и Назарий» («ИЛ», 1979, № 12), «Похититель персиков», «Тихим вечером», исторический роман «Антихрист», роман В. Мутафчиевой «Дело султана Джема» и др.

АРМАН ЛАНУ — ARMAND LAHOUX (1913—1983).

Французский писатель — романист, поэт, эссеист. Автор поэтических сборников «Разносчик» («Colporteur», 1953; премия Аполлинера), «Грозовой тюльпан» («La Tulipe orageuse», 1956), «Лубочные картинки» («Les Images d'Epinal», 1968) и др. На русском языке стихи Армана Лану публиковались в сборнике «Из современных французских поэтов».

Хорошо известен советским читателям А. Лану-прозаик. В русском переводе изданы его романы «Майор Ватрен» («ИЛ», 1957, № 8—10), «Когда море отступает», «Свидание в Брюгге», книги «Здравствуйте, Эмиль Золя!», «Мопассан».

Публикуемые переводы осуществлены по книге «Повелитель теней», вышедшей в Париже в издательстве «Грассэ» в 1982 г. («Le Montreur d'Ombres». Paris, Grasset, 1982).

КУДИНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (род. в 1922 г.)

Советский поэт и переводчик. В его переводе опубликованы сборники стихов французских и бельгийских поэтов: Гийома Аполлинера, Блэза Сандрара, Жака Превера, Робера Десноса, Рэмона Кено, Жана Тардье, Андре Френо, Мориса Карема, Норжа и др. «Иностранная литература» напечатала его переводы из Жерара де Нерваля (1974, № 1), Тристана Корбьера (1976, № 8), Норжа (1978, № 9), Констана Бюрнио (1980, № 9), Артюра Рембо (1981, № 8), Жана Мореаса (1982, № 7).

УЛАВ Х. ХАУГЕ — OLAV H. HAUGE (род. в 1908 г.).

Норвежский поэт и переводчик. Его первый сборник «Искры в пепле» («Glør i oska») вышел в 1946 г. Автор многочисленных сборников стихов, отмечавшихся литературными премиями.
Публикуемые стихи взяты из книги «Избранное» («Dikt i samling», Noregs Boklag L/L, 1981).

ХАНС БЁРЛИ — HANS BØRLI (род. в 1918 г.).

Норвежский поэт и прозаик. Дебютировал в 1945 году сборником «Смолистое пламя» («Tyrielden»). С тех пор выпустил пятнадцать сборников стихов, два романа, книгу очерков и рассказов. Творчество Ханса Бёрли отмечено несколькими норвежскими литературными премиями и одной международной.
Публикуемые стихи взяты из книги избранных произведений «День и мечта» («Dag og drøm», Oslo, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1978).

ХАЛВОР Й. САНДСДАЛЕН — HALVOR J. SANDSDALEN (род. в 1911 г.).

Норвежский поэт, прозаик, публицист. Дебютировал в 1946 году сборником стихов «Человек и земля» («Mannen og moldi»). Автор многих поэтических сборников. Его роман «Зеленый камень» («Ein grøn stein», 1969) был удостоен в 1970 г. «Премии читателей».
Предлагаемые стихи были напечатаны в сборниках «Песни шарманки» («Strofer frå lirekassa», 1976), «Солнце, взойди над моими горами» («Kom sol på alle mine berg», 1978), «Гармоника со звездами» («Ein trekkspelbelg med stjønnur på...», 1981), выпущенных издательством «Gyldendal Norsk Forlag A/S».

ЗОРИНА ИЗАБЕЛЛА ФАБИАНОВНА

Советский литературный критик. Автор ряда работ по зарубежной литературе, в том числе статей о встречах советских и

американских писателей в Москве, Нью-Йорке, Батуми, Лос-Анджелесе («ИЛ», 1978, № 2; 1979, № 2; 1980, № 9; 1981, № 11). В ее переводе издана книга американского писателя Альберта Кана «Заметки о национальном скандале».

ВОЛЬПЕ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ (род. в 1951 г.).

Советский критик, литературовед-африканист. Кандидат филологических наук. Автор книги «Социалистическая литература Эфиопии» (1981), выступает со статьями по вопросам литературы и культуры африканских стран.

БЕЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1949 г.).

Советский литературный критик, автор статей по англоязычным литературам XX века, публиковавшихся в ряде журналов.

МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ (род. в 1945 г.).

Советский журналист-международник. Автор очерков, статей, фельетонов, публиковавшихся в журналах и газетах.

ФАХРИ ЭРДИНЧ (род. в 1917 г.).

Турецкий писатель. Автор романов «Али, один из многих» (1958), «Где эта Корея?» (1965), «Младший брат», сборников стихов, рассказов, пьес, книг для детей. В русском переводе издана повесть «Горький ломоть», сборник рассказов «Туркам вход запрещен», книжка для детей «Рюстем»; стихи и рассказы публиковались в антологиях и в периодической печати. Произведения Ф. Эрдинча выходили также на языках многих народов нашей страны.

Воспоминания о Назыме Хикмете, фрагменты которых печатаются в этом номере, получены от автора в рукописи.

АЛАН МАРШАЛЛ — ALAN MARSHALL (род. в 1902 г.).

Австралийский писатель. На русский язык переведена его автобиографическая трилогия — повести «Я умею прыгать через лужи», «Это трава», «В сердце моем», «Люди незапамятных времен» (легенды аборигенов, собранные и обработанные А. Маршаллом). В серии «Мастера зарубежной прозы» издан том его избранных произведений (М., «Прогресс», 1977 и 1982). Рассказы печатались в антологиях и журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

Предлагаемые рассказы взяты из сборника «Австралия Алана Маршалла», вышедшего в Мельбурне в 1981 г. («Alan Marshall's Australia». Melbourne, Hyland House, 1981).

◆

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 05.04.83. Подписано в печать 24.05.83. А 01674. Формат 70×108$^1/_{16}$.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 28,49.

Тираж 380.000 экз. (1-й завод: 1 — 340 000 экз.) Зак. 1285.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Напалм. Из цикла «Виновные». 1976

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394